

★
Zelzda
★

Zelzda

3
1963

3
1963

Звезда

ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал
орган союза писателей СССР

3
март
1963

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА . ЛЕНИНГРАД

Лидия Обухова

ИСТОРИЯ БЕЗ КОНЦА

Из цикла
„Маленькие новости“

Я не люблю ничего непрекаемого: «человек должен быть таким-то и делать то-то». Может быть, человек не так уж и много должен другим. Но себе он кое-что должен. Его долг перед собой заключается в том, чтобы прожить свою единственную жизнь, не оскорбляя ее. Ведь мы так часто и так неразумно оскорбляем сами себя, что даже постепенно перестаем чувствовать от этого боль.

Но все-таки каждый раз, когда видишь, что другой готов это сделать, сердце принимается бить в набат и выбрасывает красный флажок: тревога!

Повествование придется переносить в разные широты. За полярный круг, на дно котлована, где в три смены бригада землекопов долбит мерзлую землю, чтоб поскорее отвести речку (дно ее, обнажившись, откроет пласт руды — и это будет подарком всем людям!); а потом в субтропики, где с утра до ночи поют птицы и морская пена летит пылью вдоль нарядной набережной.

• • •

Итак, в Заполярье наступала весна. Дни стояли длинные и светлые. Удивительные снега лежали между сопками: они были ровные, блестящие, негнувшиеся, как парча. Тундра — край без теней. Солнце шествует тор-

жественно, и каждый угол его наклона придает особую окраску белизне снегов. Над котлованом стояли почти бесполезные бульдозеры; как люльки качались ковши экскаваторов: на Мила-речку техники не жалели! Но рыть приходилось все-таки вручную, отбивая комки вечной мерзлоты понемногу, чтобы не рухнул весь пласт, подмытый изнутри ледяным плыуном.

Мороз, в котором застывало дыхание, на дне котлована оборачивался незамерзающей водой. Она поднималась до колен и иногда затекала за голенища.

В бригаде было пятьдесят человек, и они разделились на три смены, чтоб не давать передышки котловану. Вы думаете, что после своей смены они надевали чистые костюмы или ложились в мягкие постели?

Смена возвращалась в брезентовую палатку, и кто-то тотчас стаскивал сапоги, вешал на веревку мокрые портянки, а другой принимался растапливать чугунную времянку, остывшую, как глыба льда. Еще несколько человек наскоро крошили колбасу в алюминиевые миски и ставили их в ряд на холодную печь: огонь занимался худо.

Однажды вечером к ним привезли кинопередвижку. Это был редкий праздник, и в палатку набились все (разумеется, кроме тех, кто продолжал единоборствовать с котлованом).

На одну из стенок повесили не очень чистую простыню, и аппарат начал примериваться к ней большим светлым глазом. Уже за одним этим парни следили со вниманием, как, впрочем, и горожане, случается, сидят перед включенным телевизором, еще без изображения, но с пляшущей по экрану космической метелью.

Светлое пятно на простыне шевелилось, как отражение на воде в каком-то далеком теплом море.

Механик озябшими пальцами снял жестяную круглую крышку с первой части. Несколько рук поспешно протянулись к нему, чтобы принять пустую коробку. Наконец ритуал приготовления был окончен и полилась музыка. Она шла не с экрана, а сбоку, но никто этого не замечал. Музыка сразу стала частью жизни, в которую они поверили и вступили.

История, развернувшаяся перед ними, была необычайна: как птица крылом, она задевала что-то из будущего. Она делала осязаемыми те нормы, по которым люди еще не живут сегодня, но будут жить завтра; наверно, такими мерками станут они мерить друг друга и, видимо, так любить.

Считается, что природы, переполненные жизненной энергией, необузданны: они легко поддаются гневу, страсть захватывает их, как половодье, вспыльчивость приносит необходимую разрядку.

На самом деле все может обстоять и наоборот. Дать волю первому подвернувшемуся импульсу совсем не значит проявить силу. Когда в мешке прореха, из него струится мука, но это действие пассивное. Мешок просто дыряв, мука рассыпается где попало. Сила не в том, чтоб плыть по течению своих желаний (они часто темны, противоречивы), но в том, чтобы, собрав их в кулак, направить, как пучок света, в одну цель, которая становится средоточием мысли.

Человек все дальше и дальше уходит от животного мира. Как в каждом расставании, в этом есть и своя печаль: путь вперед не только путь приобретений, но и путь потерь. Исчезает непосредственность; оголенное наивное восприятие мира сменяется более трезвым; приглушается инстинкт са-

мосохранения; «роковые» поступки отходят в прошлое.

Те, кто действовал и жил на экране, вели землекопов с Мила-речки в иной мир: мир, на порог которого человечество уже вступило с началом новой кибернетической эры — в мир мысли. Еще и еще раз мысли!

В будущем мышление создаст, видимо, свою поэзию, свои страсти. Появятся Шекспир, ареной для которых будет уже не битва сердец, а битва идей...

Нам трудно все это представить. Однако мы сделали свое дело: мы подвели вас, завтрашние люди, к самому порогу, хотя сами и не переступили его. Постарайтесь же не корить нас за ограниченность. Каждому дано пройти только свой отрезок пути. Но все дело в том, чтоб никому не оставиваться!

Парни сначала курили, потом огоньки сигарет потухли сами собой. Одна темнота жила и пульсировала.

Желтые пески, ровные и безбрежные, как тундра, источали отравленное дыхание. Отряд врачей ринулся на борьбу с эпидемией. Это была битва, похожая на сражение в котловане. Только еще более величественная и самоотверженная, как казалось зрителям.

Главный герой, их ровесник, жил напряженной суровой жизнью. Он не сдавался ничему: ни любви, ни усталости. Он дерзил близкой ему женщине, чтоб ей легче было решиться на разрыв — если уж она решилась на это!

Таковы были его бережность и любовь. Он не дрался с соперником и даже не ненавидел его, ибо они были связаны иной, более крепкой нитью: солидарностью. Такова была его дружба.

Они шли рядом все трое, плечом к плечу, пряча тайное страдание, подшучивая и ссорясь между собой, готовые в любую минуту прийти друг другу на помощь так же бескорыстно, как и прилетели сюда — горсточка людей против необозримой желтой пустыни, отравленной эпидемией!

Труд санитаров, могильщиков и целителей свалил одного из них.

— Бросьте, ребята, я ведь врач, —

сказал он. — Постарайтесь не подходить слишком близко: я-таки наглотался проклятых вирусов! Значит, предохранительная инъекция была не в той дозировке. Постарайтесь выяснить это немедленно, иначе вся наша работа впустую. — Он улыбнулся вымученной улыбкой. — Глупо, конечно, умирать накануне дня своего рождения.

И тогда ровесник парней с Миларочки выступил во всеоружии мужества и доброты.

— Это грипп, меланхолик, — сказал он, зевая. — Давай-ка, в самом деле, справим именины: зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? И вообще мне осточертела работа с утра до ночи; я хочу выпить, потанцевать, пофилософствовать. В общем, немного проветриться, хотя бы и в условиях пустыни. Думаю, паршивый грипп не помешает тебе выпить за собственное здоровье?

Умирающий смотрел на него глубоким взглядом, полным тоски и надежды. На женщину он избегал переводить глаза, боясь прочесть на ее лице правду.

— Сейчас мы добудем спирта, — продолжал первый, — и устроим настоящую пирушку. Ну, Ната, только ты можешь подействовать личным обаянием на заведующего аптекой!

За желтым барханом она схватила его за руку.

— Валька, Валька! Неужели мы всем бессильны? Неужели он знает, что обречен?

Валька посмотрел на нее своим обычным странным взглядом исподлобья. Ведь это была женщина, которую он любил. А там должен был умереть его друг, которого любила она.

— Попробуем, чтоб не узнал, — сказал он только.

Они чокались мензурками и были почти веселы: такой значительной, всеобъемлющей казалась жизнь, и так не укладывалась в сознание мысль о смерти! Они были молоды и охотно рассуждали о вещах отвлеченных, словно времени могло хватить на все.

— Горе тоже наполняет, — сказал больной, будто утешая остающихся жить.

Валька отмахнулся полупьяным жестом,

— Ну, зачем про горе? Человек создан для счастья. Как там у поэта: «чтоб есть мороженое, целовать красивых женщин».

— Не трепитесь, ребята. Ни для какого счастья мы не созданы, — пробурчал аптекарь, тоже не достигший еще тридцатилетнего возраста, — так же, как не созданы для этого инфузория или звезда. И они и мы появились на свет, чтобы жить. И только. А уж как проживешь — это зависит от каждого. Чем кто сможет наполнить свою жизнь. Вот и весь закон счастья.

— Да, но возможности такого наполнения разные: резервуары, что ли, — возразил кто-то, подхватывая спор, как перчатку. — Одному глотка хватает, а другой льет в себя, как в бездонную бочку. Ну и что же, разве будет он когда-нибудь счастлив при этойкой жажде?

— Так ведь горе тоже наполняет, — прохрипел больной. — Вот и вернулись к тому же.

Он все тревожнее водил взглядом по лицам. Ему казалось, что, наливая, никто не хотел дотронуться до его стакана. Даже Ната, стискивая на коленях руки, держалась вдалеке. Улыбка ее была похожа на обморок.

В смятении, с перехваченным горлом, он повернулся всем корпусом к Валентину: тот на минуту отлучился и теперь входил, поймав на лету обрывок разговора.

— Горе от того, что человеку свойственно хотеть большего? За такое горе стоит выпить отдельно, именинник!

Он с силой стукнул стеклом о стекло, нагнулся и поцеловал его в губы.

То, как другие замерли, похолодев, больной не заметил. Груз спал с его души: значит, это все-таки грипп! Остальное почудилось.

Боль придавила его к подушке, но он был счастлив.

— По домам, ребятки, по домам, — ворчал Валентин, поспешно выпроваживая остальных. — Сделаем новорожденному укольчик, дадим снотворного... Нет, Натка, помогать мне не к чему.

Он прибавил что-то двусмысленное и озорное. Таково было его мужество!

А когда она потом допытывалась, глотая слезы:

— Ты сделал это для меня?

Он ответил с той же полуулыбкой, суровой и мягкой:

— Я сделал это для него. Не мучай себя, пожалуйста. И, если хочешь, для себя самого: надо же установить дозировку. Это наше прямое дело, в конце концов.

— Я, кажется, люблю тебя, — сказала сорвавшимся голосом женщина.

Он отозвался очень тихо:

— Спасибо, хотя это и неправда. — И тотчас испуганно воскликнул: — Нет, не подходи! Я останусь жив, ты увидишь. Обещаю тебе.

Таков был этот человек.

Землекопы не отпустили механика; на следующий день фильм прокрутили вторично.

Ночью никто не спал. Это был первый случай, когда утомление не повалило их на топчаны, как деревья.

Потрясение всегда трудно облечь в слова. Они молча курили, уставясь в темноту, каждый наедине с собой. Ближе к рассвету кто-то ненадолго выглянул наружу и тотчас, просунув голову в дверь, сдавленным голосом позвал остальных:

— Ну! Что делается!

Толкаясь и торопясь, они высыпали на мороз.

Необыкновенная картина открылась перед ними. Над смуглыми снегами пылала семицветная радуга. Небо пело светом и красками. Тишина стояла ненарушимая; верет на сто вокруг не было ни одного человеческого следа и не раздавалось ни звука. Только Мила-речка шипела и булькала, не замерзая: течение ее было быстрое, как у кавказских рек. Она доживала, бедняга, последние дни и ничего не знала об этом: котлован и короткий канал от самого истока отведут ее из озера в озеро, словно перенесут на подушке, и Мила-речка просто перестанет существовать!

Парни смотрели, задрав головы; сквозь зеленоватые облака проглядывали звезды. Небо непрерывно менялось. Такого пиршества красок даже им, полярникам, не приходилось видеть.

Когда они вернулись, перезябшие, кто-то пробормотал с искренним сожалением:

— Сюда бы этого Вальку. К нам, в бригаду.

Видимо, мысль о фильме ни на минуту не оставляла их, но тут словно прорвало запруды! Ночь напролет топилась чугунка, и не умолкали речи.

Какие наивные, незрелые, прекрасные суждения высказывались под брезентовой кровлей! А наутро пришло решение, может быть, и странное на первый взгляд: не уходить с Мила-речки до конца, хотя на днях им полагалась смена и они с нетерпением дожидались ее.

Гонцы пошли по палаткам, расталкивая спящих. Даже в котловане ненадолго приостановилась работа. Им казалось, что то, что они придумали, было каким-то удивительным озарением, радостным подарком для всех — и не жадничали, спешили поделиться с другими.

Один восторженный паренек даже предложил было написать об этом и артисту Юрию Медникову, игравшему Вальку, но тут спохватились, что никто не знает адреса, ни даже в каком городе он живет. Так что это намерение отпало, но зато все остальное осуществилось. А ведь оно-то и было главным!

* * *

Юрий Медников жил в это время в санатории у теплого моря, совсем на другом конце страны. Он начал было пробовать себя в новой роли, но случилось несчастье: во время съемки ему пришибло ногу. Сначала никто не обратил внимания, но вскоре хромота обозначилась явственно. А когда сделали рентген, оказалось, что дело еще серьезнее: по крайней мере на год следовало заняться лечением.

Может быть, сказалось и перенапряжение последних месяцев: изматывающая работа, перенесенный на ногах грипп, бессонница, которая теперь постоянно мучила его. Он был бледен, худ и только при очень внимательном рассмотрении отдаленно подходил на того человека с необычными резкими чертами лица, многократно увеличенными экраном, которого знали все.

Вблизи Медников казался и младше, и взрослее; трудно было сказать с точностью, сколько ему лет. Подвижностью, узкими плечами, неожи-

данной светлой улыбкой он напоминал юношу. Но на лбу лежали складки, а глаза смотрели устало и немного в сторону. Особенно, когда он не следил за собой. Это случалось, впрочем, в редкие минуты; обычно он был жизнерадостен, легок в общении, умен, ненавязчив. Таилась в нем скрытая гордыня, явственно проступая сквозь доброту.

Все вокруг были от него без ума еще и потому, что невольно путали актера с его ролью (так же, как писателя смотрят иногда через призму его героев. До сих пор я не могу понять: заслуженно это или нет?).

Но Медников и сам по себе стоил, наверно, многого; в кинематографических кругах он считался выдающимся, не похожим на других человеком.

А тут еще случилось так, что, при выкнун к известности, к постоянному любопытному шепоту за своей спиной, он внезапно сам был захвачен личностью другого человека, в котором увидел вживе необыкновенные черты.

В санатории этот человек занимал две отдельные комнаты — что уже само по себе выходило из ряда вон, — редко спускался в столовую, и вскоре вокруг него, как вокруг магнита, стал собираться кружок, проникнуть в который считалось в санатории честью.

Все знали, что он — крупный ученый в той области, которая одним концом примыкала к астрономии и космосу, а другим — к чему-то еще более сложному.

С ним была жена и двадцатитрехлетняя племянница. Обе женщины держались независимо, громко перебрасывались именами академиков и лауреатов, и сам ученый был среди них почти незаметен. Но все-таки все вертелось вокруг него, как вокруг солнца! Подпиралось, ниспровергалось и освещалось его именем и авторитетом.

Он был сутул, не очень разговорчив, и, кажется, самое большое наслаждение ему доставляло просто дышать чистым воздухом, смежив под очками веки. Он тонко подмечал оттенки запахов и по-детски хвалился этим. Иногда на прогулке заставлял всех делать шаг назад или в сторону.

— Слышите, вот отсюда потянуло

чем-то кисленьким, нежным-нежным, как лавровишня.

Или:

— А это чистый эвкалипт. Но откуда?

Терпеливо он растирал на ладонях травинки и листья, пока не находил искомого.

В это же время чувствовалось, что мозг его постепенно продолжал работать. Он не всегда вслушивался в общий разговор, но проходя, несколькими фразами отбрасывал, как мусор с дороги, сложности, которые возникали перед другими.

— Чтоб расширилось жизненное пространство вокруг человечества, то есть чтоб каждое существование вмещало в себя гораздо больше полезного труда, — говорил он, и все тотчас почтительно умолкали, — мы должны сжимать время. Это и будут делать кибернетические машины. Вычисления целых месяцев спрессуются до нескольких минут. Мозг человека полностью избавится от черновой работы. Вместо того чтобы зарываться на годы в проверку, ученый сможет получить ответ, едва сформулирует свой вопрос. Неверные гипотезы даже не попадут на бумагу. Исчезнут многолетние трагические битвы между учеными, основанные на ложной концепции. Ложных концепций просто не останется в природе.

— Жить — это значит все время расширять свой кругозор, — громко сказала племянница. — Я, например, познаю сейчас Италию. Мы там были в прошлом году с дядей. Хотите, я вам расскажу? — спросила она через стол у Медникова.

Тот молча наклонил голову. В общем, он сам знал и об Италии и еще много о чем, но ему было любопытно смотреть на эту девушку, которая держала себя так уверенно и спокойно, словно за ней стоит невеста что, и которую дядя никогда не прерывал, будто все, что она скажет, было и для него чрезвычайно ново и интересно. Чувствовалось, что она — ненаглядное дитя в этой бездетной семье.

Она была крупная, с белым лицом, в короткой стрижке наподобие лошадиной холки. К ней это, впрочем, шло: беззаботно и норвисто, как балован-

ная кобылка, она часто встряхивала волосами.

— Ну, конечно, вы уверены, что ваше мнение непререкаемо? — заявляла она вдруг, нимало не заботясь, слышит ли ее кто-нибудь. И действительно, все, кто был поблизости, оборачивались с любопытством.

— Я этого не говорил, — бормотал сбитый с толку Юрий.

Он притерпелся к известности, не очень обращал на нее внимание, будучи серьезным, вдумчивым человеком, но не привык, чтоб им и помыкали: манеры этой девушки обескураживали — или обвораживали его? Он еще толком сам не разобрался.

Тем более, что все вокруг принимали ее выходки как должное. Тетка коршунячьими глазами высматривала малейшую опасность для своей любимицы, а дядя загадочно молчал, то уходя в таинственные расчеты, то упиваясь запахами южной весны.

Санаторий по-прежнему благоговел перед ним; однако к молодым людям отношение стало меняться.

Медников был теперь неразлучен с племянницей; он сам не заметил, как это получилось. Врач журил его за пропущенные процедуры, нога болела сильнее, а они колесили с утра по окрестностям или карабкались в гору, и он изо всех сил старался не хромать.

Однажды несколько пожилых отдыхающих посреди разговора внезапно замолчали и проводили их внимательным взглядом.

— Интересно, сколько получают киноартисты? — сказал один, не обращаясь, собственно, ни к кому.

Второй с сомнением покачал головой:

— Каждый день на машинах кататься — никаких заработков не хватит. Парень живет не по средствам, сразу видно.

— Может, и он ладит взобраться на шею к академику? — подхватил третий и добавил с сожалением: — В картине он бы так не поступил: верите, три раза вместе с женой смотрел. И в четвертый собрался. А теперь чего-то расхотелось.

Первый продолжал так же обстоятельно:

— Ну, академику платят за свет-

лую голову. Это я не возражаю. Но они его, паразиты, как комары облепили!

— А ты не разводи вокруг болота, — желчно обрезал второй. — Деньги-то платят голове, а живут на них... — он добавил крепкое слово.

Разговоры такие возникали все чаще. Юрий чувствовал, что недоброжелательство носится в воздухе, и старался меньше бывать в санатории.

На набережной, в ресторанах его по-прежнему сопровождал восторженный девичий шепот, а племянница, красуясь, еще тяжелее повисала на его руке.

Однажды пошел дождь, и у самых ворот проходящий грузовик брызнул из-под колеса мутной водой на ее разрисованную юбку.

— Дядечка, — закричала она на весь санаторий детским голоском, — меня мальчишки обидели!

Знаменитый ученый молча выглянул в окно; лицо его было добродушно и рассеянно.

Медников почти с тем же выражением, утешительно улыбаясь, смотрел на девушку.

Вечером они сидели вдвоем за маленьким столиком в ресторане, и между ними горела желтая лампа. Скатерть была бела, тарелки белы; в нешироком конусе падающего вниз электрического света все казалось белым и четким, но дальше начинался расплывчатый мир предположений и домыслов.

Милица, племянница академика, сидела непривычно тихо; ее крупные белые руки и лицо уходили в тень.

Редкий момент, когда они не привлекали ничьего внимания в этом полупустом зале с несколькими желтыми огнями на отдаленных столиках...

В том обожании, которым люди окружают каждую знаменитость, есть и нечто жестокое: это подозрительная, неусыпная любовь! Она одевает человека в белоснежные крылья — и тотчас ревниво ищет пятнышка на них. Поднятый на пьедестал не может впредь оставаться самим собой: он должен стать лучше. Это плата за славу. Часто знаменитые люди прошлого выкидывали черт знает какие колена единственно от глухого протек-

ста против мещанского идеала, который им навязывали. Ведь идеалы тоже вещь сменяемая: они вырастают из своих пеленок и, посидев за партой времени, мужают.

По-настоящему большой человек всегда утверждает собою новый, завтрашний идеал. Люди мелкие приспособляются под уже существующий. То есть вовсе, может, и не живут соответственно с ним, но делают вид, что живут; «делать вид» — наитягчайшее преступление против нравственности! И менее всего наказуемое, к сожалению.

Медникову казалось, что он утомлен славой, а на самом деле он хотел ее жадно и боялся, что она может потускнеть, едва фильм сойдет с экрана.

Ему казалось, что он всегда остается самим собой, а он уже, по существу, не знал, кем был: двойником Валентина или Юрием Медниковым, которому приходится носить чужое лицо? Он играл и уставал от игры.

— Что вас заботит, Юрий? — спросила Милица голосом, почти свободным от жеманства. — Почитайте мне какие-нибудь стихи, это вас развеет.

Он рассеянно улыбнулся.

— Ничего не припомню сразу, Милочка.

Тогда она протянула через стол журнал, и ее белая рука на мгновение сверкнула в прямом свете. Она всегда таскала с собой книгу, брошюру, сложенную пополам газету. Это была школьная привычка и что-то напоминала ему, хотя Милица давно не была девочкой, да и книги эти худо читались ею, он знал.

Он листал страницы и смутно думал — что ему надо было бы припомнить под желтым огнем лампы? О чем не следует вспоминать?

В сущности, ему жилось вовсе не так празднично, как воображали молоденькие почитательницы его таланта. Слава актера похожа на костерок: в него надо все время подбрасывать топливо. К тому же он не выбирал себе роли: его выбирали на них. И некоторые ему нравились, а в некоторых он знал про себя, что повторяется, и тогда утешался тем, что и не собирался вовсе поражать всякий раз оригинальностью.

Впрочем, он никогда не видел свою

роль со стороны, слитно, как воспринимают ее зрители. Она распадалась для него на множество эпизодов, которые снимались вразброд: прежде конец, потом начало, так, как это казалось удобнее режиссеру, или если операторы торопились «отснять» натуру: уходящую зиму, ручьи, падающие листья. Актер, первая фигура для зрителя, редко бывает первым на съемках.

Юрий не обольщался относительно себя, хотя знал, что талант у него есть. Он это чувствовал по особому ощущению собранности в минуты съемки, немного странного волнения, когда он, как дрожащая струна, готов был послать вперед, в черноту зала, сильное внутреннее звучание. Он не знал, кем это будет услышано; он был как огонь, который уже отпылал.

Наверно, такова общая участь всех, кто причастен к искусству: долгая черновая работа каменщика и здание, возводимое для других!

Когда фильм выходил в свет, будоражил новизной, — от него, Юрия Медникова, фильм был уже бесконечно далек, как стаявший снег. Юрий с трудом мог припомнить свои собственные сомнения и поиски. Он жил уже чем-нибудь другим.

Но сейчас больная нога выбила его из привычного ритма. Впереди на весь год не было ничего, кроме досадной праздности, необходимости быть на виду и не таким, каким ему хотелось быть наедине с собой, а совсем другим, словно роль Валентина все еще продолжалась.

Иногда он и сам думал об этом человеке, жизнь которого прожил некоторое время. Но и Валентина он видел иначе, чем другие. Не лицо, которое было для всех его собственным лицом, не голос, не внешний облик, а что-то изнутри, присущее самому Валентину, что так мучительно хотелось угадать и повторить.

Он помногу раз читал тогда сценарий, старался вспомнить что-то похожее из своей жизни, с закрытыми глазами вглядывался в смутные черты, которые были для него в то же время абсолютно реальны! Он верил, знал, что такой человек существует, что у него точно такая судьба.

И, уже сыграв роль, он продолжал бессознательно высматривать своего героя.

Однако, чтобы въяве найти Валентина, ему надо было бы находиться сейчас за тысячи километров от стола с желтой лампой! Скажем, постоять у края котлована.

Не переноситься ни в прошлое, ни в будущее — прожить этот же самый день! И все-таки он был бы совсем другим днем для него, днем богатым, как рудоносная залежь под Миларечкой...

Он листал журнал, пока взгляд его не наткнулся на стихи, и он стал их читать сразу, с хорошими интонациями, которые, впрочем, могли и не совпадать с самими стихами: входя в них с налету, как в чужой дом, он не знал, кого там встретит.

И вскоре он понял, что как раз в этот дом входить не следовало.

На площади Маяковского
Я потерял тебя, вдруг потерял тебя.
Когда впервые встретились наши руки,
Это и было началом разлуки.

Теперь-то он вспомнил, наконец, где еще светили ему такие же желтые огни. Собственно, это был один огонек: кокон ночника, свет, при котором трудно читать, но можно мечтать и думать. Шесть лет он не был в той комнате; вход ему туда был заказан. Сотни девушек улыбались ему с наивной готовностью, но одну он спросил с тревогой под желтым ночником:

— О чем ты подумала сейчас?

Она ответила:

— О том, как мы будем расставаться.

Да, конечно, он был совсем не так молод, как это казалось влюбчивым девушкам. Прошло три счастливых года и потом еще дважды три — шесть; всего девять с того вечера, когда она, освобождаясь из его объятий, впервые заговорила о разлуке.

— Ты хочешь защититься любовью от жизни? Поверь, Юра, хрупкий приют скоро затрещит под всеми ветрами.

Он помнил ее пытливый взгляд исподлобья, который он потом бессознательно перенес на Валентина, потому что сильные души всегда сродни друг другу, — взгляд был направлен в глу-

бину дней, которые надвигались на них, как большая волна. Ведь волны долго несут на себе пловца, словно ничего не требуя взамен и ничем не угрожая, и только у самого берега он или выплывает, или разбивается.

Медников давно не думал о стихах, которые продолжал читать вслух. Кончив, он посмотрел на девушку, отделенную от него лампой. В ней не было назойливого любопытства, как у многих других — и это уже хорошо. Она оказалась способной просидеть тихо весь вечер — это совсем хорошо!

Конечно, она из другого мира, но, может, так и надо двум близким жить в разных измерениях? Иначе любовь грозит проникнуть слишком глубоко. Ведь академик провел с ее теткой всю жизнь; та умела ограждать его от всех тягот, и с ней ему, наверно, было чем-то удобно и хорошо? Он чувствовал, как заболела нога, и тень неудовольствия прошла по его лицу.

— Скажите мне, что вас заботит? — настойчиво повторила Милица.

Он ответил, словно не ей, а в пространство:

— Я стал бояться своего будущего, Милочка. Я слишком много отдал; выложил всего себя в этом фильме. По крайней мере несколько лет ни один хороший режиссер не захочет снимать меня: побоятся повторений. Зато те, кому нужен любимец публики, кинутся как акулы. И я, наверно, соглашусь один раз, два... Это будут все более пошлые, ходовые роли. Я стану улыбаться той же улыбкой, что улыбался когда-то Валентин. Вот так: чуть подрагивая мускулом щеки и тотчас гася. И так же буду смотреть сквозь полуопущенные ресницы. — Он взглянул на Милицу, но тотчас отвел глаза. Ему не хотелось заботиться сейчас о том, как принимаются его слова. Если б она что-нибудь сказала, он бы тотчас встал и ушел. Но она молчала, и он продолжал: — Относиться ко мне станут все более равнодушно, и уже кто-то бросит, что Медников отыграл... Тогда на всех перекрестках с важным видом примутся рассуждать, чего же мне не хватает, чтоб быть настоящим актером, который, даже умерев, не сходит со сцены. Как видите, незавидная будущность!

— Какую ерунду вы вбили себе в голову! — глубоким негромким голо- сом воскликнула Милица. — Вы про- сто скромны. Дядя говорит, что под- длинный талант всегда не уверен в себе. Да все ваши страдания оттого и идут, что вы так бесконечно талантли- вы! Не улыбайтесь, мне лучше это знать. Или нет — улыбнитесь! Ну, вот. Ах, вами просто некому было заняться до сих пор. Тетя говорит, что вы бес- хозное имущество... Вас ожидает та- кая удивительная жизнь! И совсем не- чего бросаться в первую попавшуюся роль. Мы найдем самых лучших ре- жиссеров, самых знаменитых сценари- стов. У дяди есть знакомые писатели. Вам совсем не следует об этом забо- титься; все сделается само собой. Вы — талант. Вас не должны касаться мелочи.

Она говорила с той успокаивающей интонацией, с которой воркует голубь, и он чувствовал, как его постепенно обволакивает приятное успокоение. Поддавшись оптическому обману уста- лости и неуверенности в себе, он начи- нал цвета спектра видеть искаженно. «Эта бледнолицая девушка так добра и все понимает! — подумал он. — В сущности, она просто молода, у нее не было пока нужды серьезно вгля- деться в жизнь. Она будет, конечно, меняться». Он уговаривал не себя, а как бы Валентина в себе, о котором, впрочем, совсем и не думал сейчас.

Ему вспомнилось, как несколько дней назад Милица впервые вызвала в нем это чувство успокоения одним своим видом. Было так. Некоторое время он наталкивался недалеко от санатория на одну и ту же девушку, почти под- ростка, которая с пугливым и упря- мым видом караулила его. Однако не только не заговаривала, но даже от- ворачивалась, когда он проходил мимо.

На третий день он сам подошел к скамейке, на которой она сидела с раскрытой книгой на коленях, в позе недового и страстного ожидания.

— Зачем вы приходите сюда каж- дый день? — спросил он тем друже- любным тоном, который в соединении с его светлой улыбкой принес ему уже пылкую признательность зрителей. — Вы знаете, кто я?

— Да. Потому и прихожу... — Она мучительно смешалась. Он велико- душно поспешил на выручку:

— Вы хотели о чем-то спросить меня? Или я могу быть вам полезным?

— Я? Нет. Мне ничего не надо.

Она подняла глаза со смелостью от- чаяния. Его охватило смутное опасе- ние, что с неподдельным простоду- шием она скажет вдруг что-нибудь та- кое, от чего уже нельзя будет отшу- титься.

— Я просто смотрела издали. Это такое счастье: видеть вас...

Он поспешно прервал:

— Вы преувеличиваете, конечно. А, ей-богу, мне сдается, что мы могли уже где-то встречаться! Вы ведь хо- дите с подружками в лес собирать орехи? Однажды вы отбились от них, прилегли в траву и заснули. А я про- ходил мимо. Я сразу понял, что вы заблудились, вырвал из блокнота листок и нарисовал стрелками путь из леса. А чтобы листок не унесло ветром, по- ложил на него золотой орешек. При- поминаете?

Она смотрела на него и, хотя ни- чего похожего с ней не случилось, ве- рила, как верят волшебной сказке.

— Итак, вы мечтаете стать киноак- трисой? — спросил он немного погодя уже более скучным тоном.

Она покачала головой, все еще не спуская с него очарованного взгляда.

— Хотите побывать на студии, по- смотреть, как снимаются фильмы?

Она молчала. Он разглядывал ее все удивленнее. Ей было лет восемна- дцать, пленительная свежесть юности исходила от нее. Сквозь кофточку, за- стегнутую у самого горла, неясно и це- ломудренно светились плечи.

— Простите. Я уйду. — Она вдруг сорвалась с места, прежде чем он успе- л протянуть руку, чтобы удержать ее.

Он смотрел ей вслед размягченным взглядом, словно сам все это пере- жил только что: словно его, а не ее сердце не смогло вдруг вместить бла- женного волнения.

Он видел, как она бежала, сначала по лестнице, а потом свернула в за- росли диких слив и алычи.

Медленно он пошел следом.

Она лежала на траве и всхлипыва-

ла. Это были сладкие безудержные слезы, которые так часто заменяют юным и слова и мысли. Она плакала, потому что иначе не умела выразить своих чувств.

Медников понял, что подсмотрел тайну самой природы, и тихонько задвинул кусты. Как это удивительно, как хорошо плакать от предчувствия любви, подумалось ему. А ведь такая любовь могла бы достаться и ему! Она сама не знала пока, на кого ей излиться, стоило только подставить ладони...

«Не надо фантазировать, — прервал он себя трезво. — Что я стал бы делать с этой девочкой? Ведь с ней надо не только рядом жить: для нее надо жить. Нет, Милица проще».

Конечно же, она не потребует ничего чрезмерного, не будет заглядывать вглубь. Ей достаточно тех лучей его славы, в которых она смогла бы греться, как сытая кошка под солнышком. А здесь он всегда должен будет опасаться, что эти обожающие открытые глаза любят, в конечном счете, опять-таки не его, а Валентина! Наивно верят, что он с ним одно. О, трудная работа быть всякий день героем!

Милицу не трудно понять. А это существо могло взбунтоваться, отвергнуть любые блага. Она была неизученной звездой. Но как же она сияла! Как бескорыстно готова была изменить орбиту и лететь к нему навстречу, ничего не зная ни о нем, ни о самой себе, со всей смелостью чистой души. До сих пор кроется обаяние в этих старинных словах: чистосердечность, душа...

Май 1962

Он медленно поднимался по лестнице, а с балкона, высоко вверху, махала пестрым шарфом Милица. Он встряхнулся и поднял в ответ руку с некоторым даже облегчением.

...Юрий Медников сидел в ресторане, и ему казалось, что именно теперь он решает свою жизнь.

Милица тактично молчала. Для нее загадок не существовало, она знала, чего хотела: сверкать отраженным сиянием — сначала дядиным, потом мужниным. Но собиралась принести кое-что и в приданое: Юрий терзался, что может оказаться лишним для людей, что он немногого стоит сам по себе, когда не на экране. А она продлит ему иллюзию нужности. В лести, в уюте позаботится о том, чтобы слава имени Медникова не меркла и приносила деньги. Она будет неусыпно стараться для них обоих. Им будет совсем неплохо вместе!

* * *

Сознаюсь: история без конца. Землекопы ничего не узнают о любимом ими актере, как бы он ни поступил. А он может прожить до седых волос, не услышав даже самого названия Милица-речки.

Но все-таки существуют и тот и другие, и они связаны между собой!

Долг таланта не только в том, чтоб беспрерывно совершенствоваться. Это дается само собой, потому что в этом и заключается проявление таланта. Но тот, кому он достался, должен нести его с достоинством, не унижая. Талант — не только дар. Он — тяжкая ноша, и нужны крепкие мускулы, чтоб донести его до конца.

Славка Жефеста

Рассказ

Мы летим очень высоко.

Необыкновенный пейзаж стелется и покачивается за окном: голубые долины, волнистые белые поля, рощи, облитые розовым боковым светом; так выглядят головы облаков, а ведь до сих пор мне приходилось видеть только их подошвы. Сейчас я думаю: непростительно прожить жизнь и ни разу не увидеть этой молчаливой величественной красоты. Жить на земле, не подымаясь выше... Да, очень скоро мы вернемся на нее.

Наискось от меня сидит Славка. Мне видно его лицо в профиль: нахмуренная бровь, спущенный на лоб клок волос, выгоревших на солнце до рыжеватинки, какая бывает на овечьей шерсти.

Рядом со мной дремлет Клара, выставив в проход между креслами свои стройные длинные ноги в черных туфельках. Стюардесса, обнося пассажиров кислыми конфетками на подносике, каждый раз переступает через эти элегантные ноги; и каждый раз Костя Горяинов, который сидит впереди, уткнувшись в журнал, не оглядываясь бесцеремонно подгребаёт одной рукой Кларины ноги с прохода. Клара мычит и снова устраивается так, как ей удобнее. В конце концов Костя, привстав, дергает Клару за отворот жакета. Лицо у него при этом свирепое, вены на загорелой шее вздуваются. Но в этот момент все мы неслышно проваливаемся в воздушную яму;

Клара ахает, Костя смеется, а Славка вскакивает, растерянно вцепившись в подлокотники, и вид у него совсем несчастный — он забыл, где находится, и эта воздушная яма вытолкнула на его лицо все, о чем он только что думал...

Да и мы все, конечно, думаем о том же. И вовсе не к поведению Клары в самолете относилась ярость Кости: просто надо было ему взорваться. Может быть, он, как и я, еще не вполне уверен в том, что мы правы? Клара уверена. Когда я показываю ей глазами на Славку, она говорит:

— Ничего. Пусть он погорюет. Это пройдет.

Все мы любим Славку, все хотим ему добра. И это мы виноваты в том, что сидит он сейчас такой несчастный, выбитый из колеи. Наверное, вспоминает воронежский аэродром. И я вспоминаю тоже. Я снова вижу, как он ходит вместе с Тонечкой вдоль решетки, отделяющей маленький скверик от летного поля. Тонечка пристукивает маленьким кулачком по раскрытой ладони Славки, мягкой, белой, интеллигентской ладони — и говорит, говорит...

В Воронеже была очень плохая погода. Ветрено, сыро, под ногами лужи. И когда мы поднялись, внизу осталось грязное разъезженное поле. Провожающие стояли кучкой, подняв головы к небу. Запрокинутое лицо Тони в широкополой кавказской шляпе, которую, собственно, не было ника-

кой нужды надевать в Воронеже, показалось мне похожим на ватрушку. А Славка не мог оторваться от окна.

С каким веселым оживлением месяца тому назад мы ждали первой встречи с Тонечкой! Встреча должна была состояться в Кисловодске, где Славка с Тонечкой вместе проведут отпуск. Едва поезд отошел от Ленинграда, Славка начал рассказывать о ней. Он был уверен — его воронежская невеста всех нас очарует. На всякий случай, правда, делал вид, что вообще-то нашему мнению он уж не так много придает значения. Но так волновался, что Клара сказала: «Боже, до чего у тебя жалкий вид...» Славка даже не обиделся, спросил растерянно: «Правда?» И Клара снизила: тщательно, даже артистично причесала Славку, приказала переменить темные носки на светлые; но вдруг одним взмахом руки расстrepала великолепную прическу. Славка испугался, а Клара сказала: «Не надо ей показывать, как ты ждешь встречи с ней. Немножко пренебрежения никогда не мешает». Костя возмутился: «Во всяком деле надо быть честным, ждешь — так нечего и притворяться». Клара обозвала Костю увальнем: «Тебе ничего не стоит показаться девушке вот так, в смятой рубашке, с босыми ногами, как ты валяешься от самого Ленинграда». Они раскричались, я слушала спокойно: просто они и сами волновались за Славку. И как бы там ни было, а Клара не выбрала ни одного из своих «мальчиков», чтобы провести вместе отпуск на юге, а ехала с ним, с «увальнем» Костей. А Костя, кажется, и не догадывался об истинном значении ее поступка...

Невдалеке от Кисловодска поезд остановился на какой-то маленькой станции и тронулся дальше. Славка, сбитый с толку, стал стягивать с себя светлые носки. Он успел снять только один носок, когда дверь нашего купе неслышно откатилась и на пороге появилась девушка в широкополой кавказской шляпе, розовом платье и с букетом гладиолусов. Через две секунды мы с интересом наблюдали, как девушка целовала Славку в щеку; а он, багровый, растрепанный, наполовину разутый, похлопывал ее по спине одной рукой с зажатым в пальцах нос-

ком. Потом вытер этим носком пот со лба и, спохватившись, швырнул носок на пол.

— Это твои друзья, Славик? — спросила девушка, спокойно нагибаясь и поднимая носок. — Познакомь меня. — Она расправила носок на ладони, посмотрела, нет ли на нем дырочки, и положила в раскрытый Славкин чемодан. — А я, наверное, угадаю вас по письмам Славы: вы — Елена Викторовна, а вы — Клара, да?

Нам всем понравилась простота и естественность этой девушки. Другая была бы несколько больше смущена. Она зачем-то была на этой маленькой станции с милым названием «Минутка» и решила подсесть к нам, вместо того чтобы возвращаться в город на электричке и там встречать нас на вокзале.

Она мельком осмотрела все, что у нас оставалось на столике; откуда-то у нее в руках появилась авоська, в которую она деловито сложила остатки печени, всунула бутылку с недопитым лимонадом, ловко заткнула ее жгутом бумаги вместо пробки; послала Славку намочить под краном платок и обернула им стебли цветов. Костя, лежа на полке, уперев подбородок в кулаки, серьезно наблюдал за нею.

— Вы почему не собираетесь? — спросила его Тонечка. — Скоро приедем. А вы, Елена Викторовна, тоже думаете поехать на прогулку в горы? В вашем возрасте это рискованно: большая высота, разреженный воздух. Гор в Кисловодске вполне достаточно.

— Елена Викторовна самая молодая в нашем проектном бюро, — сказал Славка. — Это именно она и подговорила нас поехать в горы.

Тонечка вежливо удивилась:

— О, какая вы! Пожалуйста, не обижайтесь на меня за то, что я так сказала. Людям пожилым врачи рекомендуют спокойный отдых. С точки зрения здравого смысла это и правильно.

— А вы знаете, что такое здравый смысл? — спросил Костя, по-прежнему не спуская глаз с Тонечки.

Она неопределенно улыбнулась: кто же этого не знает?

— Здравый смысл — термин **неопределенный**, — с расстановкой сказал Костя. — Большой частью употребляемый во зло...

— Во зло?! — Тонечка распахнула реснички.

Славка стал медленно краснеть. Мы с Кларой весело переглянулись: не так давно сам Славка выпалил нам эту цитату. И теперь Костя с видимым удовольствием повторял ее.

— ...Здравый смысл — **это то**, что не поднимается выше среднего уровня познаний века, всеми признанного кодекса морали. Во имя так называемого здравого смысла осуждалось нравственное учение Сократа, отрицалась система Коперника. Во имя здравого смысла сжигали на кострах ведьм...

Тонечка расхохоталась, указывая на Костю пальчиком:

— Славик, слышишь! Твой друг всерьез говорит о ведьмах! Теперь, когда каждый пионер...

— Постой, Тонечка, он совсем не о том, — перебил Славка. — А ты — перестань. Совсем не к месту.

— Отчего же не к месту? — Костя сел на полке, свесив одну босую ногу, — крепкий, крупный парень, в клетчатой рубашке, расстегнутой на груди, с антрацитным блеском в прищуренных глазах. — А мне кажется, сейчас вспомнить это вполне своевременно.

Славка ему не ответил...

Два месяца тому назад Славка носился по нашему бюро и восторженно кричал:

— Замечательно! Великолепно! В Урмяжске геологи наткнулись на сплошную скалу! Это значит — можно строить на готовом естественном основании!

— Это значит, — сказал Костя, — что половина твоего проекта летит вверх тормашками, дурак. Полтора года работы. Я бы на твоём месте не танцевал по такому поводу. К тому же еще неизвестно, имеет ли смысл использовать эту скалу. Еще никто на таком основании не строил...

Вот тогда-то Славка и продекламировал вдохновенно изречение о сущности здравого смысла. Костя был уязвлен неожиданно и, пожалуй, не вполне заслуженно: он не был консерватором, просто — намного практич-

нее и рассудительнее своего друга. Выслушав Славку, он сказал:

— А все-таки — дурак...

— Милый дурак, — уточнила Клара.

Всего этого не знала Тонечка и слушала Костю с наивно-безмятежным видом. Вагон качнуло и дернуло. Костя чуть не свалился с полки. Тонечка рассмеялась.

— Ну, вот и приехали! Занялись тут бог знает чем, а вещи не собраны. Славик, давай, что там еще можно спрятать в чемодан?

Нас привезли в санаторий. Поездку в горы нам сразу не разрешили, сказали: надо подождать, акклиматизироваться... Мы ждали.

Мы с Кларой жили в одной комнате. Тонечка устроилась на частной квартире. Славку мы видели только в столовой или изредка у ванн — он всегда торопился уйти в город, к Тонечке, и возвращался всегда в одно время — вечером, в начале одиннадцатого часа. У Кости обнаружилась страсть, о которой мы раньше и не подозревали: часами он свирепо «забивал козла» в обществе пожилых немногословных мужчин — они собирались возле столовой на скамейках под сенью акаций и играли дотемна. Частенько и мы сиживали на этих скамейках. Я подружилась с женой профессора ботаники — приятной, уютной москвичкой. Профессор по утрам работал, после обеда отдыхал, вечером играл в пинг-понг с девушками. Его жена, чернобровая, но уже седая, сложив полные руки на животе, наблюдала за мужем спокойными ласковыми глазами. За Кларой, ленивой и томной, неизменно элегантно, увивались поклонники. Она их отпугивала равнодушной дерзостью и тоже часто сидела с нами под акациями, вытянув ноги, закинув руки за голову. Сидела, смотрела и слушала...

Снизу из парка доносится музыка.

А под акациями журчит неторопливая беседа:

— Вид чего тут у их кукурузе не родить! У их тут климат какой!

— Совсем, совсем пузырьков не было. Наверное, они все-таки разбавляют нарзан...

— Знаете, я разочаровалась в штапеле...

— Конечно, после института пошлют. Отец говорит — чего бояться? А я боюсь...

— Да нет же, говорю вам: тот самый Макаров, что в нашем обкоме работал...

Скрипя по гравию ботинками, проходят мимо нас трое; в середине — пожилой, осанистый, в штатском. Рассекая воздух рукой, говорит:

— Главная наша задача была — подтянуть тылы...

На освещенной веранде скачет легкий белый шарик: «Тук-тук! Тук-тук!» Профессор, красивый стройный старик, ловит шарик, галантно подает его раскрасневшейся молоденькой партнерше.

— А спутник-то летит... — тихонько говорит Клара.

Над нами совершают свой путь созвездия. Неслышно рушатся старые миры, вспыхивают новые. Кружится под нами земля. Маленький отважный ее сын летит, летит, торопясь прийти вовремя в заданные точки...

* * *

Через неделю нам разрешили поездку в горы. В автобусе делать было нечего, а до гор ехать далеко. Профессор развлекал соседей рассказом о поездке в Туркестан; Костя со своими новыми друзьями забрался на заднее сиденье. Сблизив головы, они о чем-то бубнили, затем взрывались хохотом — ясное дело, рассказывали анекдоты. Тонечка со Славкой тихонько беседовали; мы с Кларой сидели позади них. Клара, обернувшись назад, попросила:

— Рассказывайте для всех, нам же скучно.

— А можно? — лукаво спросил загорелый простоватый дядька в тубетейке, расшитой пестрыми шелками. Он пересел поближе к нам и начал: — Значит, дело было так...

Анекдот был явно «для курящих», но рассказывал его этот дядька так, что невозможно было не смеяться. Даже профессор умолк, а его жена, полукротившись, улыбалась. Я любовалась рассказчиком: не был он красив — человек как человек, может быть, районный работник, может, слесарь или шахтер... Обаятельным делало его

удовольствие, которым он весь светился; удовольствие, вызванное тем, что сам он доставлял удовольствие другим. Человек старался: подбирал интонации, умело выдерживал паузы, изображая жестами и мимикой людей тупых, глупых, прячущих за благовидной личиной свои неблагоприятные поступки. Словом, рассказывал он свои немудреные побасенки артистично.

Отдыхая от смеха, я вдруг заметила, что впереди нас что-то происходит: Славка пригнул голову, а Тонечка быстро и сердито говорила:

— ...Не хочешь, тогда я сама. — Она обернулась, щека у нее горела заревом, на носике выступил пот, а голосок звенел: — Прекратите, пожалуйста! Стыдно вас слушать!

Рассказчик, прерванный на полуслове, умолк. Поморгал обиженными круглыми глазами, пробормотал:

— Как хотите...

И нам всем, слушавшим его беззаботно, вдруг стало неловко, мы почувствовали себя уличенными в чем-то нехорошем. Кто-то вступился:

— Да бросьте вы, право... Продолжайте. Что особенного?

Но вдохновение рассказчика уже было убито. Он молчал. В автобусе стало тихо. Слышно было, как шумит мотор. Все потянулись к окнам и убедились, что там все еще расстилаются поля. Ощутимо повисла в воздухе скука.

Водитель оглянулся, предупредил:

— Готовьтесь, товарищи, сейчас будет остановка.

Мы всполошились:

— Почему здесь? Куда мы пойдем?

— Остановка предусмотрена маршрутом, — важно объявил водитель, чему-то посмеиваясь. — Женщины пойдут налево, мужчины — направо...

Мы стали выходить, с веселым удивлением обнаружив, что действительно имеем необходимость на некоторое время разделиться... Кудрявая лесная полоса подступала с двух сторон к шоссе. Кусты были пронизаны красноватым светом низко сидящего солнца. Мы гуськом шагали по меже, высокая трава обхлестывала ноги, с лиловых головок репейника срывались белые бабочки — они уже уселись на ночлег. Нас полонили запахи поля —

медовые, полынные, терпкие. Мы вошли под кусты, а через несколько минут раздался хохот: на тропинку выскочила Клара, подпрыгивая на одной ноге и почесывая другую:

— Крапива!

— О, а какая малина! — откликнулась седая профессорша.

Мы набрали несколько горстей сухих, жестких ягод, удивительно ароматных, и не съели их, потому что решили подзадорить мужчин: ага, вот мы что нашли! Но мужчины явились со своими трофеями: Костя, приплясывая, вертел подсолнух, как бубен.

— Не лезь, Кларка, ты сама себе добудешь, а это — вот кому...

Я разломила круглую корзинку — шершавую, с необорванными желтоватыми листьями. Посыпались мягкие семечки в атласной лиловой кожурке.

— Так и знал, что мусору в машину натащите, — сказал водитель.

— Знали, а зачем остановили здесь?

— Надо же вас побаловать...

Мы еще немного погуляли. Девушки плели венки, рассказчик анекдотов, положив на кулак листы подорожника, хлопал по ним ладонью — получались звучные, веселые выстрелы. Профессор читал краткую лекцию о пользе козлятника, травы из семейства бобовых, а вокруг смеялись, подталкивая завязтых любителей «забывать козла».

Водитель двумя короткими гудками позвал нас к автобусу — показалось, сзывает нас сама машина, большая голубая наседка с поднятыми крыльями капота. И только подойдя ближе, мы вдруг заметили одиноко торчащую в нем фигурку: Тонечка-то так и просидела всё время, как кондуктор! Славка стоял возле автобуса, вертел какую-то былинку...

В последнюю минуту мы обнаружили, что с нами нет Клары и Кости, а потом увидели, как они бегут по полю; у обоих в руках были подсолнухи, Клара прижимала к груди несколько штук.

— Ну-ну, за это колхозники могут всыпать, — сказал кто-то из мужчин. — Давайте, давайте вы скорее! — Все принялись так усиленно махать и кричать, точно за Klarой и Костей уже

была погоня. В автобусе Клара надеялась подсолнухами всех подряд.

— Славка, это вам на двоих. — Она протянула им большую, кажется, самую лучшую корзинку.

Тонечка сказала:

— Спасибо. Я не люблю семечек. От них зубы черные. И вообще...

— Тонечка, тебе от окошка не дует? — быстро спросил Славка.

Клара помедлила и молча, не глядя, перебрала подсолнух через плечо — он полетел на заднюю скамейку, там его со смехом поймало несколько рук...

* * *

Я не знаю, почему мне сейчас вспоминаются все эти мелочи. Они упорно просверливаются из глубины памяти на поверхность, прогрызаются, как червячки-древоточцы. Почему я не могу сейчас, наблюдая заоблачные дали, все эти великолепные сияющие вершины и движущиеся пропасти, думать только о величии человека, гордого и прекрасного в своей жажде знания, ведущей его в космос? Я люблю его, этого человека больших масштабов, со взглядом, не замутненным сомнениями. Мне хотелось бы, чтобы он был моим сыном. Он одет в какую-то до мелочей продуманную, целесообразную одежду; вот он поднимает маску, защищающую его лицо от космических лучей, и... странная игра воображения! Я вижу выбившийся из-под шлема клок волос, похожих на овечью шерсть, вижу сдвинутые страдальчески уголки бровей — да это же Славка! Он смотрит растерянно, точно извиняясь, что занял вдруг место прекрасного космонавта...

— Елена Викторовна, вы считаете, что именно мне придется лететь?

Так он меня спросил ночью, над обрывом... Костя выгнал нас из домика лесника на улицу, потому что ему, Косте, надо было проявлять фотопленки. Это было уже на вторые сутки нашей прогулки. Накануне нас привезли в горы. Позади у нас был длинный, утомительный и прекрасный день: мы были в заповеднике, поднимались к альпийским лугам, дышали холодным свежим ветром, скользящим с ледников, забирались на утесы — они лежали поперек голубых кипящих

рек. В туристском лагере всем нам не хватило места, и мы попросились ночевать к леснику. Лесничиха жаловалась: «Эти заразы третий раз у нас картошку воруют». Заразами она называла оленей: они приходили ночью на огород рыть копытами картошку и уходили. Одного мы видели днем: он отдыхал в тени, шерсть у него была желтая и необыкновенно чистая. Несмотря на повернувшую к нам голову, коронованную ветвистыми рогами, поглядел сливовым влажным глазом — и отвернулся.

А вечером я сидела у обрыва. Внизу весело и грозно шумела река. Над неподвижной шубой лесов, окутавших горы, ходили туманы. Тускло блестели языки старых потрескавшихся ледников. На черных пиках вершин ярко светились молодые снега. На опушке дубравы, осторожно переступая копытами по прелой листве, следили за нами ветвистые олени: ждали, вздыхая, когда мы уйдем, чтобы отправиться в огород лесничихи.

Тонечка сидела на крыльце. Лесничиха снимала с кустов шиповника разбросанное для просушки белье и скатывала его валиком.

— Страшно здесь. И скучно, — говорила Тонечка, позевывая и прикрывая ладошкой рот. — Горы кругом торчат. Скалы... А вдруг — обвалится? Все ноги избивала по камням. Мы встретили сегодня туристов: и, боже ж мой, как они навьючены! Идут гуськом, в трусиках, в этих тяжелых своих ботинках. Один дядечка в очках и с ним женщина, лет, наверное, уже за сорок, ноги толстые, смотреть неудобно, поцарапаны, как у тринадцатилетней девчонки. Я спросила: «И зачем вам так мучиться?» Смеются... Не понимаю. Мы сели отдохнуть — на нас муравьи накинлись...

— Кому что нравится, — отвечает лесничиха. — Муравьи — полбеда. У нас тут и змеев полно.

— Ох, не говорите! Я так боялась. Я уж нарочно шла позади всех по тропинке, чтобы их распугивали. А ящериц сколько! Вот же ведь додумались уничтожать сорняки с самолета. Взяли бы — распылили здесь такую жидкость, чтобы все змеи, ящерицы, осы, муравьи — все подошли. И тогда мож-

но ходить по траве босиком и не бояться...

Обняв рукой столбик на крыльце, стоит неподвижно, точно выточенная из дерева, Клара.

— Воображаю, — говорит она медленно, — какая бы вонища была в этой долине от дохлых змей...

— Клара! — вскрикивает Тонечка. — Ну зачем ты говоришь такие гадости?

— Развиваю твой проект. Можно еще поставить капканы на оленей. А кабанов перестрелять.

— Этого нельзя, — говорит Тонечка, подумав. — Здесь же заповедник. А интересно: кабанье мясо — как свининка?

Клара резко поворачивается и уходит в дом. Оттуда она появляется вместе с Костей, тащит его за руку. По тропинке они выходят на дорогу. Она вьется серпантинком по склону горы. «Сквозь туман кремнистый путь блестит...» Тонечка тоже гуляет со Славкой. Она усаживается на огородное прясло, тихонько вскрикивает: можно упасть! Славка поддерживает ее. И мне кажется, что из темной чаши на них укоризненно смотрят олени. За камнем шушукуются ящерицы. Холодным презрением казнят Тонечку мудрые медлительные змеи. А муравьиный народец крепко спит после дневных трудов, выставив на страже своих муравейников голенастых зорких солдат.

А те двое, Костя и Клара, ушли далеко. Их силуэты видны на светлой лунной дороге. Она обрывается на вершине перевала. Шагнуть еще — и окажешься на Млечном Пути.

Становится холодно. Славка, проводив Тонечку в дом, подходит ко мне:

— Елена Викторовна, вы считаете, что именно мне придется лететь? И сколько времени я должен там пробыть?

Мне не нравится это слово «пробыть», которым Славка определяет свою командировку в Урмяжск. Но я понимаю, что заставляет его говорить именно так. Я могла бы утешить его, сказать, что еще ничего пока неизвестно. Но я отвечаю честно:

— Конечно, Слава, кому же еще? А командировка может затянуться на полгода и больше. Как потребует само дело.

— Дело, дело! А кроме дела... Эх, Елена Викторовна, старая история: человеку надо жениться, человеку надо лететь. Конфликт личного и общественного.

— Глупости, такого конфликта у тебя нет. Никто не может запретить тебе жениться.

— Никто? — Славка прислушивается. — Да, никто... Наверное, только я сам. Но почему, почему вы все ее так невзлюбили? Я это чувствую, и она тоже. Даже у вас, Елена Викторовна, у вас — и то не находится для нее ни одного ласкового слова! Что она вам сделала?!

К нам подошли Клара и Костя. У Клары волосы растрепаны, глаза блестят; может быть, там, наверху — ветер? Костя, заложив руки за спину, расставив ноги, угрюмо смотрит в землю. Почему-то, глядя на него, вспоминаешь, что раньше он работал грузчиком. Говорит он, против обыкновения, устало и серьезно:

— Слава, твоя невеста ничего не сделала нам. Вот именно — ничего...

Славка цепляется за слова, он ловит в них только один, единственно нужный ему смысл.

— Так в чем же дело? — кричит он возмущенно.

— Дело в том... — Костя на минуту задумывается. — А ты не замечаешь, Славка, как в тебе проклюнулось кое-что такое... противенькое, а? Ты ведь оказываешься, эгоист, вот ты кто! По какому праву ты требуешь от нас, чтобы мы притворялись? Мы молчим, но тебе этого мало: подай тебе для полного твоего спокойствия еще и нашу любовь, ласку, внимание...

— Костя, — предупреждающе говорит Клара. Но он не слушает ее, распекаясь все больше и больше:

— Чего ради я должен пристраиваться к тебе, или вот она, Клара, или Елена Викторовна? Почему ты вклиниваешься в нашу жизнь?..

— Костя! — на этот раз Клара уже кричит. — Перестань! Надоели! Не хочу я больше об этом слышать. И ты, Костя, уходи, слышишь!

Нет, наверное, там, наверху, не произошло ничего хорошего. Иначе почему Клара так зло кричит на Костю, и он, все же подчинившись ей, уходит,

но шагает не по тропинке, а напрямик, через кусты, круша на ходу ветки? Славка идет за ним, пытаясь еще что-то выяснить, но Костя отмахивается от него.

Клара с силой швыряет ногой камень вниз, в бурную реку, он летит, ударяясь о выступы скалы, отскакивая и высекая искры.

— Я не могу, Елена Викторовна, ей-богу, я не могу больше! — говорит Клара, вздрагивая от возбуждения. — Я ненавижу ее, я ее убить готова...

— Клара, как не стыдно! Что это за истерика? Нельзя так относиться к человеку. Надо уважать чужие чувства. Сядь, успокойся.

Клара послушно садится.

— Вы непоследовательны, Елена Викторовна, — говорит Клара, глядя на Млечный Путь. — Вы всегда говорите, что человек должен быть непримиримым...

В самом деле, я это говорила. Непримиримым к явлениям и к людям, осуждаемым обществом: стяжателям, подхалимам, тунеядцам, и прочее, и прочее... А что такое Тонечка? Что мы можем поставить ей в вину? Мы, наверное, ревнуем Славку к его невесте. И это затуманивает наше зрение. Или, наоборот, заостряет?

Нас разбудили на заре. Мы спустились в долину, к туристскому лагерю. Обставленная со всех сторон горами, она выглядела, как каменная чаша. Ноги стыли в траве, полегшей от росы. Воздух был чист до предела, пахло только снегом, остальные запахи крепко спали, свернувшись клубочками в сомкнутых венчиках цветов. Звуки тоже спали, только особенно громко шумела река, и над нею стояло марево холодных стеклянных брызг.

Дядька в тубетейке, заспанный, серый, повязанный чым-то платком, разводил костер. Мы носили ему палки, желтые, обглоданные, как старая кость. Мокрая черная кора сползала с них от одного прикосновения. Костер дымил, дядька чертыхался. Профессор и Костя ушли на турбазу добывать чай. Я с профессоршей и Klarой раскладывала порциями колбасу, хлеб, сыр. Все это ночевало в машине и было холодное, твердое, не похожее на еду. Листики сыра коробились.

Сплюсненные соленые огурцы стали резиновыми. Консервный нож мы взяли с собой, конечно, забыли.

Принесли чайник, и мы наперебой стали угощать друг друга. Стаканов оказалось только пять, мы пили, обжигаясь и горопясь.

Тонечка сидела на пеньке, точно на нем и выросла: неподвижно, укутанная в Славкин плащ, в шарфике, которым повязалась поверх шляпы, чтобы не простудить ушки. Славка, собирая топливо для костра, то и дело подбегал к ней, говорил что-то утешительное. Тонечка жертвенно молчала и помаргивала острыми ресничками. Славка забрал две порции еды, отнес ей. Чай они пили из синей эмалированной кружечки. Когда напились, Тонечка вытерла ее платочком и спрятала в сумочку.

Профессорша, женщина добрая и светская, сказала Тонечке несколько ничего особо не значащих, но в общем-то приветливых слов.

— Очень холодно, — ровным голоском ответила Тонечка. — И завтрак невкусный. Я не выпалась ужасно. И костер только дымит, а не греет.

— Ну, дорогая моя, все это можно и перетерпеть...

Тонечка выслушала и спросила:

— А зачем?

Профессорша вздохнула и отошла. Встало солнце. Раскрылись цветы, затрепетали листья, вспыхнула радуга в брызгах над водопадом. Каменная чаша до краев наполнилась медовым светом и теплом. Это утро следовало бы положить на музыку. Мы ехали на перевал в нашем настывшем за ночь автобусе и охрипшими, простуженными голосами пели песни. Славка молчал, Тонечка кутала горло...

Вот, собственно, и все, что произошло с нами на этой прогулке. Никто не свалился в пропасть, никто не тонул в реке, никого не укусила змея. Так что случая для проявления смелости, самопожертвования и прочих прекрасных качеств человеческой души просто не представилось. Сонные, голодные и счастливые, мы вернулись в свой санаторий.

Мы жили там почти месяц. Славка проводил все время с Тонечкой. Но стал приходить раньше и остаток вре-

мени коротал в читальном зале. А любители «забивать козла» неожиданно потеряли своего самого заядлого игрока: Костя с Кларой с утра до вечера ежедневно бродили в горах. Клара забросила все свои туалеты, ходила в одном выгоревшем сарафанчике, черная, обветренная. Но спала плохо, иногда вскакивала и подолгу стояла на балконе, глядя на огни города, раскинувшегося внизу по ущельям лапами огромной морской звезды. Я не могла не тревожиться за Клару.

— Не надо, Елена Викторовна. Я счастливая, — сказала Клара и заплакала. — И еще я — дура. — Она засмеялась. — Но все должно быть хорошо. Честное слово.

Этим она мне ничего не объяснила, но я решила верить ее честному слову. А объяснение я получила вскоре.

Днем, в тихий час, в женскую палату ворвался Славка, потрясая телеграммой. Следом вбежали няни и сестры, окружили Славку, обволокли, как ткань обволакивает инородное тело, и увели. Клара вскочила, позвала меня с собой. Через тихую, нагретую солнцем бильярдную, на цыпочках, потом по какой-то темной лестнице мы спустились в сад.

Под акациями сидел Костя, удобно раскинув руки по спинке скамьи, покачивая ногой, на которой висела тапка. Перед ним взад и вперед бегал Славка и выкрикивал отдельные слова: — Благодетели! Предатели! Свинство...

Увидев меня, застопорил:

— Вы?! Вы заодно с ними?

Я совершенно искренне сказала, что ничего не знаю. Тогда он сунул мне в руки телеграмму. Я прочла и сказала, стараясь по возможности не показывать, как огорчило меня поведение Славки в связи с этой телеграммой:

— Слава, этого следовало ожидать. Мы с тобой уже обсуждали это, помнишь, там, вечером, в горах? Раз требуется, значит надо тебе лететь...

Славка засунул руки в карманы, откинулся назад, из горла у него вырвался какой-то клекот, долженствующий изобразить саркастический смех.

— Кто требует? От кого?! Вы прочли, кому адресована телеграмма?

Горяинову, Константину Васильевичу Горяинову! Да, да, а не мне... Вот он сидит перед вами, Костя Горяинов, рубаха-парень, чудесный товарищ, он, видите ли, выручая друга, сам напросился в Урмяжск, в это самое тартары...

Клара обняла меня, заговорила быстро и сумбурно:

— Елена Викторовна, вы такая добренькая, чтобы вы не вмешивались, мы берегли чужие чувства, поэтому вам не сказали. Костя, это правда, сам писал Сергею Ивановичу, понимаете, если Слава... не может.

— Дело обстоит просто, — сказал Костя. — Поскольку проект этого типа отпал сам собой...

— Частично! — выкрикнул Славка.

— Частично. В той именно части, где было предусмотрено создание искусственного основания. — Костя говорил скучным заседательским голосом, не меняя своей ленивой позы. — ...Постольку проектирование с учетом нового основания может быть поручено другому лицу...

— Не дам! — рявкнул Славка.

В эту минуту он был великолепен, наш Славка: взъерошенный, весь какой-то растопыренный, как обороняющийся вороненок, и в то же время непоколебимый, как бронзовый полководец.

— Я начал, я и закончу! И тебе не видать Урмяжска, как своих ушей. Если понадобится, я пробуду там шесть, восемь месяцев, год или два... — Он вдруг осекся, растерянно взглянул на нас, схватил телеграмму и побежал по аллее; его ботинки дробно застучали по каменной лестнице, ведущей вниз, в город, к Тонечке...

Костя стремительно пригнулся, точно одним прыжком хотел догнать Славку; Клара вытянулась, как стрелка.

Я посмотрела на них и спросила:

— А если ваша ставка будет бита?

— Мы поставили на его честь, — серьезно ответила мне Клара. — И на нашу...

Костя, ухватившись руками за скамейку и раскачиваясь, как от зубной

боли, пробормотал: — Сорвется... эх, сорвется!

— Если сорвется — значит, нету больше нашего Славки, — сказала Клара. — Есть Тонечкин.

— И тогда, действительно, поедет Костя? — спросила я.

— Ну да.

— А ты?

— Я? — Клара прикусила губы, зажмурилась, потом бесшабашно встряхнула головой: — А что обо мне говорить? Вообще-то дело выеденного яйца не стоит: шесть месяцев или год — от этого не умирают. Подумаешь, беда!

— Перестань, Кларка, — попросил Костя.

Я ушла, оставив их вдвоем. «В самом деле, — думала я. — Что за беда — разлука... Не навечно же. Пусть едет Костя...» Я забыла, что тихий час еще не кончился и двери в санаторий закрыты. Мне пришлось вернуться в сад. Костя и Клара сидели, по-прежнему прислонившись друг к другу, и смотрели на свои сложенные вместе руки — что они там разглядывали? Свою маленькую беду или Славкину большую?

Вечером Славка и Костя столкнулись у кассы аэропорта. Славка взял два места: одно — до Ленинграда, другое — до Воронежа. А Костя брал билеты до Ленинграда, три, потому что мы с Кларой все равно не высидели бы оставшиеся дни в санатории, не зная, как решится вопрос в Ленинграде.

И вот мы летим, оставив уже и Воронеж далеко позади. Как мы и догадывались, Тонечка сказала Славке: «Либо я, либо Урмяжск. Дело не в одном Урмяжске, я чувствую, что их, этих урмяжсков, у тебя в жизни будет без конца. Разве нельзя иначе?» Славка ответил: «Мне — нельзя...»

И вот он сидит в самолете, наискось от меня, опустив голову, и не глядит на нас. Мне от души жаль его, а Клара шепчет:

— Ничего. Пусть он погорюет. Это пройдет.

Новелла Матвеева

С О Н

Мне снилось: мир притих и ждет конца.
Многое менялось перед смертью:
Стремительно меняло цвет лица
И торопливо обрастало шерстью.

«Быть или не быть» — вопрос решен.
И я увидела, как некто
В единый миг
Был начисто лишен
Былых тысячелетий интеллекта.

«Жить! — он кричал. — Скорей, скорей, скорей!
Жить! Доживать! Дохрустывать селедку!»
А в желтых лужах высохших морей
Прятели дохлестывали водку
И всяко развлекались: тот просил
В долг (перед смертью!) рубль; тот — плакал зло и звонко...
И кто-то, пробегая, откусил
Пол-ляжки от живого поросенка,
И кто-то по камням проволока,
От напряженья жилистый и синий,
С утробным рыком, в темный уголок
Ту, что вчера со страхом звал богиней.

О, страшный суд!
Неужто ни души
Бессмертной
Так и не было на свете?!

Но что я вижу!
Книги,
Чертежи,
Мотыги,
Статуи,
Рыбачьи сети...

Здесь
Каждый что-то строил,
Пел,
Лепил,

Элида Дубровина

МАМА

Мама ни о чем не будет знать,
Над плитой станет хлопотать,
Как всегда, проводит до дверей,
Скажет: «Возвращайся поскорей!»
Скажет: «Мальчик, горло береги!»
Скажет: «Будут к чаю пироги...»

Только сердце екнет — отчего бы? —
Если сын обнимет по-особому.
И тогда, предчувствуя разлуку,
Мать лицом к шинели припадет.
Маленькую сморщенную руку
Сын от плеч тихонько отведет,
Скажет: «Что ты?..»
Скажет: «Тут сквозняк.
У тебя спина болит и так!»

От Земли умчится звездолет.
Имя сына диктор назовет.
Ей соседи крикнут: «Слушай, мать!»
Бросит мама майки полоскать.
Плечи вдруг опустятся устало,
И зашепчут губы: «Так и знала...»

Пироги с капустою сгорят.
В горле запершит от едких слез.
Мать соседям скажет невпопад:
«А давно ли коклюш перенес,
Был совсем беспомощен и мал,
Рвал штаны, будильники ломал?»

А когда весь мир зарукоплещет
Просто маме — маленькой, земнсьй,
Возле рта морщинки станут резче,
Волосы — богаче сединой...

ГРОЗА

Ветер.
Ночь.
Листвы разбойный ропот.
В черный мрак сливаются леса...
Плещется, гремит над всей Европой
В ярко-синих молниях гроза.
Над туманной Шельдою, над Рейном
Ливни предрассветные звенят,
А земля — все чище,
Все мудрее.
Беспокойней сердце, зорче взгляд.

Лишь глаза закрою — снова вижу:
Дом разрушен, виноградник выжжен.
В детстве это было — не во сне...
Потому печаль ангольских хижин
Так близка и так понятна мне.

Стоны братьев снова мной услышаны,
Жаркая Родезия моя!
Этот дым — не из моей ли хижины:
Тусклый, с красным блеском по краям?
То не я ли с пульей в сердце падаю?
Хлещет дождь по трещинам камней.
И курчавый Алька плачет рядом,
Тянет ручки черные ко мне...

Я открыла окна в пляску света,
В сырость леса, в звучные дожди.
Боль какая!.. словно вся планета
Бешено колотится в груди.
Жимолость, из серебра литая,
То сверкнет, то гаснет, как свеча,
И грохочет гром. И пролетают
Молнии у самого плеча.

Рина Борисова

ДИАЛОГ О ЛЮБВИ

— Я обращаюсь к тебе, Машина,
К тебе, мозг электронный,
С твоей
 логикой неумолимой.
Объясни, почему
Из миллионов людей,
 на земле живущих,
Нужен мне именно он?
Ничего не стану таить
От тебя, Машина,
Чтобы лучше могла ты
С задачей справиться.
У него — черты лица неправильные,
У него глаза близорукие
И полуседые волосы,
Все еще
 по-юношески непокорные.
В улыбке его
 больше печали, чем радости,
И очень много иронии...
Объясни мне, Машина,
Почему, лишь только его я увидела,
Сразу решила,
Что руки мои созданы,
Чтобы пригладить его непокорные волосы,
Что нежность моя
Нужна,
 чтоб в улыбке его
Стало меньше печали, чем радости...
Ты запомни, Машина,
Своей электронной памятью
Все стихи мои, ему посвященные.
Кажется,
 очень логично, доходчиво
Я ему объяснила, что мы друг для друга созданы.
А он не понял!
Сказал, что я не смогла
Отогреть его душу застывшую,
К большой любви не способную.
Объясни мне, Машина:
Как может такое случиться,

Что сама я горю,
Но не в силах его отогреть?
Где же тогда
Законы термодинамики?..
И где во всем этом логика?
Ответь мне, Машина Будущего!
Донесись ко мне, голос
Из дали тысячелетий,
Из совершенного общества,
Где люди умны,
прекрасны и счастливы!

Ответь,
почему в наш век
Происходили такие нелепости:
За счастье всех
Боролись мы яро и радостно,
Личное же, свое,
Порой уплывало из рук...

* * *

— Тихо! Внимание! Слушай
Голос Машины:
Тебе отвечаю, Женщина!
Ты нарушила два закона —
Времени и Количества.
Для созреванья любви
в ваш век
Было нужно время определенное:
Столько-то дней и часов — минимум,
Столько-то дней и часов — максимум.
И еще: у любви,
как у веществ радиоактивных,
Есть критическое количество.
Ты не учла это, Женщина,
Ты перешла предел,
И последовал взрыв.
Так бывает всегда,
Когда законы не соблюдаются.
Согласно статистике,
в век ваш
Столько-то миллионов и столько-то тысяч женщин
Мужчинами были оставлены,
И ты — лишь одна из них!

* * *

— Нет! Не годится мне
твой анализ!
Ты, конечно, ужасно умна,
Но я не отдам свою боль
За твою
непогрешимую правильность!
Мы — Люди!
И каждый из нас
Хочет быть в любви исключением
Из правил — банальных, затасканных...

А ты, Машина,
 не признаешь исключений!
Нет уж!
В чувствах, в искусстве ли —
Будем мы биться
За правду свою — не машинную, человечесью!
Мы каждый день будем
 творить чудеса —
Не божеские, свои, человечесьи!
А чудеса — случаются!

СТРАШНАЯ ВЕСТЬ

Что?! Ничего не случилось? Никто ничего не слышал, Никто ничего не заметил? Для всех мир остался таким же, Каким был минуту назад. Ни одна сейсмическая станция Не засекала чудовищного взрыва. Даже чернильница, Передо мной стоящая, Не шелохнулась! Может, мне только приснилось, Что мир рассыпался в прах И обломками его Я засыпана заживо? Нет, не приснилось. Вот он, Белый листок бумаги, И слова на нем: «Я ошибся...» Куда мне от слов этих деться? Были б глаза слепыми — Я б не увидела строк... Но видят мои глаза, И все вокруг Выглядит так же, как прежде! Раз никто не заметил крушения мира — Значит, прозрачным был этот мир! Но почему мне так трудно Выбраться из-под обломков? Почему не могу добиться, Чтоб ни один мускул лица не дрогнул? Предатели — глаза мои! Зачем сочтется из вас Эта соленая жидкость? Ею не смыть все равно Слов тех жестоких с листка бумаги! Губы — предатели! Зачем вы кривитесь, Морща лицо, страшной гримасой,	Словно вцепилась в него Когтистая лапа зверя? Нет, так нельзя. В наш атомный век Плакать из-за любви Уже, говорят, не положено. Горе теперь должно быть Невидимым и неслышимым, Словно потоки нейтронов, Несущие людям смерть. Сердце свое надо закрыть Броней непроницаемой, Какой окружают Пекло атомного реактора... Нет, так нельзя! Пусть будут руки в крови, Пусть будут ободраны ногти — Но я должна Выбраться из-под обломков! Жизнь продолжается, В ней очень много дел Выделено мне на долю, И ни одно из них На других свалить я не вправе. Идем же, сердце, в дорогу! Может быть, мы с тобой Еще будем людям полезны. Нет, мы не станем Прятаться под бетонные плиты. Откроемся жизни навстречу! Пусть потоки частиц любви Во все стороны распространятся — Радиация эта Ни для кого не опасна! Ну, а нам не опасно ли, сердце, Жить совсем без брони, обнаженно? «Ничего! Так удобнее — К людям мы будем ближе!»
--	---

Людмила Попова

РОБЕРТИНО ЛОРЕТТИ

Вы знаете, люди?
Вы слышите, дети?
Поет мальчуган Робертино Лоретти,
В костюмчике с бантом, в коротких штанишках
Поет шуткатура простого сынишка.
Мальчишеским голосом, чистым и звонким,
Поет на концертах «В защиту ребенка»,
И в черных глазах его радость и горе,
И светится в них Средиземное море.
И песня Италии, с крыльями птицы,
Летит с ним по всем европейским столицам,
Сердца покоря таинственной властью,
Мечтой о простом человеческом счастье.
Поет, он ни с кем не сравнимый, не схожий,
И я за судьбу его страшно тревожусь,
За жизнь его в мире корысти жестокой,
За песню, что может умолкнуть до срока,
За голос, что слышу из чуждой ночи я:
«О, Санта Лючия!.. Санта Лючия!»

* * *

Как много надо
в краткий срок вместить,
Но главное у сердца на примете —
Друзья, которых надо навестить,
И письма, на которые ответить.
Стихи, что, как разобранный рояль,
Нетерпеливо требуют звучанья,
И все непосещенные края,
Где побывать дала я обещанья...
Неудержимые несутся дни,
И столько лучших песен не пропето..
А вы мне говорите: «Отдохни!..»
Как будто бы все дело только в этом.

Ирина Малярова

НА ШОССЕ

Прострочены,
Прострочены
Ромашками обочины,
Зарей облиты утренней...
Мы, солнышком облуплены,
Срываем только крупные.
А ты букет завяжешь.
Положишь и расскажешь,
Взглянув из-под руки,
Откуда здесь, в канавинах,
Оружие в окалине.
...Вновь с Балтики,
Из Таллина,
Идут грузовики...
Прострелены,

Прострочены
Дороги и обочины.
Неравные бои...
Прорваться бы к своим!
И падают в ромашки
Багровые тельняшки,
И бескозырок ленточки
Роняют якоря...
Пустила парус по ветру
Высокая заря!
...Мелькают мимо кузова
С капустою, арбузами.
А ты с собой не справился,
Слезой с железом сплавился,
О прошлом говоря.

БАЛЛАДА О ВЕЧНО ЖИВЫХ

Есть у каждого дела
Начало начал.
Я хочу, чтоб товарищ
Минуту молчал.

Только звякает стремя
Да цокот подков...
О, бессонное племя
Двадцатых годов!

Там заря за зарею
Проносится вскачь,

За атакой атаку
Сигналит трубач.

Перед теми ночами
Все мы в долгу.
Это вам отвечала
Зоя: «Смогу!»

Принимайте наш рапорт,
Седлайте коня.
Комсомольцы двадцатых,
Совесьь моя!

Софья Солунова

ПИСЬМО МАТЕРИ

Над саманной неуютной крышей
Встали звезды в радужном строю.
Я все жду, что кто-нибудь напишет
Про тебя, далекую мою.

Сколько б слухов ни стучалось в двери,
Сколько б гроз ни ждало в тишине,
Никогда не сможешь ты поверить,
Что могла я изменить стране.

Пусть седую голову не клонит
Непривычный и ненужный стыд.
Мое сердце на твоей ладони
С детских лет открытое лежит.

Кто же знал, что вороном зловещим
Обернется ласковая жизнь,
Что придется скомканные вещи
Для иной дороги уложить.

По высоким крышам Ленинграда
Пробегает поздняя гроза.
Я вернусь, хорошая, не надо
Опускать печальные глаза.

Облака пушистые, как пена,
Подойдут к раскрытому окну.
Я к твоим измученным коленам
Головой счастливо прильну.

Это будет, это неизбежно,
Как ручьи в апреле на снегу,
И в степи накопленную нежность
Для тебя, родная, сберегу.

Что ж, что горе сгорбилось за дверью
И сгустились тучи в тишине —
Никогда не сможешь ты поверить,
Что могла я изменить стране.

1938 г.

Я НАЧИНАЮ СНОВА ЖИТЬ

Я начинаю снова жить,
Забыв буранов вой зловещий,
И по-весеннему свежи
Сегодня мысли, песни, вещи.

Вокруг сияющим кольцом
Огни родного Ленинграда.
И люди смотрят мне в лицо,
Не отводя тревожно взгляда.

И пожимает руку друг,
Вернувшийся из горьких далей.
Пусть руки зябнут на ветру —
Об этом ветре мы мечтали.

Трамваев разные глаза
Вчера я снова разглядела.
Как много надо мне сказать!
Как много надо мне доделать!

За тех, чьи руки никогда
Приневский не остудит ветер,
Кого дотла сожгла беда
За эти два десятилетия,

Чьи ордена и имена
У Родины в нетленном списке,

1957 г.

А я — товарищ и жена...
Один из них был самым близким.

У правды жесткие уста,
Но счастья без нее не знают.
Нет, жизнь еще не прожита,
Ее я снова начинаю.

Я ЗНАЛА: ПРАВДА ЕСТЬ

И память, и глаза мне партия
вернула.
Л. Арагон

С отчаяньем борясь, я знала: правда
есть.
Не вечно клевете держать у сердца дуло.
Мне Партия моя вернула жизнь и честь
И пыль беды, как мать, заботливо стряхнула.

1961 г.

СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Р о м а н

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XV

Алексей Чернов, лесник, в космос не полетит. Аня, жена, говорила ему:

— Задвинулся на пятый десяток, и куда тебе на Луну! Справляйся уж как-нибудь на Земле.

Такая программа Чернову привычна. Он — земной житель, любит все земное, и вообще он старинный человек. Он охотно согласился дать мед к годовщине свадьбы дочери — какой же праздник без меда! Четыре пчелиных домика желтели за огородом, пышную зелень которого нарушал только, как гость в чужеродной одежде, бесстыдно багровый мак.

Чернов ошибся, прихватив с собой зятя. Тот пчелами не занимался, опыта в этом деле не имел и потому уронил раму, придавив кой-кого из мирных тружеников улья. Сердитый рой тотчас же взвился в воздух.

— Ну, пропали! — воскликнул Чернов весело и пустился прочь.

Был он в широкополой соломенной шляпе, с защитной сеткой на лице, в перчатках, но пчелы пробрались под его клетчатую рубашку и даже в штаны. За ним следом бежал зять в таком же мексиканском одеянии. Оба махали руками, мотали головами и

смеялись так, как смеются люди не от радости, а от неожиданности.

Татьяна Акимовна Сухонина вышла в это время с кастрюлей во двор, пчелы напали на нее, и ей показалось, что весь рой влетел к ней под кофту — такое жужжание окружило ее. Она пронзительно вскрикнула, выронила кастрюлю и скрылась обратно в дом.

— Ну, пропали! — веселился Чернов, махая руками и мотая головой. Добежав до рошцы за кладбищем, он увидел самого Сухонина, мужа Татьяны Акимовны, и крикнул ему: — Вашу супругу всю пчелы съели!

Николай Викентьевич Сухонин, недавно, вопреки проискам недоброжелателей, избранный наконец в действительные члены Академии, очередной свой отпуск проводил среди здешних полей и лесов.

Татьяна Акимовна знала, что делает, когда привезла его этим летом сюда на отдых. Сухонин любил старинных людей и старинную простецкую жизнь, что казалось несколько странным и неожиданным для ученого, который вечно занят был идеями, изгонявшими старину. В скромной чистенькой горнице, выделенной ему в домике лесника, далеко от железной дороги, не близко и от районного центра, Сухонин сразу почувствовал себя спокойнее и увереннее, чем где-нибудь на южном курорте или на даче под Ленинградом. Ему надо было отдохнуть от коллег, от институтских забот, набраться свежих сил для задуманного им дела, и Татьяне Акимовне как нельзя кстати вспомнились эти отдаленные места, где они часто и счастливо жилали в молодости, в те давние годы, когда Чернов и жена его бегали тут еще малолетками.

Никто и не подозревал, к каким переменам приведет пребывание здесь Николая Викентьевича Сухонина. Он и сам этого еще как следует не предвидел. Лесник Алексей Чернов говорил о нем:

— Большущий ученый.

А Чернов, старожил, человек всеми уважаемый, пользовался немалым авторитетом.

Сухонин стоял сейчас на опушке роши, перед пышно зеленеющей березой, и наблюдал за шумным собра-

нием стрижей. Очевидно, собрание очень важное, явка обязательна для всех, возможно, что решалась судьба всех окрестных стрижей, а может быть, попросту выбирали новое правление. Сухонин бездумно любовался птичьей суетой, наслаждаясь земными радостями после «небесных» трудов.

Один из стрижей отлетел прочь, за ним устремился другой и тотчас же вернулся беглеца назад. «Не удалось», — подумал Сухонин с удовлетворением. Он терпеть не мог прогульщиков и лодырей.

И тут ворвался в его душу голос Чернова.

— Пчелы объели вашу супругу! Объели! — радовался Чернов, пробегая к скату, к реке, чтобы плюхнуться в воду.

Он впервые столь близко общался с ученым человеком и не знал еще как следует, каковы нервы у интеллигенции. Правда, Татьяна Акимовна держала своего мужа на земле так крепко, что он, например, не осмеливался замечать подавляющий контраст между мелочами людского быта и величием космических пространств и потому считался среди коллег человеком с железными нервами. Но слишком уж неожиданно был он ввергнут сейчас в волнения и тревоги неуместно веселыми возгласами Чернова. Миготом утратив всякую выдержку, забыв все поучения жены, он с невероятной быстротой ринулся к дому, в самую гущу пчелиного жужжания. Увидел распростертое на земле тело, схватил его и влетел в дом, чуть не сорвав дверь с петель. Только тут он обнаружил, что спас какую-то неизвестную девочку. Его жена Татьяна Акимовна стояла перед ним невредимая и немножко сердитая.

— Сумасшедший, — сказала она. — Погоди!

И она вынула из его уха пчелиное жало.

— Да погоди же!

И еще одно жало она извлекла из его шеи.

— Мне крикнули, что тебя искушали пчелы, — оправдывался Сухонин.

— Еще чего, — заметила Татьяна Акимовна, и Николай Викентьевич успокоился. лишний раз удостоверив-

шись, что нет такой силы, которая могла бы съесть его жену. Замечательно он устроился во вселенной — прочнее и устойчивее его Тани нет, пожалуй, никого во всех галактиках.

А девочка с восхищением взирала на своего спасителя. Вбежав с разбегу в пчелиный рой, она так перепугалась, что даже крикнуть не смогла. Вспомнив, что надо в таких случаях ложиться наземь и не шевелиться, она упала, но все это было очень страшно, и, конечно, если б не этот незнакомый дядя, то неминуемая гибель постигла бы ее.

— Ты кто такая? — спросила Татьяна Акимовна.

Девочка исподлобья глянула на чужую тетю и отозвалась:

— А Василькова. Диночка. Дина, — поправилась она и ухватила своего спасителя за палец. — Мама меня к тете Ане послала. К празднику помогать.

— А тетя Аня уже ушла в деревню. К дочери.

Дверь отворилась, и вошел, впустив с собой несколько пчел, человек с наголо обритой головой, круглой и сизой. Он был немножко похож на валун — этакий громадный булыжник в пиджаке и при галстуке. Такому, конечно, не страшны пчелиные укусы — никакое жало не проникнет сквозь каменную кожу. Глазки у него — маленькие, бесцветные, как слюда.

— Алексея Чернова мне, — сказал он, не здороваясь, пришиб пчелу ладонями и смахнул на пол.

— Его нету дома, — коротко отозвалась Татьяна Акимовна.

— А вы кто такие? — осведомлялся незнакомец, переходя с баритональных на высокие теноровые ноты. — Родственники? Жильцы?

— Это вас не касается. — Татьяна Акимовна вспыхнула и постаралась принять величественный вид, что было не так уж трудно при ее увесистой фигуре. — Сами вы кто?

— Девочка, — обратился нежданный гость к Диночке, самым неделикатным образом не ответив супруге ученого и даже повернувшись к ней спиной, — разыщешь Чернова и приведишь ко мне.

— Никуда, Диночка, не ходи, —

резко скомандовала Татьяна Акимовна.

Гость, не обращая на нее никакого внимания, прошел в комнаты без приглашения, как хозяин, за ним — Татьяна Акимовна, а за ней, взявшись за руки, двинулись Сухонин и Диночка, оба по-разному заинтересованные самоуверенным незнакомцем.

Гость, увидев девочку, удивился:

— Ты еще тут? Сказано же тебе привести сюда Чернова. Понятно?

— А ну-ка скажите, кто вы такой, — сказал Сухонин.

При этом он отпустил Диночкины пальцы, и девочка отошла в сторону. Начинался взрослый разговор, который неизвестно чем кончится.

Скука с легким оттенком презрения изобразилась на лице бритоголового гостя. Он вымолвил:

— Синюхаев Николай Савельевич. Чернова мне пришлите.

И он опустился в кресло, полагая, что отдал достаточную дань ничемным церемониям. Это кресло, единственное в доме, с выцветшей вишневой обивкой, стояло возле крытого светло-зеленой клеенкой стола, и над ним, как старинная икона, висел большой портрет бабушки Черновой, обсыпанный вокруг более мелкими фотографиями-иконками.

— Иди, девочка, за лесником, — еще раз терпеливо приказал незнакомец.

XVI

Роман Колотовский, самый непоседливый из сотрудников областной газеты, в детстве часто живал с родителями в том самом районе, где сейчас отдыхал Сухонин. Явился он из Москвы как корреспондент одной из центральных газет, сделал фельетоном «Человек без души» хорошее дело. В области ожидали, что он только мелькнет здесь, прославится очередным шедевром — и обратно в столицу. Но — нет! Он печатался и в областной газете, всю прошлогоднюю мокрую осень разъезжал по району, разворошил разные и хорошие и плохие дела, остался на зиму, и редактор неизменно хвалил его писания:

— Боевое перо. Живописное. Заост-

ряет внимание на актуальных проблемах.

Новый сотрудник как-то упомянул одобрительно в печати о Чернове, и Аня, жена лесника, прикрыла свое удовольствие насмешкой:

— Присох. Забрел к нам, как в леса дремучие. И чего-то ему здесь понадобилось?

В начале лета посетил Колотовского московский приятель. В шесть часов утра, когда город только просыпался, из новенькой зеленой «Волги» вышел высокий молодой человек, с зачесанными назад светлыми волосами, очень прямой, с широко развернутыми плечами спортсмена. Очень серьезное лицо, глаза — пристальные, не улыбающиеся. Серый, с искрой, просторный пиджак, открытый ворот апашки, модные узкие брючки, кремовые заграничные туфли. Он неторопливо шагнул в подъезд нового дома, где жил Колотовский, во втором этаже позвонил. Молодой журналист, отворив дверь, воскликнул:

— Ким! Каким ветром?

— Проездом в Ленинград, — коротко ответил Ким. — Командировка Академии. Поспал в машине — и к тебе.

— Собственная машина?

— Уже полгода. — Ким критическим взором оглядывал комнату с книгами на полках, на большом письменном столе, в углах, на полу. — Тебе тут не тесновато? Могли бы дать и две.

— Хватит одной.

— Отдельная однокомнатная квартира со всеми удобствами. Идеал скромного, непритязательного холостяка. — Тут Ким повернулся к приятелю: — Я — без особых предисловий. Что ты наскочил на подлость — это факт. — Ким глядел на Рому прямо и, казалось, холодно. В нем всегда было что-то от командира, так и чувствовалось, каким он станет со временем точным и требовательным директором какого-нибудь большого института. — Но из-за этого не следовало бежать из Москвы. Москва не виновата. Затевается очень значительное дело, ты не только литератор, но и химик, и я хочу привлечь тебя к технической пропаганде, я уже говорил с начальством.

— Нет, не получится. Мне здешняя жизнь по душе. Мне и до того хотелось жить так, как сейчас.

— Правда?

— Правда.

— Врать ты никогда не умел. Но докажи, что ты не слабак. — Ким чуть усмехнулся углом рта, выговорив это слово. — А то получается, что вроде как удалось растоптать тебя и выбросить. «Человек без души» всех поразило, но с той поры ничего такого ты больше не дал. Вернись, докажи, что ты не ослабел, работай со мной как ни в чем не бывало.

Рома молчал.

— Она тщеславна, а он честолюбив, — продолжал Ким. — Они соединились естественно.

— Отличная характеристика, — заметил Рома.

— Я хочу, чтобы ты плюнул на них и работал со мной в новом деле. Замечательное дело. Литературе твоей оно не помешает, ты ведь всегда со-вмещал. Москва широка. Ты их и видеть не будешь.

— Нет, — повторил Рома. — Хочу работать здесь.

— Жаль. Такие бы мы с тобой дела делали!.. Я на тебя надеялся, считал, что ты уже...

— Брось ты думать, что у меня переживания, — жестко, даже грубовато перебил Рома. — Что за вздор! Давно уже разошлись — и кончено. Очень хорошо. И не из-за этого я бросил Москву. Я бы все равно поехал сюда, а она — нет.

— Еще бы! Дочь влиятельного товарища! — Ким вновь усмехнулся уголком рта и добавил: — Впрочем, я тоже из влиятельной семьи.

— Не в этом дело. С семьей бывает и так, и сяк.

— Да. Кадырин, например, сукин сын, но семья тут, кажется, ни при чем. Он, кстати, имеет поддержку. — Ким помолчал. — И все-таки мне жаль, что ты не в Москве. Мне очень не хватает тебя.

— Тут тоже Москва. Тоже Россия.

Ким молча глядел на него — теперь даже и не казалось, что холодно глядел. Очень умный, очень удачливый и очень порядочный человек. Отличный биофизик. Будущее светило науки, и

сам понимает это. И десяти лет не пройдет, как станет академиком. Но в конце концов это же чрезвычайно симпатично, что он все эти месяцы писал письма, посылал последние новинки научной литературы, а теперь приехал сам, чтобы поговорить о том, о чем в письмах не упоминал. Тактичен, но когда уже решился на откровенность, то не тянет, не сюсюкает, не фальшивит.

— Очень рад, что вижу тебя, — сказал Рома. — Спасибо за книжки, за всё. Дела твои, как видно, обстоят блестяще?

— Да, — без обиняков подтвердил Ким. — У меня все отлично. Хочу, чтобы и у тебя было так же. Но не беспокойся. Приставать не буду. Вижу, что ты в прекрасной спортивной форме и добьешься своего. Чего — не знаю, но того, чего ты хочешь. Машины и дачи у тебя никогда не будет, но этого тебе и не надо. Ты — романтик, — проговорил он весело, взял Рому за бокор и качнул. Тот схватил Кима в обнимку, и они покружились в дружеской борьбе.

— Пора! — И Ким разомкнул железные свои объятия. — Я специально выбрал такой маршрут, чтобы хоть на минуту попасть к тебе. А завтра в Ленинграде в десять ноль-ноль доклад. Задену кой-какие авторитеты. Пусть не коснеют в вицмундирах.

Спускаясь по лестнице, сказал:

— Книжки буду посылать. Мой доклад тоже вышлю. Он печатается. Кто тебя знает! — вдруг вымолвил он. — В твоём романтизме есть что-то очень милое. Я боялся, что ты действительно сдал, покатылся, но нет, ты, пожалуй, не слабак.

И он пошел к машине. Молодой, уверенный в себе, элегантно одетый, чисто выбритый бог. Вот-вот взлетит сейчас на своей «Волге» в небеса.

Машина пошла, и Рома поймал себя на том, что стоит и смотрит вслед завившейся пыли с необычной, слишком открытой, наивно-радостной улыбкой на лице. Он как бы увидел это свое глупое лицо и согнал улыбку. Его считали здесь человеком выдержанным и замкнутым, отчасти даже загадочным, и он ничего не имел против такой репутации.

Когда весть о появлении знаменитого ученого Сухонина в «глубинке» донеслась до областной газеты, то обратился редактор, конечно, к Роману Колотовскому. Редактор советовал:

— Учите, с кем беседуете. Возьмите его подпись под всеми его мыслями и афоризмами, которые запишете. Без его визы материал недействителен. Есть такое мнение, чтоб был документ, заверенный лицом.

— И печатью заверить? — сказал Рома.

Редактор не усмотрел в вопросе ничего злонамеренного.

— Печатка, — поправил он. — У них бывают печатки и именные бланки.

«У них» — это у знаменитостей, которых редактор и безумно боялся, и чрезмерно уважал, и, возможно, не любил, сам того, впрочем, не подозревая.

Затем он снял очки в круглой нефасонистой оправе, и тогда из-под канцелярских слов выглянул славный, простой человек, неглупый и доброжелательный.

— Если сухарь, то еще ничего, — вымолвил он, — а вот есть среди них фанфароны, вельможи, а то и... — он доверчиво глядел на Рому, — а то и прохвосты, пройдохи, хамы... Один тут был. Взял аванс, нашумел, всего ему было мало... А потом про него писали, что мошенник, кандидатскую диссертацию украл, звания лишили... Где ж тут разгадаешь?.. А как-то и другое случилось. Остановился проездом ученый. Написали о нем. Дали портрет. А он рассердился, что не тем чином обозначили. Не сказали, что член-корреспондент. Пришел, кричал... все слышали... А в центральной прессе он — не про эту личную обиду, а взял да брякнул, что исказили научные мысли, что безответственные заметки, и надо покончить, и прочее. Такой шахматный ход! И что вы думаете! Хотя нас несколько человек слышали и знали, в чем суть, а все равно ничего не докажешь, подпись у него не взяли. Ошибка! Пришлось признать... Обком поставил на вид... Это еще в те времена было. И человека, который давал беседу, уволили. То есть это я уволил, так приказали. Хороший молодой горячий сотрудник. Мы его все-

таки потом под псевдонимами печатали... Что поделывать! Назвали нас всех тогда винтиками, а мы ведь тоже люди... Сидели мы, помню, вдвоем с тем парнем — вроде как я злодей, увольняю, а он — жертва, и у обоих слезы в горле. И не по причинам личным, а по очень общественным причинам. За общее дело горюем. Потому что я — что, а дело в трясиину ползет... И не понимали, не понимали... ну, те времена ушли, пришли, слава-те, новые, не очень-то теперь покуражишься над нашим братом трудягой... А тот наш сотрудник в гору пошел. Сначала у нас, а сейчас в Москве... — Он назвал известную фамилию. — Если б тогда писал, как сейчас, ему бы...

Тут редактор замолк, и в глазах его мелькнул прежний, вдруг проснувшийся испуг — не наболтал ли чего лишнего?

— А Сухонин — дело другое, — прервал он свою откровенную речь. — От него худа не жди. Настоящий ученый.

Редактор надел очки и, склоняясь над гранками, закончил разговор:

— Возьмете командировку с семнадцатого на пять дней. Понадобится пролонгация — запросите телеграфно. Все, что причитается денежно, — как положено. Команду я дал.

И назавтра раненько утром Рома отправился в путь. До районной столицы доехал автобусом, а дальше пешечком. Остановился он, как всегда, у знакомой старенькой бобылихи, ночь проспал без сновидений и проснулся ровно в заказанный час — в семь утра.

Рома в разговоре с редактором умолчал о том, что его родители были друзьями Сухониных, живали вместе и в этих самых местах. Но где-то в глубине, где прятались чувства, дунул ветер, поднялась зыбь, плеснули к берегу воспоминания, всколыхнулись черные тревожные воды Невы, и уже росла, как всё омрачающая туча, никак не забываемая злая фигура в сиреновом капоте (до чего сильны детские травмы!)... На миг боль стеснила грудь. Но он уже не мальчик, и есть сила отнестись ко всему этому всего лишь как к жизненному опыту. Этот опыт полезен, он придает скрытый

жар поведению, словам, поступкам и писаниям. Роме и радостно и беспокорно было думать о предстоящей встрече с друзьями отца и матери, но воскресшее недоверие к людям заставляло его подавлять излишнее волнение. Конечно, газетное поручение, как толчок извне, только ускорило встречу, все равно Рома сам бы постарался повидаться со стариками. Но все-таки лучше, когда есть какое-то дело, а не только голое чувство. Дело есть дело, и надо его выполнить. Деловые соображения, как спокойный электрический свет, зажглись в душе и успокоили. Так или иначе, но сам он не ползет с сантиментами. Если академик окажется слишком величественным, то — прошу интервью, благодарю вас, и больше ничего мне от вас не нужно, досаждать не буду.

Так настроивал себя молодой журналист, подымаясь в гору к дому лесника. Пчелиного роя он не убоился, только накинул на голову куртку и ускорил шаг.

— Иди, девочка, за лесником, — услышал он, отворив дверь, и узнал Синюхаева.

Сухонин отметил, что Синюхаев при виде вошедшего молодого человека испуганно, с неожиданной расторопностью вскочил с кресла. А молодой человек очень вежливо обратился к Николаю Викентьевичу:

— Простите, что я так ворвался. Пчелы подогнали. — Он чуть пожал плечами. — Я командирован областной газетой...

Он не успел назвать себя. Татьяна Акимовна, пристально глядевшая на него, всплеснула руками:

— Рома!

Улыбка на миг осветила лицо журналиста, и сразу стало видно, как он еще прелестно молод. Что-то просто-душно-ребячье проступило в нем. Но тотчас же он нахмурился и строго обратился к Синюхаеву:

— Что вы тут делаете? Почему распоряжаетесь?

Синюхаев отрапортовал трепещущим голосом:

— Пакет гражданину академику Сухонину. Сказано — пойдешь к леснику, к Чернову, он знает.

— Николай Викентьевич Сухонин

перед вами, — вымолвил Рома. — Передавайте и уходите.

Синюхаев тупо уставился на пожилого мужчину в каком-то сером балахоне и в синих спортивных штанах, никак не похожего на академика. Он ничего не понимал, что такое творится. Он-то надел лучший свой костюм, а оказывается, к этому гражданину хоть в исподнем являйся. Но спорить с опасным молодчиком из газеты он страшился. Как хлестнет в статейке — так опять полетишь в тартарары.

— Расписочку приказано, — пропел он тенорком.

Расписка была выдана по всей форме.

Синюхаев аккуратно вложил ее в тонкий бумажник, вынутый из внутреннего кармана и вновь там исчезнувший. Затем он почтительно поклонился, отчетливо вымолвил «честь имею» и ушел.

XVII

Бывают моменты, которые запоминаются свидетелями лучше, чем главным героем. В сорок девятом году оглашалась в ленинградском институте на общем собрании резолюция. Она начиналась с осуждения арестованного директора Колотовского. То было страшное собрание, где ни смеха, ни даже улыбки, собрание — похороны, собрание — суд и казнь. Николай Викентьевич Сухонин, профессор, доктор физико-математических наук, сидел с краю, у самого окна, переживая все ощущения смертника, которому не так-то легко подняться и встать к стенке рядом с другом. А за стеклом взмахивали крыльями голуби, кормились крупой, рассыпанной на карнизе. Подлетел воробушек, но не рискнул присоединиться, исчез, затем вновь появился и опять улетел, выжидая, когда, наконец, насытятся большие птицы. Пугливая птичка боялась даже мирных голубей. Николай Викентьевич следил за беспокойными движениями робкого, голодного воробья, и вдруг все возмутилось в нем. Вот тут и случилось совершенно непредвиденное, очень запомнившееся происшествие. Сухонин сорвался со своего места в президиуме собрания

и, не дойдя до трибуны, громогласно заявил, что не верит в виновность Колотовского.

— Я знаю Виктора Кондратьевича десятки лет, со студенческих времен, и утверждаю, что не может быть, чтобы он был враг! Это — страшная ошибка, тогда и меня нужно в тюрьму!

Спокойно выступить Сухонин, конечно, не мог. Но и в зале, где происходило собрание, спокойны были только стулья, стены и другие неодушевленные предметы, в том числе и два-три, имевших по внешности человеческий облик. В ответ на слова Сухонина по залу как буря прошла, из задних рядов кто-то крикнул: «Правильно!». И тогда вышел к трибуне Карабанов, громадный белобрысый мужчина, и, не желая вслушиваться в выкрики с мест, перекричал шум голосом звучным, как играющий в унисон духовой оркестр:

— Ваше возмущение безобразным выступлением Сухонина разделяется президиумом собрания. Разрешите считать резолюцию принятой. Собрание разрешите закрыть.

Знатоки отметили как благоприятный признак, что Карабанов назвал выступление профессора не антисоветским, а всего лишь безобразным, уведя таким образом оценку из сферы политической в чисто моральную.

Приказ об увольнении заместителя директора по научной части Сухонина, как «не соответствующего занимаемой должности», был вывешен через день, и опять-таки формулировка показалась знатокам сравнительно мягкой, всего только деловой.

Знатоки, видимо, были правы, утверждая, что непосредственной опасности Сухонину не угрожает, что беспартийность и откровенная наивность его выступления (правда казалась знатокам наивностью) охранят его от более тяжких кар.

Товарищ и друг все равно погиб. А Сухонина выгнали отовсюду, но пощадили, оставили в живых. Сочли, должно быть, голопузым, безопасным дураком. «Старый интеллигент...» Но он знал, что если б он тогда покорно поднял руку «за», то не мог бы потом

ни жить, ни работать, во всяком случае стал бы каким-то другим, порченным, покалеченным.

В то время Николай Викентьевич и Татьяна Акимовна не предвидели, что их не тронут, и ожидали катастрофы каждый день и, в особенности, каждую ночь.

Когда машина останавливалась поздно вечером у дома, где жили Сухонины, сердце начинало учащенно биться. Ночной звонок вызывал мысль о конце жизни. Арест представлялся смертью, люди проваливались как в небытие. Ничего ни о ком нельзя было выяснить. Человек пропадал, и больше о нем ни слуху ни духу.

Зарботков почти не осталось, и пошли в продажу вещи и библиотека. Сухонины боялись за детей. Сын отправился в дальнюю и длительную геологическую экспедицию, дочь жила на Урале с мужем — крупным инженером. Только бы в случае чего не затемнила их судьбу судьба родителей.

Люди исчезали один за другим. Врагами объявлены были даже те, кто руководил обороной города в годы блокады, многие из тех, кто в голоде, холоде, смертельных испытаниях отстоял город. Понять, что такое творится, Сухонины не могли. Постыдный страх перед бессмысленной гибелью заползал в души. В новом виде повторялся тридцать седьмой год. Сухонин продолжал упрямо трудиться, он разрабатывал новые идеи, сочетая физику, химию, биологию. Иногда, узнавая о новом аресте или при очередном угрожающе грубом выпад против себя в печати или на собрании, он все же слабел. Даже от Татьяны Акимовны, своей стойкой подруги, он старался скрыть то, что испытывал. Когда становилось невмочь, он изливал душу в кратких записях, которые прятал в потайные углы стола. Потом вынимал их и уничтожал.

Недавно он вдруг нашел, разбирая старые бумаги, листок из дневника тех лет, и написанные в ту пору строки поразили его. Он читал с некоторым даже ужасом: «Томительное ожидание беды. Чего боишься? За себя страха нет. Или есть? Все-таки нет. Но удар по тебе отзовется стократно

на близких. Невозможно постичь, что такое творится. Колотовский и я с товарищами создали нужнейший институт, растили, воспитывали людей, честно работали, а теперь мы, оказывается, только вредители. Он — в тюрьме, а меня топчут в нетерпеливом ожидании, когда из живого трупа, каковым я считаюсь сейчас, превращусь в доподлинного мертвеца. И разве только во мне дело? Да черт со мной!.. Что делается такое вокруг! За что? Кошмар...» На этом запись обрывалась. А на другой стороне листка наскоро набросанные слова: «Каждую ночь может быть кончена жизнь. Я должен спешить, спешить...» Это, очевидно, в какую-то особую минуту, когда казалось, что конец неизбежен.

В пятьдесят третьем году повеяло серьезными переменами. Летом Сухонин был восстановлен на работе в институте. Зимой его пригласили в прокуратуру, и седой человек, подтянутый, с уставлыми глазами, попросил дать характеристику Колотовского. Сухонин, написав ее со всем пылом надежды и любви, осведомился:

— Можно надеяться, что он вернется?

Седой человек помедлил с ответом. Затем вымолвил:

— Решается вопрос о реабилитации посмертной.

Сухонин вернулся домой разбитый, словно проделал огромный и тягостный путь.

Однажды к нему в кабинет пришла чертежница Александра Николаевна Самохина и сообщила, как старая приятельница жены Колотовского, что знает кое-что о судьбе семьи Виктора Кондратьевича. Оказалось, что жена Колотовского, никому слова не сказавши, увезла сына к своей сестре на Урал и там умерла. А сын Рома — в Москве, и тетка, свояченица Колотовского, пишет, что он устроен хорошо.

— Почему же вы до сих пор молчали?

— А меня в письмах просили. Что бы вам еще хуже не стало.

— Но сами-то вы переписывались!

— А с меня спросу нету. Мне можно было.

— Не пойму... А где же Рома? Сын?

И тут скромная чертежница немножко похвасталась:

— А это я написала, чтобы обратились к товарищу Карабанову. И адрес его послала — служебный адрес. Помните товарища Карабанова?

— Еще бы не помнить!

— Человек показался мне из добрых. Другой бы вас за такое дело по тем временам сразу в тюрьму. А он оставил жить. Вот Ольга Васильевна — это свояченица Виктора Кондратьевича — пишет теперь, что Карабанов им ответил, обещал. Сынок теперь в Москве, в институте. Товарищ Карабанов помог.

— Карабанов?

— Да. Ольга Васильевна так и пишет: «Спасибо вам, Александра Николаевна, видно, помог товарищ Карабанов, у Ромы всё хорошо... — Вытащив из черной потертой сумочки письмо, она уже читала: — ...очень он колючий вырос, неласковый, со мной сухо простился, буркнул „спасибо“, и все, — а уж я ли о них не заботилась! А письма от него — хорошие, издадите он по-доброму. Это я вам пишу, как живой про живого, чтобы вам знать. Жалко молодого человека, тяжелой он жизни, только нашей стариковской ласки ему не надо, отворачивается. Может, конечно, и выровняется, уж очень худо ему пришлось, не хочу плохо судить...»

О молодых Сухонин кое-что знал и по своим детям и по ученикам.

— Так, — сказал он. — Значит, Карабанов устроил?

— А кто же? Больше некому. И Ольга Васильевна пишет.

— А в каком он институте? Я — о Роме.

Александра Николаевна опять вынула спрятанное было обратно в сумочку письмо. Посмотрела, почитала:

— А тут и не сказано. Вот и у меня так бывает. Напишу чего, все будто в порядке, а что-нибудь да пропустила...

— Впрочем, это неважно, — сказал Сухонин. — Важно, что хорошо устроен. Значит, Карабанов... Так...

— А вы и сделать ничего не могли, — утешила его Александра Николаевна, по-своему поняв это повторение фамилии доброго человека. — Вы

уж и без того такое сделали!.. Спасибо, что живы остались.

— Да нет!.. Спасибо вам, что сообщили. Мне, конечно, хотелось знать. Спасибо.

Оставшись один, Сухонин не сразу мог вернуться к прерванной работе. Конечно, другой бы мог погубить и его, и еще кого-нибудь, а этот Карабанов никого не посадил — значит, добрый. Не вообще добрый, а по тем временам. Такое уж было время!

Николай Викентьевич ничего не сказал об этом разговоре Татьяне Акимовне. Сплетение обстоятельств получилось путаное, лучше уж держать при себе, Татьяна Акимовна может некстати взорваться. А через несколько недель к нему опять, уже на улице, подошла Александра Николаевна.

— Еще одно письмо получила.

Она говорила полупрошептом. Очевидно, ей нравилось, что ее со знаменитым профессором соединила некая тайна. Вряд ли она и задумывалась над тем, почему это тайна. Просто ей приятно и, главное, привычно было считать так.

— Умерла Ольга Васильевна, — горестно сообщила она. — Ушла вслед за Зиночкой. Вот так бывает. Срубят сосенку, а другая рядышком тоже подломится. Вот прочтите, как странно пишет этот гражданин.

Гражданин вежливо и аккуратно писал такое: «Я недавно приехал в данный населенный пункт, мне предоставлено помещение, в которое поступают письма предшествующим жильцам. По наведенным справкам жилища скончалась в болезни, а бывший жилец выбыл в неизвестном направлении и об институте, о котором запрашиваете, сведений не имеется. Возможно, тоже умер по какой-либо причине. А если еще живой, то и это к делу не имеет отношения. А существо в том, что в связи с письмами людям, отбывшим свое существование, моя супруга расстраивает нервы, и прошу вас иметь в виду. Я лично мыслю так, что помещение опустело ввиду прискорбной кончины всех жильцов, о чем соболезную, и ордер мне выдан жилотделом на всю квартиру, так что, если вы являетесь родственники и есть претензии, то прошу не беспокоиться,

площадь занята нижеподписавшимся по действующему закону и передаче никому больше не подлежит. На площадь не допущу. Тем более площадь государственная по закону, а не частное владение, против чего есть борьба. Прошу учесть и в дальнейшем не обращаться по вышеназванному делу во избежание. Инспектор по торговой сети Коробка».

Фамилия «Коробка» напомнила Сухонину Карабанова. И вдруг так горько ему стало, так пронзило его воспоминание о друге, так заново потрясло, что Карабанов, клеймивший и порочивший, оставил у людей впечатление «доброего человека», что он быстро отдал письмо чертежнице, с величайшим любопытством взиравшей на него, и пробормотал:

— Да... да... Что тут поделаешь! Что поделаешь! Но я уже выяснил, какой институт. Выяснил.

Ничего он не выяснил и сам не понимал, как эта ложь сорвалась у него с языка. Но хотелось как можно скорей разойтись с этой тихой, но почему-то отравляющей душу женщиной.

Татьяна Акимовна узнала о Роме не от Александры Николаевны — та слишком любила тайны и лишних людей не вмешивала. Получилось иначе. Батенин, ученик и сотрудник Николая Викентьевича, институтский всезнайка, вернувшись из московской командировки, привез невероятную новость — Рома Колотовский женится на дочери Карабанова, того самого, который в сорок девятом году громил институт и выбросил Сухонина. Да, это факт. Рома будет зятем Карабанова! Вот какой фортель выкинула жизнь! Ну и ну! Рома — журналист, пишет фельетоны, живет вроде как золотая московская молодежь, во всяком случае, в такой компании.

— Нет, Николай Викентьевич, не пишите ему! Нахамит! Тут Карабанов, он ведь теперь либерал, зарабатывает — да что там! Уже заработал! — новую репутацию эдакого свободомыслящего. Можно себе представить, как он был рад, когда дочка (вся, видно, в него!) привела в дом такого поклонника и женишка. Вот это марка! Сын Колотовского! Теперь уж никто не напомнит Карабанову о преж-

них грехах! Рома, сын, защитит. Живой аргумент! Живое доказательство невинности!

Батенин, любитель острых положений, болтал с некоторым даже азартом. Он не сразу заметил, что стариков его сенсации нисколько не развлекают. Когда он, наконец, осекся, наступила длительная пауза. Сухонин весь подобрался, как в самые ответственные минуты работы и жизни. Чуть выдвинулся вперед подбородок, втянулись щеки так, что выперли скулы, взгляд стал жестким. Затем он спросил:

— Это правда, что он женится? Или только слухи? Сплетни?

Спросил отрывисто, сухо.

— Правда, — ответил Батенин упавшим голосом. — Я видался с ним. Появилась статья за его подписью в газете, я по ней и нашел его. Не могу сказать, что произошла дружеская встреча, хотя в Ленинграде мы были в одной школе. Я, правда, старше, но мы дружили. Он сам мне рассказал, да еще с каким-то укором, даже вызовом. И о реабилитации отца сказал, что Карабанов помог. Вот, мол, обошелся без вас. Может быть, ему неизвестно о ленинградских подвигах Карабанова...

— Возможно, — перебил Сухонин. — Но ведь Карабанов не повинен в арестах.

— Не знаю, — увильнул Батенин, а Татьяна Акимовна с грозным удивлением взглянула на мужа, но смолчала. — Вообще, — продолжал Батенин, — чуть только он приехал в Москву, так эта милая дочка сразу взяла его в плен. Она его так охмурила, что...

На слове «охмурила» Батенин опять споткнулся и замолк.

Сухонин осведомился:

— Вы ничего не рассказывали ему?

— О том? Нет. Я хотел посоветоваться с вами. Если надо, то я ему немедленно...

— Ни в коем случае, — перебил Сухонин. — Нечего ковыряться. А затем — мало ли к чему люди, обманутые, запутанные, были вынуждены в те времена. Ведь это шло под самыми святыми лозунгами, обманщики — как бы мало их ни было, но они были ах,

как сильны! — орудовали священными для всех нас идеями. И как же можно было разобраться, когда факты подтасовывались, извращались, попросту выдумывались! Нет, я хочу быть справедливым. Карабанов сам никого у нас не погубил, и, значит, не нужно вмешиваться в его отношения с Ромой. А дочь его уж совсем ни при чем. Мне, конечно, Карабанов противен, но нельзя свое личное отношение внушать Роме, которому он помогает, хочет этой помощью как-то загладить свой грех. Жизнь идет, времена меняются, и мы меняемся во времени. Эта истина остается и сейчас верной, как в древности. Не надо заражаться чрезмерной злобой и мстительностью личного порядка.

— Высказался? Все? Вот Карабанов настроит Рому и бросит его при случае против тебя, тогда убедишься, чего стоит твоя философия, — заметила Татьяна Акимовна со зловещим спокойствием. — Сын Колотовского вместе с Карабановым против Сухонина! Огромное нам будет удовольствие!

— Верно! — оживился Батенин. Предположение Татьяны Акимовны создавало очень острую ситуацию и потому понравилось ему. — Этим бы Карабанов окончательно похоронил тот эпизод! Запутал бы все на свете!

— Вздор! — резко заявил Сухонин. — Вы, Валя, начитались детективов и везде видите бог знает что.

— Я детективов не читаю, — сердито сказала Татьяна Акимовна. — Просто немножко знаю людей. Во всяком случае, лучше, чем ты.

Она оставила последнее слово за собой. Впрочем, она лучше других знала, как бывает обманчив внешне мягкий и старомодно интеллигентский облик ее дорогого и утомительного Николая Викентьевича. Конечно, он добрый, но до известного предела.

О Роме Колотовском они больше не говорили до тех пор, пока Ромино письмо не разрешило вдруг главное недоумение. Оказалось, что молодой человек ничего толком не знал и теперь только донеслась до него частица правды. О себе он ничего не сообщал, и Сухонин уговаривал Татьяну Акимовну даже намеком не упоми-

нать о дочери Карабанова, но она не послушалась и во все свои нежности вложила-таки вопросик — женат или нет? Вот и оттолкнула, испугала молодого человека. И никогда не признает того, что именно она оттолкнула. Сухонин отлично знал, что молодые очень опасаются бурной чувствительности и настойчивой любознательности старых дам, но остановить Татьяну Акимовну было невозможно. Так или иначе — но Роман Колотовский ответил очень мило, совершенно умолчал о своей женитьбе и вновь исчез с горизонта. Ничего. Появится. Теперь он знает, что старики Сухонины — его друзья.

Николая Викентьевича восстановили всюду, откуда он был изгнан. Работы становилось все больше и больше. После Двадцатого партийного съезда его избрали в Академию. Но печаль минувших дней сильно вошла, видно, в плоть и кровь, окрасила душу, как лакмусовую бумажку, кислотами и щелочами жизни, и непослушная память тревожила воображение картинами, о которых лучше бы забыть. И вот сейчас, в домике лесника Чернова, туман тех лет поднялся в душе Николая Викентьевича, когда он увидел перед собой этого светлогозорого молодого человека. Сын товарища прежних времен говорит что-то, как совершенно чужой человек, про газету, непонятно улыбается. Очень вежлив, учтив, даже лучше сказать по-иностранному — корректен. И никаким непосредственным порывом нельзя приблизить его, это Сухонин почувствовал сразу.

Но Татьяна Акимовна действовала импульсивно. Для нее сдержанный, с виду деловой и спокойный молодой человек был мальчишкой, которого она когда-то не стеснялась и пришлепнуть, обо всем остальном она мгновенно забыла. Она восклицала бурно:

— Господи! Рома! Что ж ты даже адреса нам не прислал!

Рома весь как бы съжился под натиском любвеобильной женщины и только неопределенно улыбался. Татьяна Акимовна поглядела на него и тотчас же изменила тон:

— Ладно, — сказала она. — Не ер-

шись. Я тебя не укушу. Только сам не кусайся. Не за что. Ты у самых своих лучших друзей. Все тут получишь. Коля, — обратилась она к мужу, — ты дашь для Роминой газеты все самое главное, самое лучшее, что у тебя есть. А все-таки ты, Рома, мог бы и адрес нам дать и навестить как-нибудь. Враги мы тебе были, что ли? Ты тут с женой? — спросила она, не обращая внимания на предостерегающие взгляды Николая Викентьевича. — Где она?

— Я не женат, — ответил Рома.

— Да? А с ним, с Карабановым, как теперь у тебя?

— Погоди! — вступился Сухонин. — Так, Таня, нельзя...

— Почему нельзя? — упорствовала Татьяна Акимовна. — Теперь-то Рома знает кое-что об этом...

— Он виновен в аресте моего отца? — вдруг спросил Рома. Как-то слишком спокойно спросил.

— Нет, — быстро ответил Сухонин. — Он приехал в Ленинград позже. Даже после того уже, как мама тебя увезла.

— И обвинял людей в связях с Виктором! — опять ворвалась Татьяна Акимовна. — Зачем сглаживать? Пусть Рома знает правду. Он тебя, Коля, вышвырнул из института за твое выступление, за то, что ты видался с семьей, носил передачи, остался другом и после ареста...

Она увидела вдруг побледневшее лицо молодого человека и оборвалась.

— Оставь, — проговорил Сухонин тихо. — Были тяжелые, путаные времена, не надо так сразу, с маху рубить...

Диночка, о которой все забыли, посвоему понимала происходящее. Ей почему-то казалось, что дядя Рома, который бывал у ее отца, хотел обидеть дядю, который спас ее от пчел. Она, как воспитанная девочка, знала, что старших нельзя перебивать, но теперь она воспользовалась наступившим молчанием и промолвила, глядя на Рому с укоризной:

— Дядя меня унес от пчел. Меня бы пчелы закусали, а дядя взял на руки и унес.

Рома, чуть улыбнувшись, притянул к себе девочку и сказал:

— Я поздно узнал о роли Карабанова в деле отца. Я ведь после того не был еще в Ленинграде ни разу. Я очень сожалею теперь, что сразу не написал вам, Николай Викентьевич, — вымолвил он, и опять молодая, простодушная улыбка мелькнула на его лице. Он добавил с некоторой запинкой: — Коротко не объяснишь, как все это получилось. Попал в самый центр, в самый шум...

— Карабанов помог вам все же поступить в институт, — сказал Сухонин.

— Это еще что за «вам»! — возмутилась Татьяна Акимовна.

А Рома ответил:

— В институт я поступил без его помощи.

— Да? — радостно удивилась Татьяна Акимовна.

— Меня направили завод и школа, письмо Карабанова и не понадобилось. Я как-нибудь могу рассказать вам. Матушка не хотела, чтобы вам стало еще хуже из-за нас, поэтому адрес свой не сообщила. Обо всем я узнал с большим опозданием и тогда же сразу вам и написал.

— Значит, ничем он тебе не помог! — воскликнула Татьяна Акимовна. — И очень хорошо! А если ты к нам не обратился, то это плохо. И хватит обо всем этом. — Вдруг она обрушила на привычную голову мужа все, в чем сама была виновата: — Вечно ты ковыряешься, вспоминаешь! «Да что этот делал? Да что тот сказал?» Вечно ты заводишь лишние разговоры! А мальчик голоден! Мальчика надо накормить! Сейчас затоплю плиту.

Эта новая идея — что Рома голоден — увлекла ее, и она решительно отвергла все Ромины отговорки и объяснения:

— Глупости! Небось, ничего не ел! Принеси дров! — командовала она. — Они в снях. Кто тебе дома готовит? Воображаю... Авсе-таки мог бы ты адрес сообщить! А еще в газете работаешь! Ну, бог с тобой. Ты должен все рассказать как следует... Принеси из подпола — там курица, капуста...

Кастрюли и сковородки накалялись на жаркой плите. Но горячее всего была сама Татьяна Акимовна, с засу-

ченными рукавами, гневная и величественная. Она бросала фразу за фразой, распоряжалась, вспоминала, упрекала, поворачивала мясо на сковородке, заглядывала в кастрюлю, и все это одновременно, без секунды перерыва. Казалось, что это у нее годовщина свадьбы, а не у дочери лесника Чернова. Может быть, она в хозяйственном пылу сбросила бы на пол, а оттуда — в огонь пакет, принесенный Синохаевым, но Николай Викентьевич успел спасти пакет, распечатал его, вынул пачку бумаг, прочитал и заговорил:

— Знаешь, Таня...

— Ты бы лучше накрыл на стол! — возмутилась Татьяна Акимовна. — Путаешься только под ногами!

— Но тут важная новость...

— Тебе я говорю или нет? Достань тарелки!

На стол накрыл Рома.

— Вот поучился бы! — заметила Татьяна Акимовна мужу. — Смотри, как он умеет. Не то что ты. Ни в чем не поможешь.

— Но тут мне сообщают... — упорствовал Сухонин.

— Только мне и время слушать о твоих делах! — воскликнула Татьяна Акимовна. — Мы тут на отдыхе! Лучше бы достал брагу. Я и сама сегодня выпью...

Пришлось, как всегда, уступить.

Татьяна Акимовна вся кипела на мужа, на себя, на путаницу в жизни, и, уж конечно, лучше, что она обратила весь жар своего сердца на кастрюли и сковородки. А эти молодые! Все они такие! Ничего им не стоит мучить стариков!

Только за столом она немножко успокоилась.

— Рома, бери еще мяса, негодный мальчишка. Ты какой-то красивый стал... А чем тебя прельстила эта дочка? Что ты не берешь булку? Я вчера ходила на рынок, в район, там еще можно что-то купить. В нашем ларьке никогда ничего нету, вот ты бы написал в газету, привезли сахар, так уж накануне было известно, и все говорили, что будет мокрый, и ясно — привезли мокрый... Что там у тебя в газете глядят? А Николай Викентьевич тебе все даст. Получишь статью само-

го Сухонина, воображаю эффект в газете...

Только когда дело дошло до кофе, Николай Викентьевич смог, наконец, поделиться полученной новостью:

— Смотри, Таня, все одобрено и утверждено.

— Что?

— Лаборатория, — ответил Николай Викентьевич и сразу же, чтобы Татьяна Акимовна опять не раскричалась, обратился к Роме: — Это как раз для тебя, для твоей газеты. Новое дело.

Но Татьяна Акимовна, несколько уже угомонившись, не перебила, смолчала.

— Сам Вернер удостоверяет, значит, факт, — оживился Николай Викентьевич. — Вернер — блестящий физик, — пояснил он Роме. — Лаборатория особого назначения — это и экспериментальный цех, и производственные цеха, в сущности филиал института, может быть, новый институт, сочетание в одном предприятии исследовательских работ и производства. Прочти, Таня, записочку Вернера. Но как быстро решено дело! Замечательно быстро! Уж если Вернер подтверждает, то, значит, решено. Да, Рома, давно нам бы следовало встретиться, но лучше поздно, чем никогда, — добавил он и вернулся обратно к лаборатории: — Очень быстро решили. Этого тоже, наверное, Вернер добился.

XVIII

Григорий Михайлович Вернер был молодым аспирантом в те времена, когда Николая Викентьевича преследовали и травили. И вдруг донеслось тогда до Сухонина, что этот неизвестный ему человек яростно защищал его труды на одном из научных собраний. Вернер со всем пылом двадцатидвухлетней молодости наскочил на докладчика, который походя, как было в ту пору привычно, лягнул Николая Викентьевича.

Учителю Вернера профессору Звягинцеву не удалось тогда отстоять своего ученика в аспирантуре, но он устроил его на работу в заводскую лабораторию. Беспокойный юноша и там держался недолго. Его начальник попытался пристроиться соавтором

к изобретению одного из сотрудников, и Вернер с такой силой обрушился на него, позволил себе такие выражения, что был уволен. И опять Звягинцеву пришлось хлопотать о своем ученике. Но Вернер становился все раздражительнее, на каждом новом месте, куда неутомимый и терпеливый Звягинцев устраивал его, он преступал всякую меру в спорах и препирательствах. Он никак не мог удержаться от немедленной реакции на то, что казалось ему неправильным, он вкладывал огромный темперамент в свои возражения, оснащал убедительными аргументами, но о вежливости не заботился. Не к чему любезничать, когда речь идет об истине. Заслуги? Авторитет? Звания? Тем хуже. Значит, ошибка может победить, и надо драться изо всех сил.

Была одна неизменная черта в поведении Вернера — он говорил публично, в лицо человеку даже и сверх того, что нужно, но ему были совершенно чужды закулисные интриги и козни, чего никак нельзя было сказать о ряде его недоброжелателей. Больше всех от своего характера страдал он сам. Постепенно у него образовался солидный стаж увольнений, выговоров, скандалов.

Профессор Звягинцев упорно поддерживал его, говоря всем и каждому:

— Его голова — замечательный математический и контрольный аппарат.

— Но невыносимый характер, — добавлял обычно собеседник.

— Справедливое сердце, — поправлял упрямый Звягинцев, но в разговорах с людьми, ценившими Вернера, признавался: — Не знаю, что делать с ним. Предвидеть невозможно, когда он взорвется. Какая-то бесконтрольная атомная бомба.

Когда Сухонин был возвращен в свой институт, он отыскал Вернера в захудалой проектной организации, куда его очередным образом сунул Звягинцев и где Вернер успел уже разругаться с главным инженером. Григорий Михайлович пошел на работу к Сухонину, но прижился тут не сразу. Он настолько привык спорить, что когда и не было к тому причин,

то он выскивал или даже создавал их. Но странное он встретил отношение на новой службе. Он бушевал, бранился, покрикивал при случае и на шефа, но не чувствовал обычного противодействия. Если он был прав, то его замечания принимались в расчет. Если он был неправ, то ему возражали в самом спокойном академическом стиле, приводя вполне разумные, научно обоснованные аргументы. Он никак не мог найти достойного партнера для сцен в своем вкусе.

При всех своих качествах он отнюдь не был лишен чувства юмора, проявлявшегося в спокойные минуты, и даже способности взглянуть на себя как бы со стороны. Однажды в час обеда и перекура он спросил окружающих его сослуживцев:

— Почему вы меня терпите?

— Осознанная необходимость, — отозвался один.

Другой добавил:

— Откровения прекрасны только в грозе и буре.

Третий:

— И отвратительны во мгле и болоте.

Так каждый бросал словечко, а Батенин подвел итог:

— Железно стоим на некритическом к вам отношении.

Народ у Сухонина был преимущественно молодой и веселый. Тут был явный заговор, и во главе этого заговора стоял, конечно, Николай Викентьевич Сухонин. Он задался целью успокоить сутулого, узкогрудого несчастного энтузиаста, который в трудные времена самозабвенно и бескорыстно ринулся на защиту работ незнакомого ему профессора Сухонина, рискуя своим положением ради истины. В сущности, ведь с той поры и покати́лась жизнь Вернера под откос, затряслась по колдобинам и рытвинам, с той поры и начал портиться характер молодого человека, впервые столкнувшегося с неправдой и клеветой и потерпевшего поражение в первом же бою. Николай Викентьевич чувствовал себя ответственным за судьбу Григория Михайловича.

Батенин, как член жилищной комиссии, был направлен к Вернеру для обследования. Он явился вечером. Боль-

шая коммунальная квартира. Пахнет газом и капустой. Он стукнулся в комнату Вернеров.

— Кто там?

Батенин отворил дверь и вошел. Небгато мебелировано, да и не разгуляешься в тесноте. У письменного стола — кухонный табурет. На широком диване — книги. Куда они отправятся к ночи, когда диван станет кроватью? В этот поцарапанный шкаф или попросту на пол? Трое — в одной комнате. Тут и спят, и едят, и работают.

Молоденькая худенькая черноглазая женщина быстрыми нервными движениями вынимала из шкафа и кидала на диван пальтишко, шапку, шарф.

— Одевайся, — приказывала она мальчику со скрипкой в руках. На ней — короткая юбочка, розовая блузка. Мальчик одет чисто, ему лет девять-десять, лицо какое-то почти взрослому страдальческое.

— Пойдешь играть к Шурику, — сердито говорила жена Вернера, — нечего плакать, стыдно...

И тут она обернулась к Батенину:

— Кто вы такой? Что вам нужно?

При всей своей бойкости молодой человек растерялся:

— Простите...

Он объяснил, зачем явился.

— Григория Михайловича нету дома, — отвечала женщина, — а вообще — сами можете видеть. Соседка запрещает заниматься. Такое мучение... Он же тихо... Никто не жалуется, только она одна. Подслушивает и...

Женщина совсем некрасиво потянула носом и стала искать платок по карманчикам.

Батенин залепетал:

— Простите... Я сегодня же... Эти ведьмы... Дьяволы во плоти...

Был он здесь недолго, объяснил, зачем послан, выяснил все обстоятельства и ушел взбудораженный. Дьявол во плоти подстерегал его на площадке лестницы. Плоть была, впрочем, дородная, даже почти миловидная, только глаза выдавали неутолимую злобу.

Ведьма спросила, кто такой и к кому приходил (хотя, конечно, знала — к кому).

— Как вы личностью незнако-

мый, — пояснила она, — а у нас народ рабочий, вся квартира на мне.

И тут Батенин узнал, что без этой бабы-яги все бы пропали, за всеми она прибирает, всем услуживает, но люди не ценят. А от Вернеров всем одно только горе.

— Чертенка видали?

Батенин понял, что она говорит о мальчишке со взрослым лицом.

— Пиликает и пиликает. — Она перешла на доверительный шепот. — Вот бог и накажет его за них. Разломает он скрипку, и пусть уж потом не валят на других...

С такими существами нельзя вступать в объяснения, тем более — в пререкания, а всякие попытки убедить, уговорить они принимают за слабость. Поэтому Батенин построил очень строгую, так сказать — ответственную физиономию и проговорил внушительно:

— Все это будет точнее разобрано и расследовано. — Он сам удивился этому вдруг выскочившему «точнейше» и добавил строго: — Мы все видим и все знаем. Скрипка должна быть цела, иначе — ответите!

На утро, в институте, он в самых красочных выражениях изложил Сухонину результаты своего посещения:

— Чудовищная баба! Лев Толстой, если б жил с ней под одной крышей, отказался бы от непротивления злу и пошел бы в тюрьму за убийство. Мне казалось, что я каким-то образом влип в доисторический фильм с лабазами, трактирами и городовыми. Теперь ясно, почему Вернер такой сумасшедший! Его с семьей просто затравили. Я тоже в коммуналке, но у нас все-таки люди, не дьяволы...

— Подайте мне заявление о результатах обследования, — перебил Сухонин. — Поставим Вернера в первую очередь на площадь. Тем более, что ему предстоит в ближайшее время весьма ответственное задание...

К сожалению, молоденькая жена Вернера неотразимо вошла в душу Батенина, и в его воображении начали разыгрываться удивительные сцены, в которых он геройски спасал бедную женщину от всяких злодеев. К обеденному перерыву он так себя

растравил, что уже не мог больше сдерживаться.

— Пусть в мужчине главное не красота, а ум, — рассуждал он в столовой. — Но это же совершенно непригодный человек! Он не может даже охранить свою жену от самой примитивной кухонной стервы! Ей бы настоящего мужчину!

— Вроде тебя? — осведомилась рыжеволосая копировщица.

— А что! Чем я плох?

— Дрянной у тебя язык! Пошел к людям и трещишь теперь про них всякую чушь!

— А ты не злись. Я же не про тебя, а про действительно замечательную женщину. А тебе в самый раз годится Вернер. Хочешь — сосватаю? Вот сейчас...

Он привстал, дернулся к двери и увидел Григория Михайловича — никто не заметил, когда и как тот вошел.

Вернер молча повернулся и удалился из столовой.

Когда дверь за ним захлопнулась, примолкшая было молодежь зашумела:

— А я-то думал, что сейчас такой скандал разразится!..

— Все-таки исправился характер!

— А ты, Батенин, свинья!

— Я? Свинья? Я сегодня утром целый прямо акт составил о его положении! За подписью и печатью! И я же свинья? Пусть жалуется!

— Сам знаешь, что он никогда не жалуется! Потому и хамишь!

— Я чистую правду сказал! Мне его семью жалко!

— Пожалел бы лучше свою собственную жену! Что Кире такой муж попался...

Это отомстила рыжеволосая красавица.

Вернер действительно не собирался жаловаться. Да и на кого жаловаться! На самого себя, больше не на кого. Этот мальчишка Батенин совершенно прав. Если не умеешь жить, не женись, не губи жизнь жене и сыну. Не в возбуждении, не в злобе, а в каком-то почти отчаянии он шел к Сухонину, сам не зная, решится он или нет заговорить, наконец, о своих личных нуждах. Но эта чушь отзывается в конце

концов на работе, вот в чем суть. Это уже имеет не только личное значение.

В этот час, как не раз бывало, в кабинете Николая Викентьевича сидела и Татьяна Акимовна, принесшая мужу домашнюю пищу. Сухонин еще не приступил к еде. Перед ним стояли три пустые стеклянные колбы, и он не успел отодвинуть их, когда на пороге появился Вернер.

— Вот кстати! — воскликнул Николай Викентьевич. — Прости, Таня, я потом пообедаю... Попробуйте-ка, Григорий Михайлович, разбейте этот сосуд.

И он протянул Вернеру крайнюю из стоявших перед ним колб.

— Что? — удивился Григорий Михайлович.

— Стукните! Стукните колбой по столу! — настаивал Сухонин. — Уверяю вас, вы не раскаетесь.

Вернер пристально глянул на шефа, заметил непонятное сияние в его глазах и, взяв колбу, легонько стукнул ею по краю стола. Затем стукнул по сильнее и, наконец, хлопнул со всей силы. Колба подпрыгнула, упала на пол и — хоть бы что! Тогда все, что за минуту до того волновало Григория Михайловича, отошло, забылось, как будто и не существовало. Григорий Михайлович наступил на колбу ногой и попытался раздавить ее всей тяжестью своего тела, но колба осталась целехонькой. Вернер выскочил из кабинета и через минуту вбежал с пестиком. Татьяна Акимовна вскрикнула, уверенная, что новый сотрудник сошел с ума, но припадочный стал бить пестиком не Сухонина, а колбу. Колба только весело подпрыгивала да позванивала, но разбить ее никак не удавалось.

— Что вы с ней сделали? — спросил, наконец, Григорий Михайлович, прекратив рубку. Он стоял, длинный, тощий, с багровым лицом, с взъерошенными волосами, и глядел на Сухонина немигающими, прозрачно-серыми своими глазами. Пестик в его плетью повисшей руке болтался где-то ниже колена.

— Отлично, — сказал Сухонин. — Эта колба была у меня первой в очереди. Так что разрешите, Григорий

Михайлович, я все же испытаю и остальные две.

Одна из оставшихся нетронутыми колб раскололась на три странно ровных куска. Другая раскрылась на две половинки.

— Так, — заключил Николай Викентьевич. — Похоже, что часть опытов завершена и дала свои результаты. Те расчеты, которые я просил вас сделать, оказались совершенно точными. Так что вы — соавтор этого безусловно удавшегося эксперимента. Я вас сегодня же ознакомлю с сущностью дела, а затем вы приступите к дальнейшим испытаниям. Производство будет поручено тоже вам.

— Но я ведь теоретик!

— Я и раньше догадывался, а сейчас окончательно убедился, что вы и теоретик и практик. Здесь необходимо именно такое сочетание. Вы быстрее и легче, чем кто-либо другой, разберетесь во всех аспектах этого дела. Ведь вы дали самое трудное для понимания — расчеты. Так что не возражайте. Ваша работа сильно усложнится, но мы создадим вам все необходимые условия, в частности и прежде всего — жилищные...

Так Григорий Михайлович Вернер узнал о последнем достижении Николая Викентьевича Сухонина — о чудодейственном порошке серебристого цвета, о легчайшей пыли, полученной им при весьма оригинальной обработке сложного соединения разных элементов.

Серебристый порошок, растворенный в особой жидкости, придавал необычайную крепость любому предмету. Колбу не удалось расколоть даже топором, а в то же время она сохраняла все другие свойства стеклянного сосуда. Серебристую бумагу не брали никакие ножницы. Применялись все большие и большие силы и температуры, но предел, при котором сопротивление нового вещества прекращалось, не обозначался.

В один из первых дней работы своей с этим необыкновенным средством Григорий Михайлович окунул кончик мизинца в склянку с растворенным порошком, а затем резанул палец ножом. Выяснилось, что порошок, к сожалению, не предохраняет

человеческое тело от ранений. Пошлейшим образом потекла кровь, и пришлось принимать обычные консервативные меры лечения. Следовательно, как тотчас же сообщил сотрудникам Григорий Михайлович, сейчас можно констатировать только, что порошок действителен для мертвой материи, а что касается живых организмов, то необходимы дальнейшие исследования, кустарщиной заниматься не следует. Еще многое остается неизвестным — например, действие радиации на омытый растворенным порошком объект.

За опыт с мизинцем Григорий Михайлович получил свой первый выговор от Сухонина. Ранка была пустяковая, но Николай Викентьевич признал совершенно недопустимым такое своеволие.

— Нарушение дисциплины! — рассердился он. — Я таких мучеников науки не уважаю. Мы даже еще близко не подошли к опытам на живых организмах, а вы допустили не вызванную никакими обстоятельствами торопливость, поспешность.

Вернер не спорил. Он признавал себя виновным.

Очень скоро Сухонин убедился, что не ошибся в новом своем сотруднике. Григорий Михайлович оказался отличным экспериментатором. Мало того. Излишки его энергии, раньше взрывавшиеся во всяких спорах и пререканиях, нашли теперь достойное применение. Когда Вернер говорил: «Теперь, пожалуй, порядок», — то Сухонин верил ему безусловно. Без «пожалуй» Вернер никогда не обходился. Он всегда имел в виду, что любое открытие может вдруг повернуться новой непредвиденной гранью, поэтому надо быть всегда начеку.

Специальная комиссия с самой высокой оценкой приняла серебристый порошок, после чего Сухонин составил план дальнейших работ и просил предоставить лабораторию особого назначения не только для опытов с порошком, но и для некоторых новых, построенных на несколько другой основе изысканий. Он скромно писал «лаборатория», но дело шло, по существу, о новом институте. Затем Николай Викентьевич взял отпуск, и

Татьяна Акимовна увезла его в деревенскую «глубинку». И здесь Сухонин отдался отдыху всем телом и всей душой.

Сухонин не ожидал быстрого ответа на свое предложение. Но вот — ответ лежит перед ним, он — в пакете, который доставлен бритоголовым болваном. Николай Викентьевич Сухонин — начальник лаборатории особого назначения, строительство поручается также ему. Лаборатория организуется за пределами Ленинграда, вдали от крупных населенных пунктов, как и было намечено. Ко всем присланным материалам приколота была, кроме официального письма, краткая записка от Вернера: «Теперь, пожалуй, порядок». Для Николая Викентьевича эти несколько слов от Григория Михайловича были важнее всего остального, они давали уверенность в реальности всего предприятия. Но как быстро решили дело! Замечательно быстро!

Татьяна Акимовна определила:

— Никто не хотел расставаться с Ленинградом, а ты сам вызвался, поэтому так быстро и решили.

— Все равно почему, — отрезал Сухонин. — Главное то, что можно немедленно приступить к делу. Вся моя группа сотрудников будет работать здесь.

Даже многоопытная Татьяна Акимовна изумилась

— Здесь?!

Николай Викентьевич пожал плечами:

— Конечно. Ведь лабораторию-то мы построим здесь. Лучших условий и не сыскать. Вся связь, доставка материалов, транспортировка изделий и прочее — по железной дороге.

— Да ведь мы далеко от ближайшей станции! — воскликнула Татьяна Акимовна. — Очнись, Коля!

— Построим ветку. К тому же оборудуем аэродром.

— Да как же это ты вдруг! — не сдавалась Татьяна Акимовна. — Хоть бы дал себе время обдумать, где строить!

— Да я уже в Ленинграде это наметил, я эти места знаю. А тут я убедился окончательно. Я заранее, перед отъездом, опросил своих сотрудников,

и все согласились ехать со мной в любое место. Я из-за этого сюда и отправился.

Вот те на! Так оказалось, что не Татьяна Акимовна привезла его сюда для отдыха, а он — ее, для работы. Но она больше не возражала. Теперь его уже не остановишь, и она перестает быть командиром. Командир — он. Но все-таки не полновластный, это она знала, без нее ему не обойтись.

— Пойдем, я покажу место, которое я облюбовал, — говорил Сухонин. — Как будто специально придумали тут вышку для нашей лаборатории.

— Чего тут смотреть! — заявила Татьяна Акимовна. — Я и так знаю, где ты выбрал!

— Но правда — самое подходящее место?

Татьяна Акимовна держала своего супруга в строгости, согласиен не баловала, к удачам относилась настороженно и с сомнением, поэтому отозвалась:

— Не знаю.

Сухонин обратился к Колотовскому:

— Тебе для газеты полезно посмотреть. Об этой будущей лаборатории ты и напишешь. Пойдем. И Диночку возьмем с собой.

— Диночка послана в деревню, — строго заметила Татьяна Акимовна. — Нечего таскать ее на твою гору.

— Вот она в деревню и побежит.

Когда они вышли из домика, пчелы уже почти не подлетали к жилью. С реки возвращались, с мокрыми волосами, со шляпами и сетками в руках, лесник Чернов с зятем. Тишина. Покой. В небе — ни облачка. В воздухе — ни ветерка. Знойно. Зелено. Все насыщено живой сладостной жизнью. Но потревоженный пчелиный рой все еще вился высоко над ульем. Вот так вырывается вдруг из души рой чувств, вызванный неожиданным впечатлением или поворотом судьбы. Но Рома привычен, приучен был к сдержанности. Он шагал рядом с Сухониным серьезный, замкнутый, очень взрослый.

Прошлым летом он впервые послан был газетой в эти места, зашел и к Чернову. И жена лесника сказала о нем тогда:

— Огорченный молодой человек.

Она не смогла объяснить, почему так решила. Только добавила:

— Да глаза такие. И все больше молчит.

XIX

Красный кирпичный домик лесника стоял высоко над лугом, за которым извивалась узенькая, с пологими берегами речка. Речка только притворялась смирной. В половодье она буйно разливалась по низинам, и потому ближнее к ней жилье забралось на бугры, которыми богата здешняя земля. Тянулся когда-то по берегу кряж, но его размыло, и остались торчать неровными плоскими вышками, как последки порушенной гряды, отдельные глинистые да земляные крепости, которых не одолеть натиску весеннего водополья. Только на некоторых видны одинокие постройки — где сарай, где избенка, крытая дранкой. А деревни убежали подальше от зловредной, неумной речки, на пахотные земли. К заливным лугам люди не жались: водяной напор окрутит жилье, и без лодки не выберешься, греби над поймой, над потонувшим покосом, как на море, все пути и тропы — на дне.

Черновский дом поместился у самого спуска, на высоте, которой не достичь весенним разливам. Здесь гряда выстояла, не поддалась так, как в других местах. Не холм, не горюшка, а огромный кряжистый массив — километр в длину, километр в ширину — высился незыблемо, окруженный промытыми за века ущельями, в глубине которых вились дороги, проезжали телеги и грузовики. Крутые травянистые, с редким кустарником склоны падали в эти провалы, и только к реке, к прибрежным лугам, вел некрутой, отлогий откос. И на весь этот километровый кусок земли — один домик, одна черновская семья, никого больше. Безлюдье.

Глянуть с берега — над обрывом вздымают мощные кроны ель и сосна, клен и береза, дуб и осина, выбежали вперед ивняк и ольшаник, и похоже, что весь массив зарос сплошным лесом. А если взобраться наверх — открываются зеленые просторы, а то, что виделось снизу, окажется небольшой,

но густой рощей, даже днем сумрачной, она вытянулась почти по всему надречному краю неширокой, но плотной стеной. Городскому жителю бывает жутковато проходить по этой рощце поздним вечером. Вдруг всполохнется в непролазном сплетении ветвей, в угольно-черных сгустках тьмы непонятная живая тяжесть. Что за зверь такой? А это — сова. Робкий горожанин вздрагивает от малейшего звука, почти бежит, торопится к единственному близкому человеческому жилью, выходит, наконец, на опушку, и тут его ждет кладбище.

История prošлась по этим местам железным своим шагом. Под каменными крестами, в древних могилах, спят гулявшие здесь когда-то богатыри. Их потомки в последней войне остановили и сокрушили тут новых рыцарей мрака и злодейства, и новое кладбище разрослось возле старого.

На противоположном от черновского домика краю массив вздымался круглой, как большая шапка, зеленой горой — то была самая высокая точка во всей округе. Сухонин любил сидеть на этой вершине, ни с кем не делаясь мыслями, которые рождались у него. Отсюда можно оглядеть землю на многие километры от горизонта к горизонту. Небо, раскинувшись во всю свою громадную ширь, было здесь как бы неотделимо от земли, сливалось с землей в одно целое. Чувствовалось дыхание вселенной, и дышалось тут легче, животворней, чем где бы то ни было, — такой бодрящей свежести, такого озона Сухонин не знал нигде.

Сюда, на эту зеленую гору, привел Рому Колотовского Сухонин. Диночка, чуть пчелы остались позади, убежала в деревню к жене лесника выполнять мамино поручение.

— Вот здесь и будет лаборатория, — сказал Сухонин. — Вокруг вырастет поселок. Лучшего места и не придумаешь. По существу это будет, конечно, не просто лаборатория, а филиал с весьма большими перспективами. Я хочу назвать этот филиал именем твоего отца, Рома, — он мечтал о таком выходе на просторы, здесь есть где размахнуться.

— Николай Викентьевич, — спро-

сил Рома, — мой отец мог бы стать настоящим ученым?

— Он и был им, — удивился Сухонин.

— Без ученой степени? Без научных трудов? Может быть, ему не доставало таланта? Матушка всегда говорила, что он не хочет заниматься наукой всерьез.

Милое слово «матушка» воскресило небольшую квартирку, за окнами которой над беспокойной Невой качались белые чайки, бегали пароходики, за бурливыми речными водами неровной грядой выступали дома и заводы Выборгской стороны. Николай Викентьевич ответил строго и отчетливо:

— Вся деятельность твоего отца, Рома, была большим научным трудом. Сколько раз мы уговаривали его изложить на бумаге или под стенограмму идеи, мысли, которые он разбрасывал, раскидывал по совещаниям, собраниям, в ежедневной работе! Но он отмахивался. Подойдет, вникнет, сообразит, посоветует, даже сам сделает — и пойдет дальше. Очень был щедрый человек. Он всего себя отдавал организаторской работе. Он считал это своим первейшим долгом. У него был большой организаторский талант, но он не был бы таким первоклассным организатором в науке, если бы не был подлинным ученым.

— Не понимаю, — покачал головой Рома. — Если бы он был по призванию ученый, то ему ничего не могло бы помешать, уж как-нибудь это выразилось бы не только в административной работе. Очевидно, он чувствовал, что у него нет таланта для чисто научной работы, что талант у него только организаторский, потому и отмахивался.

— Он сам всегда это утверждал, но я не мог с этим согласиться. И сейчас не согласен.

— Я говорю это потому, что матушка всегда огорчалась, упрекала отца. А мне думается, что отец был просто честен. Он не был ученым, а был отличным организатором, ничего в этом нет плохого. Матушка была неправа. Очень почетно быть человеком любой профессии. Мой отец не

хотел пользоваться своим положением. Верно?

— Он был кристально честным человеком, — ответил Николай Викентьевич. — Но он отличался чрезмерной щепетильностью, так тоже нельзя. Для других он старался, а чуть дело касалось его самого, так он отмахивался. Вот эта лаборатория особого назначения была задумана им. Он считал, что науке надо выйти на просторы, в поля и леса...

— А его, конечно, подозревали, что он хочет выйти из-под руководства?

— Было и это. В проекте, который сейчас одобрен, в основе заложена не только эта его идея. Его мысли о сочетании физики с биологией и другими науками привели к тем исследованиям, о которых я тебе сегодня расскажу. Твой отец был передовой ученый, он ратовал за физическую химию еще во времена учебников Краевича. Но все это устно, рукописей не осталось. Он служил истине, а не карьере, не деньгам, а если выходящий, но непонимающий человек ошибался, то он возражал и оспаривал. Конечно, он таким образом приобретал врагов. Инициатором новой лаборатории — он и назвал ее лабораторией особого назначения — по справедливости я считаю именно его. Он задумал, он дал основу проекту, он расчищал пути к осуществлению. В нашем ходатайстве подробно и точно изложены причины, по которым институт решил присвоить филиалу его имя. После утверждения я бы тебя, конечно, известил об этом. Это представлялось мне обязательным вне зависимости ни от чего.

— Вы знаете, Николай Викентьевич, — сказал Рома, — ведь матушка и адрес от вас скрыла, и не переписывалась, и мне наказала не беспокоить вас отчасти потому, что очень на вас рассчитывала. Надеюсь, что вы не дадите людям забыть об отце. Берегла вас. Боялась вам повредить.

— Времена, к счастью, изменились, — отозвался Сухонин. — Все будет сделано, что велит совесть.

Он опустился на зеленую скамью, стоявшую на этой вышке. Синяя заречная даль, поросшая лесами, у горизонта сливалась с небом, скло-

нявшимся к ней, и казалось, что плывешь по воздуху невесомый и нет ни расстояний, ни времени. Шагнул — и на любой звезде, откатнулся — и сразу же опять на Земле.

— Здесь и разговаривать просторнее, свободнее, чем под крышей, — заметил Сухонин.

— Мальчишкой я тут за грибами бегал, — вымолвил молодой журналист. — Я все за вами увязывался. Отец грибником не был.

— Зато рыболов был знатный, а я — не рыболов.

Хотелось отдаться мирным мыслям. И память подбросила конференц-зал института, но уже через семь лет после того страшного собрания. Люди шумели во всех комнатах, на лестнице, в курилке, дым вился от папирос и трубок, празднично сияли молодые лица. А зал был еще почти пуст. Только несколько человек, пожилых, избегавших толкотни и суеты, тихо сидели в рядах, заняв места поближе к трибуне, но не в самых первых рядах. Эти старики числились активистами всех клубных мероприятий, без их седин невозможно было представить себе ни одного собрания. На возвышении перед ними все было как всегда: стол, покрытый красным сукном, на нем графин с водой и стаканы, стулья, ожидающие членов президиума. А в жизни произошли ошеломляющие перемены, о которых им, дремлющим на всех собраниях активистам, и в голову не приходило. Они взирали с испугом и недоумением на пустоту, возникшую перед их глазами: привычный парадный портрет, многие годы висевший над трибуной, был снят, отсутствовал, и о нем напоминал только большой светлый квадрат на огненно-красной стене. После Двадцатого партийного съезда история заговорила на своем жестком правдивом языке, могучая правда прошла по стране, уничтожая страх, ломая оковы и тормоза, гигантски увеличивая силы людей. И лаборатория особого назначения — один из множества рванувшихся к исполнению замыслов. Дыханием большой истории полыхнуло в сердце Сухонина, и он увидел лабораторию в стремительном движении жизни и

себя в огромном строю, и ему захотелось действовать как можно скорей.

— Твоя газета, Рома, может очень помочь в нашем деле, — сказал он. — Я могу хоть сейчас все рассказать тебе.

— Я знаю стенографию, — отозвался Рома. — Вся моя канцелярия при мне. Я запишу.

Вынимая из портфельчика тетрадки и карандаши, он вымолвил:

— Я бы все равно пришел в конце концов к вам, но вышло так, что послали. Бывает, что не сделал с самого начала того, что нужно, а потом — как застопорило.

— Бывает, — коротко ответил Сухонин.

Сухонин всегда готов был помочь делом, действием, но чувствительных сцен и слов с молодости терпеть не мог. Не мужской это обычай. Он родился в Петербурге, в прошлом веке, и достаточно слушался сентиментально-гуманных речей от расчетливейших, совершенно бессердечных дельцов, бывавших у отца (дельцам всегда и везде выгодна сентиментальная маска), достаточно рассмотрелся на их благообразные лица. Его отец, инженер, часто говаривал:

— Не верь хорошим словам, а верь хорошим поступкам. Верь только такому доброму слову, которое есть доброе дело.

И Рома чувствовал себя со стариком спокойно, свободно.

Сухонин диктовал статью для газеты часа два, не больше. Затем Рома читал, а Сухонин выправлял. И наконец они пошли в домик лесника. Там их ждал еще один обед, на этот раз с супом. После обеда Николай Викентьевич прилег отдохнуть, а Рому Татьяна Акимовна не отпустила кобылихе.

— Садись за стол, будешь расшифровывать у нас.

Уже темнело, когда Николай Викентьевич, прочтя расшифрованные записи, поставил под ними свое знаменитое имя.

Уходя, Рома смущенно поцеловал руку Татьяне Акимовне, чего та никак уж не ожидала.

— Приходи завтра с утра, — приказала она.

— Чернов тоже ушел в деревню, — сообщила Татьяна Акимовна, когда молодой человек уже спустился с горы. Они с мужем глядели сверху, как тот шагает по дороге к своейобылихе.

— Он очень знающий, — отозвался Николай Викентьевич, и Татьяна Акимовна поняла без пояснений, что это не о Чернове, а о Роме.

— Молодые боятся сантиментов, — заметила она.

— Ты хорошо с ним обращалась.

— Но если ты будешь при других делать мне замечания, то я могу уехать, — ответила Татьяна Акимовна. — Ты меня несколько раз обрывал.

— Прости, ради бога. Я боялся, что он тебе сгрубит.

— Ты очень неуклюже выдумываешь. Лучше и не пытайся.

Сухонин промолчал. Потом заговорил:

— Ты помнишь, что завтра придет Батенин с женой и сестрой?

— А, эта девушка...

— У нее отличные математические способности. Хотя была Софья Ковалевская, но я всегда с трудом верю, что женщина может быть математиком.

— Спасибо.

— Так ты же биолог, а не математик.

— Не оправдывайся. Черновы приглашали нас на свадьбу.

— Да?

— Не беспокойся. Я уже поблагодарила и сказала, что у тебя дела.

— Да, как-то...

— Я знаю, что у тебя всегда как-то. Чуть что-нибудь живое, так сразу же — как-то.

— Да нет, если ты хочешь, так я с удовольствием.

— Кто тебе сказал, что я хочу?

— Но если ты не хочешь...

— Вот всегда так и получается. Либо тащишь тебя как на аркане, либо сдыхаешь со скуки дома.

Николай Викентьевич на всякий случай опять промолчал. Он понимал, что его единственная Таня берет реванш за все, что сегодня произошло, а главное — за новость о строительстве лаборатории здесь, в этих ме-

стах, и предоставлял ей полную волю, даже и не пытаясь больше возражать.

— Надо одеться прилично, — сердилась Татьяна Акимовна. — Ходишь, как оборот какой-то. Этот болван с пакетом не поверил, что ты академик.

— Да! — вспомнил Сухонин. — Интересно, почему он так испугался Рома? Я забыл спросить.

— Так ты наденешь пиджак и приличные брюки?

— Сейчас.

И Николай Викентьевич послушно направился к домику.

— Куда ты?

— Переодеться.

— Господи! Никуда мы не пойдем. Я говорю, чтобы ты завтра надел. Ты совсем тут опустился. Собрался на свадьбу! Тебе нельзя пить брагу, а не выпьешь — обидятся. Неужели ты даже это понять не можешь!

Так они перебрасывались словами, следя за тем, как все дальше и дальше уходил Роман Колотовский. Так разговаривали бы, если б обладали самостоятельным даром речи, ухо и глаз, нога и рука, пятка и темя одного тела. Могут и корить друг друга, и ссориться, и ругаться, но все равно вместе.

XX

Изба, в которой остановился Рома Колотовский, стояла на соседней горшке, отделенной от массива с домиком Чернова провалом заливных лугов. Речка, узенькая, но буйная, разливаясь в половодье по всей округе, загнала ближе к ней жильё на высокие места. Да и немного здесь жильё, деревни раскинулись за километры отсюда.

Очень помнились Роме прошлогодние осенние ночи в этой избе, ночи, когда ветер рвал во тьме за окошком, и хлестали потоки с небес, и казалось — нет и не будет больше жизни, ничего не будет и все кончилось навсегда. Но сегодня только туман подымается. Изба пуста, хозяйка, бобылиха, тоже ушла на черновский праздник. Можно лечь, заснуть, даже хорошо, что он один.

В прошлом году, когда он так вот жил здесь, к нему забрел один из редакционных работников, присланный в ближний колхоз. Молодой, веселый, болтливый, он замрачнел, погрузнел, потом вдруг спросил:

— Как же ты тут без оружия?

И ушел обратно в деревню, хотя навстречу неслась грозовая туча. Он побоялся остаться в этой одинокой избе на ночь.

Рома тогда в ответ на его вопрос только засмеялся. Если уж захотят убить, то никакое оружие не спасет. Кричи, зови на помощь, стреляй — никто не отзовется, не услышит, вокруг ни живой души, соседняя вышка, где домик Чернова, за два километра. Он просто не думал, что это может быть страшно. Есть на свете вещи пострашней, чем одинокая изба среди безлюдья.

На топчане — набитый жесткой соломой тюфяк. За окном — тьма. Он лег и закрыл глаза.

— Хорошо я загорела? Это специально для тебя...

Что такое! Он как бы услышал ее голос. Она только что вернулась с юга и вечером прибежала к нему. Они совершенно одни, они не виделись целый месяц...

— погоди! Да погоди же... Сумасшедший... Правда, ровный загар?

Черт знает! Он вскочил с топчана. Можно управлять сложнейшими машинами, но совершенно невозможно справиться с собственными чувствами, воспоминаниями, ощущениями. Как будто не ты ими, а они тобой владеют. Что делать, если вспоминают руки, ноги, грудь!

— Тебе, Рома, нечего задумываться о прошлом. Молодые пусть глядят вперед. С прошлым уж как-нибудь разделаемся мы, старики...

А это — он, ее папаша. Очень представительный мужчина. Громадный, белобрысый, плечи широкие, держится прямо, лицо открытое, взгляд прямой, глаза стальные. Красивая седина в мягких волосах. Даже дома на нем всегда блистательный костюм, в который словно влито сильное тело. Здоровяк. Он все может. Ему все ни почем...

Спать невозможно. Рома зажег ке-

росиновую лампу: электричества в этой дальней избе, конечно, не было. Услышал шаги на крыльце и обрадовался. Гость! Конечно, Иван Филиппович Васильков, учитель, местная культурная сила, Диночкин отец.

Иван Филиппович, прослышав о приезде сотрудника областной газеты Колотовского, завернул к нему по пути из районной столицы и внес в избенку над рекой шум, гром, гнев, радость, восхищение. Был он человек беспокойный, говорливый, бурный и для душевных излиятий избирал немногоречивых собеседников вроде этого молодого журналиста. Едва поздоровавшись, он с ходу заговорил о дорогах.

— Прокладываем пути в космос, а на земле в глине вязнем! — Он был еще горячий после райисполкома, где, видно, не успел выговориться до конца. — Нет! — продолжал он заседать уже не в райисполкоме, а в одинокой избе, при керосиновой лампе. — Нет, шоссе тут ни при чем. Шоссе очень приятное, но нам не по шоссе мотаться, а по проселкам. При Владимире Мономахе проселки были ровно такие же, как сейчас, не хуже. Пройдите за реку, хоть бы за десять километров, одичалые места, нет, вы потрудитесь, пройдите пешечком, на своих ножках. Впрочем, вы — дотошный, — вставил он деликатно, — и сами знаете. Черт знает что! Дороги нам нужны, а к нам веселиться ездят. Есть у вас время? Я вот вам порасскажу. Не скучно будет.

— Я с удовольствием послушаю.

Рома знал, что этот рассказчик зарядит надолго, но он готов был слушать не только с удовольствием, но с наслаждением. Он убежал от своих мыслей, от своих чувств, от своего — надо же хоть перед самим собой сознаться! — нового и внезапного одиночества.

А Иван Филиппович Васильков уже рассказывал:

— Приехала к нам в воскресенье компания на машинах. Разгулялись на лоне природы, расшумелись, полезли ко мне в дом, требуют услуг. Я их вон гнать — а они на меня всей кучей — со мной еще дядя Вася был, вы его знаете. У них, видите ли, пик-

ник с дамами, пусть моя жена их обслужит! Кричат: «Держи его! Тащи!» Представляете себе? Врываются в дом болваны и на хозяев кричат, как про вора: «Держи!» Их четверо, а нас двое, но... — Он взмахнул рукой. — Не надо нас сердить, не те мы люди, чтоб нас сердить... — Он неожиданно засмеялся. — Запомнят нас. В гости больше не заявятся.. Вы знаете дядю Васю, хороший мужик. Он как-то зимой шел, устал и спать улегся. Прямо так, возле дороги, в кустах. Под утро его нашли проезжие колхозники, хотели поднять, да нет — он вмерз щекой в землю. Пришлось чуть ли не вырубать его изо льда. Так он даже насморка не получил, только чуть опухла щека, но и это быстро сошло. Главное — нисколько не вру, чистая правда. — Он опять засмеялся. — Так что нас сердить не следует.

— Я, вы знаете, сам из этих мест, — продолжал он без всякого перехода, — прошел все, что положено, — и войну, конечно. И удивляюсь, откуда только силы берутся, когда надо! Вот однажды на войне привелось мне искупаться в ледяной воде. После того чувствую под утро, что весь горю. Нам приказ — на восемнадцать километров отступить. А у меня жар такой, как у одного нашего хвастуна, который побился об заклад и съел разом три кило меда. Так тот хвастун побежал в речку и просидел полтора часа в холодной воде, чтобы спустить жар. А я наоборот — от ледяной речки получил жар. Ротный говорит мне: «Везти тебя не на чем, немцам оставлять не дело, вставай да иди». Я встал да пошел. Что тут, правда, делать? Такое положение. Иду, обливаюсь потом, еле передвигаю ноги, в бреду представляется, что я по скалам прыгаю, а иду, черт меня возьми, сам не знаю и не помню, как все восемнадцать километров и отшагал. Я думаю, что в самой крайней беде как свечечка какая внутри не загасает, теплится, и только сам ее пальцем не туши, не допускай страха, не пугай себя, тогда дойдешь куда надо. В каждом из нас горит эта неугасимая свеча, душа человеческая, факт. А проселки надо чинить! — вдруг заключил он. — На та-

кой природе, при таких богатствах — такой стыд!

После короткой паузы — только чтобы передохнуть — вновь полилась его ночная речь:

— Какая природа у нас! Красотища! Вы взгляните, взгляните только. Каждую минуту меняется. Вот эта полоса освещена, та в тени — это одна картина. А переместилась тень — совсем другая открылась красота. А богатства какие! Здесь все можно! Все! Если ты, например, кандидат наук — иди сюда, на свежий воздух, займись делом! И зверя ты тут найдешь. И лося с лосенком, и волка, которого тропу вот я уже заранее знаю, — знаю, как пойдет по нашему месту зимой волк. Он у меня в прошлом году собаку сгубил, это у него обычай — прежде всего пса резать. А цапли! Сколько их у нас! А если ты кандидат небесных наук, то погляди, какие тут горизонты! И объясни кое-что. Однажды зимой я в нашем районном центре заметил, что стоит колхозник и смотрит, разинув рот, вверх. Я тоже глянул и ошалел. Восемь солнц в небе, да, восемь. Ну, сразу же сообразил, в чем дело, разъяснил колхознику, чтобы он не подумал о божественном, а потом в райисполком — организуйте лекцию и в газету. Пришло, представьте себе, мне самому читать лекцию и в газету писать, другого не нашлось, вот и проявляй после этого инициативу. Чуть сунешься — так тебя и угостят! «Вот и правильно, вы уж и сделайте...» Хорошо, вы сейчас тут, получше нашего пишете, — прибавил он вежливо. — Вот уж от вас никогда отка- за нету...

Рома молчал. Он сразу, с первых слов гостя, понял, куда тот клонит, для чего завел эту с виду путаную речь с заходами против кандидатов наук. Но он не торопил события. Слушая, он удивлялся: сколько Васильков ни рассказывал ему всякого — а вот находятся у него все новые и новые истории! А Иван Филиппович говорил:

— Вот еще вам происшествие. Шел я этой зимой из районной нашей столицы домой. Морозно. Первый час ночи. Шел я с дочкой, вы ее знаете —

Дина. Вдруг она кричит: «Папа, гляди — пожар!» Я вскинул голову и вижу: далеко из-за леса выплывает огромный красный шар, подымается, потом черная линия его как будто разрубает, разламывает, шар раскололся на две половинки и пропал. Может быть, конечно, любая галлюцинация. Но я непьющий. И ведь девочка тоже видела, дочка, она всю дорогу после того плакала, что это наш дом сгорел. Я потом и других спрашивал, видел и наш ночной сторож, и еще люди. Я собрал показания и послал их в журнал «Природа». Я — не профессор, не доцент, а только любитель, и библиотека у меня — самая сумбурная. Но вот не есть ли это своеобразное преломление какого-нибудь далекого явления? Ведь известно, что и преломление звука дает интересные эффекты, такие, что за пять километров звук не слышен, а за сто слышен. А о преломлении света — что и говорить! Миражи — не сказка, а факт...

— Все в природе замечательно, — продолжал он с восхищением. — А здесь наблюдаешь всю Вселенную, не загорожена она ни крышами, ни дачами, ни злыми собаками. Меня как-то один заезжий турист спросил, не скучно ли мне тут. Скребется он, как мышь, в каком-то пыльном учреждении... Нет, не скучно. И людей любишь, для них живешь, свечечка-то в каждом теплится, в каждом — живая душа. Люблю людей. — Он взглянул на часы, вытащив их из кармана штанов. — Вот именно: «люблю, люблю», а жена, поди, сидит на лавочке и удивляется: «Куда это мой черт бестолковый пропал!» Слова, слова, а чуть до дела — так не то! Половина первого! Наговорил я вам вздору, какой вам совершенно ни к чему, ни в какие ворота не лезет! А кто говорил! Человек трезвый, поклонник всего разумного в жизни и в человеке.

Он встал. Был он высок, худощав, голову задирает так, что острый его подбородок торчал, казалось, впереди тонкого носа, в конце чуть раздвоенного. На нем — черная холщовая куртка, под ней — шерстяная фуфайка, фуражки на голове нету.

— Слышали? — сказал он вдруг, как бы между прочим, и Рома подумал: «Наконец-то!» — Великий ученый к нам заявился. У лесника Чернова живет. Сухонин. Знаменитый человек. До нас, грешных, не опускается. В небесах витает. Помрет — так на черновском доме мраморную доску нацепят, а в районе бюст поставят. Жил, мол, работал, с народом общался... А он-то законопатился, носу не кажет никуда, только вокруг дома и вертится. Вы-то видели его?

— Видал, — коротко ответил Рома. — Для того и командирован.

— Вас-то допустил, — заметил Иван Филиппович. — Газета. Они это любят. Каков он? Важный? И с чего это он к Чернову приехал, а не в виллу какую-нибудь?

— Отличный человек, — ответил Рома. — Зайдите к нему — сами увидите.

— Ну-ну, — неопределенно отозвался Иван Филиппович. Потом вздернул голову и сверкнул глазами. — Не пойду я к нему. У вас поручение, а у меня нет. Только не подумайте, — возвысил он голос, — что оробел перед знаменитостью. Напрашиваться не привык, вот и все. Я маленький человек, но имею свое большое самолюбие.

Рома сказал без улыбки:

— Вполне понимаю вас. Но спросите Диночку, как он ей понравился. Она там тоже была.

— Диночка? — чрезвычайно удивился Иван Филиппович, но расспрашивать не стал. — Ну-ну, — повторил он, попошался и пошел.

В сених под полом тяжело стонал и охал, как больной узник, пес Тузик, старая дворняга бобылихи.

Рома вышел проводить гостя.

Солнце давно зашло, и багровая половина луны диковинно глядела, словно прищурилась, над фиолетовым краем тучи. На лугу внизу нависал пока еще прозрачный, только рождающийся туман, не белый, не молочный, а именно прозрачный, как кисея, сквозь которую все можно разглядеть. Туман подходил к самой реке, а там обрывался, словно отброшенный, остановленный невидимой силой. Река, причудливо изогнув-

шись, улеглась ко сну, как живое тело, и каждая линия в этой живой дуге играла по-своему, своим оттенком, хотя и могло показаться, что сумрак снял с нее все краски и лишь оставил очертания берегов.

— Ступайте в дом, — сказал Васильков, — простынете.

Рома стоял и смотрел, как он спускается по скользкой тропе. Туман, уже не прозрачный, словно сдвинулся, жадно проглатывая все и внизу и вверху, он проглотил Ивана Филипповича и уже подступал к Роме. А река была упрямо видна, но уже другая, еще более живая. Словно потревоженная на своем ложе, она гневно шевельнулась, и черные мрачные полосы рассыпались по ее прихотливо изогнувшемуся телу. Подлинно — тут и минуты не бывает, чтобы природа оставалась такой же, как только что была. Но где же Иван Филиппович? Куда он сгинул? И что за тишина сошла вокруг на землю, такая тишина, что жутко и нарушить ее!

— Ступайте домой! — крикнул снизу насмешливый голос. — Простынете!

Рома поднял голову, чтобы попрощаться с диковинным полушаром луны, и не увидел его. На том месте, где цвел он багровым глазом, все изменилось, висел фиолетовый туман среди черно-фиолетовых туч. Не было и признака луны. Природа продолжала показывать свои волшебные картины, она держала свою молчаливую ночную речь, не заботясь о бессильном выразить ее человеческом слове.

Была ли в небе минуту назад красная половина луны, или это только привиделось? И Роме вспомнился рассказ гостя о багровом шаре, расколотившемся надвое и пропавшем бесследно, и подумалось ему, что вот такие люди, как этот учитель, только что державший ночную речь за столом, всюду и везде двигают жизнь, азартно внедряются во все тайны ее. Где он?

Зыбкий, меняющийся мир дразнил воображение, в нем, казалось, проступает нечто самое важное, то совсем почти воплощаясь, то вдруг отлетая. Как передать невыразимое чувство, когда человек, отдаваясь чу-

десам вселенной, ощущает свое неразрывное сродство с природой, растворяется в ней, и далекие звезды — сестры ему! В такие минуты ничто не страшно, даже сама смерть. Что такое смерть? Очередное превращение на пользу все той же бессмертной жизни.

Страстное желание узнать все еще не известное проснулось в душе с огромной силой. Знакомая страсть, ломающая все и вся. И не самое ли лучшее, что есть в человеке, — это страсть к познанию? Страсть к познанию и любовь — только этим когда-нибудь будут жить люди.

— Простынете! — чуть слышно доносилось издалека.

Рома пошел к избе, где никто не ждал его. Человек без отца, без матери, без жены, без друга, к которому ушла любимая женщина, без единого родственника на земле. Человек, только что придумавший в утешение себе, что звезды — сестры ему. А луна ему кто? Тетя? Или прабабушка?

Так издеваясь над собой, Рома вошел в избу, где догорала керосиновая лампа, где опять кинется на плечи непрошенная тоска, где опять вспомнится его нелегкая жизнь, в которой нет и не будет покоя.

XXI

Редактор областной газеты никак не ожидал, что молодому журналисту удастся с такой быстротой получить материал от знаменитого ученого. Не прошло и двух дней — а перед ним статья академика Сухонина на именных бланках, с собственноручной подписью и с той самой сакраментальной печаткой, которая нашлась таки у Николая Викентьевича. Да ещё и личное письмо академика с очень деликатно выраженной просьбой направить товарища Р. Колотовского обратно к нему для дальнейшей связи с прессой. На конверте имя, отчество и фамилия редактора. самолично выведенные рукой выдающегося ученого, и в письме обращение «Глубокоуважаемый...» Редактор почувствовал себя перенесенным в высшие сферы.

— Что ж! — вымолвил он очень авторитетно, словно уже и сам стал действительным членом Академии наук. — Материал читается с интересом, написан популярно, тема актуальная, свежая. Можно дать в набор.

Он снял очки и тихо осведомился:

— А где запланировано строительство лаборатории?

Рома пожал плечами:

— Публиковать об этом еще рано. Решения нет, но есть намерение строить там, где сейчас живет Сухонин.

— Значит, в нашей области? Есть такое мнение?

— Сухонин добивается этого.

— Сам?.. В нашей области — Академия наук?

Редактор бросил очки на стол, встал, потер руки в чрезвычайном волнении, вновь опустился в кресло и увидел в воображении своем газету в шесть полос, в восемь, в двенадцать, с иллюстрациями, с научными приложениями, с журналом в брошюрованной изящной обложке. «Хладнокровие, выдержка», — сказал он себе, вскочил, надел очки, снял, надел и воскликнул:

— Скажите академику, что с обкомом... с обкомом надо согласовать!

«Спокойно!» — приказал он себе, вышел из-за стола и зашагал по кабинету, невысокий, полненький, кругленький, как колобок. Вымолвил:

— Поедете обратно на машине обкома! Дадут!

Затем он вернулся в свое кресло за столом, придал лицу своему строгое, почти суровое выражение и произнес тоном, каким обычно привык предлагать на собраниях резолюции:

— Вполне целесообразно учредить временный корреспондентский пост в вашем лице.

Машина в каких-нибудь два часа домчала Рому до горушки, на которой стоял домик бобылихи.

Помывшись и почистившись, Рома отправился к Сухониным. Внизу — нескошенный луг, в пышной зелени его белели, желтели, голубели, веселили глаз ромашки, лютики, васильки, колокольчики. Омытый чистой влагой, словно только что рожденный

росой и солнцем, утренний луг возвращал всю свежесть детства. Вместе с ним в открывшуюся всем радостям жизни душу естественно и просто вошли очень знакомый молодой человек в белой апашке и белых брюках и некая девушка в светло-зеленом платье с перекинутым через плечо полотенцем. Она собирала букет, а он медленно шел к реке.

— Рома!

Заметил-таки! Удивительно живуча боль неизгладимых ленинградских воспоминаний. Сухонины — старики, а тут бежит к нему почти сверстник, старший товарищ школьных лет, которого Рома никак не ожидал встретить здесь, вездесущий Валька Батенин. А на лугу рвет цветы, бесспорно, Кира Мельникова, его жена, та, самая, которая несколько не лучше других. Сейчас начнется спектакль: счастливыц целуются с несчастливцем, неудачник натянуто улыбается и приветствует победителей с превеликими достижениями на пути к окончательному и вполне лучезарному счастью. Пора уже научиться пошире разевать пасть и как можно восторженнее ржать по случаю успехов друзей, товарищей и даже совершенно незнакомых людей. Такая, видимо, выпала приятная обязанность — любить симпатичных счастливиц, радоваться их удобствам и утехам, убирать с дороги всякое дерьмо, чтобы им легче было ступать своими милыми ножками, и прихорашиваться, чтобы — не дай бог — не оскорбить их капризные взоры своими никому не интересными болячками. Ким — счастливчик номер один. Векшин — номер два. Теперь — номер три — Батенин. Там, на лугу, его очаровательная женушка. «Как я рад за тебя, Кирочка, миленькая! Как я помню твое добренькое сердце! Ты мужественно, под партой, так, чтобы никто — не дай бог! — не заметил, пожала мне руку. Пожала и вышла замуж за веселого, благополучного красавчика, у которого, слава те, все было в ажуре. И пусть теперь тончайшие ароматы здешних полей услаждают твои чувствительные ноздри!..»

Нет, в Ленинград ему, видимо, лучше не ездить, каждая встреча — нож

в сердце. А девушка на лугу, которая ввергла его в столь тягостное состояние, продолжала, ничего не подозревая, рвать цветы. Она была так увлечена этим занятием, что только мельком глянула на Рому, к которому бросился Батенин, и вновь наклонилась за каким-то цветком. Она наклонялась и разгибалась, как колеблемая ветром, которого никто, кроме нее, и не ощущал в это знойное, безветренное утро. Может быть, она и есть ветер, только что проснувшийся, еще не разыгравшийся как следует, то ли несущий тучи, то ли разгоняющий их.

Рома не мог оторвать взгляд от этой светло-зеленой фигурки, от чужого счастья, которого на этот раз своим не перекроешь, как в Москве. Московская любовь даже перчатки оставить у него пожалела. «Адьюльтер...» Его передернуло. Ну, живо! Приветствуй дорогих гостей! Перед тобой — Кира Мельникова и Валя Батенин, школьные друзья, муж и жена, сентиментальная идиллия...

— Вот куда тебя, Рома, занесло! А мы по дороге из Ялты заехали к старикам! С Кирой и сестренкой. Гоголь! Сомнамбула! Очнись. Вылупил глаза и молчит, как собственный портрет! Эй, ты! Салтыков-Щедрин! Лев Толстой! Лермонтов!

Батенин теревил Рому, а тот несколько растерянно улыбался.

— Лиза! — позвал Батенин. — Иди, разбуди этого лунатика, пусть шлепнется с карниза! Кира — со стариками, а это — сестренка. Старухе уже двадцать один год, а никто не берет замуж.

— Чья сестренка? — удивился Рома.

— Моя, моя! Единоутробная! Ты знал ее во младенчестве! Ура, он заговорил! Лиза! Скорей! К нему вернулся дар речи!

— Вы, значит, Валина сестра?

— Нет, бабушка! — веселился Батенин. — Моя родная бабушка по кличке Лиза. Тысяча премий на собачьих выставках!

— Прекрати, Валька! — оборвала девушка, подходя к ним с букетом в руках. — Ты все-таки удивительный пошляк!

— Да ты знакомься! Дура! Горо-

пись, пока он опять не онемел. Тот раз он был в одну сторону опупелый, а теперь — в другую. Художественная натура! Все воспринимает сквозь призму!

Рома очень удивился бы, если б ему напомнили, какие горькие мысли мгновение назад одолевали его. Только зловредный идиот мог обижаться на что-нибудь в такое прелестное утро! И какая чудесная парочка — любящие брат и сестра, просто глядеть приятно. Рома умудрился даже забыть, что шел к Сухониным. Он свернул к реке так, будто специально условился вместе искупаться. Что он — хуже других, что ли? Зачем спешить к старикам? Подождут.

Светло-зеленая девушка с бронзовыми от южного загара руками, ногами и шеей, причинившая за одну минуту столько противоречивых переживаний молодому человеку, продолжала ничего не понимать. Она ушла за кусты снять платье, а юноши уже плавали вперегонки. Теплая вода, трусики, жаркое солнце — до чего же хорошо жить на свете, особенно когда рядом даже если не видишь, то чувствуешь внезапно явившееся создание, оказавшееся не Кирой Мельниковой, не женой, а сестрой, всего лишь сестрой!

Потом лежали на отлогом берегу.

— Ты, значит, бросил Москву? — спрашивал Батенин.

— Я тут в областной газете и собкором центральной.

— Богато! И много загибаешь?

— Хватает.

— Будешь бороться с Геростратами?

— С какими Геростратами?

— Ну с теми, которые жгут храмы науки. И нашу лабораторию будут жечь.

— Между прочим, должен сказать, что Герострат никогда ничего не сжигал. Тут дивная библиотека, читаю я все без разбора, и вот наскочил на этот эпизод. Так что не порочь мне бедного Герострата.

— Почему он бедный? Он же прославился этим древнегреческим пожаром.

— Один человек при той технике не мог сжечь огромный храм.

— Глупости ты говоришь, — отрезал Батенин.

— Что? — Этого Рома уже не мог стерпеть, да еще в присутствии бронзовой девушки. — Прежде чем грубить, пошевели своими извилинами, если они есть у тебя. В храме было около ста пятидесяти мраморных колонн, из них чуть ли не сотня цельномраморных. Мрамор не горит. Да и сам храм был не деревянный, только некоторые части из дерева.

— Вот они и погорели.

— Но не весь храм, — упорствовал Рома. — А храм оказался почему-то почти совершенно разрушенным. Как это один человек при тогдашней технике мог незаметно уничтожить громадный храм? Пошел с факелом и поджег? Вот так, не подумавши, и соглашаются с любимым враньем, с любимой клеветой.

— Да, — вдруг и очень резко уступил Батенин, — ты прав. Но на чем же тогда основана легенда? Готов признать, что ты умный, а я глупый, но — объясни.

— У меня только гипотеза. Но с чего это мы вдруг невесть о чем? Может быть, отложим этот научный диспут? Только встретились — и уже пошла какая-то умственность. И в такое утро! На такой природе!

— А что тебя не устраивает? Самое место и самое время. По контрасту. Ну, не кобенясь. Выкладывая свою выдумку, а потом — в реку.

— Правда, — поддержала его Лиза, — кто же разрушил храм? Или храм стоял пустой, никого не было?

— Да нет, не пустой, — ответил Рома. — Храм охраняли жрецы, внухи, самые ненасытные и кровожадные чудища. Для них храм Артемиды был не произведением искусства, а прибыльнейшим предприятием! Там шли пиры, всякая мразь ела, развратничала, это же был притон, кабак, и внухи делились с властями своими доходами. Вся эта шатия охраняла храм днем и ночью. Абсолютно неразрешимая задача — пробраться в такой храм незамеченным и разрушить его. Я не знаю подробного рассказа об этом случае. «Сжег» — и все тут. А как сжег? Как умудрился сделать это — неизвестно.

— Что же такое случилось? — воскликнула Лиза.

— Можно только догадываться. Но похоже, что Герострат не виноват.

— И тысячи лет повторяют нелепость. Да рассказывайте же, наконец!

— Ну, если так, то я уж расскажу. Хотя это ни к селу ни к городу. Помоему, Герострат был большим ученым. Сведения о «греческом огне» появились только несколько веков спустя после Герострата, но он, наверное, изобрел уже тогда этот огонь, а может быть, даже и динамит. Он, конечно, простодушно, наивно, доверчиво, не представляя себе, с кем имеет дело, демонстрировал свое изобретение властям, подробно разъяснял, а те сразу у него отобрали все вместе с мастерской. Герострат хотел применять свой динамит для всяких полезных работ, может быть, и для обороны, потому что Эфес подвергался постоянным нападениям врагов, — но какого черта до всего этого было властям! Они увидели только возможность подзаработать и обещали великолепнейшее зрелище на очередном праздничном сборище. Они собрали колоссальные деньги. Можно себе представить, как они объявили пришествие живого Вулкана, попойку с Прометеем, явление самого Зевса-громовержца. Герострат ничего не мог поделаться. Он пытался протестовать, предостерегать, но мерзавцы и невежды засадили его в тюрьму, чтоб не путался и не смущал народ. Корыстолюбие, как известно, лишено воображения, оно способно воображать только горы золота, больше ничего. И случилась трагедия. Тупоголовые болваны заложили динамит без всякого расчета и взорвали к черту прекрасное здание храма. Известно же, что всякое изобретение и открытие можно повернуть во вред людям.

— Но как же все-таки оказался виновен Герострат? — воскликнула Лиза.

— Объясни, Рома, — сказал Батенин, — она же малолетняя дурочка.

— Да все эти властолюбцы и стяжатели попросту свалили вину с

больной головы на здоровую. Объявили, что Герострат сжег священный храм, одно из семи чудес света, для того, чтобы прославить свое имя. Они пытались и убили несчастного мученика науки и запретили помянуть его имя, но это был бессмысленный запрет: африканские народы, как известно, накладывали табу на самые священные имена. И, кажется, Феопомп, не столько древнегреческий историк, сколько древнегреческий сплетник, первый пустил клевету в обращение, предал гласности античную сенсацию, заработал себе славушку на чужой беде, и по сей день несчастный оклеветанный Герострат фигурирует как преступный разрушитель, как символ безудержного тщеславия. Я-то все это выдумал, но хорошо бы спросить историка, знатока, чтобы он разъяснил — правда гуляет о Герострате или клевета?

— Н-да, — вымолвил Батенин. — Ну и сказочка!.. Горьковато.

— Да это так, сочинение. Может быть, и вообще не было никакого Герострата и все это миф. Я же не специалист по античным временам.

— Тогда скажи спасибо, что мы с Лизой тоже не специалисты и слушаем, развесив уши. Специалисты тебя мигом раздолбали бы. Раз-два — и от тебя мокренько, как от Герострата.

— Конечно. И вообще хватит. Лучше — о чем-нибудь повеселей и посовременней.

Они молча полежали на берегу. Как-то безрадостно полежали, словно Рома своим рассказом омрачил чудесное летнее утро. Так казалось самому Роме, и он горестно подумал, что вечно он вылезает с какой-нибудь неуместной историей. Нет того, чтобы просто позабавить. И как это он не удержался!

— Надо все-таки идти к Сухониным, — промолвил он и поднялся.

— Куда вы? — недовольно заметила Лиза, и померкшее было утро вновь стало ясным и солнечным. — Расскажите еще что-нибудь. Николай Викентьевич собрался в лес, и вы все равно не застанете его.

— В лес? — воскликнул Батенин. — Тогда и Кира с ним уйдет! — Он

вскочил, натянул штаны, схватил рубашку. — Уйдет и не скажет! Знаешь, Рома, в последний раз я женился, больше не буду! Жена — это просто несчастье!

И он убежал.

Лиза рассмеялась:

— Ни в какой лес никто и не соби-
рался. Просто Валька надоел, а я
знаю, как его прогнать. Расскажите
еще что-нибудь.

— Да нет, лучше давайте еще по-
купаемся.

— Я же не умею плавать.

— Хотите, я вас научу?

— Меня вода не держит.

Но она вошла в реку, осторожно
нащупывая дно, и вскрикнула, вдруг
провалившись по грудь. Рома подхва-
тил ее, пальцы его коснулись ее плеч
и ног, и он тотчас же вынес ее на бе-
рег, пробормотав:

— Я плохой учитель.

XXII

Сухонин фантазировал, а Татьяна
Акимовна и четверо молодых — Рома,
Батенин с женой своей Киной и Ли-
за — слушали.

В работе Николай Викентьевич
был требователен, резковат, суховат,
неуступчив и даже жены своей Татья-
ны Акимовны не слушался. Рома по-
чувствовал это и сейчас, в том, что он
говорил — только еще говорил — о бу-
дущем строительстве лаборатории и
ее планах. Он распределял обязанно-
сти и вдруг дал роль и Роме. Роме он
поручал пропагандировать в печати
только то, что руководство лаборато-
рии сочтет полезным.

— И, конечно, никаких критиче-
ских замечаний. Критиканов найдется
достаточно и без тебя.

Он обращался к Роме, как к сво-
ему подчиненному, хотя тот никак не
находился под его началом. Рома
смолчал, но понял, какая трудная и
сложная работа предстоит ему. Сухо-
нину нужен послушный энтузиаст,
рупор его идей, но газета, опираясь
на обком, не станет восхвалять все
без разбора. Надо, кроме того, по-
мнить, что есть и ленинградский ин-
ститут, и главк, центральное руковод-
ство, что будущая лаборатория рож-

дается в общих грандиозных масшта-
бах работ и планов, о которых жур-
налист, при всем своем увлечении от-
дельным предприятием, не имеет
права забывать.

О строительном материале Сухо-
нин упомянул мельком.

— Все решительно, — при этом
Николай Викентьевич распротер ру-
ки, как бы обняв земной шар рука-
ми, — все может послужить нам как
строительный материал. Я вызвал
Вернера, и он определит, организует.
Понадобится и женский вкус для кра-
сивого сочетания красок.

Беседа происходила у скамейки,
поставленной над обрывом, и столь
просторно было глазу под ясным не-
бом, перед широчайшими далями, что
все казалось возможным, даже что-
нибудь совсем невиданное и неслы-
ханное. На скамейке сидела одна
только Татьяна Акимовна, преиспол-
ненная земных реальных забот,
остальные лежали на траве, а Нико-
лай Викентьевич ораторствовал стоя.
Когда он кончил, Татьяна Акимовна
поднялась и промолвила:

— А ты знаешь, что на свадьбе
черновской дочери был этот хам — ну,
как его?.. Рома его знает.

— Синюхаев? — спросил Рома.

— Да, да, он. Мы пропустили твою
статью, Рома, не читали. Только сего-
дня мне Чернов показал. И почему-то
именно этому типу поручили пере-
дать пакет.

— Он служит на почте, — пояснил
Рома. — Его послали, потому что па-
кет адресован ученому, а Синюхаев
считается все-таки опытным в сноше-
ниях с людьми.

— Очень плохо, — заметила Татья-
на Акимовна и направилась к дому.

— Осторожней! — крикнул Нико-
лай Викентьевич. — Там еще летают
пчелы, накинй на голову...

— Еще чего! — презрительно отве-
тила Татьяна Акимовна.

Чернов, вернувшись со свадьбы, по-
жаловался ей на зятя. Тот, встретив-
шись в деревне с Синюхаевым, зазвал
его по глупости на годовщину свадь-
бы, и праздник был испорчен. Синю-
хаев вел себя с важностью, как эта-
кое влиятельное лицо, делал хозяе-
вам и гостям замечания, пил и ел за

четверых и остался ночевать в избе без приглашения. А выставить его вон как-то постеснялись — негостеприимно. Вот это и мучило Чернова, что постеснялись выгнать. Чернов вернулся домой невеселый, тусклый какой-то, и не переставая ругал зятя.

— Глупый человек! Зачем таких делают? А дочке — муж. Что-то в нем нашлось для моей дуры.

Он дал почитать Татьяне Акимовне очерк Р. Колотовского «Человек без души», вырезанный им из газеты и сохраненный (он собирал такие фельетоны, чтобы не забыть, кто в области нехорош), и Татьяна Акимовна встревожилась, сама еще не понимая почему. Просто неприятно было, что где-то рядом бродит такое опасное животное, как Синюхаев. Да еще пакет принес.

Сухонин пошел следом за женой, чтобы охранить ее от пчел, за ним двинулись и Батенин с Кирой. А Рома с Лизой остались у обрыва, над рекой, лугами и дальним лесом.

Рома глядел вслед Кире Мельниковой, и странно ему было, что ничего не шевельнулось в душе при встрече с ней. А ведь были, кажется, еще недавно какие-то романтические воспоминания. Все как-то сместилось в памяти, словно не Кира так дружески пожалала ему руку давно, в Ленинграде, а вот эта бронзовая девица, покусывающая сейчас возле него травинку. Киру — как оторвало. Статная, немножко кокетливая, совсем чужая молодая женщина в красочной юбочке, которая, как вывеска, объявляла о прикосновенности к художественному миру.

Рома спросил Лизу:

— Вы долго пробудете здесь?

— Дня два или три. Валя торопится в город и тянет меня.

— А вы без него не останетесь?

Он никак не мог перейти с ней на «ты», как с другими девушками. С Кирой Мельниковой он заговорил на «ты» сразу, хотя они не видались с детских лет.

— Да он ужасно приставучий. Мама за меня боится, приказала ему следить, и он покоя мне не дает. «Вот сдам тебя маме в сохранности, и делай потом что хочешь».

— Похвально.

— Да, побыли бы вы на моем месте! Легко вам рассуждать!

Издали донесся голос:

— Лиза! Ли-и-иза-а-а!

— Это он, — тихо проговорила Лиза. — Бежим!

И она пустилась к рощице. Рома — за ней.

— Я его научу! — сердилась Лиза.

Она спускалась вниз по откосу, заросшему колючим можжевельником, ольхой.

— Ли-и-иза! Ли-и-иза!

Они спрятались в такой гуще, где ему их не найти.

— Рома! Ро-о-ома!

— Тш-ш-ш...

Голос Батенина то приближался, то отдалялся. Потом замолк. Но вскоре послышалось властное контральто Татьяны Акимовны:

— Рома! Лиза! Перестаньте дурить!

Они глянули друг на друга, и Лиза вздохнула:

— Надо идти. Пожаловался. Вот всегда он так! Прямо жить не дает! Я не рада, что и на юге была.

И они выбрались из кустов на тропу.

Вышли они в не очень красивом виде. У Лизы запачкан подол, поцарапаны ноги.

— Хороши, — только и вымолвила Татьяна Акимовна.

Батенин молчал, лицо у него было злое. Он круто повернулся и пошел прочь.

— Что это за шалости! — упрекнула Татьяна Акимовна. — Как дети.

На следующее утро, когда Рома шел к Сухониным, его под горюшкой остановил Батенин.

— Стоп!

— Что такое?

— Очень тебя прошу — отстань от Лизы. Понятно?

— С ума ты сошел?

— Это тебе не какая-нибудь Карабанова, а моя сестра. Я к тебе по-человечески — чтобы больше к ней не приставать.

— Нет, ты совсем обалдел.

— Слушай, ты все-таки нахватался в своей московской компании нравов, а она совершенное дитё, младе-

нец, и ты уже для нее прямо невесть что, она же готова в рот тебе глядеть неведомо почему...

— Чего ты от меня хочешь?

— Чтобы не пришлось дать тебе в морду.

— Да ты что? Кто я такой — мерзавец?

— Ну, скажем прямо — ты женат.

— Нет. Она мне отказала. Все. Удовлетворен?

— Я тебя прошу оставить Лизу в покое.

— А как ты смеешь распоряжаться?

— Боюсь.

— Замечательно! Ария Валентина из оперы «Фауст». Не валяй дурака. Пусти!

Батенин схватил его за рукав.

— Сначала обещай, а потом иди.

— Ничего не обещаю. Пошел вон!

— Тогда не пушу. Уходи и больше на глаза не показывайся.

— Ах, вот как!

И Рома с силой оттолкнул Батенина. Секунда — и они сцепились в борьбе. Роме удалось оторвать Батенина от земли и, приподняв, бросить его в траву. Тот вскочил и, встрепанный, вновь бросился в драку.

— Валька! Дурак! — К ним бежала Лиза. — Немедленно прекрати!

Батенин и Рома отступили друг от друга. Батенин, багровый, взъерошенный, выкрикнул:

— Собирай свои тряпки, сегодня же увожу тебя в Ленинград.

И он повернул в гору, шагая широко и яростно, не разбирая дороги, прямо на черную овцу, привязанную здесь к колышку. Овца в испуге дернулась в сторону, и веревка ударила Батенина под коленки так, что он чуть не упал.

— А, черт!

Он так рванул веревку, что едва не выдернул колышек из земли, и, хватаясь за высокую траву, продолжал подыматься на горушку.

— Он всегда такой бешеный? — спросил Рома.

— Псих, — ответила Лиза. — Простое даже стыдно. Но это ему так даром не пройдет. И Кира будет знать, и все.

— Теперь-то он вас увезет.

— А кто я — маленькая? Он со мной, как с ребенком. Мне бы только найти где тут жить, Сухониним и без нас тесно.

— А скажите, Лиза, у меня очень неприличный вид? Ничего не порвано?

— Не порвано, но... погодите... вот теперь чисто.

— Я условился тут встретиться с одним симпатичным человеком. Он, наверное, уже ждет. Кстати, у него и поселиться можно, только это километра два отсюда.

— Очень хорошо.

У черновского домика ждал Иван Филиппович Васильков, и Диночка напрасно тянула его к крыльцу. Васильков как встал над обрывом, так и не сходил с места. Рома отметил, что был он сегодня в новеньком, свежеееетуженном белом костюме. Вид он имел гордый, даже несколько высокомерный. «Значит, волнуется», — подумал Рома. Он сам был взбудоражен куда больше, чем Иван Филиппович, но привычка сдерживаться брала свое, ясный деловой электрический свет разгорался в мозгу, как всегда, когда одолевали бурные и сложные чувства, и он схватился за дело, как за спасение. Познакомив Лизу с Васильковым, он спросил учителя:

— Иван Филиппович, а вы не согласились бы немножко потрудиться по технической пропаганде? Здесь начинается интересное дело, и вы были бы чрезвычайно полезны.

— Всегда охотно помогу, — ответил Иван Филиппович, и Рома увидел, как он сразу успокоился. Что ни говори — а все-таки, когда соединяет реальное, конкретное дело, то людям как-то легче знакомиться и общаться.

— Тогда идемте к Николаю Викентьевичу.

XXIII

Ночь выдалась тихая, звездная, без красного полушара луны и только с легкой кисеей тумана, сквозь которую река казалась доброй, дремлющей, как девушка, еще не узнавшая ничего худого в жизни. Рома, привыкший

работать в любых условиях, писал при свете керосиновой лампы, под басовитый храп бобылихи, первую свою статью о лаборатории особого назначения. Он очень ясно видел здание из небывалого материала, которое искрилось необыкновенной окраской на высокой горе. Любовь и стремление к познанию — две громадные силы — работали в этом здании на полную мощность и щедро одаряли людей богатствами, отобранными у покоренной природы. Лаборатории еще не было, она существовала только в замысле, но на то и дано человеку воображение, чтобы видеть в реальности то, чего еще нет, и стремиться, не жалея сил, к тому, чтобы воображаемое стало действительностью.

Хорошо, что ночь так тиха и хороша, она помогала работе, и бледноватая луна немножко напоминала ленинградскую, только не дневную, а нормальную ночную милую луну, верную спутницу земли и человека. А в семь часов утра, не позже, когда солнце сменит луну и тысячи звезд, светившихся в небе, померкнут в ярких и жарких лучах, Рома услышит голос:

— Вы встали?

Почему-то он не сомневался, что этот голос откроет его завтрашний день, не обманет. Голос должен явиться, как солнце, как луна, как неизменное явление природы.

Может быть, удастся поспать часок-другой, если кончить статью вовремя. А может быть, придется провести всю ночь за работой. Неважно. Все равно Рома преисполнен бодрости и надежд. Человек создан не для печали, и не стоит жить в вечных слезах. Земля — не погост. Вся жизнь насыщена всепоглощающим желанием, для которого и слова не подберешь.

Рома кончил статью к четырем часам, а проснувшись через два часа, перечитал ее и удивился. Обыкновенная толковая статейка, ничего особенного. Пыжился, старался, мечтал, воображал невесть что — все ради заурядного, дельного, грамотного очерка, раскрывающего, так сказать, планы в образах. Десятки таких вещичек печатались и забывались вместе с

именами авторов. Вообще, удивительна в человеке склонность преувеличивать дело, пока оно делается, и трезво оценить только после того, как оно уже сделано. Но, кажется, без такого преувеличения невозможно обойтись ни в одном из человеческих дел, без него ничего хорошего не получается, одной техникой работают только люди равнодушные. Так Рома утешал и успокаивал себя. Он правил статью, заменяя слишком выпренные слова и выражения более спокойными и точными, а иногда и чуть ироническими.

Когда Лизин голос послышался под окном, у него было уже все готово, и постель убрана, и чай выпит. Лиза каждое утро заходила к нему, и они вместе отправлялись к реке, а после купания — к Сухониным. Она заходила без Киры, которая была поделикатней своего супруга и не вмешивалась в дела своей подруги. Поселились Лиза с Кирой у Василькова, который не давал им спать своими рассказами, но очень полюбился им обоим.

Лиза каждый раз удивлялась чистоте, в которой содержал комнату Рома.

— Где это вы научились?

— Общезитие, — отвечал Рома.

— Вы сегодня ночью работали?

— Как вы догадались?

— А вот у вас там листки, их вчера не было.

— Для газеты, — коротко объяснил Рома.

— А можно прочесть?

— Пожалуйста.

Она взяла листки, а Рома принялся вторично перемыть уже помытую посуду. В сенях — бочка с водой, он самолично наполнил ее, бегая с ведром к реке и обратно. Есть лохань, и в ней можно сколько угодно полоскать небогатый набор совершенно чистого стекла, пока серьезная девица, сдвинув брови, наморщив лоб, изучает статейку. Но она обязана понимать, что сам человек всегда глубже, значительнее, сложнее, чем его работа. Всегда в человеке остается неизмеримо больше того, что он делал и делает. И, может быть, есть даже такой странный закон — чем сильнее человек отдается работе, тем

больше у него копится сил, а чем равнодушнее он к своему делу, тем он становится беднее со дня на день. И он, Роман Колотовский, лучше и умнее своей писанины.

— Откуда вы знаете физическую химию?

Ага! Значит, прочла. Перетирая стакан, он ответил:

— Я же один курс прошел. И вообще интересуюсь.

— И с математикой вы знакомы.

— Моим другом был хороший математик.

— Был?

— Был.

Вот и все. Заданы вежливые вопросы, и больше о статье речи не будет.

— Очень хорошо, — вымолвила вдруг Лиза, — вы знаете, очень интересно читать, это же рассказ, необычный, фантастический. Правда, интересно! — повторила она с удивлением, и видно было, что она до того просто сдерживалась, чтобы не похвалить, а теперь дала себе волю. — У нас в институте всем понравится.

Под это «у нас в институте» прошло Ромино детство.

На похвалах она, впрочем, не задерживалась. Не успел Рома насладиться успехом, как она уже заговорила о другом.

— А кто этот ваш друг-математик? Это не Ким Сердюков?

— Нет, не он. А вы его знаете?

— Он был в Ленинграде. Я слушала его доклад.

— И как?

— Он очень точно формулирует, никогда ничего лишнего.

— Вам нравится, когда ничего лишнего?

— В любой науке это необходимо, а в математике особенно.

— Но он же не математик.

— Без математики ни одной науки нет.

— Но до чего узок мир! Я хорошо знаю Кима, мы были в одном институте. Впрочем, нечего удивляться, все, и вы тоже, в одном деле. Весь слой знает друг друга.

— Ким ничего о вас не говорил.

— А с чего бы ему говорить обо мне?

— Николай Викентьевич заинтересовался им. Но у Кима свои идеи, он все колеблется, не решил, перейти ли к нам.

— А вы хотели бы, чтобы перешел?

— Конечно. Это было бы большое приобретение. Мы сейчас на юге были вместе с ним.

— И он вас обворожил?

— Он очень серьезный, разумный, спокойный. Очень организованный. Может быть, он совместит московскую работу с ленинградской у нас. Вальке он ужасно нравится. Только и слышишь: «Вот бы мне его характер!», «Вот бы тебе такой муженек!» Он его завел к нам — так и мама и папа прямо в восторге. Даже неприятно.

— Неприятно?

— Я не люблю, когда чересчур хвалят. Так нельзя.

Они уже спустились с горушки.

— Я знаю это по работе. Чуть кого начнут чересчур расхваливать, так сразу же, значит, будет провал. И Николай Викентьевич никого не балует. У нас очень жесткая дисциплина. И если бы не так, то не было бы таких интересных идей. Ведь у нас сочетание разных специальностей...

Идет в ясное летнее утро по пестрому лугу загорелая девушка, при виде которой дух захватывает, и рассуждает о механизации, о кибернетике, о биофизике, произносит разные научные термины, совершенно не соображая, что собеседнику сейчас противно даже и думать о каких-то роботах и автоматах, когда и он живой, и она живая.

На берегу их ждала Кира. Она успела, видимо, уже поплавать, капельки воды блестели на ее теле. Высокая, в черном купальнике. Она, увидев их, только чуть усмехнулась уголком рта. Усмехалась она хорошо. А потом, когда они грелись на берегу после купания, заговорила:

— Когда придет Вернер и начнется работа всерьез, то кончена будет власть Татьяны Акимовны. А сейчас она пользуется последними деньками. Могут выдать страшный секрет. Ведь это она выставила отсюда Вальку. Так все вышло естественно — Нико-

лаю Викентьевичу нужны Лиза и я, а Вальку он послал в Ленинград, надавал поручений, и что ему было делать? Ослушаться нельзя, Николай Викентьевич добродушием не отличается, когда касается дела. Возьмет да выставит вон из лаборатории. Татьяна Акимовна страшно рассердилась на Вальку, когда узнала о драке, даже ни слова не сказала, только побагровела. И сразу же начала действовать. Все эти дни молчала и только сегодня спросила, нет ли от него письма. Она не только тебя, Лиза, оставила, то есть сказала Николаю Викентьевичу, чтобы оставить, но и меня — это уж, значит, очень распалась. А Вальке так и надо! Меня, небось, не стеснялся заводить и в кино, и в парк, и куда попало, и каждый вечер у меня скандал, почему так поздно возвращаюсь, а ему хоть бы что! Смеялся и продолжал безобразничать. Он очень хочет, чтобы ты вышла за Сердюкова, вот и сторожит тебя. И ведь не для тебя, а для себя. Влюблен в Сердюкова: и умница, и ведет себя как! И то, и се, и пятое, и десятое...

Болтая, она одевалась, нисколько не стесняясь Ромы, который, впрочем, деликатно отвернулся. Подняла полотенце, мокрый купальник.

— Ну, я пошла! У Николая Викентьевича будете?

— Ясно.

Рома остался почти равнодушен, когда Николай Викентьевич одобрил его статью:

— Хорошая популяризация идеи.

Совсем другие мысли занимали его.

— Идемте на почту, — предложил он Лизе.

Если б она отказалась, он, возможно, тоже не пошел бы. Но она согласилась.

Лес заманивал их кустиками, затягивал перелесками и вдруг обступил толстостебельными березами, кленами, осинами.

— А большие, небось, гадости рассказывал обо мне ваш братец?

— Нет, он ведь не такой злой! Просто его заносит, и тогда он сам не понимает, что делает.

— Говорил, что я — гулящая молодежь?

— Я совершенно ничему не верила.

— Но он постарался насплетничать?

— Нет, он хороший, честный! — вдруг вступилась за брата Лиза. — Он только горячится и тогда глупит. Его все очень любят. И очень ценят на работе, он очень хороший экспериментатор.

— Надеюсь, в физике он более точен, чем в сплетнях.

— Он рассказывал мне о женщине, которая ушла к вашему товарищу, — жестко вымолвила Лиза. — Так что он ничего не врал. Я его спросила, он и рассказал. Что же тут плохого?

Рома промолчал.

— Не надо на него злиться, — продолжала Лиза. — Мне это неприятно. Он придет и извинится перед вами.

— Во всяком случае, не могу радоваться его наскакам. Обращается со мной, как с социально опасным типом.

— Ну и хватит о нем, — отрезала Лиза. — Пусть сам отвечает за свои глупости. — И круто переменяла тему: — Такой лес — и ни одного гриба.

— Не ищите, Лиза. Еще рано.

— Почему рано?

— Потому что таковы законы природы. Если б их не было, что же мы искали бы с вами?

— То есть как искали? Вы про грибы?

— Да нет. Про науку. Ученые ищут и открывают законы природы. Это вроде как прятки. Или детская игра — «холодно», «тепло», «жарко»... Цоп! И открыли какой-нибудь закон.

Лиза некоторое время молча шагала с таким оскорбленным лицом, словно выслушала непристойность. Наконец заявила:

— Это не игра. Какая же это игра?

— Да я просто так, пошутил.

— Значит, институт — это тоже игра? — не слушая его, продолжала Лиза. — И Николай Викентьевич играет в прятки?

Ого! Вот она какая!

— Лиза! Я же всего только неудачно пошутил!

Подумав, она смилостивилась:

— У вас очень хорошая, серьезная

статья, а вы разговариваете со мной, как с маленькой девчонкой, как с Диночкой Васильковой. Иван Филиппович удивительно интересный человек.

— А я, Лиза, помню вашу маму. Отец у вас, кажется, инженер?

— Да, технолог. А мама — учительница. Она и в школе учит, и дома учит, и требует, чтобы все было по правилам, а любят ее не за нотации, а за то, что она добрая. Страшно много грозит, наговорит всяких слов, а сделает наоборот. А папа у меня замученный... О! — воскликнула она и наклонилась. — Вот вам и законы природы! Гриб!

— Типичная поганка.

— Но все-таки гриб. А вы говорите — рано.

— Для хорошего гриба — рано.

— Вы говорили вообще о грибах.

— Значит, ошибся.

Что-то он чересчур охотно признавал сегодня свои ошибки, а Лиза принимала это как должное. Она остановилась, сняла туфлю и вытряхнула из нее песок. На втором, слегка изогнутом пальце ноги краснела мозоль. Очень милая, симпатичная мозоль.

XXIV

Все, что в большом городе разбросано на большие расстояния друг от друга, в районном центре собрано вместе. Все рядом — двухэтажный универмаг, газетный киоск, почтовое отделение с зеленой вывеской сберкассы, остановка автобуса, аптека, разные маленькие магазинчики и мастерские, крошечная гостиница состоялой, за квартал отсюда — рынок. Стоят несколько «побед» и «москвичей» со спящими в кабинах мужчинами в апашках: эти бездельники ждут, пока жена, или мать, или тетя появится наконец с кошелками и корзинками, набитыми всякой снедью, и начнется привычное: «Вот ты дрыхнешь, а я ходи, толкайся по жаре, в духоте, хоть бы помог...» Велосипеды понатыканы то здесь, то там. Сквозь зелень сада просвечивают красные таблички — райсовет, райком.

Ни тротуарных плит, ни асфальта нет. Грузовые машины и телеги пылят по мостовой, и веселей глядеть

на лошадь, чем на автомобиль. Никакого восторга не вызвал пролетевший в столбах пыли наглый мотороллер, его сопровождали возмущенные женские голоса, он казался со своим громким треском опасней самосвала.

Лиза бросилась, конечно, к универмагу, к платьям, шляпкам, тапочкам и косынкам. Пока машинистка районной многотиражки перепечатывала рукопись, Рома глядел в окно, чтобы не прозевать Лизу. Но Лиза не появлялась. Статья уже готова, Рома вышел на улицу — а Лизы все нет и нет. Рома заглянул в помещение почты, увидел в окошечке бритую голову Сидюхаева и тотчас же отпрянул. Но куда исчезла Лиза?

Он подымал пыль сандалиями, оглядывался по сторонам. Какая-то девушка вынырнула из универмага, в ее авоське сочились помидоры, — нет, не Лиза. Небритый горожанин в сером пиджаке, весь серый, сутулый и злой, ворчал на огромную женщину, очень похожую на коменданта Евпраксию Сергеевну. Веселый паренек, проходя, пошутил, серый человек и громадная женщина одновременно отгрызнулись. Автобус глотал людскую очередь, как длинную толстую макаронину, и, наконец, перенасыщенный плотно спрессованной человеческой массой, двинулся и сгинул в большом пыльном облаке. А Лизы все нет и нет.

Полчаса. Тридцать пять минут. Сорок минут. Сорок одна минута. Еще раз сорок одна минута, а вот уже и сорок две минуты, сорок три, сорок четыре...

— Куда вы пропали? — Он бежал к ней. — Я уже беспокоился.

— А что случилось?

— Как что случилось? Уже два часа как вас нет.

— Да я только купила тапочки, Томаса Манна (вдруг тут оказался в книжном отделе), мочалку... — И вдруг она рассердилась: — Если вы, как Валька, начнете делать замечания, то я больше с вами никуда не пойду, никто не просил вас ждать меня.

И она пошла таким самостоятельным шагом, отдельно от него, с независимым лицом.

— Да нет, Лиза, я же просто беспокоился, я мог бы и еще подождать...

— Ждите кого хотите, меня это решительно не касается...

Он молча плелся рядом, а она демонстративно отворачивалась. Наконец он вымолвил таким заискивающим голосом, какого и не подозревал у себя:

— Тут на базаре есть ягоды...

Молчание. Потом:

— Подержите пакет. Я сейчас...

Она скрылась в посудной лавке и, конечно, застряла. Наверное, убежала от него подземным ходом в лес, ищет там грибы и смеется. Но Рома стоял смиренно с пакетом, в котором нащупывались и тапочки, и книга Манна, и что-то мягкое, и что-то твердое, и что-то непонятное. Статью он отправит завтра, сегодня не удастся. Надо бы позвонить по телефону в редакцию — но куда там!..

— Ах, вы тут! А вы купили ягод?

— Нет...

— Ну вот, я же просила...

Ничего она не просила.

— Вы уже все свои дела сделали?

— Вот надо только отправить статью...

— Как! Вы до сих пор не отправили? Чем же вы занимались столько времени?

· Можно бы ответить «ждал вас», но лучше уж не стоит. Он объяснил:

— На почте Синюхаев, не хочется посылать через него.

— Синюхаев? А, это тот... Так вы обратитесь к начальнику отделения, пусть он сам примет...

Ах, как просто! А он-то, бедняга, не догадывался...

— Вы знаете, вам очень идет, когда вы серьезный. — Он начинал привывать к скачкам ее мысли и разговора. — Вот когда вы рассказывали о Герострате. Или вот эта ваша статья. Вам совсем не к лицу шуточки вроде того, что наука — это какая-то игра, совсем не к лицу.

— Так я же это нечаянно...

— Почему вы не напишете о Герострате?

— Слишком похоже на лженаучный вздор... Смотрите, Лиза, вот он!

Из почтового отделения вылез Синюхаев.

— Посмотрим...

Лиза потянула Рому за собой, и он подчинился, хотя идти следом за Синюхаевым было бессмысленно, даже как-то глупо. Улочка падала с площади под откос, по бокам лепились плохо оштукатуренные домики, отделенные друг от друга заборами и сдиками. Непонятна была легкость, с которой Синюхаев перешагнул (именно перешагнул, а не перепрыгнул или перелез) через ближний забор и вскоре столь же загадочным образом очутился вновь на улице. В руке он теперь держал большую плетеную корзину. В этот момент телега с колхозником (он лежал на боку с вожжами в руках) свернула с площади и покатила вниз с треском, стуком и скрипом. И опять проявилось что-то непонятное в движениях Синюхаева, когда он, очень мелко и быстро перебирая ногами, пошел, или побежал, или затрусил (Рома никак не мог подобрать подходящий глагол) за телегой. Он двигался с такой нечеловеческой скоростью, что в какие-нибудь две-три секунды догнал телегу, поставил на нее корзину, повернулся задом (да, именно так) и уселся с такой спокойной уверенностью, словно мчавшаяся во весь дух под горку телега стояла на месте. Вся эта фантазмагория как отпечаталась в мозгу. Нечто в высшей степени странное, не похожее на обычные человеческие усилия было в движениях Синюхаева. Он догонял телегу, как камень, который слегка подскакивает, но не переворачивается. Этаким булыжник на ножках. Сдавывая начальнику почты бандероль, принимая квитанцию, Рома никак не мог отделаться от этого впечатления. Фантастика! Но Лиза ничего особенного не заметила. Когда они пошли обратно, она спросила:

— Здорово я вас замучила?

— Нисколько.

— А вам пришлось ждать меня два часа.

— Нет, что вы! Какое там!

— Просто очередь была. Попробовали бы вы потолкаться в районном универмаге. Кричат, скандалят, ка-

кой-то небритый тип задержал на полчаса, ругался с продавщицей. Ни в чем я не виновата.

— Да никто же вас не винит! Что вы!

— Пожалуйста, не притворяйтесь. Вам это совсем не идет. Я нисколько не в претензии. Валька говорит, что мне никогда не выйти замуж, потому что у меня невыносимый характер.

— Дурак ваш Валька!

— Кто? Валька? Вы никакого представления о нем не имеете, а беретесь судить. Что другое — только уж не дурак. Вы просто очень злы на него. Вы, наверное, очень злопамятны. Я сама злопамятна, но в других терпеть этого не могу.

— О вас он сказал ерунду.

— А я не завидую моему будущему мужу.

— А я завидую.

Она предпочла не услышать этого и продолжала:

— Я бы потребовала всего как у людей. Чтоб был комод, шкаф...

— Пожалуйста. Все что угодно. Может быть, дача и машина?

— Вот именно! Только этого мне и не хватало! Посадить себе на голову забор и собаку!..

Их прервал неожиданный и странный вопль. Кто-то кричал непонятным криком. Они остановились, и Лиза схватила Рому за руку. Из кустов прыгнуло зеленое, как комок спрессованной травы, небольшое животное. Убивают! Караул! Спасите! Новый прыжок, почти на высоту человеческого роста, и новый отчаянный призыв. Помогите! Нет, ничего общего не было в этом крике с кваканьем, это почти человеческий ужас.

А следом кралась рыжая кошка, тихая, жадная, немножко изумленная произведенным на лягушку впечатлением, но непреклонная и неумолимая. Рома схватил ее за шерстку, поднял и держал до тех пор, пока, по его расчетам, лягушка не успела доскакать до ближнего пруда. Затем он бросил кошку наземь, и та, шипя и фыркая, исчезла.

— Как страшно! — проговорила Лиза. Она побледнела, и глаза у нее стали круглые и детские.

Они молча двинулись дальше. Вдруг она спросила:

— Вам бывало страшно в жизни?

— Да.

— Очень страшно?

— Должно быть, очень.

— Вот тогда?..

— Да, тогда.

— А теперь?

— Теперь — нет. Отвратительное чувство — страх.

— Но ведь того больше не будет?

— Нет, не будет. Но это зависит и от нас. Это в том числе и мы не должны допускать повторений.

— А как вы думаете — люди вообще хорошие? Способен человек быть справедливым и жить справедливо?

— Конечно.

— А как же было такое? Ведь то делали тоже люди.

— Уверяю вас, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. Я это узнал на всю жизнь именно тогда, когда мне было трудно. Если я живу, если я не опустился, не уголовник, то благодаря им. Бывали и другие биографии у таких, как я, не всем так везло на людей, это я знаю. А вообще это очень хорошо, что многие прожили и работали все те годы вполне благополучно, и мои сверстники тоже. Но все-таки нельзя жить бездумно, без истории, забывая все, что было, потому что тогда опять выскочит какая-нибудь дрянь да как хватит за шиворот!.. Ведь есть же и теперь такие, которые жалеют о тех временах, и все им сейчас не нравится.

— У нас живет в квартире один экономист, — отозвалась Лиза. — Он любит вспоминать, как он раньше отлично жил. Плевать ему, что другие погибали, зато ему было великолепно. А папа по старой привычке боится его. Валька грубит этому почтенному экономисту, а папа пугается. Вы подумайте только, Рома, папа прошел всю войну, ранен, два ордена, а вот перед таким типом — трус. Так стыдно, что до сих пор папа всего боится! «Не вмешивайся, молчи, не говори лишнего!..» Да тогда и жить не стоит! Ну что это такое? Приходит эта экономическая крыса, седая, с усами, несет всякую околесицу, поливает помоями, а папа терпит. Он

же папу и за человека не считает. Нет, не хочу я домой! Я ужасно довольна, что Николай Викентьевич забирает меня сюда. И почему папа от Сердюкова в восторге? А потому, что «вот ~~этот~~ лишнего не скажет, все к месту, умница!» А это как раз у Кима самое плохое.

— А что хорошее?

— Ну, что он знающий, многообещающий... Да бог с ним! Дома мне все в нос им тычут, а теперь вы начнете... Ах, какая прелесть! — перебила она себя. — Какая полянка! Свернем! Неможко! Какой чудный лес!

За полянкой лес густел. Теснее толпа деревьев, непроходимее чаща, ветви хватают одежду, царапают кожу, паутина оплетает лицо и пальцы, все сумрачней становится под сводами высоко вскинутых к небу, невидимых с земли крон, словно с каждым шагом на час приближаешься к ночи. Тишина, жуть, безлюдье, как будто навсегда ушел от человеческого жилья и голоса. И хочется быть ближе друг к другу, быть вместе, и кажется, что нет большего ужаса, чем потеряться в этом, на многие километры разросшемся лесу. Недавно еще так мягко устланная земля все жестче хрустела под ногами. Они шли в глубь леса, и Лиза ни на миг не отпускала Роминой руки.

— А назад мы выберемся? — тихо спросила она.

— Не беспокойтесь. Я весь этот лес облазил.

— Один?

Он немного помолчал, потом ответил коротко:

— Один.

И они замолчали. Но когда он вывел ее обратно на лесную дорогу, то обоим казалось, что самый большой, самый важный разговор был у них там, в лесной гуще.

XXV

Центральная газета опубликовала Ромину статью чуть ли не сразу после получения, что случилось редко, и с такой же удивительной быстротой статья была перепечатана в областной газете. Недели через две

Рома получил первое после очень долгого перерыва письмо от Векшина, пересланное ему из редакции: «...Что поделаты! Все-таки я был твоей нянькой и неравнодушен к твоей судьбе. По твоему очерку я понял и вполне оценил сухонинское предприятие. Кстати, хочу тебя поздравить, ты научился не только обличать, но и восторгаться. Твой „Свет будущего“, несмотря на банальное название (неужели ты не мог придумать что-нибудь пооригинальней?), далеко не банален. Чувствую, что происходит какая-то перемена в твоей личной жизни, и банальность („свет“) не случайна, и удача (наконец-то!) в изображении положительного тоже не с неба упала...»

Рома должен был признать, что ему приятны и похвалы институтского товарища, и явная заинтересованность его. Удивительно, как этот оборотистый и талантливый человек продолжает ревниво следить за его жизнью и опять предлагает свою помощь и содействие. Действительно — нянька!

В конце письма Векшин дал неожиданный совет. С оговорками («ничего в точности не знаю») он настойчиво советовал съездить в Ленинград и повидаться с Александрой Николаевной Самохиной. «Для того, чтобы в будущем был один только свет, надо уже сейчас заранее принять меры против затемнения. Кроме науки есть еще интриги людей, не умеющих и не любящих работать, но очень умеющих и очень любящих со всякого дела, когда оно уже сделано, снимать жирные пенки, то бишь деньги, звания, награды, похвалы и прочие блага. Эти люди стараются компенсировать недостаток способностей и дарований искусными комбинациями и маневрами под прикрытием самой выдержанной фразеологии. Самохина, видимо, кое-что знает, пусть расскажет о том, что такое было у нее с моим дорогим тестюшкой, одним из ловчайших представителей любимой тобою породы живоглотов. Пусть старушка доверит тебе тайны трех карт и мадридского двора. Намек на нечто получен от обиженного шефом секретаря (того самого, кото-

рый звонил тебе — помнишь? — в общежитие). Обязательно зайти к Самохиной, поторопись, пока мина не взорвалась».

Старая вера в опыт и прозорливость Векшина проснулась у Ромы. Согласовать с Сухониным и редакцией свой отъезд было легко и просто. Васильков стал восторженнейшим почитателем и пропагандистом новой лаборатории и вполне мог заменить Рому на корреспондентском посту. Первую свою статью о лаборатории он уже опубликовал в областной газете, он говорил в ней о том, о чем Роме не столь удобно было писать, — о необходимости присвоить новой лаборатории имя В. К. Колотовского. Но Иван Филиппович оказался чересчур темпераментным журналистом, и в редакции жестоко выправили текст.

Накануне Роминого отъезда прибыл на место строительства лаборатории Григорий Михайлович Вернер во главе группы сотрудников, среди которых был и Батенин. Вернер пожелал изучить незнакомую ему местность, и сопровождать его вызвался, конечно, Иван Филиппович Васильков. Вернер прежде всего побежал к реке и долго, с наслаждением, плавал, нырял, фыркал. Потом он, длинноногий, тощий, в каком-то сером развевающимся балахоне, пробежался по окрестностям со скоростью, которая даже Ивану Филипповичу далась не без труда, и при этом собирал самые различные предметы — камешек, комок глины, кусочек древесной коры, листик, травинку, цветок. Все это он клал в желтую сумку, перекинутую на ремне через плечо.

Вечером Николай Викентьевич отослал всех прибывших сотрудников в деревню, где Васильков успел уже приготовить им временное жилье в помещении школы. Задержал Николай Викентьевич только Вернера, что было понятно всем, и Романа Колотовского, что Батенина кольнуло, как обида. Спорить с Сухониным нельзя — но зачем почтенный ученый так уж явно демонстрирует свою любовь к сыну своего друга? Получается, что он предпочитает его своим ученикам, даже кто-нибудь мо-

жет подумать, что скромнейший академик, совершенно чуждый само-рекламе, стал вдруг проявлять чрезмерный интерес к прессе. Нехорошо.

Юный физик хмуро волочил ноги вслед за Киной, Лизой и Васильковым, у которого и ему уготован был угол. Запахи свежескошенного сена, меняющиеся краски в небе и на земле, добрый лес впереди, готовый принять в свои теплые объятия, все прелести природы, озаренной вечерним солнцем, — ничто не восхищало его сегодня. Он не слушал Василькова, занимавшего спутниц очередным увлекательным рассказом, отворачивался от Киры, старавшейся хоть взглядом успокоить его, и, наконец, потянул Лизу за локоть. Та замедлила шаг, и Васильков с Киной ушли вперед.

— Надоел этот пустобрех хуже горькой редьки, — вымолвил Батенин. — А я хочу сказать тебе, что на днях здесь будет Ким Сердюков. В Москве он привлечен к большому новому делу и едет контактоваться с нашим.

— Очень хорошо, — ответила Лиза.

— Мне ужасно не хватает его!

— Жаль только, что ему ничего, кроме его специальности, не интересно, — заметила Лиза.

— Но специальность какая! — сразу же вспыхнул Батенин. — И вообще не понимаю тебя. Ты как-то к нему равнодушна. Он за тобой и так, и сяк, и цветы подносил, и мороженым угощал...

— Оставим этот бесполезный разговор, — перебила Лиза.

— А что ты нашла в этом Колотовском?

— А ты что на него все кидаешься?

— Ты бы видела его в Москве. Пренеприятное зрелище. Я его специально искал, настиг на улице, а он нахвастался, натрещал, ни о ком толком не спросил, говорил со мной свысока, как начальство какое-то, и даже не позвал к себе, улетучился, и все тут. Вот он такой и есть. И тебя прогонит, чуть ты ему надоешь. Ты ничего не понимаешь. Его отец был хороший человек, погиб невинно, это все ужасно, но сын — это совсем другое дело. Не путай ты отца с сыном.

— Ты же сам потом переписывался с ним.

— Ну да! Я ему ответил, он там кое-чего не знал насчет этого Карабанова. Да и тут я бросился к нему по-приятельски. Отчего же? Но он принялся за свои прежние штучки. Соблазнитель московских дам. Что, не вижу я, как он тебя охмурил? Это он умеет. И наши старики волнуются.

— Это ты их настроил. Спасибо. У тебя очаровательный длинный язык, который было бы весьма полезно выдернуть.

— А что? Прикажешь спокойненько смотреть, как ты млеешь? У него, у этого Ромы, и профессия совершенно гиблая. Что еще можно написать после «Золотого теленка» и Хемингуэя? Любая машина скоро будет писать лучше всех Колотовских, взятых вместе.

— Гораздо легче построить машину, которая заменит всех Батениных. Достаточно, чтобы она болтала без умолку, хотя бы и совершенно без смысла.

— Ужасно остроумно.

— Профессия! Специальность! — кипела Лиза. — А что за человек — это тебе неважно. У тебя, например, прекрасная профессия, а сам ты самолюбивая дрянь. Поливаешь помоями человека за то, что он поборол тебя, когда ты на него кинулся...

— Врешь! — вскинулся Батенин, и лицо его побагровело. — Он первый полез в драку, а во-вторых, если б ты не крикнула, то я бы ему показал!..

— «Бы», «бы!» — передразнила Лиза. — Влюбился ты в своего Кима Сердюкова, вот и все. Кумир! Идеал! Физика! Первейшая наука! Единственная в мире! Получай, Ким Сердюков, все, что хочешь! Хочешь сестру? Получай сестру! А мне с ним скучно, и я существую самостоятельно, совершенно отдельно от тебя и от твоего Сердюкова, и распоряжаться собой никому не позволю. Я тебе не машина, и никаких программных заданий ты мне не пихай. Не выполню. И отстань. Не желаю больше с тобой разговаривать.

Она ускорила шаг и догнала Киру и Василькова.

Иван Филиппович с увлечением ораторствовал:

— Наука без морали пропадет! Наука — не самоцель, а средство для совершенствования жизни. Это говорит вам человек, который для науки на все готов. Прыгнуть для науки в пропасть — пожалуйста, прыгну! Но без морали науке не жить! Это — как кораблю без руля. Я не ученый, а любитель, назовте меня невеждой — будьте любезны, в науке я невежда, не возражу, но я знаю с совершеннейшей математической точностью, как прошедший войну и мир с полным сознанием, знаю, что направляет науку и ученых к хорошим целям мораль, идея! Идея! А идею дает и литература, и газетное дело, мы тоже можем тут пригодиться, как проводники...

— Газетчики ведут ученых? — перебил Батенин. — Это все-таки чрезмерно даже для невежды.

Васильков резко обернулся к нему, как от удара, но не сразу нашелся, что ответить. Потом выговорил с достоинством:

— Нехорошо, молодой человек, так переиначивать. И не следует в науке быть злым и заносчивым.

Кира так покраснела, что даже шея залилась у нее краской.

— Немедленно бери свои мерзкие слова обратно, — приказала она.

Батенин прошел молча несколько шагов, потом выдавил из себя не без усилия:

— Извините, Иван Филиппович, я не хотел вас обидеть.

Лиза остановилась.

— Я приду позже. Я забыла сказать Татьяне Акимовне...

Кира даже не спросила, о чем забыла Лиза сказать, а только мельком глянула на золовку и понимающе усмехнулась. Но Батенин тоже остановился.

— Я пойду с тобой. Я тоже забыл сказать Татьяне Акимовне.

Лиза выждала, пока Кира и Васильков прошли вперед, а затем вымолвила раздельно, обдуманно, отчетливо:

— В тебе столько душевной грубости, что хватило бы на целую армию самых наглых и бессердечных людей. Отстань! Остальное тебе разъяснит Кира.

Батенин ошеломленно глядел на нее, пораженный, видимо, ее необычной, слишком серьезной резкостью. И Лиза, поглядев на него, смягчилась:

— Валя, глупый, учителем жизни тебе не быть. Учись лучше сам. Пойди и как следует заслужи прощения у Киры и Василькова. Ты же не злой. Зачем ты порешишь, не подумавши, всякую чушь? Тебя как подхлестнет — так не удержишь.

И она повернула обратно к горушке, на которой высился одинокий черновский домик, омытый лучами склоняющегося к дальнему горизонту солнца. И так хорош был этот чистенький кирпичный домик, взиравший с высоты, что Лиза успокоилась. Ее, как магнитом, потянуло к нему, и она пошла, не оглядываясь.

Три сосны ждали ее наверху, как три сестры, тоскующие и стареющие, — три розовые, пронизанные солнечными лучами сосны, стоявшие отдельно от сгрудившихся в тесные леса толп. Может быть, они остались от вырубленного или сметенного военной бурей леса, может быть, выросли от случайно занесенных семян. А рядом уже подымалась и зеленела молодая поросль. Пройдут годы, и новый лес окружит и закроет и старых сестер, и домик лесника. Лиза, взойдя на горушку, уселась под этими ласковыми и почему-то родными соснами и стала ждать вместе с ними. Здесь и увидел ее Рома, когда шел от Сухонина.

— А я как раз хотел к вам. Я завтра рано уезжаю, и уж пусть, думаю, скандалит ваш братец, а я приду.

— Вы бы лучше пожалели Вальку, чем ругать. У Киры серьезный характер, и сейчас она делает из него бифштекс. А я жду потому, что Николай Викентьевич посылает меня в вашу областную столицу купить кое-что и выяснить.

— Поедем вместе. Я завтра зайду к вам в семь часов.

— Лучше я к вам.

— Нет, вы забудете паспорт. А паспорт может понадобиться. Так что — я к вам.

— Я никогда ничего не забываю. Откуда у вас такое представление?

— Забудете.

Они уже спустились с горушки и шли лугом.

— Может быть, вы едете с кем-нибудь, и я помешаю?

— Никого, Лиза, кроме вас, нет.

— Только не говорите глупости, я этого не люблю.

— Я никогда еще не был так серьезен.

За лесом открылась деревня, в которой разместилась ленинградская молодежь. Школа помещалась в большом красном доме, сад зеленел за некрашеным забором. Повсюду мелькали юноши в белых и клетчатых рубашках и девушки в разноцветных блузках. Один из младших сотрудников выскочил голый до пояса с ведром в руках и помчался к реке.

— Невеста! — крикнул он Лизе. — Когда в загс?

— Завтра, — пошутила Лиза.

— Валька убьет!

Здесь уже все было известно.

Когда Лиза улеглась в своей каморке, дверь скрипнула, и появилась Кира. Спросила шепотом, присев на койку:

— Ну что?

— Ты о чем?

— Объяснился?

— Да ну тебя! Делать вам всем нечего.

Кира поднялась. Усмехнулась:

— Пойду к Вальке. Расщепила его, а теперь жалко. Оставайся одна, благоразумная девица.

И ушла.

Ничего не благоразумная. Вздор. Ничего ты, Кира, не понимаешь. Никто ничего не понимает. Лиза закрыла глаза, и зашевелились тени и полутени, пятна и узоры, выплыли неуклюжие комнаты с какими-то углами и простенками, коммунальный коридор с поворотами, перекошенная квартира, знакомая, как в жизни, по прежним повторяющимся снам, и все спят на койках, а на полу стелется половик, не пестрый, а одноцветный, ровный-ровный, как Ким Сердюков. Расползается мороженое, как морская пена, и ползет по песку, как рыба, полу-Ким Сердюков, полудиректор института, новый директор, профессор Звягинцев, падающий на свою палку, как орел. И вдруг кто-то запрыгал в углу,

а ноги и руки отяжелели. Что-то шуршит, опять прыгнуло, крик застрял в горле... Лиза разбудила себя толчком воли, разрушила полудрему-полубред.

Она лежала в темной конуре с маленьким окошком. Совершенно одна. В пальцах, в локтях, во всем теле загоралась веселая, заманчивая тоска, которую никакой математикой не победишь и не объяснишь. Почему именно этот, а не другой? «Это всегда неизвестно», — сказала как-то Кира. Валька, дурак, наговорил про его московские похождения, но все это ни к чему. Совсем она не благоразумная. Она и думать не хочет — почему да зачем. Там, в лесу, когда шли в район, втянуло ее в какую-то воронку, и тянет, и тянет обоих. Все кругом выдают ее замуж, и никто ничего не понимает. Она первая поняла, что это такое, когда необъяснимо, не удержи-мо, неумолимо тянет к другому человеку. До нее никто этого не знал и не испытывал.

Опять кто-то цветной, пестрый запыгал под веками в нижнем углу, над ним распустился желтый абажур, потянулся зеленый забор, и все расплылось в комнаты, опять эти комнаты в полумраке и коридор с дверями и вешалками, и снова хочется вырваться из духоты и победить тяжесть рук и ног. Победила, открыла глаза и увидела, как начало светлеть окошко в конуре. И почувствовала, что все в ее воле — как она решит, так и будет, и счастье разлилось по всему телу, проникло в каждую кровинку. Она упала, как на дно, в сон, без видений, без кошмаров, утонула в совершеннейшем забытьи...

— Лиза! Лиза! Все проспидь, ду-реха!..

Кира сорвала с нее одеяло, и кто-то за окошком отпрянул.

— На автобус опоздаешь! Восьмой час!

— Ой!..

Они пустились почти бегом. Только в лесу Рома сказал:

— Теперь можно потише.

Они очень удачно втиснулись в автобус, и Лиза пристроилась к окну. Но когда автобус тронулся, Лиза чуть не заплакала:

— Паспорт забыла!

— Ну и бог с ним; — ответил Рома спокойно.

— То есть как? А гостиница?

— Вот ваш паспорт.

Он вынул из кармана и показал. Сегодня он какой-то по-особенному подтянутый. Серенький модный пиджак, сверкающая белизна апашки, отутюженные брюки, краснокожие сандалии. Очень городской, серьезный, насмешливый, деловой, собранный. И в нем как мотор какой-то запущен, ровный, успокаивающий, нешумный. Мотор неиссякающей и уверенной энергии.

Она даже не спросила, как это он добыл паспорт. Взял, конечно, у Кире. Ну и хорошо, пусть немножко подумает за нее. Впервые с детских лет было приятно, отдохновенно передоверить все заботы о себе человеку, который становится с каждой минутой ближе отца, матери, брата. Уже невозможно было сопротивляться тяге, что-то случилось непоправимое, переместилось в мыслях и чувствах, возникли соображения сразу за двоих, и она только следила за собой, чтобы он не заметил.

В городе, разбросанном на холмах, как маленькая Москва, Рома повел ее к себе, и она удивилась, как в избе бобылихи:

— У вас очень чисто.

Она чувствовала, что при всей своей выдержке он тоже очень напряжен и тоже борется с тягой, и было мгновение, когда она чуть не сорвалась, даже обернулась к нему, но как раз в этот момент он, как назвала это Кира, «объяснился».

Их неудержимо тянуло друг к другу, но надо соблюсти форму. Вот для чего понадобился паспорт — не для гостиницы, а для загса. И оба были как в полусознании, когда стояли в канцелярии, где усталая женщина произносила все необходимые слова и выдавала все необходимые бумаги, а свидетели, газетные сотрудники, расписывались и поздравляли. Пахучие полевые цветы в большой вазе врезались в память навсегда.

А теперь — все. Закон соблюден, папы и мамы могут не обижаться, а

свадьбу отпразднуем после Роминого приезда, после Ленинграда. Свобода! Мы — вдвоем, и никого нам больше не нужно!

XXVI

Дачные домики, болота, березовые рощицы, пронзительно знакомые с самого раннего детства, мелькали за окном вагона, кололи сердце тысячами длинных и тонких булавок. Потом он шел по перрону вокзала, и мертвые, как живые, шли вместе с ним. Шел дед, шли отец и мать, шли товарищи детства, блокадного детства.

С отчетливой, как внезапная вспышка, яркостью Рома вновь пережил мгновение, когда Минька Стрельников, сорвавшись с крыши (он сбрасывал зажигательные бомбы), упал вниз в странной, вдруг все захватившей тишине. Неужели это он, Рома, стоял тогда во дворе, задрав голову и глядя на летящего вниз головой мальчика? И разве это его тащила мать в бомбоубежище, когда завывала сирена и зимнее небо грохотало, как в летнюю грозу, и дрожала земля? И крошечные кусочки хлеба, и неслыханное счастье — шоколад под Новый год, и охота по лестницам на тощих кошек — неужели все это было с ним? Отец часто проводил ночи на заводе, с которым связан был институт, а мать брала Рому с собой на работу, не оставляла одного.

Испытания войны и блокады сменились музыкой, сотканной из воспоминаний и надежд, музыкой каменщиков и штукатуров, сварщиков и маляров, токарей и водопроводчиков. И тогда, неожиданно-негаданно, в этот рабочий стан, стиравший следы свирепых разрушений, вторглись черные люди и начали хватать одного за другим, внося новые тягчайшие бедствия в семьи, клеймя героев, как врагов. И Роминого отца тоже увели навсегда из дома. Черные люди увели отца и убили. Но черным людям не удалось потушить свет в душах. На место вырванных из рабочих рядов становились их товарищи и продолжали трудиться. Скрытый свет разгорался все ярче, и пришел, наконец, день, когда свет озарил все вокруг, и черные люди заматались, как оспа-

ренные тараканы. И город-герой, город-красавец, первым открывший путь в предуказанное Лениным будущее, все десятилетия совершавший подвиг за подвигом, славный город Октябрьской революции выпрямился во весь свой рост.

Родной Ленинград обнимал Рому и разговаривал с ним тысячами голосов. Милая привокзальная площадь спрашивала, помнит ли он ее, не стала ли она лучше, чем прежде. «Трамваев у меня больше нет, — говорил Невский проспект. — Садись-ка в автобус или в троллейбус». И пока он ехал, он слышал голоса справа и слева: «А меня узнал? А меня?..»

Он сошел у Главного штаба, чтобы пройти пешком. Адмиралтейская игла вознеслась к небу, синему, безоблачному, летнему. Был в этой синеве бледноватый оттенок, тот, которого давно не хватало ему. А когда он вышел на набережную, то остановился ошеломленный. Все здесь было несравненно прекрасней, чем в воспоминании. Белые чайки кружили над синими просторами Невы, отражавшими синее небо, и одна качалась на седой волне, почти сливаясь с пеной. Чуть слышно плескались воды о гранит, и пахло морем, и влекло в Гавань и на Острова, к океанским кораблям и пароходам. И так сладостно было знать, что он вырос в этой волшебной красоте, что она принадлежит ему и он — ей. И гордость росла в душе, и мучительная, пронизывающая каждую кровинку любовь, как при долгожданном свидании. Нет, ему не стыдно было, что он не торопил встречу с родным городом. Насильственно отторгнутый от родных невских берегов, он был брошен в жизнь, как сын с жестокой несправедливостью клейменного отца, и нельзя было слабеть, опускаться, отдаваться безнадежной горечи и злобе, надо было копить силы, много думать и как можно больше знать, чтобы выстоять. Приметливый Векшин кое-что угадал. Да, Рома избегал напоминаний, он лечился работой среди тех, кто все понимал и помогал без лишних слов, он убегал от новых травм в рабочий стан, он не допускал, чтобы боль овладела всей его душой. Он боялся рвануться, как смертельно

раненный, на тех, кто неповинен. Было бы величайшей подлостью в безрассудной слепоте, самому того не замечая, согрешить против дела, которому отдана жизнь отца с матерью, жизнь лучших людей, мстить революции за коварных убийц. Это значило бы сдать перед убийцами, признать их победу и торжество. И это был бы осиноый кол в могилы отца с матерью. Может быть, он слишком чувствителен и уязвим, но он только сейчас нашел в себе душевные силы, чтобы приехать в город, где сломалась жизнь. У других могло быть иначе, у него случилось так.

Он хочет быть с отцом и дедом, со всеми, кто продолжал верить и любить, работать и пробиваться, со всеми, кому придал новые силы Двадцатый съезд. Они — революция и советская власть, народ и страна, партия и коммунизм, и не они породили чумную заразу беззаконий и убийств. Культ, направленный против честных людей, вырос из того, что совершенно чуждо самой природе советского общества, и, при всех своих чудовищных преступлениях, он не смог сломить дух народа и пал. И пришла новая романтика — со всей страстью доводить до завершения дело всех революционных поколений, народное дело, начатое Лениным, работать, очищая жизнь и людей от уже изученных мерзостей.

На том берегу, за Литейным мостом, среди добрых тружеников-великанов, стоит и завод его отца, его деда, его прадеда. Цех, в котором работал дед, был огромен, высотой в два этажа. Широкие проходы между станков, чисто вымытые окна, ничего лишнего в просторах громадного помещения — все это, уловленное мальчишечьим глазом, отчетливо отпечаталось в памяти. Многоугольная, с застекленной перегородкой, контора забралась под потолок, устроившись над нижними службами. В годы блокады начальник цеха Самохин, нарядчицы, пожилая и совсем молоденькая, почти девочка, переселились вниз. Нарядчицы держались стойко. В один из зимних дней, за неделю или за две до смерти деда, голод свалил начальника цеха Самохина. Рома как раз был в тот день у деда, помогал как подручный, как

подсобная сила. Самохин упал почти без стука, такой он стал легонький, почти бесплотный. И пожилая нарядчица сказала:

— Беги, Рома, к жене.

И Рома побежал к Александре Николаевне Самохиной.

Прошлое возвращалось к Роме, и он принимал его безбоязненно, всей душой. Он медленно шагал по набережной, вглядываясь вдаль, туда, где вырисовывались контуры заводов. Зеленень выросла перед ним за горбатым мостиком. Каждый, кроме очень уж торопливых и запыленных людей, проходя мимо Летнего сада, испытывает неодолимое влечение завернуть в решетчатые ворота и прогуляться меж белеющих в зелени статуй. И Рома, конечно, не удержался. Навстречу шли рука об руку какой-то востроносый юноша и тоненькая девушка в розовой блузке и черной юбочке-плиссе. Ее бледное лицо северянки освещалось серьезными, слишком, пожалуй, серьезными для ее счастливого возраста глазами. Рома проводил ее взглядом, повернул обратно к набережной и заспешил к мосту. Надо делать дело, а не вести, как бывало, разговоры с самим собой. Все его мысли и чувства окрашивались теперь по-новому. Он думал и чувствовал сразу за двоих.

За Кировским мостом дохнуло прохладой от нежной зелени, оттеснявшей здесь каменную громаду. Словно кусок дальнего леса залетел сюда, в грохот, звон и дребезжанье большого города. Невысокие липы с круглыми, прибранными, ровно остриженными шарами веселой листвы наивно и доверчиво выбежали к самой мостовой, уверенные, что им каждый рад. Справа, над кронами дубов и кленов, вздымались на узеньких башенках, как неожиданные игрушки, купола мечети, а впереди, в дальнем пролете прямого и длинного проспекта, летящего на Острова, небо заманчиво окрашивалось в бледно-синие тона. Рома сел в автобус и через полчаса уже входил в номер новой гостиницы. Он любил гостиницы, как всякий разъездной корреспондент. Когда есть номер, то распределяй время и дела как хочешь, есть куда вернуться, есть кров. Но впервые он жил

в гостинице в родном городе — ощущение странное и несбыточное. Он видел все, что было и что есть, как бы изнутри ленинградской жизни и одновременно со стороны. Ему вспомнилась поразившая его у Нины картина — может быть, ее автор тоже написал дерево над обрывом в родных местах, куда приехал после долгой разлуки? Что-то оказалось сходное в ощущениях, в том, как художник увидел знакомый обрыв и как Рома увидел Ленинград из гостиницы. Картину он вспоминал с более живым чувством, чем ее владелицу. Очевидно, в движении жизни многое отходит, тускнеет, холодеет из того, в чем, казалось, сгоришь без остатка. Остается только то, что взято всей душой.

Еще через час он сидел в душевной комнате, забитой мягкими креслами, диваном, шкафом, комодом, шифоньерками, этажерками, перед маленькой сухонькой женщиной, в которой очень трудно было узнать ту, быструю, хорошенькую, которую он звал в цех к мужу в блокадный год. Та не плакала над мертвым телом начальника цеха Самохина, стояла, сжав губы, с сухими глазами, насыщенная горьким мужеством. А у этой, чуть она узнала, кто к ней пришел, и чуть заговорила, так потекли старушечьи слезы, разливаясь по морщинам и морщинкам. Всхлипывая, сморкаясь, она приговаривала:

— Не знало сердце, что еще раз увижу. Говорила мне Калерия Антоновна, что ты писателем стал, что с Николаем Викентьевичем работаешь. Скажу ей, что ты тут...

— Да нет, Александра Николаевна...

Но старушка не услышала и скоро вернулась.

— Соседскую Тоньку послала, Калерия Антоновна же рядом, здесь живет. Вспоминала тебя, Кольку своего хочет устроить к Николаю Викентьевичу, а тот не берет, вот ты бы помог.

Ах, вот кто такая Калерия Антоновна! Колькина мамаша... «Уходи, мальчик, уходи»... Он и не знал-то до сих пор ее имени-отчества... И горечью облило сердце. Эта одинокая старушка и не знает, что такое эта Калерия на

самом деле. Может быть, один только он, Рома, и знает да те, которые погибли. А для остальных она надевает, как платье, да, именно надевает совсем другое, доброе лицо. Делает лицо, как прическу, и мастерит соответственные слова.

А Самохина, ничего не подозревая, говорила, сморкаясь и утираясь:

— Спасибо, что не забыл. Живу я хорошо. Пенсия у меня, и надомницей работаю. Кому почерчу, кому постенографирую. Могу еще, рука не дрожит...

Но Рома уже приступил к делу:

— Я хотел спросить вас, Александра Николаевна, ничего у вас не осталось памятного после моего отца? Ведь он и мама дружили с вами, доверяли.

Старушка как-то странно, искоса, как птица, быстро и колко глянула на него, словно клюнула. Потом поджала губы:

— Ничего у меня нет сейчас, Ромочка. — Она помолчала. — А было. — Взглянула на него уже не птичьим взглядом, а человеческим, женским. — Была папка. — И что-то проступило в ней от суровой, блокадной, горькой и мужественной жены начальника цеха, и Рома не прерывал ее молчания, которым она оборвала свои первые краткие фразы. Она задумалась — выплывало, видимо, из души, как облако, нечто, что делало все более живым и прежним ее ссохшееся, морщинистое лицо. Затем она вздохнула и выговорила:

— Никому никогда не рассказывала. Боялась. Не знала — говорить или нет. А тебе расскажу, тебе нельзя не сказать, если пришел. Кто знает? Может быть, я сегодня помру, может быть, завтра, а тебя больше не увижу. Любила я очень и отца твоего, и маму, а как поступила — не знаю, верно ли, не верно ли. Хотела как лучше. А случилось все так...

И речь ее полилась плавно и складно:

— Пришел ко мне как-то Виктор Кондратьевич, твой отец, на службе, вечером, уже после занятий, а я еще сижу, черчу сверхурочно. Пришел грустный, сердечко-то, видно, чьяло беду, и говорит: «Есть у вас, Але-

ксандра Николаевна, минуточка?». А я ему всегда рада: «Есть для вас, милый мой, и часок». — «Я, говорит, некоторые мысли хочу записать, чтобы не забыть». Он-то говорит «чтоб не забыть», а на уме-то другое. Только потом я и поняла, а тогда подумала: «Устал, бедняга, заработался». А он для людей записывал, для науки, и не часок вышел, а полных два. Потом говорит: «Спасибо вам, Александра Николаевна, вы расшифруйте, пожалуйста, и дайте мне...» И уже пошел, но вдруг вернулся, переминается с ноги на ногу, и сказал: «Вот что. Если мне придется уехать — может быть, придется до того, как вы успеете расшифровать, — так очень вас прошу: поддержите у себя, никому не давайте, а если я уж долго не вернусь, то поступите по своему разумению, только так, чтобы сохранилось и пошло на пользу...» Помолчал и прибавил: «Я посоветуюсь с Зиной, когда расшифруете. Может быть, и завтра посоветуюсь... Но ей не до того будет, если меня... если я уеду». Время было такое, что тут уж я поняла. Говорю ему: «Да что вы, Виктор Кондратьевич, да уж вас-то за что!..» Но он только рукой махнул. «Так я вас очень прошу...» И ушел. В ту же ночь его, бедного, и увезли. И Зиночка, твоя мама, ничего не знала, и я ей ничего не сказала. Тихонько расшифровала и держу стенограмму у себя. Было это, как сейчас помню, четырнадцать страничек, последняя страничка неполная. Трудная стенограмма, но я к таким привыкла. Слова знаю, но смысла не понимаю, у меня нет такого образования. Химия, органические соединения, биофизика — а в чем суть, пересказать не могу. «Тут концентрат», — сказал твой отец, когда продиктовал. Я положила эту стенограмму под половицу, но испугалась мышей. В стол — боюсь людей. Сейчас и подумать странно, в каком тогда была страхе. Ничего, кроме хорошего, в стенограмме нет, а весь грех в том, что диктовал арестованный. Все, что он сделал, стало преступлением. Я хотела передать стенограмму твоей маме, но и этого испугалась. Придут к ней опять с обыском, найдут — и что тогда? А просто так ей говорить — зря растревю-

жишь, а ей и без того тяжело, хуже не бывает. С Николаем Викентьевичем, думаю, как со связанным, тоже может случиться, да он и несдержанный, обязательно проговорится. Думаю, сомневаюсь — а тут Зиночка, твоя мама, уехала от беды и тебя увезла. Даже не сказала — куда и что. А я живу с этой папкой и боюсь. Боюсь посоветоваться, потому что всякий может проговориться, а тогда и меня потянут. Скажу тебе по правде — конечно, я за себя очень боялась. Хотела и сама умереть на воле, и наказ Виктора Кондратьевича выполнить, сохранить его мысли. Совсем у меня ум за разум заходил. Живу с этой папкой и дрожу. По ночам, бывало, так и зудит — «а не сжечь ли?» Нет, это я никак не могла. Совесть не велит. И вот приехал Александр Евгеньевич Карабанов. Я скажу тебе, Ромочка, что по тем временам он поступил еще по доброму. Никаких новых арестов не произвел. Ведь уж что натворил Николай Викентьевич! Что наговорил! Так прямо и тяпнул, что ничему не верит. Это в те-то времена! Вот сказала бы я ему про стенограмму — и пропала бы вся запись, в себе он не удержал бы. И после того, что натворил Николай Викентьевич, товарищ Карабанов оставил его на воле, только со службы снял, вот и все. Вот я думала-думала, не спала, не спала да выбрала минутку, когда он был один, принесла ему папку со всеми тремя экземплярами, с копиями, себе ничего не оставила и — как в омут кинулась. Все рассказала вот так, как тебе рассказываю. Он принял папку, очень вежливо поблагодарил, сказал, что я правильно поступила, что все будет в сохранности. И у меня — как гора с плеч. Я, как вспомню, так сама теперь удивляюсь, как во мне силы хватило не сжечь, выполнить наказ твоего отца. Все кругом жгли. Очень было страшно. А товарищ Карабанов такой был со мной внимательный, любезный, выдержанный. Такой воспитанный человек. И ведь не погубил Николая Викентьевича. Только уволил. Вот я за то к нему и пошла, что очень он уж меня поразил, что оставил Николая Викентьевича жить. Что дальше было со стенограммой — не

знаю. Я никому никогда об этом не рассказывала и не ждала уж, что расскажу. Хотела сделать как лучше для твоего отца и для науки. Дело старое. Но вот увидела тебя, услышала твой вопрос, и память разомкнулась, сейчас как живое все вижу, и опять мне, Ромочка, страшно. Как же это мы не догадались, что чужаки наших, советских, убивают? Как же не встали за них? Вот, значит, какой обман произошел! Не за них, не за чужаков, мой Вася в блокаду на работе свалился, а за советских. А Карабанов-то кто? Тебе, я слышала, помог, так что же он — хороший человек? Так ли я поступила?

— Вы хотели поступить как можно лучше, Александра Николаевна, — ответил Рома, — и вам спасибо. Но вот потом, когда Николай Викентьевич вернулся в институт, ему можно было обо всем рассказать. Или не получалось?

— А что было рассказывать? — жестко ответила старушка. — Я к нему раза два ходила насчет тебя, но он трудный, с ним не поговоришь. Да и что могла бы я сказать? Папки нет, доказать ничем не могу, никто не слышал и не видал. Только может выйти, что я еще в чем-то виновата. Вот тебе первому рассказываю. А Николай Викентьевич — это все говорили — даже и фамилии Карабанова слышать не мог. Если б я ему сказала, он сразу бы подумал что-нибудь худое, сразу бы в драку, а что с товарища Карабанова взять, если я не так поступила? Меня и бейте.

— Александра Николаевна, а нельзя ли, чтобы вы дали мне письмо к Карабанову, попросили бы, чтобы он вернул мне ту стенограмму?

— А он тебе о том ни слова?

— Ни звука об этом не сказал. А я бывал у него часто.

— Может быть, забыл? — промолвила Александра Николаевна, и лицо ее опять как-то съежилось, заморщилось. — Суди меня как хочешь, хотела сделать как лучше.

Слезы опять покатались по ее щекам, но это уже были другие, не старушечьи слезы. И утерла она их с досадой. Вымолвила:

— Напишу письмо тебе, а не ему.

Вот все, что рассказала, напишу, а ты приходи завтра с утра. А для чего тебе нужно? Для науки?

— Да. И для того, чтобы присвоить новой лаборатории имя батюшки.

И он и она совсем забыли о Калерии Антоновне, которую соседская Тонька искала-искала, но найти не могла. Рома был уже на улице, когда девочка догнала его:

— Подождите, тетя запыхалась.

Рома оглянулся и увидел то самое исчадие ада, только уже не в сиреновом капоте, а в модной шляпке и сиреновом платье.

— Ромочка! — восклицала Калерия Антоновна, такая славная, даже красивенькая. — Как часто мы с Коленкой вспоминали тебя! Что же ты даже не написал?

— А помните, как я последний раз заходил к вам? — спросил Рома. Спросил с налету, не подумавши.

— Когда?

— Сразу после ареста отца. Вы меня не пустили.

— Я? Куда не пустила?

Она искренне недоумевала. Она действительно, видимо, забыла.

Вот так, значит, и случается в жизни. Человек походя наносит удар другому в самую душу и живет дальше, не вспоминает, мгновенно забыл, кажется хорошим и добрым. А другой долго оправляется от травмы, в его воображении тот, кто ударил, вырастает в некое исчадие ада. А это никакое не исчадие. Прелестная, совсем еще молодая на вид, веселая женщина. У нее своя жизнь, свои заботы, ради сыночка она и не на то готова, как любящая мать. Для нее свой интерес — выше всего, и то ей хорошо, что ей и сыночку полезно. А какое привлекательное обличье! Какие добрые, обманчивые слова! И если заставить ее вспомнить, то ни за что не признает, даже обидится, обвинит в злобе и лжи. В чем можно ее винить? В том, что насмерть была испугана и спасала сына как могла. Винюват страх и те, кто сеял его, калечил души людей.

— Неважно, — сказал Рома. — Так, маленький эпизод. А мне Александра Николаевна говорила о Коле. К сожалению, я ничем тут не могу помочь. Вы знаете Николая Викентьевича, он

не допускает никакого постороннего вмешательства в дела лаборатории. А ведь я тут совсем постороннее лицо.

— С твоим папой Николай Викентьевич всегда считался.

— С отцом, но не со мной. Николай Викентьевич и теперь считается со всяким серьезным специалистом, с советом каждого подлинного знатока. Но я всего только журналист. До свиданья, Калерия Антоновна.

И он быстро пошел прочь. Ему все-таки трудно было хранить спокойный, дружеский вид.

На следующий день Рома был в областном городе. Предстояла срочная поездка в Москву по делу, которое было отнюдь не личным, а общественным делом. Он рассказал о неожиданных, полученных им сведениях в газете. Вместе с редактором был в обкоме. Оставалось посоветоваться еще с Сухониным, и, перед тем как отправиться к нему, он зашел в ресторан пообедать. Здесь подсел к нему худощавый человек с толстым лицом, на котором, как груша, висел толстый нос. Весь он был как-то непропорционально сложен. Он представился. Киноработник. Приехал снимать места, где вырастет новое научное учреждение. Все разрешения есть. Прослышал по статье Р. Колотовского об этом новом деле и попросился, его и послали. И оказалось, что он не зря попросился. Он — первый муж Нины.

— Давно хотел встретиться, да как-то неловко было. А теперь уж можно, все ушло. Все уходит в жизни, и удивляешься потом, почему волновался, переживал, воображал.

Рома ел, а кинодеятель болтал, перескакивая с предмета на предмет. И рассказал между прочим:

— Почему она меня прогнала? Да вот вышел такой случай. Был у нас сценарий, хороший, добрый сценарий, автор талантливый, горячий. Сценарий, конечно, не уложился в рамки, потому что очень уж талантливый. И ясно, что запретили, автора стукнули, называли, конечно, и бездарным, потому что, я вам говорю, слишком был талантливый по тем временам сценарий. Конечно, и глупым называли, поскольку и сценарий и автор очень были умны. В общем, все нор-

мально, только мы, группа, ненормальные, потому что готовились снимать. Я в группе был помреж. Сценарий был, надо сказать, принят, потому и составила группа, но, конечно, были, как положено, ябедники, и пришел запрет. И вот комната на студии — табачный дым, председатель, все отмежевываются, клянут себя, биение в грудь, сценарист белый, с женой, наверное, условился уже, чтоб передачу все-таки носила, сидит, молчит. В общем, обычная жанровая картинка тех времен, так сказать, сценка из кино-преисподней жизни. Я, маленькая сошка, сижу, молчу. Ко мне тоже обращаются. Мямлю. Не могу осудить талант и ум, очень уважаю и то и другое. Ко мне строже обращаются. Я — что-то в сторону говорю. И тогда — как навалились на меня! Я не выдержал, и, представьте себе, случился у меня обморок. От нервного шока. Так сказать, свидетель упал в обморок и допрос его прекращен. Привезли меня домой без задних ног — и тут новая гроза! За то, что я слабак, что если хотел оспорить — то пожалуйста, а сейчас это смех и позор! И давно она знала, что я за дерьмо. И так далее. Драматическая сцена с сильной героиней в центре и хлипким человеком. Хлипким! А там, на проработочном собрании, у нас был богатырь, атлет, так он весь в поту был от испуга, даже перегнул в отмежевках. Это по тем даже временам умудрился переборщить! Заявил, что такому сценаристу и всей группе надо руки-ноги переломать, а потом живыми в землю. Был он заместитель директора, кочергу в узел вязал, а тут чуть не плакал. За чрезмерно крепкие выпады ему даже тогда поставили на вид, но учли, что высказывался он в состоянии аффекта, и в личное дело не вписали. Ну, вам кажется, что я преувеличиваю. Вообще у меня, конечно, вечные проработки за гиперболы да гротеск, но в общем я излагаю правильно, так сказать — по существу правильно. Сценарий тот был не только слишком талантливый и умный, он был еще слишком революционный, всерьез революционный, за советскую власть и коммунизм без тогдашних корифеев и светочей человечества, а за Ленина.

И как-то все у нас тогда забылись, восхитились, приняли, ведь все мы за коммунизм, а потом вот и варились в котле, в серном запахе. Напомнили нам, как и что. А Нина меня выгнала. Это был, так сказать, повод, последняя для нее капля. А вот что она сделала бы, если б я тоже сокрушил этого беднягу? Недавно мы с тем сценаристом хохотали, вспоминая, как я вдруг смотался с катушек... Теперь хочешь, а тогда было не до смеху...

Болтливый кинодеятель встал.

— Мы еще встретимся. Я и вас хочу снять. Все-таки вроде как родственники. Или во всяком случае свойственники. Ведь сюда едет комиссия из главка, а я — форейтором. А сейчас пойду к оператору. Здесь дивный ресторан, боюсь, как бы он не напился. И вот еще — я непьющий! Представляете себе, как Нина возмущалась! Мало что в обморок падает, а еще и не пьет!..

И он пошел в другой конец зала, к оператору.

Чего только не бывает! Какие только люди не ходят по земле! И ведь неплохие, если подумать, люди! Неправильные, в рамки не влезают, но жизнь — не схема, жизнь — это огромные масштабы, беспредельное разнообразие, и каждый человек со своим характером, и в каждом идея живет по-своему. И тут мысль о Лизе завладела Ромой, заторопила, не дала доесть обед. Нет, он не мог ринуться прямо из Ленинграда в Москву, не повидавшись с ней. Ее совет был ему нужнее всех других, она ждет его там, в деревне.

XXVII

Отец Карабанова, полковник царской армии, в восемнадцатом году круто повернул к большевикам («Россия — это большевики») и пошел комдивом на фронт, оставив сына с бабушкой голодать в Петрограде. Впрочем, бабушка была не из таких, чтобы жить плохо. За ковры и браслеты внучек получал даже шоколад в годы, когда морковный кофе считался высшим деликатесом. Бабушка кормила внука секретно, и внук никому не выдавал тайн буфета и чулана. На людях бабушка жаловалась, что ничего

нет, приbedнялась, канючила. В военкомате называли ее «клянчей», но все же — красный генерал сражается с врагами, и что делать бедной старушке с мальчиком! И ей совали иногда что-нибудь сверх нормы от своей бедности и нищеты. Бабушка торжествовала и гордилась своим умением жить.

В двадцатом году, когда сыну комдива исполнилось семнадцать лет, отец, выписавшись из госпиталя, где лечился от ран, взял сына в дивизию и сунул в политотдельскую канцелярию. Тут было не так хорошо, как с бабушкой, но тоже нашлись добрые люди, и один из них устроил ему награждение — маузер с памятной надписью, тот самый маузер, который, как величественный памятник героических лет, все дальнейшие годы обрастал легендами о героизме его владельца.

Свою будущую жену он нашел в только что взятом городе, в подвале разбитого дома, и она, беженка, прошагала с семнадцатилетним героем до конца войны машинисткой политотдела. Она очень легко и охотно «перестроилась» (это слово тогда только что появилось). Думать она не умела, сын комдива ей понравился, а главное, ей хотелось жить. Она согласилась и на свободную любовь, и зарегистрироваться, и как угодно, ей было все равно. Как скажет Сашенька, ее спаситель, — так она и делала. И не проиграла. Война кончилась. Комдив стал военным профессором, а Сашенька поступил в институт, учился, кончил, превратился в Александра Евгеньевича, инженера, успешно продвигавшегося на командные должности. Жили хорошо, богато, той жизнью, к которой все, в том числе и комдив, привыкли с детства. И рождались дети. Последней, младшей была Нина.

Отец в анкетах сына выглядел прекрасно — герой гражданской войны, раненый, контуженный, награжденный. Отличный папаша. Да и мать не подвела — умерла в шестнадцатом году от брюшного тифа на трудовом посту. Дама была из очень богатой семьи, нравная, и неизвестно, как она воздействовала бы после революции на будущего комдива, — но вот умерла вовремя, до революции, и остались

от нее для анкеты превосходные данные — «медицинская сестра, работала в петроградском солдатском военном госпитале». Спасибо, мама, что в солдатском, а не в офицерском. Ты, дорогая мама, заботясь о счастье сына, заразилась тифом, как демократка, от простого солдата, а не от офицера. Совершала однажды обход с подарками по палатам и не убереглась. И значилась, как благотворительница, медицинской сестрой. Отец умер тоже вовремя, когда стал слишком задумываться и углубляться в рассуждения — как да куда двинется революция. Беспокоился он также о том, что среди инженеров почему-то много вредителей, и все затевал с сыном разговоры на эту совершенно неуместную тему. Вообще старик становился небезопасным, у него обнаруживалось много мыслей, которые он слишком откровенно высказывал. Очень уж он всерьез относился к событиям, все желал понять, чтобы действовать, как он выражался, «по убеждениям, по советам». Сын старался отдаляться от него, он жил по-своему, лавировал все ловчее и искуснее. Отца он все больше остерегался:

— Что думает — то и говорит, — удивлялся он. — Ненормальный.

Он делился такими соображениями только с женой, которой что ни скажешь — все равно ничего не поймет, потому что была она замечательно, дремуче, непроходимо глупа. Знала только, что ее Сашенька во всем прав и что никогда не следует повторять того, что он скажет ей наедине.

Со стариком все обошлось без того, чтобы клеймить его и отказываться от родства на общем собрании. Сердечный припадок — и размышляющего комдива похоронили с почетом, с залпами над могилой. Анкета осталась незамаранной. Отец уже не мог совершить ничего компрометирующего, он навеки украсил анкету сына своими чинами, орденами и заслугами. Счастье сопутствовало Александру Евгеньевичу.

В двадцатые годы таких, как Карабанов, называли «приспособленцами». Но сам Александр Евгеньевич никак не чувствовал себя приспособленцем. Он работал на заводе, считался тол-

ковым инженером, а что он избегал опасностей и риска и старался понравиться каждому, кто мог быть полезен ему, — так это же было, по его искреннему убеждению, вполне нормально и получалось у него естественно, без особых размышлений. При этом держался он всегда спокойно, солидно, авторитетно.

Участие в реконструкции завода дало ему повод написать диссертацию, и он получил звание кандидата наук. На него обратили внимание, и он перебрался с ленинградского завода в Москву, в один из кабинетов наркомата, и пошел неторопливой походкой наверх по служебной лестнице.

Применяясь к людям и обстоятельствам, он привык выражать только те чувства, которые положено было испытывать в каждом отдельном случае, и постепенно они стали его личными чувствами, в искренности которых он и сам не сомневался. Не только высказывался, но и размышлял он уже так, как полагалось, поэтому никаких особых неприятностей у него не бывало.

Событие, о котором он тотчас же постарался забыть, случилось неожиданно. Перебравшись в Москву, он не поддерживал отношений со своими ленинградскими друзьями. Когда до него донеслось, что некоторые из них арестованы, он не обеспокоился, это его уже не касалось. Но однажды, когда он выступал на совещании в наркомате по проблемам промышленности, его перебил голос из задних рядов:

— Расскажите-ка лучше о вашей дружбе с врагами народа!

— Что? — спросил он с трибуны, слегка побледнев и вытянув шею.

Голос очень отчетливо назвал имена его прежних друзей, времени размышлять не было, и Карабанов тотчас же заклеил заводских своих товарищей всеми теми словами, какие с легкостью произносились тогда. Но именно в тот момент впервые дернул его тик, который потом повторялся обычно при каком-нибудь неожиданном вопросе, как условный рефлекс. Затем он продолжал свое выступление, и коварная реплика с места не имела для него никаких дурных последствий. Но

оставалось странное ощущение шока, которое, впрочем, прошло, когда он уверил себя, что люди, с которыми он дружил, действительно враги. Он голосовал, осуждал, клеймил только тогда, когда это было уже совершенно неизбежно. А вообще он не любил острых положений, не произносил резких обвинительных речей, не рвался вперед, как некоторые другие, тут он предоставлял ретивым обгонять себя как им угодно, а сам оставался в стороне. Он вообще предпочитал уклоняться от излишней ответственности, и эти его свойства создали ему даже репутацию «добротного» человека, которую он охотно поддерживал. Ему очень нравились слова аббата Сийэса о деятельности его в период яacobинской диктатуры: «Я жил». Но Александр Евгеньевич Карабанов жил так осторожно, что чувства, замершие еще до эпизода на собрании в наркомате, начали попросту отмирать.

В первые дни войны что-то дрогнуло в его душе, что-то шевельнулось, словно кругом вновь запели «Мы беззаветные герои все...» Но ненадолго. Надо было выполнять, организовывать, проявлять инициативу, эвакуировать, эвакуироваться, возвращать, возвращаться. И когда в сорок четвертом году пришла весть о гибели на фронте сына Георгия, то подчиненные и начальники с уважением отметили, что Карабанов не прервал работу (известие пришло на службу), только посидел молча минуту с каменным лицом, как бы справляясь с собой. Сам он следил, чтобы до конца рабочего дня не сходил с его лица оттенок мужественно подавляемой скорби. Он столько лет изображал те чувства, которые положено было испытывать, что когда и вспыхивало в недрах душевных нечто действительно живое, то привычка держаться так, как считалось в данный момент наилучшим, немедленно побеждала, и никто не мог сказать, что Александр Евгеньевич обнаружил слабость.

Он считался выдержанным, очень идейным работником, потому что давно уже научился с большой для себя пользой и выгодой пользоваться обширным набором отличных слов для больших и малых выступлений, резо-

люций, предложений. Все всегда было у него учтено, все было в порядке, именно так, как надлежало в данный момент. Следует прибавить, что он особенно любил разоблачать приспособленцев, карьеристов и мещанство, любил потолковать даже и в частных беседах об удивительной цепкости и ловкости этой категории людей, которых и с полчиным не поймаешь, так искусно они маскируются самой выдержанной фразеологией. Эти разговоры особенно нравились Нине.

После войны Александр Евгеньевич ввел еще в обиход слово «стяжатель». Хорошее слово. Вкусное. Но второй сын относился к его рассуждениям иронически, пожимал плечами и вдруг, заявив, что это все фальшь и подделка, порвал с отцом. Уехал в Сибирь на работу и даже писем не писал. А сестре Нине перед отъездом сказал:

— Сама увидишь, каков наш папочка, а сейчас глупа.

В послевоенные годы Александр Евгеньевич все ближе соприкасался с науками. Он чуял, где «перспективно» (это слово он очень полюбил). Звание кандидата наук он уже имел. Надо было теперь стать доктором наук. Но как? Самостоятельных мыслей у Александра Евгеньевича не было. А докторское звание становилось все нужнее и нужнее для дальнейшего продвижения в жизни.

В сорок девятом году Карабанов, как отличный работник, который не подведет, был командирован в Ленинград, чтобы разобраться в делах института, директор которого был арестован. Он приехал, послушал людей, провел собрание, произнес краткую речь без лишних слов, и если б не Сухонин, то все обошлось бы совсем гладко. Сухонин разозлил его своей глупостью, напомнил ему отца-комдива («что думает — то и говорит»), но он удержался все-таки от резких выводов, всего лишь поставил вопрос об увольнении и даже напомнил одному ретивому товарищу из отдела кадров, что научные кадры надо беречь. Он так привык к своей роли, в которую входила и «доброта», что разыгрывал ее вполне уверенно. Ему было поручено помочь институту, вот он и помогал. Лишнего он никогда себе не по-

зволял в своих действиях. Он прослыл «добрым» и в Ленинграде. И за доброту получил награду. Явилась к нему на прием какая-то замухрышка и вручила ему лично (с глазу на глаз) папку с интересными записями. Он зачихнул их в портфель. Решил «спасти» их для науки, если они представляют какую-нибудь ценность.

Оригинальных мыслей у Александра Евгеньевича не было никогда, но компилятором он мог быть недурным. В той части, какую он способен был понять и обработать, записи Колотовского ему очень пригодились. И он «спас их от забвения и гибели» (так он говорил себе, пока пользовался ими), выудив мысль, которая вполне была доступна ему. Впрочем, когда он сделал из нее докторскую диссертацию, он уже считал, что это его давняя мысль, которую он никак не мог изложить из-за большой, отвлекающей от чисто научной деятельности, организационной работы. Печатать он свою диссертацию не стал, за такой славой он не гонялся, ему нужно было только звание, и это звание он, конечно, получил при своем умелом поведении.

Он совершенно забыл бы об этом эпизоде, если б не внезапно полученное письмо жены того ленинградского директора. Письмо он получил своевременно, но когда понадобилось, то секретарь, ко всему приученный, согласился с тем, что задержал письмо, а Нина поверила отцу сразу, без сомнений. Карабанов ответил на это письмо через год и был рад, что никакого отклика не поступило. Значит, никого уже из Колотовских не осталось. Но вдруг оказалось, что сын Колотовского в Москве, газетчик, разоблачитель, и надо было на всякий случай принять немедленные меры. Он, как всегда, не задумался над тем, что его вдруг обеспокоило, он и сам считал, что просто по доброте душевной хочет помочь молодому человеку. Тот отозвался на приглашение, оказался славным пареньком и стал своим человеком в их доме. Нина полюбила его. Что ж! Пусть молодые люди живут как хотят. Александр Евгеньевич посоветовал было дочке записаться, как положено, в загсе, но Нина вдруг

порвала с Колотовским и вышла за его товарища, тоже дельного юношу. Ах, эти современные девицы!

Александр Евгеньевич помог обоим молодым людям. Правда, в реабилитации отца Колотовского он непосредственного участия не принимал, только навел справки и сообщил молодому человеку, когда дело было завершено. И отчим Векшина был уже обличен в других нарушениях, так что и его дело не потребовало особых усилий. Но все же Александр Евгеньевич позаботился, как человек доброжелательный. И уж квартиру-то он во всяком случае выхлопотал дочери с мужем. Присматриваясь к изменившейся жизни, Александр Евгеньевич чувствовал, что и в ней он идет правильно, как и в прежней, — не отставая, но и не обгоняя.

После Двадцатого съезда секретарь Карабанова на собрании попытался обвинить своего шефа в неблагоприятном поведении в сорок девятом году, когда Александр Евгеньевич выезжал в Ленинград на помощь ленинградскому институту. Секретарь, оказывается, рылся в столах и портфеле начальника и даже обвинил его в присвоении диссертации арестованного директора. Человечек, видимо, решил, что его шеф погиб, и выслуживался перед тем, кто заменит. Так полагал Александр Евгеньевич. Секретаря опровергли, потому что он никаких доказательств предъявить не мог, а сам Карабанов заявил с горьким негодованием, что, к сожалению, его секретарь пользуется именно теми методами, которые осуждены на съезде. У Александра Евгеньевича появился другой секретарь, шустрый, исполнительный, а прежний перешел в другой отдел, но продолжал свои обличения и толкнул против Александра Евгеньевича Векшина с Ниной.

Претензий Векшина Карабанов попросту понять не мог. Что такое случилось? О чем он должен был докладывать дочери? Зачем ему было вмешиваться в любовь молодых людей? Какое-то копание в душах! А не все ли равно — расчет был у Нины или не было расчета? Ведь она же разошлась с Колотовским! Да и у современных девушек всегда тот или иной расчет.

Подумаешь, нежности какие! Явились перед ним, как белоснежные ангелы перед чертом! Все эти разговоры о чистоте — вздор. На самом деле молодой человек попросту боится ревности и мести этого Колотовского и хочет теперь в чем-то обвинить совершенно неповинного тестя, вот и все. Нет, с больной головы на здоровую валить нехорошо, неморально. Уж если на то пошло, то надо было Нине выходить за Колотовского. Не послушалась, так что ж теперь делать! Александр Евгеньевич Карабанов отлично умел вести себя в отношениях с людьми и в делах сообразно любой обстановке, но в области нравственной, моральной был человеком совершенно неосведомленным. К тому же он запоминал, преувеличивал, даже переименовывал, если надо, только то, что сам сделал тому или другому человеку, а что хорошего делали ему — об этом он как-то забывал. Ему, например, на голову не приходило, что с секретарем в течение ряда лет он обращался как с лакеем, за человека его вроде как и не считал. Он был уверен, что секретарь должен быть ему благодарен.

Телефонный звонок Романа Колотовского был ему даже к стати. С этим молодым человеком он поговорит о поступке его товарища откровенно. Он поучит молодежь морали. Молодой человек просил о встрече для конфиденциального разговора. Пожалуйста. Сегодня вечером, по известному вам адресу.

Рома явился в той ледяной броне, которая всегда одевала его в нелегкие моменты жизни, с замкнутой на все запоры душой. И начал он так, как советовали ему Лиза и Сухонин. В первых же словах он объяснил цель своего посещения и коротко сообщил о сведениях, полученных им от Самохиной.

Александр Евгеньевич выслушал очень внимательно, даже без тика, и ответил:

— Очевидно, ваша знакомая либо запятовала, либо спутала. Если даже она что-то передала мне, то я не мог оставить у себя. Безусловно, я отдал материалы в соответствующую инстанцию для рассмотрения. Вряд ли сжег, как это делалось в те дурные

времена. Но не скрою — могло случиться и так, что сжег.

— Значит, вы не помните о передаче вам материалов моего отца?

— Не то что не помню, а убежден, что такого факта не было. Ничего не могу добавить к тому, что я уже сказал.

— Да? Подумайте до завтра. — Рома был очень холоден, очень взрослый. — Если вы не вспомните, то решать будет экспертная комиссия на основании вашей докторской диссертации.

— Мне неясно, при чем тут моя докторская диссертация. Должен предупредить вас, что против меня действует клеветник, мой бывший секретарь. Насколько я знаю, вы не очень любите такого рода людей.

— Александра Николаевна Самохина — не клеветник.

— Клеветник начал, а старая женщина вспомнила то, чего не было. Это бывает у старых людей, я ей прощаю...

— Сашенька, да отдай ты эту папку! И дочка наша Ниночка к тебе вернется! И нельзя же так жить!

Этого Александр Евгеньевич никак не ожидал. Перед ним была жена с каким-то не своим, жалким, перекошенным лицом. Она была похожа на замученную обезьянку. И она нарушила обычай, установившийся издавна, — молчать, что бы ни случилось.

— Смотрите, что вы сделали! — с упреком обратился Карабанов к Роме. — Бедная женщина!

— Она совершенно права, — отозвался Рома. — Отдайте эти материалы, вам все равно придется сделать это. Ведь есть еще данные, и они поступят в распоряжение экспертов. Будет лучше, если вы сами все сделаете.

— Простите, — ответил Карабанов. — Но вы видите, в каком положении моя жена.

— Я остановился... — Рома назвал гостиницу и номер. — Буду ждать вашего звонка или посещения. Я позволю вам завтра в восемь часов утра.

В восемь часов утра к Роме в гостиницу явился Векшин.

— Получай! — сказал он и передал товарищу папку с материалами. — То самое. Свекровь оказалась неожиданной. Ей приказано было

сжечь, а она не сожгла. Хранила у себя. И не только это. Сама не может объяснить — почему. Что-то чувствовала. Не знаю, что теперь там у них будет, но думаю, что наш дорогой вождь и учитель вывернется, отделавшись только легкими ушибами. Свекровка принесла папку Нине. Все. Я желаю тебе счастья и удачи.

— Спасибо, — ответил Рома.

А все-таки люди лучше, гораздо лучше, чем думают некоторые. Как можно было ждать такого бунта от забитой жены Карабанова! Она восстала не по уму, а по чувству. Чувство окзалось у нее умным, человеческим.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Один баллон с раствором серебряного порошка из числа тех, которые были доставлены из Ленинграда к месту строительства лаборатории, должен был пойти в Москву, в распоряжение министерства. Карабанов, умуевший все организовывать тихо и неприметно, устроил так, что это поручение дано было научному работнику, которому он покровительствовал. Этому человеку скоро исполнялось уже сорок лет, но все звали его Шуриком, он оставался вечно молодым, с густой шевелюрой, с полным, очень спокойным лицом, в фасонистых очках, за которыми скрывались холодные, расчетливые глаза. С помощью Александра Евгеньевича он получил уже звание кандидата наук, теперь добивался докторского звания и просил Карабанова быть оппонентом на защите. Александр Евгеньевич отправлял его на разведку в стан недругов, надеясь узнать через него все деловые подробности нового предприятия.

Служебное положение Карабанова пока что не пошатнулось. Но он понимал, что находится под ударом. Его будут обвинять в плагиате, отбиться от напористой молодежи будет трудно, и надо быть в курсе всего, что происходит в лаборатории Сухонина, с которой связан и сын Колотовского. Надвигается грозная туча, и неизвестно, какие еще молнии ожидают Александра Евгеньевича. Следует приобрести побольше союзников. И он

обещал Шурику быть оппонентом на защите докторской диссертации. Оба отлично понимали друг друга.

Шурик выехал вместе с комиссией, обогатился некоторыми сведениями в дороге, на месте узнал еще больше, оставалось получить раствор и возвращаться.

При передаче Шурику баллона был составлен официальный акт. В этот акт включено было предупреждение, касающееся действия раствора на живые организмы. Эта проблема еще не могла считаться изученной во всей глубине и во всем объеме, и поэтому при обращении с раствором рекомендовалась максимальная осторожность. Давалась специальная инструкция о том, как следует открывать и закрывать баллон. Вся ответственность за возможные последствия при несоблюдении рекомендованных и обязательных правил возлагалась на приемщика и получателей. Институт предлагал для транспортировки своего сотрудника.

Шурик расписался везде, где следовало, а от сопровождающего отказался:

— С этого момента до передачи получателем в Москве решительно за все несу ответственность один я. — Он улыбнулся. — Полагаю, что звания кандидата наук достаточно для транспортировки.

Он умел держаться с достоинством не хуже Карабанова.

Шурик считал проблему действия раствора на живые организмы решенной — ведь все сотрудники лаборатории погружали руки в раствор, и ничего худого с ними не случилось. Впрочем, сам он не предполагал производить такие эксперименты. Уж если придется — так он будет в высшей степени осторожен, чтобы ни капли не попало на пальцы. Мало ли что, вдруг пойдут прыщи или еще что-нибудь. Он привык издеваться над шепетильностью и скрупулезностью ученых: никогда эти медлительные люди не признают, что исследования закончены, и вечно тормозят науку своими предостережениями. Но шутки кончались, когда дело касалось его драгоценной жизни.

Беда была в том, что Шурик ощу-

щал в своих руках неугомонный зуд, хотя прыщей пока что на них не было. Ну хоть бы несколько граммов раствора для себя лично! Кто заметит, что из трех килограммов чуть-чуть отлито! И Карабанову это пригодится, в крайнем случае он замнет, все обойдется.

Зуд становился нестерпимым, все больше аргументов, уже вполне деловых, являлось на помощь Шурику. В конце концов он официально может заявить тому же Карабанову, который без лишних слов дал ему для чего-то склянку.

— Может быть, пригодится, — сказал тогда Александр Евгеньевич.

— Вот и пригодилась.

Шофер поехал заправлять машину, а Шурик, обуреваемый непреодолимым желанием, весь только им и полный, пошел с баллоном, упакованным в чемодан, в номер маленькой гостиницы, в которой остановился. Здесь он вынул баллон и отделался от соблазна — отлил чуточку раствора в склянку и закупорил баллон столь же тщательно, как и открывал его. Ни одна капля не капнула на пальцы Шурика. После этого он расплатился за номер и направился обратно к машине. Только он вышел из подъезда, как услышал:

— Аккуратно проделано, гражданин!

Он обернулся и увидел стоявшего под окном его номера человека с наголо обритой головой, круглой и сизой. Этот тип и раньше попадался ему здесь, даже пытался заговорить, как и с членами комиссии, когда они были здесь. Предлагал услуги, вообще казался услужливым и почтительным.

Шурик был совершенно неопытным вором. Как это он не сообразил, что номер в гостинице — в первом этаже, и ничего не стоит подглядеть в окно? Вот до чего довел зуд! Но Шурик не растерялся:

— Что вам нужно? Кто вы такой?

— А мне баночку нужно, вот что у вас в кармане.

— С ума вы сошли?

Бритоголовый гражданин удержал Шурика на месте, ухватив его за локоть с такой силой, что не вырвешься, и в том, что Шурик не позвал на по-

мощь, а, напротив того, улыбнулся, чтобы не привлечь ничьего внимания, — в этом было уже признание вины.

— Пройдемте-ка...

И неприятный человек с сизой головой завел Шурика в проход между глухой стеной и разросшимся огородом, где можно поговорить без лишних свидетелей.

— Покажите-ка баночку, — сказал он. — Вы с гражданином из газеты приехали?

Шурик покорно отдал склянку.

— Сговоримся, — сказал бритоголовый мужчина.

Он проявил некоторое искусство, размотав обмотку и отвинтив тугую пробку, — чувствовалось, что он и сейф мог бы открыть. Затем он капнул раствором себе на ладонь, проговорив:

— Поглядим, что такое. Вы мне...

Кончить фразу он не успел, слово «разъясните» осталось у него в горле. Случилось нечто такое, что повергло Шурика в смятение и ужас. Склянка выпала из затвердевших пальцев неизвестного гражданина, подпрыгнула, но не разбилась — раствор придал ей нерушимую крепость. А сизоголовый мужчина остался стоять неподвижно, словно окаменев.

Следователь потом тщательно разобрал все обстоятельства чрезвычайного происшествия и установил, что виноват сам пострадавший, а гражданин Киндрик (такова была фамилия Шурика) повинен в деяниях другого рода.

Можно было только догадываться, что Синюхаев подкрадывался к лаборатории для злых дел, поскольку к ней прикосновенен был ненавистный ему газетчик. Он, видимо, хотел заполучить Шурика в союзники. Но какова бы ни была затея Синюхаева — она оборвалась в самом начале страшным и неожиданным образом.

Обыкновенное слово «пострадавший» следователь приложил на этот раз к необычайному, пригодному для фантастического романа, но случившемуся в действительности событию.

Члены комиссии были вызваны к месту происшествия и прибыли немедленно. Целый кортеж из нескольких

машин остановился возле гостиницы. Милиционер повел ученых, указывая дорогу.

Впереди спешил Григорий Михайлович Вернер со своей желтой сумкой. За ним, рядом с Сухониным, шагал представитель министерства — солидный мужчина с остриженными ежиком волосами, с чуть насмешливым взглядом больших выпуклых глаз и тяжелым подбородком, вокруг которого угрожающе раскинулась веером черная борода. Он был похож на моряка из восточных сказок, только плавал он по научным океанам, и никакие волны не были страшны ему. Немножко отставая от них, брел в одиночестве знаменитый академик, грузный, молчаливый, угрюмый. Глубокие складки по углам рта, опущенным книзу, придавали скептическое выражение его большому землисто-серому лицу. Профессор Звягинцев, директор ленинградского института, маленький, живой, озирался вокруг с превеликим любопытством. Хромота его была еле заметна. Он опирался на суковатую палку с вырезанной на ней головой медведя. Заключали шествие Рома и Васильков, представители прессы. Кинодеятели не теряли времени — они снимали всё и вся.

На месте происшествия до приезда ученых все оставлено было нетронутым. Слякка с остатками отлитого раствора лежала на земле. А в середине прохода между глухой стеной и огородом возвышалась статуя Синюхаева. Раствор оказал на этот раз неожиданное действие — Синюхаев, неосмотрительно капнувший себе на руку чудодейственной жидкостью, застыл, затвердел, окаменел в той позе, в какой стоял в тот момент, — с согнутыми в локтях руками и с чуть расставленными ногами. И на него молча взирал весь ученый синклит.

— Следовательно, раствор действует на живые организмы, — вымолвил наконец бородач, председатель комиссии. — Или был особый состав?

Вместо ответа знаменитый академик наклонился всем своим грузным корпусом, поднял склянку, капнул себе на руку раствором и показал руку бородачу. Она осталась мягкой, теплой, толстой, как и была. Академик при этом не произнес ни слова.

Бородач взял у него склянку и капнул на свой палец. Ничего не случилось.

— Но все-таки неожиданный поворот проблемы, — сказал он. — Загадочный случай.

— У нас была гипотеза, — сказал Сухонин. — Была гипотеза, что раствор может действовать на живые организмы, если в них не развились или утрачены функции, именуемые душой. Растение, например, затвердевает, как предмет неодушевленный. Но это только гипотеза.

— Эта гипотеза начинает получать подтверждение экспериментального порядка, — заметил Вернер. — Кто этот человек?

Иван Филиппович не выдержал и ответил, вмешиваясь в разговор ученых мужей:

— О нем была в газете статья товарища Колотовского под названием «Человек без души».

— Все же нельзя решать моральные проблемы механически, — вновь заговорил Сухонин. — Все это требует тщательного анализа, глубокого исследования, и я полагаю, что этому памятнику удастся вернуть жизнь, для того чтобы выправить человека средствами человеческими.

Так переговаривались сошедшиеся к месту происшествия люди, а перед ними неподвижно стояла статуя потевшего душой человека.

А. Смолян и Д. Ченцов

ЗДЕСЬ, В САМОМ СЕРДЦЕ АФРИКИ

П о в е с т ь
о Патрисе Лумумбе

В тот же вечер Патрис немного медленнее, чем обычно, направлялся к себе домой, в Бельж, размышляя на ходу над простой с точки зрения арифметики, но практически крайне сложной задачей: как растянуть последние три франка на оставшиеся до полочки три дня? Кто-то окликнул его:

— Хэлло, Лумумба! Над чем вы задумались?

Патрис обернулся. Рядом остановился белый «кадиллак», за рулем сидел мсье Ролан, глава пивоваренной фирмы «Полар». Это был веселый, общительный человек, несколько американизированный, толстый, но подвижный. Они познакомились года полтора назад в самолете, по дороге в Брюссель.

— Над чем вы так задумались? — повторил Ролан. — Сочиняете очередную обвинительную речь против колониализма?

Они разговорились. Уже через две минуты Ролан сказал:

— Переходите ко мне.

— Но я не умею варить пиво! — засмеялся Патрис.

— Пивовары у меня — лучшие в мире, других мне не надо.

— Зачем же я вам нужен?

— Садитесь-ка в машину.

Они проехали два-три квартала и вышли у пивного бара фирмы «Примус». Захватив из машины бутылку «полара» и помахивая ею, Ролан прошел за один из дальних столиков. Бармен низко поклонился, когда они проходили мимо него:

— Добрый вечер, мсье Ролан! Милости прошу!

Ролан подмигнул в ответ и, опускаясь в кресло, тихо спросил:

— Понимаете ситуацию?

— Не совсем.

— Глава одной из враждующих армий заявил в расположение одной из частей противника. Попробуем, чем они торгуют.

Он взял со стола бутылку «примуса», открыл ее и налил по полкружки.

— Ваше мнение?

— Я не знаток в этом деле, мсье Ролан. Но, по-моему, пиво неплохое.

Продолжение. См. „Звезда“, 1963, № 2.

— Правильно. А ну-ка, сравним. — Он налил по полкружки «полара».

— Это, пожалуй, приятнее, — сказал Патрис, сделав несколько глотков. — Мягче. И запах свежее.

— Чутьочку горчит?

— Нет, мне нравится. Но я бы сказал, что «примус» достоин своего имени: после «полара» это первейшее пиво.

— Вы не представляете себе, на что идут эти торгаши в борьбе с конкурентами. Недавно они стали распространять слухи, будто мое пиво приводит к импотенции. Ну не подлещи ли?!

— Вы регулярно пьете свое пиво?

— Вот именно! — ответил Ролан, записывая что-то золотым карандашиком на манжете своей рубашки. — Вот уже десять лет пью! И не меньше чем по литру в день. И ничего такого, знаете ли, не замечаю за собой. А ведь мне уже под шестьдесят.

Он протянул руку так, чтобы Патрис мог прочесть написанное.

— «Пиво „примус“, — разбирал Патрис, — достойно своего имени: оно действительно занимает первое место после пива „полар“. П. Лумумба»... Что это, мсье Ролан?

— Как видите, ваши слова. Культурно, тактично, не без юмора. Завтра же, если не возражаете, это будет в газетах.

Патрис взял карандашик и зачеркнул свою подпись.

— Вот так — не возражаю.

Ролан разочарованно чмокнул, потом поставил вместо подписи инициалы «П. Л.» и вопросительно поднял брови.

Но Патрис зачеркнул и инициалы.

Ролан перечитал текст.

— Ну что ж, можно и так. Слабее, конечно, но тоже ничего. Лучше, во всяком случае, чем всякие грязные слухи... За первый вариант — с подписью — я мог бы вам выписать чек на тысячу франков. За этот вариант — скажем, сотню.

— Спасибо, я согласен.

— В дальнейшем вы сможете делать такие вещи бесплатно. Вернее — во исполнение своих служебных обязанностей.

— Что же вы хотите мне предложить?

— Двадцать тысяч франков в месяц.

— Нет, я спрашиваю о работе.

Ролан похлопал по своей манжете.

— Вот это. Такие вот штуки.

— Руководство рекламой?

— В частности — и рекламой. И вообще сбытом. На ваших именных бланках это, если захотите, будет выглядеть так: «Помощник коммерческого директора».

— Вы знаете, что я сидел в тюрьме?

— Слыхал, слышал. Когда-нибудь, если у вас будет время и желание, вы мне расскажете об этом. Но сейчас ведь мы говорим о другом, не так ли?

Патрис кивнул.

— Я много слышал о вашей энергии, — продолжал Ролан. — Полагаю, что двадцати пяти процентов ее будет достаточно для того, чтобы сбыт заметно возрос. Остальные семьдесят пять процентов — на журналистику, на поэзию, на политику. На что хотите, меня это не касается. Ежедневное посещение конторы не обязательно. Обязательны систематические разъезды по всей стране.

Разъезды по стране — это именно то, необходимость чего Патрис ощущал сейчас особенно остро. И вообще предложение Ролана пришлось более чем кстати.

— Когда я должен дать ответ?

— Могу и до утра подождать. Только — стоит ли откладывать? Думайте, Лумумба, я вас не тороплю. Я пока что допью потихоньку свой «полар».

Двадцать тысяч франков — это было вчетверо больше, чем Патрис получал на почте. Можно перевезти в Лео семью, освободиться, наконец, от долгов, от мыслей о том, как свести концы с концами. А главное — «Ухуру»! Отпадает одно из главных препятствий к изданию газеты — вопрос о материальных затратах. Можно будет и бумагу приобрести, и заплатить типографу, и внести цензурный залог. Да еще и возможность поездок по стране!

— Хорошо, мсье Ролан. С начала недели я смогу приступить к работе.

«Если собака ворчит, ей можно бросить кость. Но если начинает ворчать Нирагонго — его не успокоишь никакими подачками».

Так говорят на северо-востоке страны, где хорошо знают страшную силу вулкана Нирагонго.

Страна бурлила, недовольство колониальным режимом нарастало. То из одного места, то из другого приходили вести о крестьянских выступлениях, о забастовках рабочих, о каких-то тайных обществах, создававшихся под прикрытием клубов эволюэ. Эти общества носили самые различные политические и религиозные окраски, но неизменно были направлены против бельгийской администрации и католической церкви.

В Касаи одна деревня отказалась от выполнения дорожной повинности. По пути в другую деревню сборщик налогов при обстоятельствах, внушавших подозрения, упал в реку и был съеден крокодилами. Третья деревня просто исчезла: стояла десятки лет, и вдруг — одни пепелища; жители ушли в недоступные бельгийцам джунгли.

Губернатор провинции утром нашел в своем саду, среди переломанных розовых кустов, голову леопарда. В зубы хищника была вложена записка, составленная не очень грамотно, но зато весьма лаконично и недвусмысленно: «Этот зверь зло делал. Сильный зверь, а его даже пигмей убил. Не будь, как зверь».

В Катанге дело несколько раз доходило до столкновений между рабочими рудников и жандармерией или частями «форс публик».

Грозы еще не было, но раскаты грома слышались все явственнее. Долгим годам терпения подходил конец. Гроздь гнева созрели, ход мировых событий, мужественные примеры Ганы и Гвинеи ускоряли этот неизбежный процесс.

Бельгийское правительство маневрировало. При кабинете министров была создана «рабочая группа для изучения вопроса о будущем устройстве Конго». Министр по делам Конго Петийон (в недавнем прошлом — генерал-губернатор колонии) прибыл из Брюсселя очень гордый созданием

«рабочей группы» и очень рассерженный на конголезцев, не оценивших это благодеяние.

Патрис позвонил Петийону, и тот назначил свидание в отеле «Кларенс»:

— Это старый, спокойный, уютный отель. Без всяких нынешних штук. И кухня там приличная. Мы там чудесно поужинаем, побеседуем. Я буду очень рад видеть вас!

Но в «Кларенс» Патриса не пустили. Дойдя до ближайшей пивной, он позвонил туда по телефону и вызвал господина министра из ресторана.

— Вы, видимо, упустили из виду, мсье Петийон, что «Кларенс» — «только для белых».

— Простите, дорогой Лумумба, простите! Я просто не знал этого, мне это и в голову не приходило. Одну минутку!

Через минуту он снова взял трубку. Голос у него был несколько смущенный.

— Вы правы, к сожалению... Как это ни глупо... И, к сожалению, я бессилен это изменить... У хозяина отеля свои взгляды... Откуда вы говорите?

— Из пивного бара «Полар». Это на площади Элизабет.

— Через десять минут я буду там. Мы там сможем побеседовать без помех?

— Вполне. Я буду ждать вас в верхнем зале.

Эта история с самого начала сделала разговор довольно напряженным, хотя Петийон и пытался загладить неловкость шутливым тоном. Он рассказывал о том, что король по-прежнему разделяет его планы «бельгийско-конголезского сообщества», планы «равных прав и обязанностей»...

— Но чтобы претворить все это в жизнь, нужно время, дорогой Лумумба. Я сам полон нетерпения, но я реально представляю трудности, стоящие на нашем пути.

— Если не ошибаюсь, вы выдвигали эти планы больше трех лет назад.

— Да, всего лишь. А колониальный режим существует больше полувека. За это время сложилось много традиций.

— О, еще бы! Одну из них я снова испытал на себе не далее как сегодня вечером.

— Не вспоминайте об этом. Право, эта история унизила меня гораздо больше, чем вас.

— Согласен. Но выгнали-то все-таки не вас, а меня.

— Как бы то ни было, жизнь лишней раз напомнила нам с вами о том, как живучи традиции. Правительство не может проводить неподготовленные меры, не может принимать решения, которые вызвали бы сопротивление многих тысяч колонистов.

— Вольно или невольно, но интересы нескольких тысяч колонистов вы ставите выше, чем интересы тринадцати миллионов конголезцев.

— Вы забываете, что миллионы бельгийцев метрополии тоже заинтересованы в будущем Конго. Неважно, что они живут не здесь, а там. Наши страны скреплены давней и неразрывной связью.

— Это связь всадника с лошадью. Не думаю, что она должна быть сохранена в таком виде.

— Конечно, не в таком! Речь идет именно о том, как подготовить преобразование этой связи на началах справедливого сотрудничества.

— Мсье Петийон, тринадцать миллионов конголезцев не могут ждать, пока вы подготовите порядочных людей из конкистадоров и преобразуете рабовладельцев в гуманистов. Конголезцы не станут ждать! Речь ведь идет о стране конголезцев!

— Речь идет о стране, где все ключевые позиции принадлежат тем, кого вы — слишком, пожалуй, огульно — именуете конкистадорами и рабовладельцами. И в экономике, и в управлении — буквально во всем. Они не готовы к тому, чтобы отдать эти позиции, вы не готовы к тому, чтобы взять их. А правительство не хочет повторения алжирского варианта. Постарайтесь, чтобы дело не дошло до восстания. А я постараюсь, чтобы у нас не появились собственные «ультра», подобные французским головорезам, действующим в Алжире.

— Они уже появились. И, уверяю вас, бельгийские «ультра» ничуть не лучше французских. Вообще их активизация очень мало зависит как от меня, так — простите, господин министр — и от вас тоже. Год за годом

вы откладываете реформы, чтобы, упаси боже, не разгневались ультраколониалисты. Гнев конголезцев пока вас меньше тревожит, с нами вы привыкли не церемониться. А нам становится все яснее, что задуманные правительство реформы — это лишь смена вывесок, замена одной формы порабощения другой формой.

— Меня, я надеюсь, вы не подозреваете в таких планах?

— Вас лично — нет. Только потому я и попросил вас о встрече. Но дело тут не в намерениях. Вы не видите, как стремительно летит время! Вам кажется, будто три года — ничтожный срок. Будто проекты трехлетней давности все еще сохраняют свою привлекательность. А на самом деле они успели устареть за этот срок, они устарели раньше, чем правительство взялось за их рассмотрение. Вы все еще говорите о «бельгийско-конголезском сообществе», а время уже ставит вопрос о конголезской независимости!

— Значит, вы изменяете нашим планам?

— Нет: я хочу, чтобы вы изменили свой план.

— Вы знаете, конечно, что создана «рабочая группа». Она для того и создана, чтобы изучить этот вопрос во всех его аспектах.

— Господин министр! Когда ворчит Нирагонго, его не успокоишь никакими подачками.

— Не говорите так. При чем же здесь подачки? Я всерьез обеспокоен положением и искренне ищу выхода.

— Я не хотел вас обидеть, это поговорка. Что же касается «рабочей группы»... Я для того и пришел, чтобы вручить вам небольшой меморандум в связи с ее созданием.

Патрис достал из портфеля и положил на стол два листа с отпечатанным на машинке текстом. Петийон взял их, подержал в руках, будто раздумывал — читать ли, потом сложил вчетверо и засунул в карман.

— Спасибо, я прочту... У меня здесь и очков-то нет. А сейчас я хотел бы выслушать вас. Расскажите коротенько — в чем тут суть.

— Хорошо. Во-первых, решительный протест вызывает то обстоятельство, что в состав «рабочей группы»

не включены представители Конго. Видимо, это одна из традиций, о которых вы говорили. Второе. Целью «рабочей группы» должно быть не какое-то неопределенное «изучение вопроса о будущем устройстве», а нечто вполне ясное: подготовка к представлению Конго независимости. И третье: должны быть, наконец, названы сроки. «Рабочая группа» должна завершить свою работу тогда-то, чтобы к такому-то сроку Конго обрело независимость.

— Вы хотите сначала дать ответ, а только затем приниматься за решение задачи.

— Я хочу, чтобы цель была названа ясно, определено. Тогда и практические задачи легче будет решить.

Петийон довольно долго молчал, задумчиво выбивая пальцами на мраморном столике какую-то несложную мелодию.

— Ну что ж, мой дорогой Лумумба... Я еще раз благодарю вас. Только один вопрос. Это, — он похлопал себя по карману, — вы вручили мне это от имени какой-нибудь организации? Какой-нибудь партии? Или от своего собственного имени?

— Там стоит только моя подпись, никакой партии я в данном случае не представляю. Но это требования самой жизни, мсье Петийон, это чаяния всей нации!

— Нации? В том-то и беда, что никакой конголезской нации нет. Есть множество племен, очень различных, подчас — даже враждебных друг другу. Вы знаете это, наверно, еще лучше, чем я. Мы с вами люди разных рас, но гораздо ближе друг другу по культуре — я подчеркиваю: по национальной культуре, — чем, скажем, вы и какой-нибудь обитатель джунглей.

— А разве все бельгийцы одинаковы? Разве среди них нет и фламандцев и валлонцев? Разве по уровню культуры бельгийские политики, философы, поэты не отличаются от бельгийских крестьян? Нет, господин министр, я — сын Конго, один из тринадцати миллионов. Обитатели джунглей и саванн — мои родные братья. Я знаю их чаяния, я имею право говорить от их имени. Конголезской нации еще нет, есть множество племен?

Но у них общая беда, общая судьба. И общая борьба за независимость неизбежно сплотит их в единую нацию. От имени этой будущей нации я и говорю с вами, господин министр!

Этот разговор многое прояснил для самого Патриса. Яснее прежнего понял он, что ждать от брюссельского правительства положительного решения — напрасная трата времени. Даже если в кабинете министров имеются люди, которые слынут среди колонизаторов «прожектерами, помешавшимися на идее прогресса». Только решительными действиями можно заставить правительство считаться с требованиями народа — хотя бы в той мере, в какой оно считается ныне с притязаниями «ультра».

* * *

Весь этот разговор вспомнился Патрису через три недели, когда по делам службы он ездил в провинции Киву и Касаи. Да, Петийон был, может быть, искренен, когда называл бедой племенную разобщенность. Но колонизаторы видели в этом не беду, а свое спасение. Всячески пытаюсь помешать сплочению конголезцев, сорвать развитие освободительного движения, они разжигали племенную рознь, распускали чудовищные слухи и, действуя через местных вождей, провоцировали кровопролитные стычки.

Когда Патрис приехал в Лулуабург, в двух близлежащих деревнях уже третий день шла резня между балуба и лулуа. По слухам, все началось с того, что в деревне лулуа утром нашли вырезанной целую семью — мужа, жену и троих детей. Подозрение пало почему-то на соседнюю деревню, где жили балуба. С тех пор жители этих деревень начали настоящую охоту друг за другом. Убито уже около тридцати человек, а может, и больше.

Все это рассказал Патрису по дороге с вокзала молодой балуба Огюст, шофер местного отделения фирмы «Полар».

— Старосты прислали гонцов к губернатору, — добавил он. — И один из гонцов зарезал другого прямо на крыльце губернаторского дома. Его, конечно, арестовали. Но посылать солдат губернатор, кажется, не спешит.

С минуту они ехали молча. Потом Патрис сказал:

— Вези меня туда.

— В эти деревни? В которую из них?

— Все равно. В ту, которая ближе.

— Но ближе — лулуа.

— Вот к ним и вези.

— Прямо сейчас?

— Да, сейчас же. И постарайся поскорее туда добраться. Каждая минута может стоить жизни невинным людям.

— Нам обоим эта поездка тоже может стоить жизни.

— Не бойся ничего, Огюст!

Они приехали уже в сумерки. Возле одной из хижин раздавались громкие крики и душераздирающий плач. Оказалось, только что принесли убитого в поле хозяина этой хижины. Там стояла толпа, отовсюду сбегались люди. Увидев машину, толпа отпрянула. Но, узнав в приезжих конголезцев, на них почти перестали обращать внимание. Людям было не до того. Они торопливо доставали оружие, подстегивая друг друга воинственными возгласами, злобно проклиная всех балуба. Ясно было, что время охоты за отдельными людьми закончено — затевалось нападение на соседнюю деревню, грозившее уничтожением всех ее жителей.

— Люди лулуа, я хочу говорить с вами! — крикнул Патрис.

Головы повернулись к нему, возгласы стихли. Только надрывный плач, раздававшийся из хижины, не смолкал.

— Люди лулуа, я приехал, чтобы говорить с вами, — повторил Патрис, становясь на подножку машины. — Может быть, кто-нибудь из вас боится, что сюда придут солдаты, что они помешают нам? Нет, я привез вам добрую весть: солдаты сюда не идут. Они спокойно жиреют в казармах, и пока они соберутся сюда, мы сможем сделать все, что захотим. Мы проехали от самого города и не видели на дорогах ни одного солдата.

— Это хорошая весть, — сказал кто-то, но в его тоне слышалось: «Только ты вряд ли стал бы гнать машину, если бы на уме у тебя не было еще чего-нибудь».

— Слушайте меня дальше, люди лулуа, — продолжал Патрис. — Слушайте, потому что я хочу сказать вам слово мести.

Толпа придвинулась: это было понятно. Если над телом убитого врага кто-нибудь может сказать горячее слово мести, — надо послушать. Такое слово будоражит кровь, оно помогает в бою.

— Вы убили уже немало людей балуба, — сказал Патрис.

— Мы их много убили! — хвастливо крикнул какой-то парень, потрясая копьём над головой.

— Да, много. Но немало убитых и в вашей деревне. В этой хижине лежит один из них. Он ни в чем не был виноват — ни в чем! Кровь, которой залит порог хижины, слезы, которые проливают его родные, сильнее всяких слов призывают к мщению!

— Правильно! — закричали в толпе. — К мщению!

— Немало слез пролилось в эти дни и в хижинах балуба. И даже если им удастся убить еще кого-нибудь из вас, это не вернет их вдовам мужей, не вернет отцов их детям!

— Не вернет! — подхватили в толпе. — Пусть плачут! Так им и надо — детям вшивой суки!

— Да, — сказал Патрис, — не вернет.

И чуть медленнее, подчеркивая каждое слово, добавил:

— И сколько бы вы ни убили людей балуба — это не осушит слезы вдов лулуа, это не вернет отцов сиротам лулуа!

Секунду толпа молчала. Сзади кто-то крикнул, заноса для броска копья:

— Его подослали балуба!

Но сосед остановил его руку, крикнув Патрису:

— Кто ты такой?

— Меня зовут Патрис Лумумба. Я — сын Конго, брат всем лулуа, и всем балуба, и всем другим народам нашей страны. Меня не подсылали к вам балуба, я приехал по зову своей совести, чтобы не лилась кровь невинных, тогда как настоящие виновники остаются безнаказанными. Меня не подсылали балуба, но от вас я поеду к ним, чтобы сказать им то са-

мое слово правды, которое говорю вам.

— Ты обещал сказать слово мести.

— Да. Я хочу, чтобы вы поняли — кто же подлинный виновник этих убийств. Чтоб вы поняли и были готовы к долгой борьбе с этим врагом — долгой, упорной и полной неизбежных жертв.

Уже совсем стемнело. Патрис велел Огюсту включить фары, стал впереди машины и, освещенный их яркими лучами, продолжал:

— Вам сказали, будто семью, погибшую несколько дней назад, зарезали балуба. Кажется, никто не видел этого. Но даже если предположить, что это сделали они, — зачем они это сделали? Может быть, они хотели поживиться золотом погибшего, его драгоценными алмазами? Нет, он был бедным крестьянином-хлопководом, как и все вы. Поживиться тут было нечем.

У Патриса мелькнула мысль, что он, пожалуй, напрасно стал на это освещенное место, перед толпой, погруженной во мрак. Он почти не видел теперь своих слушателей — только самые передние были кое-как различимы. Что думают сейчас эти люди, в руках у которых охотничьи ружья, копья, луки со стрелами?.. Можно было не сомневаться, что наконечники стрел отравлены. Но по-прежнему ли отравлены злобой их сердца, по-прежнему ли горят фанатическим блеском глаза? Или ему удалось хоть немного овладеть их вниманием, хоть немного подготовить к тому, что он хочет им сказать?

— Что же руководило убийцами? Или, может быть, правильнее спросить так: кто ими руководил? Кому было выгодно это убийство, как и все последующие? Кто, зная все, что здесь происходит, нарочно медлит с отправкой солдат, чтобы лулуа убили побольше балуба, а балуба убили побольше лулуа, и чтобы сердца их надолго ожесточились друг против друга? Кто потом, когда деревня уже пошла бы войной на деревню, прислал бы солдат, чтобы они «усмиряли» вас, то есть насильовали ваших жен, жгли ваши хижины, а лучших из вас — самых смелых и самых силь-

ных — отправляли бы на каторжные работы, в урановые рудники?

— Он угрожает нам! Он хочет нас запугать!

Это был тот же голос, который кричал, что Патрис подослан. Огюст мгновенно выключил фары.

Зачем он это сделал? Подумал, наверно, что этот крикун снова занес копье и что на этот раз сосед, может быть, не успеет остановить его...

Но копье не просвистело в воздухе, а несколько голосов закричало:

— Замолчи, Ндоки!

— Не мешай слушать!

— Говори, Лумумба!

— Говори, Лумумба, мы тебя слушаем!

— Включи фары, Огюст, — спокойно произнес Патрис.

Шофер выполнил приказание, но теперь направил фары так, что хоть часть толпы была освещена.

— Я спрашиваю, кто отправляет на каторгу одних, чтобы все остальные были покорны, как забитые собаки? Чтобы все остальные безропотно платили налоги, не требовали за свой хлопок ни на одно су дорожке, чем дает кровопийца-скупщик, и в неурожайные годы молча умирали от голода... Для кого все мы, все конголезцы — и лулуа, и балуба, и все остальные, — только «грязные макаки»?

Патрис почувствовал — он сам не мог бы объяснить, что придало ему именно в этот момент такую уверенность — почувствовал, что эти люди уже верят каждому его слову. Не было больше не только враждебности, но и настороженности — вокруг стояли друзья, внимательные и благодарные ученики. Погас отвратительный пожар, еще час назад бушевавший в их душах, погасла звериная, фанатическая злоба. Теперь это были не звери, а люди — простые, мирные крестьяне, слушавшие слова правды о своей тяжелой и горькой жизни.

— Скажите, кто за бесценок скупает у вас хлопок, а потом продает его фабрикам за настоящую цену, зашибая на этом миллионы франков? Может быть, это делают балуба? Нет! Может быть, батетеле?

— Нет, — послышалось несколько голосов. Игра, видимо, понравилась.

— Может быть, пигмей?

— Нет! — засмеялись в толпе.

— Баконго?

— Нет, не баконго, — ответил какой-то старик. — Это фламани делают.

— Да, фламани это делают, бельгийцы, колонизаторы! Они захватили нашу страну и нагло хозяйничают в ней, превращая нас в жалких рабов!

Коренастый лулуа вышел вперед.

— Скажи все-таки... — Он показал рукой на хижину. — Человек, которого убили, это мой дядя. Разве я не должен отомстить?

— Не торопись. Кровью не смоешь кровь, и ранами не залечишь раны. Думай о том, чтобы своими поступками не обрадовать нашего общего врага. Балуба были обмануты так же, как и вы. Помни о тех, кто из года в год натравливал вас друг на друга.

— Ты говоришь о фламани?

— Да, я говорю именно о них, о бельгийских колонизаторах — через кого бы они ни действовали, как бы хитро ни маскировались. Я снова спрашиваю вас: кому выгодно, чтобы лулуа и балуба враждовали? Только тем, кому невыгодно сплочение всех племен Конго! Только тем, кто боится нашего единства! Колонизаторы прекрасно знают, что тринадцать миллионов конголезцев, сплотившись в единую нацию, сумеют прогнать их, сумеют отстоять свои права и добиться свободной, счастливой жизни на своей родной земле!

Вокруг царила тишина. Люди впервые слышали такие смелые и мудрые слова. Даже плач, доносившийся раньше из хижины, давно уже затих. Патрис сказал:

— Человек, который приехал со мной, — балуба.

По толпе словно ветер пробежал. Все головы повернулись к Огюсту.

— Это отважный человек, — продолжал Патрис. — Как видите, он пришел к вам без оружия, потому что хочет не вражды, а дружбы. Если бы вы были зверями, вы, может быть, растерзали бы его. Но вы не звери, а благородные лулуа. А лулуа не одиноки, они — часть огромной и могучей семьи конголезцев. Вот почему вы

встретите добром своего брата-конголезца... Подойди сюда, Огюст.

Шоферу, наверно, очень хотелось нажать на стартер и умчаться. Но, с трудом оторвав руки от баранки, он вышел из машины. Патрис подвел его к коренастому лулуа — родственнику убитого.

— Пусть каждый из вас приложит ладонь к своей груди, а затем, как полагалось в старину, коснется груди брата в знак мира и дружбы.

Они выполнили этот обряд.

— Поклянемся забыть все распри между балуба и лулуа, — громко произнес Патрис. — Здесь, над телом очередной жертвы братоубийственной розни, поклянемся приложить все силы к тому, чтобы эта жертва была последней. Скажите: «Клянемся!»

— Клянемся! — повторило сначала несколько человек. — Клянемся! — выдохнула вся толпа.

— Мы будем помнить, что каждый из нас является не только сыном своего племени, но и сыном всего народа Конго, плотью от плоти и кровью от крови единой конголезской нации. Своим единством будем готовить поражение нашего общего врага — колониализма. Вместе со всем народом Конго будем готовы к упорной борьбе за свободу и независимость! Клянемся в этом!

— Клянемся!

— А теперь, люди лулуа, я поеду к балуба. Кто из вас поедет со мной вестником дружбы?

Сразу несколько человек выступило вперед. Но родственник убитого сказал:

— Я поеду с тобой, Лумумба. Я должен поехать.

* * *

В Леопольдвиле Патрис познакомился с деятельностью «Абако». Это была старейшая (а в ту пору — и крупнейшая) политическая партия Конго. Но цели ее и методы ее работы были крайне расплывчаты.

Может быть, Эдмонд Нзеза-Ланду, основавший «Абако», намечал для нее другие пути? Про него рассказывали, что он был убежденным кибангистом, последовательным противником колонизаторов, и если объявлял, что «Аба-

ко» — организация, ставшая перед собой лишь культурно-просветительные цели, в частности «распространение и унификацию языка киконго», то это делалось, будто бы, только для виду. Тогда, в самом начале пятидесятых годов, легальное существование организации с более радикальной программой было бы действительно невозможным.

Но и теперь, к концу пятидесятых годов, лишь некоторые лидеры «Абако» объявляли себя сторонниками независимости, а другие разглагольствовали исключительно на религиозные или лингвистические темы. Они критиковали колониальную администрацию, но главным образом за то, что она мало способствует распространению за пределами Нижнего Конго языка киконго, «на котором говорил великий Симон Кибангу». Они критиковали даже Ватикан — за то, что там не хотят официально канонизировать «великого святого Симона». Но более всего они были недовольны самими конголезцами: и эволюэ, которые, дескать, «так офранцузились, что забывают родной язык», и простым народом, который «засоряет киконго словами из лингала и даже из суахили».

Вся эта псевдопатриотическая ерунда иногда смешила Патриса, но чаще сердила. Противоречивые чувства вызывал в нем и Жозеф Касавубу, уже несколько лет возглавлявший «Абако».

Вместе с другими, прогрессивными деятелями страны Касавубу выступал за независимость и всеобщие выборы. Но вскоре стало ясно, что будущее государство он представлял себе не целостным организмом, а лишь эфемерной федерацией, в которой Нижнее Конго должно было пользоваться какими-то особыми преимущественными правами. Патрис узнал, что и раньше Касавубу был не прочь польстить своим землякам заявлениями о том, что «баконго намного превосходят всех остальных коренных обитателей колонии».

При этом Касавубу удивлял необычной для политика пассивностью. Когда его упрекали в беспринципности — он не спорил, не пытался опровергнуть обвинения. Он просто замолкал на какое-то время, а через два-три меся-

ца снова выступал — так, как считал наиболее выгодным. Вообще при всех неблагоприятных обстоятельствах он замыкался, исчезал, как исчезает улитка в своей раковине. Недаром на гербе «Абако» были изображены меч и улитка. «Только плохой охотник бежит на зверя, — говорил Касавубу. — Опытный охотник подстерегает его в засаде».

Даже название «Абако» — «Альянс баконго» — свидетельствовало о местном, локальном характере организации. Будучи партией лишь одной из народностей Конго, «Абако» не могла бороться за национальные интересы всех конголезцев.

Нет, не о такой партии мечтал Патрис Лумумба!

В ту пору в Конго создавалось много различных альянсов, союзов, ассоциаций. Некоторые из них по духу были близки Патрису. Но и они ограничивали свою деятельность либо по племенному, либо по территориальному признаку. У балуба, живущих в Катанге, — один союз, у балуба Касаи — другой; в Экваториальной провинции один союз — у народа бангала, другой — у народа монго... А нужна была партия, объединяющая всех патриотов Конго, всех сторонников независимости — без различия провинций и племен.

Эту мысль Патрис настойчиво пропагандировал в «Ухуру». Правда, газета выходила еще не регулярно, с большими перерывами, но каждая статья в ней, каждая заметка били в одну цель, подготавливали сознание читателей к пониманию того, что только национальное единство, только общая борьба может привести к независимости. Эту же мысль Патрис неустанно повторял во всех своих выступлениях во время бесконечных разъездов по стране, она же красной нитью проходила через все его письма.

Каждое выступление множило ряды его друзей. Однажды Огюст, который теперь сопровождал его почти во всех поездках, сказал:

— Просто поразительно, как ты умеешь убеждать людей. Откуда такая сила в твоих словах? Если бы я верил в колдовство, я считал бы тебя колдуном.

Патрис хитро прищурился:

— Если мы с тобой сумели убедить безумцев, опьяненных кровью, одурманенных фанатизмом племенной вражды, так неужели же не убедим людей здравомыслящих? Все это очень просто, Огюст. Истина, о которой я говорю, уже созрела. Кое-где она уже вывела народы на дороги свободной жизни. Эта истина носится в воздухе, она — в сердцах моих слушателей. Они сами ждут, чтобы кто-нибудь сказал им о ней.

Это было и так, и не совсем так.

Потому отряды Стэнли и сумели некогда положить страну к ногам Леопольда, что, встречая сопротивление отдельных племен, они не встретили всеобщего отпора. Только по той же причине целые десятилетия народ страдал под иноземным гнетом. И поколение за поколением воспитывались в духе любви к одному лишь своему племени да в духе уважения (или, по крайней мере, уважительного страха) перед Бельгией. О первом заботились племенные вожди, о втором — миссионеры. И те и другие всячески препятствовали пробуждению чувства национальной общности. То, что говорил своим слушателям Патрис, для большинства из них было открытием.

Не было провинции, не было, пожалуй, ни одного сколько-нибудь значительного города в Конго, где Патрис Лумумба не имел бы друзей и единомышленников. Пришла пора организационно оформить движение. В октябре 1958 года возникла новая партия — НДК, Национальное движение Конго. В ее декларации ставились три основные задачи: создание независимого и целостного государства, сплочение всех племен и народностей Конго в единую нацию и солидарность с другими народами Африки.

Слову «партия» Патрис предпочел слово «движение», чтобы не закрывать дороги для присоединения возникшим раньше близким по направлению партиям. И он не ошибся: в НДК сразу же стали вступать целыми организациями.

В эти дни, разбирая корреспонденцию, Патрис как бы обнаруживал вехи всего своего пути: вот письмо от клуба эволюэ города Кинду, вот — от клуба

эволюэ Янгамбы. Целиком присоединилось к НДК Стэнливилльское отделение Ассоциации туземных чиновников. Вступали профсоюзные корпорации. А вот индивидуальное заявление: «Я слышал тебя, Лумумба, когда ты приезжал к нам в Киквит, и с тех пор готов следовать за тобой во всем. Запиши меня в НДК». Десятки таких писем — за одной или за несколькими подписями — приходили ежедневно.

Вступали и абаковцы. Некоторые из них не покидали при этом «Абако». Было ли это силой НДК или ее слабостью — о том пусть раздумывают историки. «Лидеры „Абако“ нарочно подсылают к нам своих людей», — говорил Огюст. «Ты полагаешь? — отзвучивался Патрис, поднимая голову от писем. — Неужели при всей своей осторожности они не понимают, что у нас этим людям понравится больше, чем в их ветхом Альянсе?»

На декабрь в Аккре — столице Ганы — была назначена первая конференция народов Африки. Патрис спросил Ролана:

— Как вы отнеслись бы, шеф, к выходу за пределы страны? Не попытаться ли вывозить «полар» в Гану?

— Отлично отнесся бы. А что? Вы хотите поехать в Аккру?

— Да.

— Езжайте. Только у вас там, наверно, не будет времени заниматься «поларом». Конференция народов Африки, да?

— Если вы имеете что-либо против, мсье Ролан... Я поищу тогда других путей для этой поездки. Вы дадите мне отпуск на время конференции?

— Я ведь уже сказал вам: езжайте. Ничего я не имею против.

Патрис возглавил конголезскую делегацию. Вместе с ним поехали Жозеф Нгалула — его товарищ по НДК и Гастон Диоми, состоявший одновременно и в НДК и в «Абако».

В сравнении с Леопольдвилем Аккра показалась Патрису небольшой и немного провинциальной. Но здесь уже никто не посмел бы обозвать негра «грязной макакой»! Здесь дышалось легко, как после первого дождя, возвещающего конец сезона сухого зноя.

В Аккре Патрис познакомился с ганским лидером Кваме Нкрума, за всеми выступлениями которого с восхищением следил уже в течение нескольких лет. Они долго беседовали в перерывах между заседаниями.

Первая конференция народов Африки сказала миру, что люди «черного континента» не хотят больше оставаться рабами колониальных держав. Что они полны решимости к борьбе. Что там, откуда колонизаторы не убесятся сами, их ждет гибель.

Патрис вернулся из Аккры окрыленный. 28 декабря в квартале Каламу — одном из беднейших кварталов Леопольдвилля — состоялся митинг, на котором он рассказал о конференции. Тысячи людей заполнили площадь — никогда прежде Патрису не приходилось выступать на таком огромном митинге. Да, пожалуй, и вся история Конго не знала еще подобных собраний. «После речи в Каламу, — писала позднее газета „Курье д'Африк“, — Лумумба уже не знал удержу. После речи в Каламу сладить с ним уже не было возможности».

— Через три дня, — говорил Патрис, — навсегда уйдет в прошлое 1958 год. Время не ждет, время властно стучится в каждую дверь, в каждое сердце. Оно решительно напоминает о том, что эпохе колониализма пришел конец. Оно стучится во дворцы и виллы колонизаторов и говорит: «Одумайтесь, пока не поздно! Освободите поработенную вами страну!» Оно стучится в хижину каждого конголезца и говорит: «Выходи на борьбу!» Еще несколько лет назад брюссельские газеты высмеивали, как безумца, одного почтенного профессора, который предлагал предоставить нам независимость, хотя его план был рассчитан на целое тридцатилетие; еще полгода назад Брюссель сместил одного весьма высокопоставленного чиновника за проект, по которому мы должны были получить независимость через пять лет. Но время не ждет! Теперь, господи колонизаторы, оно уже не оставляет вам ни тридцати лет, ни пяти. Мы громко провозглашаем — так громко, чтобы наше требование услышали в Брюсселе: «Независимость — немедленно!»

Площадь подхватила этот клич. Тысячи голосов гремели: «Независимость — немедленно!»

— Мы не хотим войны. Но независимость, которой мы требуем во имя сохранения мира в нашей стране, бельгийцы не должны рассматривать как свой подарок. Речь идет о нашем праве, о праве, которого некогда они лишили конголезский народ и которое должны теперь возвратить. Наша цель — объединить и организовать массы конголезцев для борьбы против колониального режима, против эксплуатации человека человеком. Во имя этой цели мы провозглашаем: «Независимость — немедленно!»

И снова, подхваченные тысячами голосов, эти слова, словно морские волны, стали перекатываться из края в край площади.

— Пусть мысль о независимости никогда не покидает вас! Думайте о ней, когда работаете и когда молитесь. Повесьте табличку с этим священным словом на стене своей хижины. Если ты сапожник — на стене своей мастерской, если булочник — на стене булочной. Если ты шофер такси — повесь такую табличку в своей машине. Если ты влюблен — говори со своей возлюбленной о том, как счастливы будете вы и ваши дети в свободном и независимом Конго!

Подняв руку, Патрис остановил вспыхнувшие аплодисменты и — сначала на киконго, потом по-французски — воскликнул:

— Да здравствует независимость!

— Да здравствует независимость! — откликнулась площадь. — *Indépendance! Эндепенданс! Депенда! Долей колонизаторов! Эндепенданс! Эндепенданс! Де-пен-да! Де-пен-да! Де-пен-да!*

Радостно улыбаясь, потрясая высоко поднятыми над головой сжатыми кулаками, Патрис скандировал вместе со всеми:

— Де-пен-да! Де-пен-да!

«Абаковцы и тут, наверно, были бы недовольны, — думал он, возвращаясь с митинга. — Сказали бы, что и слова такого нет на языке киконго, что не следует искажать французское „эндепенданс“... Да, на языках банту не

было слова „депенда”. Но теперь оно есть у нас, и никто уже не сможет его вычеркнуть! Ни вычеркнуть, ни отнять, ни заглушить!..»

* * *

Митинг в Каламу был прологом к январским событиям 1959 года. Весть о нем в тот же вечер распространилась по всему Леопольдвилю. Она проникла и в самые бедные хижины Бельжа, и в самые богатые пригородные виллы, скрытые зеленью от посторонних взоров. На следующий день о выступлении Лумумбы говорили и в цехах фабрик и в конторах банков.

Магазины бойко вели предпраздничную торговлю. 30-го числа, в середине дня, в продаже появились пестрые рубашки-расписухи, на которых разными шрифтами, крупно и мелко, в различных направлениях и различными красками было напечатано: «Независимость—немедленно!» Неизвестно — был ли владелец фабрики принципиальным сторонником независимости, или его единственным принципом была прибыль... Но рубашки эти раскупались нарасхват. Многие юноши и девушки Бельжа встречали в них Новый год.

На 4 января был назначен второй митинг. На этот раз было решено провести его в «белой» части города.

Уже с двух часов ночи Патрис не мог спать. Обычно он не готовил заранее своих выступлений, но теперь мысли переполняли его, сами облекались в нужные слова... Он встал, решив написать пока что статью для «Ухуру».

«Бельгийские колонизаторы,—писал он,—все еще пытаются скрывать правду от всего мира. Они еще пытаются изображать Конго как идиллическую колонию, где царят гармония и спокойствие. На Всемирной брюссельской выставке они показывали наших сограждан среди павильонов и декораций „образцовой конголезской деревни”. По убогой идее устроителей, эта деревня должна была выглядеть как „райский уголок” зоосада, потому что сытые посетители бросали нашим согражданам бананы, словно обезьянам... Пора разоблачить все лицемерие, всю фальшь глупых сказочек о

неграх, которые вполне, будто бы, довольны тем, что их поработили. Вся Африка—от Алжира до Кении, от Мадагаскара до Анголы—поднимается на борьбу против колониализма. Своими митингами протеста, своими манифестациями и забастовками, всем своим национальным движением мы покажем миру, что время колонизаторов давно истекло, что нет и не может быть колоний, в которых царят гармония и спокойствие. И что менее всего можно выдавать за подобную колонию Конго!»

Около десяти часов утра Патрис вышел, чтобы отправить статью, и встретил Огюста, который сообщил, что митинг запрещен.

— Генерал Янсенс стягивает в Лео войска,—сказал Огюст.—Я сам видел солдат, прибывших сегодня утром из Тисвиля.

Но к назначенному часу люди собирались во всех концах города, строились в колонны и направлялись к центру. Многие не знали о запрещении митинга, но, когда узнавали, их решимость становилась еще непреклоннее.

Патрис шел с одной из колонн и пел вместе со всеми. Чей-то высокий голос запевал на киконго старинную песню, сложенную, наверно, еще в те времена, когда по стране рыскали отряды Стэнли:

Чужеземцы, зачем вы пришли сюда?

Зачем вы пришли сюда?

Все равно мы не склоним голов перед вами,

Мы не склоним голов перед вами!

Вы жадны, чужеземцы,

Вы сильны, чужеземцы,—

Все равно вам несдобровать.

Все равно вам несдобровать.

В начале авеню Принцессы Мари колонне преградила дорогу двойная цепь вооруженных полицейских.

— Пропустите нас,—кричали идущие.—Пропустите, чего вы испугались? Ведь мы без оружия! Пропустите, идемте с нами!

— Мсье офицер,—обратился Патрис к бельгийскому сержанту,—вы сами видите, что мы безоружны. Это—мирная манифестация. Мы идем к месту митинга.

— Митинг запрещен.

Но тысячи людей напирали сзади, не понимая, почему остановилась голова колонны. Под этим напором пе-

редние смяли полицейскую цепь и — уже бегом — двинулись дальше.

Только теперь Патрис заметил, что через квартал улицу перегородил еще один полицейский отряд. Увидев, что первая цепь смята и конголезцы бегут вперед, офицер выхватил пистолет.

Раздался залп. На какую-то долю секунды толпа оцепенела. Мелькнула мысль, что полицейские стреляли в воздух. Но вот — упавшие, кровь... Раздался второй залп, люди бросились во двory, в переулки.

— Сюда! — крикнул Патрис, устремляясь в какой-то двор.

Там он осмотрелся. С ним было около десяти демонстрантов, жавшихся к невысокой ограде, за которой зеленел сад. «Сюда», — повторил Патрис, перемахнул через ограду, ушиб обо что-то колено и побежал, прихрамывая, по аллее. Остальные бежали вслед за ним.

В глубине сада стоял одноэтажный дом на высоком фундаменте. Они обогнули его, стараясь держаться поближе к стене, чтобы не быть замеченными из окон, и увидели ворота, выходившие на улицу, параллельную авеню Принцессы Мари. Патрис взглянул в калитку. По улице, правда, еще довольно далеко, шел патруль.

Патрис указал своим спутникам на приткрытую дверь гаража, расположенного под домом, зашел в гараж последним и притворил за собой слегка скрипнувшую дверь.

Здесь стояли две машины — легковая и грузовичок с закрытым кузовом. На кузове была довольно натурально намалевана смазливая девица в короткой рубашонке, натягивающая прозрачный чулок. Вокруг девицы вилась надпись: «Дамский конфекцион Жаклин Гаро». Две лопаты, топор и несколько кольев, стоявшие в углу, сразу же оказались в руках ребят, пришедших с Патрисом.

На крыльце появился молодой мулат в высокой форменной фуражке, на околыше которой тоже было написано: «Жаклин Гаро». Как название парохода на бескозырке матроса. Мулат постоял минутку на крыльце, что-то напевая, а затем решительно направился в гараж — Патрис едва успел отпрянуть от дверей.

Продолжая напевать, не глядя по углам полутемного гаража, парень прошел к грузовичку, открыл капот и склонился над мотором. Песенка его была очень странной: слова плохо ложились на музыку, из-за этого мелодия все время искажалась — как бы растягивалась или прерывалась; да и сами слова то вроде бы менялись местами, то повторялись или укорачивались, то произносились с неправильным ударением, а то и вовсе заменялись бессмысленным татаканьем. Вслушавшись, Патрис разобрал:

— Я вас увидел в окно, та-та, в окно увидел, но вы не бойтесь, братья, можете не бояться. Я не мог пойти на де... та-та — на демонстрацию, но я вас не выдам, братья, та-та, я не доносчик... Когда вы бежали по са, по саду вы бежали, я сразу понял, в чем тут... та-та-та, в чем тут дело...

— Послушай, Жаклин Гаро, — вполголоса окликнул его один из спутников Патриса.

— Меня зовут Гастоном, — беззлобно ответил парень.

— Ну, а сама Жаклин нас не видела?

— Она давно померла, это только название магазина. А хозяйка — ее дочка с мужем — сегодня уехали в Бразавиль. Наверху — одна кухарка да ребенок.

Но в это время Патрис, не отрывавшийся от щелки в двери гаража, предостерегающе поднял руку. Как раз против калитки солдаты, заметив в конце улицы какую-то цель, по команде своего офицера подняли автоматы. Офицер стал торопливо растегивать кобуру. И вдруг кто-то закричал:

— Сумасшедшие! Кто вам дал право стрелять в безоружных людей?!

Прямо перед офицером неожиданно появился полный, хорошо одетый бельгиец. Он стоял к Патрису спиной, лица почти не было видно — только часть щеки, раскрасневшейся от гнева.

Офицер, совершенно обескураженный, проговорил:

— Так ведь это негры, мсье... Демонстранты... Приказ...

Ничего не ответив, полный бельгиец пригладил светлые усы, махнул рукой, поправил висевший у него на боку

фотоаппарат, съехавший вперед, и пошел прочь. Офицеру удалось наконец расстегнуть кобуру. Снова овладев собой, он громко произнес вслед удалявшемуся:

— Какой-то ненормальный, честное слово. Вот это действительно сумасшедший!

Но цель, видимо, уже исчезла за это время. Патруль торопливо зашагал дальше по улице.

Патрису очень хотелось догнать полного бельгийца и от души поблагодарить его. Но сейчас надо было думать о другом.

— Скажи, Гастон, — обратился он к парню в форменной фуражке, — ты сегодня не собирался выезжать из гаража?

— Нет.

— Ты работаешь на этом фургоне? Парень кивнул не без гордости.

— А может быть, ты все-таки сделаешь один рейс? Это очень нужно!

— Куда это я вдруг поеду?

Парень насторожился, дружелюбная улыбка исчезла с его лица.

— Давай познакомимся, Гастон, — сказал Патрис. — Мое имя — Лумумба. Может быть, ты...

— О, брат Лумумба! — воскликнул Гастон и обеими руками затряс протянутую руку. — Брат Лумумба! Конечно, я слыхал! Куда я должен поехать, брат Лумумба?

Видимо, ему доставляло удовольствие без конца повторять это имя.

— Моим товарищам грозит опасность. Ты сам это понимаешь. Надо отвезти их в Бельж.

— Я сделаю это, брат Лумумба. Не беспокойся! Не беспокойтесь, ребята, я развезу вас всех по домам. Дамский конфекцион — никому и в голову не придет, что в этом фургоне едут демонстранты! Все будет в порядке.

* * *

В тот же день начались аресты, были брошены в тюрьму многие лидеры «Абако», НДК и других конголезских партий. Патрису пришлось скрываться. Ночь с 4 на 5 января он провел у друзей, но днем стало известно, что оставаться у них небезопасно, надо было менять пристанище. Побрившись, сняв очки и нарядившись в фор-

му рассыльного, Патрис шел по переулку, когда шагах в тридцати впереди себя увидел полного, хорошо одетого бельгийца — того самого, вчерашнего. Та же неторопливая походка, та же легкая серая куртка и серовато-голубые шорты, тот же ярко-оранжевый кожаный футляр фотоаппарата. Патрис ускорил шаги. Почти поравнявшись с бельгийцем, заглянул сбоку. Небольшие светлые усы. Да, сомнений не могло быть, это он. У Патриса было такое ощущение, будто не вчера он впервые увидел этого человека, а знает его уже много лет.

— Спасибо, мсье, — негромко сказал Патрис. — Вчера я был случайным свидетелем вашего благородного поступка.

Тот не обернулся, не вздрогнул. Но он слышал — не зря же он еще больше замедлил шаги.

— Благодарю вас от всей души, — повторил Патрис. — Вы спасаете честь бельгийской нации, опозорившей себя вчерашним расстрелом.

Все еще не останавливаясь, этот человек сказал:

— Надеюсь, Патрис, ты не предполагал, что вся бельгийская нация состоит из таких мерзавцев, как генерал Янсенс?

— Роже? Господи! Роже, неужели это действительно ты?

— Вот мы и пришли, я живу в этом доме, — сказал Роже.

Он спокойно огляделся по сторонам. Тихий переулок был пуст.

— Зайдем ко мне, Патрис.

В комнате он закрыл окна, затянутые густой сеткой, включил вентилятор и лишь тогда опустился в кресло против Патриса.

— Так что — я очень растолстел за эти годы?

— Да, порядочно. Но теперь я и сам удивляюсь, как мог не узнать тебя сразу же.

— А ты по-прежнему тонок и строен, как бамбук. Сколько тебе теперь?

— Тридцать три.

— А мне ведь уже под сорок... Мне, видишь ли, еще и потому легче было узнать тебя, что на днях я слушал тебя в Каламу.

— Ты был там? Так ты уже давно

в Лео? Почему же ты раньше не объявился?

— Нет, в Лео я сравнительно недавно. А почему я к тебе не зашел, я и сам толком не знаю. Ты так занят теперь, так поглощен работой. И потом... Мне, наверное, хотелось сначала поглядеть на тебя со стороны. Ты ведь стал знаменитостью — вождем, почти пророком.

— Нет уж, оставь эти слова для Касаубу. Я обойдусь чем-нибудь попроще. Ты по-прежнему служишь на почте?

— Почту я оставил уже давно...

Роже помолчал, потом, улыбнувшись, спросил:

— Помнишь Элен?

— Дочку старого Гризара? Конечно, помню! И Элен, и ее обезьянку Диндики.

— Она ведь была в тебя влюблена.

— Диндики?

— Не Диндики, а ее хозяйка! Дочка старого Гризара, если ты помнишь ее только в этом качестве!

— Что ты выдумываешь, Роже?

— Ничего я не выдумываю. Это и я знал, и Гризар. Только ты, разумеется, ничего не замечал.

— Они тогда собирались в Киву. Я недавно был в Киву, пытался их разыскать...

— Нет, они почти сразу уехали в Бельгию. Элен стала моей женой. У нас двухлетний сын. Жак.

— Ровесник моей Жюлиан.

— У Полин появилась и Жюлиан?

— Да. А недавно — еще и Ролан.

— О! Поздравляю тебя, Патрис.

— Спасибо. Но ты так и не сказал мне, чем ты теперь занимаешься. Может быть, коммерция?

— Нет, Патрис, я пошел по твоим стопам. Я стал журналистом.

— Вот как! А где твои бабочки?

— Бабочек я подарил лицу, в котором когда-то учился.

— Вместе с уникальным бражником?

— Да. Там и кроме него есть несколько экземпляров, каких даже в Королевском музее не увидишь.

— От какой же газеты ты приехал?

Роже внимательно посмотрел на Патриса своими умными и веселыми

глазами, встал с кресла и зашагал по комнате.

— Видишь ли, Патрис, когда я сказал, что пошел по твоим стопам, это не было пустой фразой. Именно дружба с тобой помогла мне понять, что в мире есть вещи... Как бы это сказать?.. Вещи не менее, скажем, важные, чем энтомология. Вернувшись вслед за Гризарами в Бельгию, я занялся журналистикой, окунулся в политическую жизнь страны. Но я... — Он снова внимательно посмотрел прямо в глаза Патриса. — Я пошел несколько левее своего учителя. Я приехал сюда от «Драпо руж».

— Ты стал коммунистом, Роже?

— Да. Но прошу тебя помнить, что официально... «для белых ушей» — так вы, кажется, говорите? — для них я представляю здесь какую-то французскую газету. Дело в том, что бельгийское правительство не пускает сюда корреспондентов «Драпо руж». Приходится посылать корреспондентов через Париж. Печатаются они, разумеется, под различными псевдонимами.

— Последние дни приносят мне много неожиданностей, — задумчиво произнес Патрис. — Ты ведь знаешь, Роже, что, вопреки утверждениям правых газет, я очень далек от коммунизма.

— Знаю. Тем приятнее мне было услышать в Каламу, как ты призывал к борьбе против эксплуатации человека человеком.

— Разве только коммунисты ставят перед собой такую задачу?

— Нет. Но только они действительно осуществляют ее.

— Не будем спорить, Роже. По крайней мере, сегодня. Я так рад нашей встрече! К тому же... Когда стреляют солдаты генерала Янсенса, разница между коммунизмом и африканским национализмом становится несколько меньшей, чем обычно.

— А что, собственно, ты называешь африканским национализмом?

— Нет, нет, Роже, не сейчас. Мы ведь условились не спорить сегодня. Иначе тебе пришлось бы выслушать все то, что я собирался сказать вчера на митинге.

— Я был бы рад.

— В другой раз. Лучше расскажи мне об Элен, о Гризаре. Три года назад я был в Брюсселе — вы уже жили там в это время?

Роже не отпускал Патриса до наступления сумерек. Когда Патрис решительно взялся за кепи, он спросил:

— Может быть, все-таки заночуешь у меня? Здесь вполне спокойно.

— Нет, спасибо, вечером я еще должен встретиться кое с кем из друзей. Меня будут ждать.

— Дела?

— Да, Роже. Горячая пора!

Роже вышел проводить его.

Они прошли вместе несколько кварталов — до границ Бельжа. Ни один человек не встретился им по пути. Город как будто замер.

— Какое удивительное затишье! — сказал Роже.

— Так всегда бывает перед грозой.

— Думаешь, разразится?

Патрис не ответил. Почти одновременно они заметили в небе отсветы далекого зарева.

— Что это? — спросил Роже, оставиваясь. — Пожар?

— Да, наверно, пожар где-то.

— Будь осторожен, — сказал Роже на прощанье. — Они могут схватить тебя.

— Не беспокойся. Я постараюсь не попадаться.

* * *

Еще никогда колонизаторы не чувствовали себя в Леопольдвиле так неуверенно, как в эти январские дни. Конголезское население города на расстрел своих мирных колонн ответило восстанием. Были захвачены и разгромлены полицейские участки. Заполыхали пожары — восставшие поджигали все магазины, на которых красовалась надпись: «Только для белых».

Был введен комендантский час: с наступлением темноты появление на улице запрещалось. Но власти уже были бессильны добиться выполнения своих приказов. Всю ночь конголезцы с песнями ходили по улицам, останавливаясь на перекрестках и провозглашая: «Де-пен-да! Де-пен-да!» Это слово не нуждалось в переводе, все уже знали его значение. Тем более, что время от времени конголезцы вы-

крикивали: «Долой колонизаторов! Фламани, убирайтесь домой!»

Это не было уже действиями одной какой-либо партии — ни «Абако», ни даже НДК. Это поднялся сам Бельж, сам народ. Стихийные выступления рабочих, служащих, ремесленников — всего черного населения Леопольдвилля — и впрямь казались бельгийским колонизаторам чем-то вроде извержения вулкана Нирагонго.

Забастовка охватила все предприятия, заводы и фабрики не работали. На второй день остановилась и электростанция — по ночам все погружалось в полнейший мрак, будто это были джунгли, а не большой город. Газеты не выходили. В порт один за другим приходили сверху пароходы и оставались неразгруженными.

Только на третий день, когда с военных баз Китона и Камина прибыли вызванные генералом Янсенсом отряды парашютистов, восстание пошло на убыль. Пьяные «пара́» носились по Бельжу на джипах, строча автоматными очередями по замолкшим хижинам. Кое-где еще возникали кратковременные стычки, но теперь сила была на стороне колонизаторов. К вечеру стрельба почти стихла, изредка раздавались только одиночные выстрелы. Начались облавы, обыски, аресты. Арестовывали по самому простому признаку: в первую очередь — всех раненых.

На территории Брюссельской выставки еще не были разобраны павильоны идиллической конголезской деревни, а в печать уже проникли сообщения о восстании и жестоком подавлении его. Правда, большинство газет пыталось изобразить восстание в главном городе колонии всего лишь как «беспорядки», но на этот раз масштаб событий был слишком велик, чтобы можно было скрыть их.

Хорошо понимая, что действиями парашютистов еще можно иной раз подавить восстание, но уже нельзя обеспечить «спокойную» эксплуатацию колонии, 13 января король опубликовал декларацию, в которой заверял народ Конго, что изживший себя колониальный режим будет ликвидирован и стране будет предоставлена независимость.

Королевскую декларацию в добродорядочном монархическом государстве и в колониях его полагается встречать ликованием. Так ее, разумеется, и встречали. Но как различны были подлинные чувства и намерения тех, кто выражал ликование по поводу этой декларации!

Для конголезских патриотов она была долгожданным обещанием, вырванным длительной борьбой, ценою тяжелых жертв, но зато внушавшим самые радужные надежды. Для бельгийских «ультра» она, хоть и содержала несколько неприятных формулировок, представлялась — благо никакие сроки не были в ней указаны — удобным покровом, под которым можно было пока что продолжать ограбление колонии.

Колонизаторов более дальновидных такое «пока что» не устраивало. Ставку на колониальный режим старого образца они считали битой, но при этом вовсе не собирались отказываться от эксплуатации Конго. Декларацию они приняли как своевременный сигнал о том, что надо менять тактику. Рано или поздно, рассуждали они, некоторую видимость государственной независимости конголезцам придется дать. Такие уж теперь времена, без этого и вовсе не удержаться. Важно другое — сохранить свои позиции в экономике Конго. Американцы вон и вовсе как будто не имеют колоний, а стригут своих суверенных овец почше, чем это делал сам Леопольд! Значит, надо позаботиться о том, чтоб суверенитет попал в распоряжение достаточно смиренных овец, надо прежде всего подготовить в Конго своих людей.

Обстановка благоприятствовала этому. После январских событий и королевской декларации политические партии в Конго стали расти еще быстрее прежнего. За полугодие численность НДК утроилась, но одновременно по всей стране возникло множество новых партий. Одни из них примыкали к НДК, другие выступали совсем с иных позиций, хотя лозунгами независимости клялись теперь все — даже те, чья пробельгийская ориентация была почти неприкрытой.

Такой была, к примеру, «Партия

прогресса нации» — ППН. Лидеры ППН Жан Болиа и Альбер Дельво заявляли, что бельгийские офицеры должны будут остаться на своих постах в армии и в полиции. «И в независимом Конго, — распылился полный холуйского усердия Дельво, — на капитанском мостике пароходов, бороздящих волны нашей великой реки, должны будут находиться бельгийские капитаны, если только мы не хотим кораблекрушения». ППН настаивала на сохранении чужеземных военных баз в Китоне и в Камине и даже на том, чтобы в дипломатических отношениях с другими государствами суверенное Конго представляла «его старшая сестра и союзница Бельгия». Недаром в «Ухуру» название ППН иронически расшифровывалось как «Партия продавшихся негров».

Немалым стимулом для вступления в ППН служило то обстоятельство, что пребывание в этой партии было с точки зрения бельгийской администрации свидетельством полной политической благонадежности.

Но подкоп шел не только в одном направлении. Колонизаторы понимали, что столь откровенно лакейская программа не может претендовать на особую популярность в народе. Широко используя особенности организационной структуры НДК, они засылали «надежных» людей в самый центр освободительной борьбы. Колонизаторы внимательно присматривались и к руководящим деятелям НДК: может, кого-нибудь из них удастся прибрать к рукам? Тут дело уже было не в программе, тут агентам «Сосьете генераль» дозволялась самая яростная антиколониаторская фразеология, лишь бы она сочеталась с нападками на Патриса Лумумбу, с подрывом единства среди его сторонников.

Патрис был поглощен в эти месяцы борьбой за то, чтобы декларация Бодуэна действительно претворялась в жизнь, чтобы предстоящую независимость не погубили еще до рождения хитроумными ограничениями. В конце января он проводит энергичную кампанию за прекращение репрессий по отношению к участникам леопольдовильского восстания. В феврале он со-

ставляет «Меморандум независимости» и, посетив во главе делегации НДК ван Хемельрийка — нового министра по делам Конго, — вручает ему этот документ. Одновременно — в печати и в устных выступлениях — он широко пропагандирует требования меморандума: прекратить преследования активистов национально-освободительного движения; прекратить расовую дискриминацию; отменить подушный налог; гарантировать конголезцам равную оплату за равный с белыми труд; обеспечить демократические свободы; отвергнуть сфабрикованный в министерстве проект, по которому в будущий парламент включались «провинциальные советники», назначенные колониальной администрацией; без проволочек назначить точные даты выборов, созыва парламента и провозглашения независимости...

В марте Патрису удалось провести конференцию НДК провинции Леопольдвилль, считавшейся до этого штаб-квартирой «Абако» и ППН. В Бельже стало работать провинциальное бюро НДК.

В начале апреля Патрис посетил Нигерию и Гвинею, закрепляя связи, установленные еще в Аккре, участвовал в работе постоянного секретариата Конференции народов Африки.

Середина апреля застает его в Бельгии. Он выступает с лекциями перед студентами Брюссельского и Льежского университетов, знакомит их с позициями своей партии, выражает надежду на тесное сотрудничество Конго с лучшей частью бельгийского народа — «прогрессивной, чуждой расизму и колонизаторскому корыстолюбию». Журналисты брали у него интервью и отмечали в газетах его «умный, живой взгляд, быструю, убежденную речь и неистощимое остроумие, с которым он парирует самые каверзные вопросы».

А в конце апреля он уже снова в Конго, участвует в работе межпартийного съезда в Лулуабурге, выдерживает бой со сторонниками безбрежной автономии, отстаивает идею целостности будущего конголезского государства. Автономистов, мечтающих не о сильном, централизованном государстве, а о самостоятельных провинциях, лишь номинально объединенных

в федерацию, возглавляет Касабубу. Его поддерживает и Альбер Калонжи — член Центрального Комитета НДК.

Для Касабубу федерализм был ступенькой к возвеличению Нижнего Конго, которому он всегда придавал первенствующую роль. Нижнее Конго — разумеется, во главе с ним, Жозефом Касабубу! — должно было, по его планам, постепенно подмять соседние территории и превратиться в «государство Баконго»... Калонжи полагал, что федерализм создаст удобную обстановку для полного отложения богатого алмазами Южного Касаи, где — почему бы и нет? — он согласится стать президентом. Ни тот, ни другой, конечно, не формулировали свои планы столь определенно. С трибуны съезда они больше напирали на «традиции, сложившиеся веками», на то, что «народы Конго никогда не смогут принять государственную организацию, игнорирующую племенную структуру страны».

И все же Патрису и его сторонникам удалось разоблачить реакционную сущность федерализма, удалось внедрить в сознание делегатов ту истину, что только сильное своим единством государство сумеет завоевать подлинную независимость и отстоять ее от всех притязаний.

Выступление Калонжи в Лулуабурге было первым серьезным проявлением разногласий внутри НДК.

Вскоре нападки на Патриса со стороны некоторых членов Центрального Комитета НДК заметно усилились. Более того — они приняли подозрительно организованный характер. Патриса обвиняли и в «излишнем радикализме», и в «связях с левыми элементами panaфриканского движения», и в «неправильной ориентации профсоюзов на политическую деятельность», и в «недопустимой резкости, осложнившей переговоры с министром ван Хемельрийком», и даже в «поисках популярности среди социальных низов».

Не чувствуя себя в силах сместить Патриса Лумумбу с поста председателя партии, понимая, что ЦК никогда не пойдет на это, Калонжи предпринял обходный маневр. Поддержанный Илео и Нендакой, он предложил со-

всем ликвидировать должность председателя.

Скорее всего предложение противников Лумумбы при голосовании провалилось бы. Но до голосования дело не дошло: вмешались рядовые члены НДК, люди из тех самых «социальных низов», любовь которых к Лумумбе так раздражала всех его противников. Десятки участников движения окружали дом, в котором происходило заседание, — так было заведено, это служило и охраной ЦК и средством его оперативной связи со всеми организациями. Вначале люди терпеливо ждали решений. Одни мирно беседовали, сидя прямо на земле; другие, примостившись у плоского камня, играли в конголезские шашки. Но когда на улице стало известно о предложении Калонжи, в окна полетели комья засохшей грязи, послышались возгласы протеста.

Подобрав с пола один из влетевших в окно комьев, Морис Мполо крикнул Калонжи:

— Вот ответ на всю вашу клевету! Другого ответа вы не заслужили!

Калонжи скорчил презрительную гримасу, развел руками и снял свое предложение. Двое членов ЦК вышли на улицу и под радостные крики общили ожидавшим, что Патрис Лумумба остается во главе партии.

Потерпев несколько неудач подобного рода, Калонжи пошел на раскол движения. С тех пор в стране существовали два НДК: «НДК-Лумумба» и «НДК-Калонжи».

— Нас может только радовать, — говорил Патрис на очередном заседании ЦК, — что партия очистилась таким образом от нескольких сынков племенных вождей, от нескольких десятков торгашей и чиновников, мечтающих о служебной карьере. Эти люди не столько ненавидят колонизаторов, сколько завидуют им. В их представлении разница между старым и новым Конго должна быть не столь уж велика. Если до сих пор народ грабят одни только белые, то в дальнейшем калонжисты хотели бы принимать в этом ограблении активное участие. Вот и вся разница. Мы же преследуем совсем иные цели. Мы добиваемся того,

чтобы грабеж был наконец прекращен!

К октябрю напряжение в стране снова стало возрастать. Обещания, содержащиеся в королевской декларации, потонули в министерских докладах, парламентских дебатах, в бесконечных заседаниях всевозможных комиссий и «рабочих групп». Опять сменился министр по делам Конго: вместо Хемельрийка, который, по крайней мере, часто бывал в колонии, на этом посту находился теперь де Скрейвер, отсиживавшийся в Брюсселе. О нем говорили как о прямом ставленнике «Сосьете женераль». Создавалось впечатление, что вопрос о независимости собираются снова отложить в долгий ящик. Колонизаторы, ободренные оттяжками, по-прежнему хозяйничали в Конго. Акции колониальных компаний, упавшие в цене после январских событий, снова стали набирать высоту.

Не удивительно, что конголезцы сочли необходимым напомнить Бельгии о ее обещаниях. По стране снова прокатилась волна забастовок. В Китоне, на строительстве аэродрома военной базы, против забастовщиков применили гранаты: несколько человек было убито, свыше двухсот — ранено.

В конце октября в Стэнливиле, в африканской общине Мангобо, собрался съезд НДК. Съехавшиеся в Стэнливиле журналисты попросили Патриса провести пресс-конференцию. В перерыве, вместе с несколькими членами ЦК, он пришел к ним в длинный и узенький зал бара «Кигома».

— Спрашивайте, — сказал он. — Я не принес никакого общего заявления, но на все ваши вопросы постараюсь ответить.

Из-за столика, занятого американскими корреспондентами, поднялся рыжебородый молодой человек. Чуть заикаясь и с трудом подбирая французские слова, он спросил:

— Нас интересовало бы, мсье Лумумба... Как вы... Я имею в виду вашу партию... Как вы относитесь к белым?

Его сосед по столику, дюжий, видимо, немного выпивший верзила негромко, но внятно произнес:

— Он хотел спросить — «к рыжим».

Все рассмеялись. Патрис тоже не смог сдержать улыбку.

— Наше движение, — сказал он, — это движение черных, но оно вовсе не является «антибелым». Среди бельгийцев есть немало честных людей, которые активно поддерживают справедливые требования африканцев. — Патрис взглянул на Роже, сидевшего рядом с двумя французскими журналистами, и продолжал: — Мне хочется думать, что по крайней мере большинство из тех, кто присутствует сейчас в этом зале, тоже будет поддерживать нас. Враг наш — это колонизатор, а вовсе не каждый белый человек. И, следовательно, лучшая гарантия добрых отношений — гарантия, получение которой целиком зависит от самих белых — это немедленно покончить с колониальным режимом.

— Утреннее радио, — сказал, не вставая, корреспондент брюссельской «Суар», — передавало сегодня, что на январь назначена Конференция круглого стола. Она определит окончательный срок предоставления независимости Бельгийскому Конго.

— Да, — сказал Патрис, — мне говорили уже об этом сообщении. Мы рады, что вопрос сдвигается, как будто, с мертвой точки. Хотя, признаться, мне лично не совсем понятно, почему Конференцию круглого стола нужно было приурочить к годовщине январских расстрелов. Если уж эта дата столь памятна Брюсселю, лучше было бы провести конференцию сейчас — скажем, в ноябре, — с тем чтобы к январю приурочить само освобождение.

— Не считаете ли вы, что для такого дела необходима все же серьезная подготовка?

— Несомненно. Однако... Я не знаю, приходилось ли кому-нибудь из вас сидеть в тюрьме. Надеюсь, что нет. А я это испытал. И могу вас заверить, что заключенному тяжко каждый день, что он считает даже часы, оставшиеся до освобождения. Колония — это тюрьма для целого народа. Так не требуйте ж от конголезцев подвигов долготерпения! Мы и так терпели слишком долго... Сегодня, выступая на утреннем заседании нашего съезда, мой друг Морис Мполо привел одно печальное свидетельство...

Мполо вынул из портфеля толстую

книгу, раскрыл ее на заложенном месте и подал Патрису.

— Вот это свидетельство, — продолжал Патрис. — Эта книга написана двумя чешскими путешественниками. Около озера Киву им повстречалась группа конголезцев с поклажей. Едва завидя машину, носильщики сняли груз с голов, опустили на колени и склонились до самой земли. «В такой униженной рабской позе, — прочел Патрис, — они оставались, пока машина не проехала... Такой случай произошел с нами в первый и в последний раз за все время путешествия по Африке. И это произошло именно здесь, в Бельгийском Конго, в стране, хозяева которой намеренно культивируют рабскую покорность населения, чтобы легче было его эксплуатировать».

Патрис закрыл книгу и вернул ее Мполо.

— Нам горько читать такие строки. Но авторы этой книги были в Конго пять лет назад. Я полагаю, что, если бы они посетили нашу страну сейчас, они увидели бы нечто совсем другое, могли бы засвидетельствовать, что с рабской покорностью уже покончено. И немалую долю «ответственности» за эту перемену с гордостью готова взять на себя наша партия.

Патрис внимательно посмотрел на корреспондента «Суар»:

— Я немного отвлекся? Вы спрашивали, наверно, о других аспектах подготовки? Но в том-то и дело, что месяц проходит за месяцем, а бельгийское правительство готовится не столько к предоставлению независимости, сколько к тому, чтоб заранее свести ее на нет. Мы требуем ликвидации колониализма, а в Брюсселе готовятся заменить его неоколониализмом. Пусть же вас не удивляет, что мы не считаем нужным тратить время на подобную подготовку.

— Что вы называете этим мудреным словом?

— Неоколониализмом? Грубо говоря, предоставление номинальной политической независимости при сохранении экономического порабощения. Собственно, этот «новый» колониализм не столь уж нов. Если помните, при Леопольде Втором наша страна номинально не была зависима от

Бельгии. Нет, она называлась — «Свободное государство Конго». Только король у этого «свободного государства» был бельгийский. Теперь методы маскировки усовершенствованы. Теперь колонизаторы рассчитывают передать власть своей «пятой колонне»: самым реакционным из племенных вождей, переименованным в сенаторов, и политическим хамелеонам, назначенным министрами. Мы прямо заявляем: Конго на это не пойдет.

— Раз вы коснулись экономики, — поднялся верзила, — скажите, как вы относитесь к иностранным капиталовложениям?

— Они будут нам очень нужны — отсюда самое благоприятное отношение к ним. Приведу лишь один пример. Конго не имеет себе равных по ресурсам гидроэнергии. Наш гидроэнергетический потенциал — свыше ста миллионов киловатт, тогда как общая мощность всех рек земного шара — около пятисот миллионов киловатт. Как видите, более двадцати процентов мирового потенциала — этим не обладают даже Соединенные Штаты с их Ниагарой и могучей Миссисипи. Но Бельгия предпочитала не вкладывать деньги в строительство гидроэлектростанций. Зачем ей столько гидроэнергии, когда есть дешевой труд колониальных рабов? Конголезское государство будет иначе решать эти вопросы, и ему нужны будут значительные вложения.

— А вы не будете рассматривать это как «проникновение иностранного капитала»? Как новую форму колониализма?

— Нет. Капитал будет проникать под контролем нашего государства и направляться в те отрасли, которые особенно нуждаются в этом. Мы не собираемся стеснять предпринимательскую деятельность. Но мы будем стремиться к справедливому распределению доходов между всеми слоями населения. Трудящиеся не должны быть лишены своей доли доходов от собственного труда.

Поднялся Роже:

— Вы и ваши друзья, мсье Лумумба, называете себя националистами. Не можете ли вы несколько подробнее охарактеризовать свою позицию в этом вопросе?

— С готовностью. Тем более что африканский национализм ничем, кроме названия, не схож с европейским. У вас нации давно сложились, и национализм чаще всего носит характер реакционный; у нас нации еще только складываются, и национализм носит прогрессивный характер. Его главная идея — борьба с племенной разобщенностью; если мы не победим эту разобщенность, то, вырвавшись из одной кабалы, попадем в другую, станем добычей неоколониалистов. У вас давно нет племен, и главной идеей национализма становится самая отвратительная ксенофобия, как это произошло, например, в Германии. Нам чужда ксенофобия, мы не испытываем вражды ни к бельгийцам, ни к какой-либо другой нации или расе. Наш национализм зиждется не на вражде, а, напротив, на братстве: на братстве всех племен и народностей, входящих в конголезскую нацию. Немногого стоила бы наша борьба против расизма, если бы мы сами впадали в «расизм наоборот», в предубежденность против белых.

Корреспондент «Суар» соблаговолит наконец встать:

— Что уж там говорить о вашем отношении к другим белым, если на одном из митингов вы позволили себе оскорбить даже память Стэнли! Было это?

Мполо не выдержал:

— Разрешите напомнить вам, господин журналист, что на пресс-конференции вопросы задаются не в том тоне, в каком их задают на допросах.

Патрис примиряюще положил руку ему на плечо:

— Совершенно верно, Морис. Но ведь здесь и ответы можно давать совсем по-иному.

— Да, господа, — продолжал он, снова повернувшись к залу, — имя Стэнли не вызывает у меня благоговения. Это был человек, не лишенный дарований, он обладал и личной смелостью и ярким, бойким пером. Но меня никогда не восхищала разбойничья смелость конкистадоров, как не восхищали и бойкие перья, если они служили несправедливому делу. К тому же рука, водившая этим пером, была запятнана кровью невинных лю-

дей... Я понимаю, вы с юных лет привыкли относиться к Стэнли с уважением. К тому же приучали и меня. Но потом я изучал историю, внимательно читал записки Стэнли и увидел, что имя этого человека недостойно доброй памяти. Он оклеветал конголезский народ перед всем миром, называя нас подлыми, злыми и лживыми. Он с циничной откровенностью писал: «Этисыны лесов не возбуждают моих симпатий». За это, что ли, прикажете отвечать ему любовью? Он предал нашу страну в руки Леопольда. Может быть, за эту дьявольскую сделку мы должны быть благодарны ему?

— Стоит ли тревожить тени великих покойников? — процедил сквозь зубы корреспондент «Суар». — Вы все время нападаете на Стэнли и Леопольда, а, между тем, именно им Конго обязано своим приобщением к мировой цивилизации.

— О, блага цивилизации неисчислимы! — иронически улыбнулся Патрис. — Есть среди них и такое, как статистика. Так вот, по статистическим данным, в правление Леопольда Конго оказалось на первом месте в мире по числу безруких. Да, да — по числу людей с отрубленными руками. Добыть столько сырого каучука, сколько требовала грабительская фирма Леопольда, прикрывавшаяся вывеской «Свободного государства», — это удавалось далеко не всякому. А невзнос этой натуральной подати карался отсечением руки. Не думайте, что я рассказываю вам об очень далеком прошлом, — вы и сейчас можете встретить в Конго стариков, искалеченных подобным образом. Ваш цивилизованный король был настолько гуманен, что велел отсекал только левые руки! Кара оставалась достаточно устрашающей, но зато покаранный еще мог кое-как работать во славу Леопольда и мировой цивилизации.

Патрис смотрел на брюссельского газетчика с такой уничтожающей ненавистью, что тот старался не встречаться с ним взглядом. Патрис продолжал:

— Вся последующая история колонии была, в сущности, лишь развитием приказа, запрещавшего отсечение правой руки: даже то, что выглядело

частичным ограничением произвола, в конечном счете преследовало прежние цели — упрочить колониальный строй, усилить извлечение прибыли. За годы бельгийского владычества безвременно погибли миллионы конголезцев, коренное население Конго сократилось по крайней мере вдвое — это вы называете «приобщением к цивилизации»?.. Но возвратимся к Стэнли — ведь о нем спросили вы меня вначале. Сделал ли он для народа Конго хоть одно доброе дело? Почему же город, в котором мы с вами сейчас находимся, должен называться его именем? Посмотрите на карту: пик Стэнли, водопады Стэнли, озеро Стэнли... Может быть, он был их первооткрывателем? Может быть, он первым из людей достиг их, как Амундсен первым достиг Южного полюса? Но можно ли искусственно ограничивать свою точку зрения одной лишь историей белых людей? Неужели вы полагаете, что конголезцам не были давным-давно известны их горы, их озера и водопады? Почему же конголезские названия нужно заменять именем этого предприимчивого колонизатора? Кстати говоря, это даже не настоящее его имя, в действительности его звали Джон Роулэндс.

За столиком американцев громко засмеялись. Патрис вопросительно посмотрел туда.

— Простите, мсье Лумумба, — сказал, поднимаясь, рыжебородый. — Мои товарищи... Дело в том, что именно так зовут меня... Такое совпадение... Дело в том, что у нас это довольно распространенная фамилия.

— Рад познакомиться с вами, мистер Роулэндс. Думаю, что вы на меня не в обиде — ведь я говорил не о всех Роулэндсах, а только об одном. Совпадение усугубляется здесь тем, что вы со Стэнли не только однофамильцы, но и коллеги: он ведь тоже вначале поехал в Африку в качестве журналиста. Мне хочется, однако, думать, что различие здесь будет сильнее сходства. Его дела нанесли нашей стране огромный вред; ваши, надеюсь, пойдут ей на пользу. А дела ведь куда важнее, чем имена!

Патрис посмотрел на часы. Верзила осведомился:

— Мы злоупотребляем вашим временем?

— Нет, в нашем распоряжении еще полчаса. Через полчаса на площади состоится митинг НДК. Мы приглашаем вас, господа, принять в нем участие.

— Спасибо. То есть я хочу вас поблагодарить не только за приглашение на митинг, а главным образом за эту беседу. Нам все это было очень интересно. Я хочу сказать — вы мне простите эту откровенность, — что вы нам, газетчикам, очень понравились... Ну, может, не всем...

Но журналисты дружно захлопали раньше, чем он закончил последнюю фразу.

— Вот видите, почти всем. Оно и понятно. Вы, мистер Лумумба, такой человек, о котором, как говорится, есть что написать. Возле вас без темы не останешься.

Он отмахнулся от рыжебородого, который пытался усадить его на место, и сказал:

— Но если у вас есть время, я хочу задать еще один вопрос. Правые газеты называют вас марксистом. Вы могли бы это прокомментировать?

— Кем только не называли меня правые газеты! Если бы я не боялся уподобиться их авторам, я подумал бы, что они сами козвенно ведут коммунистическую пропаганду: ведь называя поочередно «красными» чуть ли не всех африканских лидеров, они как бы признают всеобъемлющий характер учения коммунистов. Нет, наша программа далека от марксизма. Лично я уже потому не являюсь марксистом, что, признаюсь, никогда мне не приходилось читать ни Маркса, ни Ленина. Лишь недавно мне рассказали, что в одной из работ Ленина король Леопольд назван «делягой, финансистом и аферистом». О, в этом Ленин был прав, тут я не могу не согласиться с ним. Тысячу раз прав! Но если всерьез говорить о программе НДК, то надо прежде всего подчеркнуть, что основной наш принцип — ненасилие. К тому же не материализм, а вера лежит в основе наших взглядов. Наконец, мы, как я уже говорил, националисты. При чем же здесь марксизм? Я такой марксист, как, скажем, господин Нкрума. Вам хочет-

ся обязательно мерять нас по своим старым меркам. А у Африки совсем другой путь, особый, и европейские мерки непригодны для характеристики африканских партий. Впрочем, чтобы не показаться вам несговорчивым, я попытаюсь как-нибудь уместиться на европейской политической шкале. Это — очень условно, конечно. У меня, скажем, много друзей среди либералов. Я и сам состоял в этой партии, пока не понял, что она неспособна активно бороться с колониализмом. Может быть, точнее всего отнести меня к числу левых католиков. Но и это — со множеством оговорок. Лучше всего вернуться к тому, с чего мы начали. Я, как и мои товарищи, — он указал на Мполо и Финанта, сидевших рядом, — африканский националист. И цель наша — единство и независимость Конго! Для достижения этой цели...

Он хотел сказать еще что-то, но в этот момент на улице, где-то совсем недалеко, послышалась стрельба. Мполо первым, обгоняя журналистов, кинулся к выходу. За ним, опрокидывая стулья и столики, выбежали остальные.

Площадь находилась всего в сотне метров от бара «Кигома». Выбежав, Патрис сразу же понял, что полиция открыла огонь по людям, собравшимся на митинг. Надеясь остановить побоище, он устремился к площади. Рядом бежали Мполо, Финант, Роже...

Когда до полицейских оставалось двадцать-тридцать шагов, Патрис крикнул:

— Остановитесь! Прекратите! Остановитесь, вы стреляете в своих братьев!

Один из полицейских обернулся и направил автомат прямо на Патрису. Словно из-под земли перед ним оказался Роже. Увидев белого, полицейский на секунду замешкался, Роже успел задрать кверху ствол автомата, и очередь, предназначавшаяся Патрису, прострочила воздух над его головой.

Но пробежавший мимо сержант, думая, что кто-то из толпы вырывает у полицейского автомат, выстрелил в Роже сзади. Роже упал.

— Это белый! — в ужасе крикнул сержанту полицейский. И тут же они

оба исчезли, смешавшись с другими полицейскими, уже схватившимися рукопашную с ринувшейся вперед толпой.

Патрис поднял истекавшего кровью Роже, оглянулся, увидел, что по боковой улице приближается новый отряд полицейских. Рядом разворачивалась открытая машина. За рулем сидел верзила, сзади, щелкая фотоаппаратом, стоял рыжебородый.

— Господа, умоляю вас! — крикнул Патрис. — Мистер Роулэндс, отвезите его в больницу! Это ваш коллега...

— Вы — с нами? — спросил Роулэндс, открывая дверцу.

— Нет. Возьмите. Вот так. И поскорее, прошу вас. Он потерял много крови.

...Через два часа делегаты съезда все-таки собрались в помещении, где должно было происходить вечернее заседание. Едва оно открылось — в окна полетели гранаты со слезоточивым газом.

Двое суток Патрис скрывался у друзей, в африканских кварталах Стэнливиле. В ночь на 1 ноября он был арестован.

Используя стэнливилскую провокацию, полиция в течение недели арестовала 2700 активистов НДК. Колониальная администрация по-своему начинала подготовку к Конференции круглого стола: прежде всего она хотела обескровить крупнейшую партию конголезских патриотов.

В середине декабря король Бодуэн снова предпринял поездку по Конго. В день, когда он прибыл в Стэнливиле, огромная толпа собралась для встречи на аэродроме. Губернатор Лерой был очень доволен. Но едва Бодуэн вышел из самолета, как над толпой развернулись транспаранты: «Свободу Лумумбе!»

Чтобы король мог пройти к машине, полиция пустила в ход гранаты со слезоточивым газом и водомет с красящей жидкостью. Тем не менее по городу разнесся слух, что король возмущен арестом Лумумбы — человека, с которым четыре года назад он познакомился в этом же городе. Утверждали, что по приказанию короля Лумумба будет завтра же освобожден:

С утра чуть ли не все африканское население города направилось к тюрьме. Но слухи не подтвердились. Тюрьму окружало плотное кольцо броневиков, зловеще поведивших пулеметными стволами.

23 декабря в Конго впервые проводились муниципальные выборы. Наибольшее число голосов получили кандидаты «Абако» и «НДК-Лумумба». В Стэнливиле кандидаты «НДК-Лумумба» собрали более девяноста процентов голосов.

А лидер этой партии уже около двух месяцев находился в тюрьме, в ожидании суда.

* * *

В один и тот же день — 20 января 1960 года — в Брюсселе открылась Конференция круглого стола, а в Стэнливиле начался суд над Патрисом Лумумбой.

В министерстве по делам Конго рассчитывали, что открытие конференции несколько отвлечет всеобщее внимание от процесса. Но получилось наоборот: процесс отвлек внимание от конференции. По всему Конго проводились демонстрации и митинги с требованием освобождения Лумумбы. Такие же митинги, организованные прогрессивными силами страны, состоялись и в самой Бельгии.

На этот раз прокурор Восточной провинции уже не пытался действовать окольными путями: Патрису были предъявлены обвинения откровенно политического характера. На него пытались возложить ответственность за весь ход октябрьских событий в Стэнливиле. Тут была и «организация недозволенного митинга», и «призыв начать кампанию гражданского неповиновения», и «провоцирование кровавых столкновений населения с полицией». Даже забастовку пищевиков, проводившуюся в Восточной провинции, когда там шел съезд НДК, тоже пытались приписать непосредственному влиянию Патриса.

Конференция круглого стола заседала за большим квадратным столом брюссельского Дворца конгрессов. На утреннем заседании второго дня делегат от «НДК-Лумумба» Жозеф Касонго поднялся и сказал:

— Господин председатель! Господа!

Я уполномочен группой делегатов заявить, что наша конференция не может продолжать работу, пока на ней нет руководителя одной из крупнейших политических партий страны, господин Лумумба. Грязная судебная инсценировка, происходящая сейчас в Стэнливиле, должна быть прекращена — иначе прекратится работа нашей конференции. Патрис Лумумба должен занять свое место за этим столом. До этого ни один из конголезских делегатов, считающихся с мнением своего народа, не сможет оставаться здесь.

С этими словами Касонго собрал со стола свои бумаги и направился к выходу. За ним пошли к выходу Жозеф Мбуи, Жан Юмба и другие. Увидев, что зал собираются покинуть не только делегаты «НДК-Лумумба», Касавубу громко произнес:

— «Абако» решительно поддерживает это требование.

И тоже стал укладывать бумаги в свой портфель.

В этот день в охраняемом войсками здании стэнливилского суда прокурор говорил:

— На съезде своей партии, перед тем как в нашем городе возникли беспорядки и последовавшие за ними трагические события, подсудимый со свойственным ему темпераментом произносил очередную проповедь анархизма. Вот что он говорил. Прошу внимания, господа, я включаю магнитофон.

Аппарат поворчал немного, а затем очень ясно заговорил голосом Патриса:

«Друзья, прежде всего я хочу вспомнить сегодня тех, кого уже нет с нами, тех, кто отдал свою жизнь за святое дело конголезской независимости, кто пал в неравной борьбе с кровожадным бельгийским колониализмом. Этот год начался расстрелом в Леопольдвиле, а недавно колонизаторы устроили кровавое побоище в Китоне. Я предлагаю почтить вставанием память наших павших братьев».

Патрис поднялся при этих словах, со скамьи подсудимых, кое-кто поднялся и в зале — все конголезцы и даже несколько белых. Вскочил и судья.

— Прошу сесть! — закричал он.

И вслед за ним голос Патриса прозвучал в аппарате:

«Прошу сесть».

В зале расхохотались: в этом в самом деле было что-то смешное, будто аппарат передразнил судью.

«Друзья! — звучал голос Патриса. — Народ не может больше терпеть режим колониальной эксплуатации. Народ хочет вырваться из этого мрака, из этого ада, и он это сделает. Конголезцы не станут безропотно и покорно вымирать, когда глазам их уже открылась дорога к счастливой и свободной жизни. Так или иначе — но конголезцы добьются независимости! Наша партия верна принципу ненасилия. Но мы не можем закрывать глаза на то, что в сложившейся обстановке возможны только два решения: либо независимость немедленно, либо война за независимость. Третьего не дано».

Прокурор остановил аппарат:

— Подсудимый Лумумба, вы признаете, что воспроизведенная здесь запись — это отрывок из вашей речи?

— Да, господин прокурор, это прекрасная запись. Видимо, шпик, который принес магнитофон в зал заседаний, сидел в первом ряду, прямо перед трибуной. Я даже догадываюсь — кто этот шпик.

— Ваши догадки нас не интересуют. Отвечайте прямо: признаете ли вы, что эти слова — в частности, слова о так называемой «войне за независимость» — принадлежат вам?

— Да, господин прокурор, и я искренне благодарен вам за то, что эти слова прозвучали здесь. Ведь то, что позволено аппарату, включенному прокурором, никогда не было бы позволено самому подсудимому.

На следующий день на Брюссельской конференции первым взял слово Антуан Гизенга:

— Господин председатель! — сказал он. — Господа! Я считаю своим долгом вернуться к вопросу, поднятому вчера господином Касонго. Как вы знаете, я не принадлежу к партии «НДК-Лумумба». Но «Партия африканской солидарности», которую я имею честь представлять здесь, глубоко возмущена тем, что игнорируется единодушное требование всех конго-

лезских делегатов. Руководитель партии, которая пользуется таким доверием народа, какое было продемонстрировано во время декабрьских муниципальных выборов, должен находиться здесь, на конференции, призванной решать судьбы этого народа. Мы полагали, что правительство примет надлежащие меры в связи с нашим требованием, высказанным господином Касонго. Этого не сделано. Поэтому мы покидаем зал.

23 января было воскресным днем. А в понедельник, как только председатель открыл заседание, поднялся Альбер Калонжи. Заверив, что он не будет «повторять то, что было сказано делегатами Касонго и Гизенгой», он добросовестно повторил почти все сказанное ими.

— Я не только не принадлежу к партии Лумумбы, — заявил он далее, — но, напротив, возглавляю партию, возникшую в борьбе с его доктриной. У нас имеются расхождения по вопросам о будущем государства Конго и о путях к этому будущему. Но мы говорим: Лумумба должен быть здесь, на Конференции круглого стола. Иначе наш круг разорван, в нем недостает одного из главных звеньев.

Калонжи выпил воды: видимо, нелегко ему было произносить такие слова. Но, собравшись с духом, он закончил:

— Конголезский народ все равно не примет, не признает никаких наших решений, если мы придем к ним без господина Лумумбы. Если бы Бельгия прислушалась к нашему голосу, сегодня он уже был бы здесь.

Почти все были удивлены таким выступлением Калонжи. Обычно он покидал зал одним из последних, где-то между Болиа и Дельво — лидерами пробельгийской ППН. Министр де Скрейвер понимал, что стоило бы ему сказать хоть слово — и эти господа охотно вернулись бы на свои места. Но он понимал также, что конференция с таким непредставительным представительством не стоила бы и гроша.

Что же подвигнуло Калонжи на эту речь? Кое-кто догадывался об этом, но по-настоящему знал лишь его приятель Нендака. Ему было известно, что в ходе борьбы за освобождение Лу-

мумбы численность «НДК-Калонжи» заметно снижалась, многие возвращались в «НДК-Лумумба». В Конго внимательно следили за каждым словом, произнесенным на Конференции круглого стола, и этой речью Калонжи пытался несколько восстановить свой авторитет, приостановить развал своей партии. Лицемерная речь Калонжи объективно была, быть может, еще более убедительным свидетельством подлинных настроений конголезского народа, чем позиция искренних сторонников Лумумбы.

Когда Калонжи закончил, слово попросил Жозеф Касонго. Он сказал, что получил от товарищей по партии и от адвоката Лумумбы телеграммы, с содержанием которых должен ознакомить конференцию.

Адвокат сообщал, что ни одно из обвинений, выдвинутых против Лумумбы, по существу не подтвердилось. Тем не менее Лумумба приговорен — правда, не к четырем годам каторжных работ (как того требовал прокурор), а к шести месяцам тюрьмы. В заключение адвокат с возмущением сообщал, что ему не дано разрешения на встречу с Лумумбой для обсуждения текста кассационной жалобы.

В другой телеграмме сообщалось, что Лумумба доставлен на самолете из Стэнливиля в Элизабетвиль, так как будет отбывать наказание в тюрьме Булуо, в провинции Катанга. На элизабетвильском аэродроме его видел один из корреспондентов. Лумумба был в наручниках, босой, без рубахи, с явными следами побоев на теле. Под улюлюканье и издевательские крики находившихся на аэродроме бельгийцев его провели от самолета к полицейской машине.

— Итак, — сказал Касонго, — обвинения отпали, Патрису Лумумбе и его защитнику удалось опровергнуть их. Это видно даже по приговору: ведь «особо опасных преступников», каким называл Лумумбу прокурор, не приговаривают к шести месяцам тюрьмы. Чем же все-таки объясняется приговор? Тем, что крайне правые колонизаторские круги, давление которых все время испытывал суд, решили ни в коем случае не допустить участия

Лумумбы в Конференции круглого стола. Они полагают, что добились своего. Заголовок во вчерашнем номере «Курье д'Африк» гласит: «Не в Брюссель, а в Булуо». Но мы вырвем Лумумбу из застенков Булуо! Несправедливый приговор и бесчеловечное обращение с одним из благороднейших людей современности, с выдающимся представителем нашего народа мы припишем к счету, который предъявим колонизаторам. Судите сами: ведь анализ напряженного положения, создавшегося в стране, который содержался в докладе Лумумбы, можно рассматривать как «призыв к войне и анархии» только в том случае, если считать, что королевская декларация — пустой клочок бумаги. Именно так и хотели бы думать колонизаторы. Но мы думаем иначе. Вместе с правительством Бельгии мы полны решимости не допустить срыва этой конференции. Но мы твердо заявляем, что не явемся больше ни на одно заседание до тех пор, пока Патрис Лумумба не займет здесь полагающееся ему по праву место.

Конференция была полностью парализована.

25 января курьеры министерства доставили в гостиницы всем конголезским делегатам письма министра, сообщавшие, что Лумумба освобожден и вылетел в Брюссель. Вечерние газеты сообщили, что в Элизабетвиле его провожали тысячи конголезцев, «главным образом члены созданной в Катанге партии Балубакат, примыкающей к „НДК-Лумумба“».

26-го Патрис прилетел в Брюссель. На его черных руках, на запястьях, белели повязки, под которыми еще не зажили кровавые ссадины от наручников.

А на следующий же день Касавубу, сославшись на недомогание, улетел из Брюсселя в Леопольдвиль. Видимо, он снова предпочел тактику выжидания. Улитка снова втянулась в свою раковину.

С приездом Патриса работа конференции возобновилась. Какие только проекты не выдвигались здесь, с чем только не пришлось столкнуться сторонникам конголезской независимости!

Довольно влиятельная группа бельгийских делегатов выдвинула, например, проект создания «суверенного королевства Конго». Королем этого «вполне суверенного» государства должен был стать Бодуэн. По совместительству.

Эти предложения так попахивали нафталином, так живо напоминали историю «Свободного государства Конго», возглавлявшегося королем Леопольдом, что не нашли поддержки ни в ком, кроме своих авторов. Да и те скоро смекнули, что отстаивать в такой обстановке этот проект — значит ставить в крайне неловкое положение самого Бодуэна.

Гораздо более серьезной и трудной оказалась борьба против сепаратистских тенденций некоторых делегаций. Патрис и его друзья понимали, что если проект «королевства» был лишь пробным камнем, на который никто всерьез и не рассчитывал, то претензии сепаратистов таят в себе действительную угрозу будущему конголезского государства. «Белая династия черного королевства» была выдумкой колонизаторов старой школы, еще не сдающейся, но уже вынужденной отступать. Они с готовностью отступали, например, на позиции «черной династии», соглашаясь посадить на леопольдвильский престол не Бодуэна, а кого-либо из достаточно послушных верховных вождей. Сепаратизм был куда опаснее, за спиной сепаратистов стояли колонизаторы новой школы, делавшие свою главную ставку.

После заседания, на котором впервые выступил главарь катангских сепаратистов Моиз Чомбе, Патрис сказал Жозефу Касонго:

— Вот это и есть их козырная карта. Все остальное — мелочи. Судьба Конго зависит от того, как будет решен именно этот вопрос. По сравнению с сепаратизмом все монархические проекты — это все равно что кремневые ружья по сравнению с ядерным оружием.

С тех пор как стало ясно, что колониальный режим долго не протянет, ничто так не беспокоило Бельгию, как «проблема Катанги». Провинция, горы которой хранят огромные запасы ме-

ди и цинка, олова, урана и кобальта, давала колонизаторам больше доходов, чем все остальное Конго. Концерн «Юнион миньер дю О Катанга», прибравший к рукам эти сокровища, был одной из основных сил, действовавших против конголезской независимости и — особенно яростно — против создания единого государства.

В таком государстве, в его сильном центральном правительстве заправила «Юнион миньер» заранее видели своего противника. Такое государство стало бы контролировать доходы концерна, вмешиваться в распределение их, а затем, чего доброго, захотело бы и вовсе национализировать шахты и рудники, подобно тому как арабы национализировали Суэцкий канал. Куда удобнее было бы иметь у себя на содержании вполне ручное местное правительство. Так в кабинетах «Юнион миньер» родилась идея «республики Катанги». В крайнем случае (и то — лишь на первое время) горнопромышленники считали возможным вхождение республики в конголезскую федерацию. Разумеется, если будет гарантирована полная автономия хозяйственной жизни республики, ее финансов, вопросов, связанных с разработкой ее недр...

Разжигая племенную вражду и ловко спекулируя на ней, агенты концерна принялись за выполнение этого плана. Прежде всего, на деньги «Юниор миньер» была создана партия под громким наименованием «Конференция ассоциаций Катанги» — «Конакат». Руководство «Конакатом» было возложено на элизабетвильского дельца Моиза Чомбе и чиновника Годфруа Мунонго. Первый из них искал в политике спасения от грозившего ему банкротства (он задолжал концерну более десяти миллионов франков); второй, происшедший из семьи верховного вождя племени байеке, мечтал о восстановлении прав племенной аристократии. Оба были полны ненависти к демократическим силам национально-освободительного движения, так что акционеры «Юнион миньер» могли вполне положиться на них.

На Конференции круглого стола Чомбе требовал для провинций права

самостоятельно распоряжаться своими естественными ресурсами — «федеральное правительство, — говорил он, — не должно вмешиваться в эти дела»; по проекту Чомбе — Мунонго провинции могли даже заключать международные соглашения на разработку недр, не спрашивая об этом Леопольдвиль. Впрочем, говорил он не столько о провинциях вообще, сколько о Катанге. «Катанга, — самоуверенно заявил он, — достаточно богата, чтобы быть самостоятельной». И весьма прозрачно намекал на то, что она не обязана брать на свое иждивение другие провинции.

Такая позиция не могла быть приятна остальным делегатам, что несколько облегчало задачу сторонников единства. Однако пример Чомбе оказался заразительным. Калонжи вспомнил о том, что Южное Касаи со своими алмазами заслуживает особого уважения, абаковцы заговорили о том, что Нижнее Конго с его ключевыми позициями у самого выхода в океан тоже чего-нибудь стоит.

— Конго еще само не получило независимости, — говорил Патрис на одном из заседаний конференции, — а делегаты партии «Конакат» уже ратуют за независимость Катанги от Конго. Что же, может быть, их требования справедливы? Почему, в самом деле, горячо отстаивая освободительные устремления Конго, нам не отнестись сочувственно к освободительным устремлениям Катанги?

Патрис обвел взглядом делегатов, остановил глаза на Чомбе и продолжал:

— Может быть, в какой-нибудь наивной голове и возник уже подобный вопрос. Ибо именно в таком свете пытаются представить пресловутую «проблему Катанги» господа Мунонго и Чомбе. Но это ложный, обманчивый свет! В действительности вопрос стоит совсем не об этом. Мы отстаиваем дело конголезской независимости, потому что Конго — это колония Бельгии. Но мы не можем отстаивать независимость Катанги от Конго, потому что она вовсе не является его колонией, она — его неотъемлемая составная часть. С таким же успехом можно было бы отстаивать,

скажем, независимость сердца от всего остального тела. Но погодите, господа, это еще не вся правда. Вся правда заключается в том, что «Катанга» вовсе не стоит за свободу Катанги. Как раз наоборот! Суть предложений Чомбе и Мунонго сводится к тому, чтобы Катанга не получила освобождения вместе со всей страной, а лишь сменила старомодное ярмо на более современное, оставшись безраздельным владением колониального концерна «Юнион миньер дю О Катанга». Вот в чем подлинная сущность «проблемы Катанги», вот истинное содержание «освободительной» демагогии этих господ!

Чомбе вскочил и в бешенстве даже не сразу смог найти глазами председателя.

— Господин председатель! — закричал он.

— Прошу спокойствия, — тихо сказал Антуан Гизенга, председательствовавший на этом заседании.

— Да, господа делегаты, — продолжал Патрис, — концерну «Юнион миньер» по действующим ныне кабальным соглашениям принадлежит исключительное право разработки полезных ископаемых Верхней Катанги — этого подлинного геологического чуда, богатейшей подземной сокровищницы Конго. Придя в нашу страну с капиталом в триста миллионов франков, концерн похвастается теперь основным капиталом, превышающим двенадцать миллиардов! Почти три с половиной миллиарда чистой прибыли ежегодно выкачивает концерн из колонии — вот для чего ему нужна «полная автономия провинции». В молодости я сам служил в горнопромышленном обществе, я знаю, ценой какого хищнического разграбления недр, ценой какой бесчеловечной эксплуатации конголезских горняков создаются миллиарды, выкачиваемые концерном.

— Концерн здесь вообще ни при чем, — бросил Мунонго.

— Хорошо, я не буду больше касаться тех, кто стоит за вашей спиной, я буду говорить о вас и о ваших предложениях. Наш неграмотный, отсталый народ, господа делегаты,

сбрасывая колониальные цепи, разрывает и прогнившие остатки пут связывавшей его некогда иерархии племенных вождей. А образованный господин Мунонго выдает эти пути чуть ли не за символы нашей самобытности, он мечтает об обновлении и укреплении их. Господин Младший братец Верховного вождя кроме «Юнион миньер» представляет здесь только свое аристократическое семейство, но отнюдь не народ Катанги! А кого представляет господин Чомбе, выступавший от имени Катанги? Выросший в отеле для белых, который содержался его отцом, в отеле, где негры могли находиться лишь в качестве прислуги, он пытается теперь превратить в подобный «отель для белых» богатейшую провинцию Конго, предназначая всему ее коренному населению незавидную роль прислуги постояльцев-колонизаторов. Нет, народ Катанги стремится к иному будущему!

Чомбе встал и демонстративно покинул зал заседаний. Правда, он забыл на столе свою папку, так что его уход можно было понимать по-разному. Мунонго — «господин Младший братец Верховного вождя» — оставался до конца.

— То, что предлагают катангские сепаратисты, — продолжал Патрис, — это даже не федерализм, это просто расчленение Конго на кусочки, наиболее удобные для заглатывания их колониальными монополиями. Мы никогда не пойдем на это! Вырывать из Конго Катангу было бы столь же безрассудным, как вырывать, например, из Бельгии индустриальный район Льежа — Шарлеруа. Но, может быть, то, что было бы гибельным для Конго, является перспективным для самой Катанги?

Патрис порывисто отодвинул кресло и подошел к огромной карте, висевшей на стене.

— Наша страна не случайно носит название нашей великой реки. Посмотрите — река служит как бы стержнем, объединяющим все шесть провинций. Все шесть — от Катанги, в горах которой берет она свое начало, до расположенной в низовьях провинции Леопольдвиль. Дело, конечно, не

только в названии: представьте себе Катангу вне Конго — она сразу потеряет водные пути, связывающие ее со всем миром. Вспомните и о том, что Катанга не может сама прокормить себя — она нуждается в сельскохозяйственной продукции других провинций не меньше, чем они — в продукции ее промышленности. Учтите, наконец, этнический состав населения. В Катанге живут не только лунда и байеке, о которых упоминал господин Чомбе. На самом деле большинство населения этой провинции составляют балуба! Почти все горняки Катанги — за редкими исключениями — это балуба. И все они вовсе не хотят отделяться от своих родных братьев — от балуба, живущих в Касаи. Лунда и байеке тоже, кстати говоря, не страдают сепаратизмом, свойственным лидерам «Конаката». На претензии сепаратистов мы отвечаем твердым и решительным «нет»! Единство и целостность конголезского государства являются необходимыми условиями его независимости.

Вопреки порядку, принятому на конференции, делегаты ответили аплодисментами на речь Патриса.

Предложение «Конаката» было отвергнуто. Конференция приняла предложение «НДК-Лумумба» о целостности будущего государства. В одном из пунктов специально оговаривалось «подчинение горнорудного сектора всех провинций центральному правительству».

Выборы парламента были назначены на май. Днем провозглашения независимости конференция избрала 30 июня 1960 года.

Когда в день закрытия конференции Патрис выходил из Дворца конгрессов, его окружили брюссельские репортеры.

— Мы возвращаемся на родину, — сказал он, — с вестью о близкой независимости. Эта весть наполняет счастьем сердца всех конголезских патриотов. От их имени делегация НДК выражает чувства дружбы и уважения к народу Бельгии. Все прежние разногласия, все причины недоверия сегодня перечеркнуты и забыты.

Нет, старые разногласия нельзя было уничтожить росчерком пера. Патрис знал это. Просто при свете независимости, забрезжившем впереди, хотелось и думать и говорить только о хорошем.

Решения Конференции круглого стола не могли, конечно, ликвидировать причины взаимного недоверия: они были слишком серьезны, лежали слишком глубоко. Борьба продолжалась.

Вскоре после возвращения Патриса из Брюсселя к нему зашел Финант, ездивший по поручению партии в Элизабетвиль. Они разговаривали уже с четверть часа, как вдруг Финант вспомнил:

— Да! Я привез тебе из Эвила забавную штуку.

Он стал рыться в карманах, заполненных брошюрками, письмами, блокнотами. Наконец отыскал какой-то листок и положил его на стол.

Это была листовка с фотографией Патриса, отпечатанная на плотной глянцевой бумаге. Снимок был, видимо, сделан в аэропорту: Патрис держал в руке чемодан. По чемодану шла крупная надпись: «Москва».

Текст, напечатанный на обороте, гласил: «Это Патрис Лумумба, продавший Конго русским империалистам. На их деньги его агенты ездят по всей стране, сеют повсюду смуту, суют нос в чужие дела и организуют беспорядки». Чуть пониже, другим шрифтом было напечатано: «Эй, Лумумба! „Конэкат” в последний раз предупреждает тебя: занимайся той провинцией, откуда ты родом, и не вмешивайся в дела Катанги».

— Эта штука не кажется мне такой уж забавной, — задумчиво проговорил Патрис, отодвигая листовку.

— Нет? Послушай, они выпустили это огромным тиражом. Наверно, в сотни раз больше, чем во всей Катанге грамотных людей. Но все равно не хватило: людям сразу стало известно, что это — твой портрет. Те, кому удалось раздобыть листовку, гордятся ею, как самым дорогим талисманом. Знаешь, где я впервые увидел ее? В лачуге одного горняка, хорошего

парня, активиста «Балубаката». Она висела у него на стене!

— А надпись?

— На чемодане? «Москва»? Ты же знаешь, Патрис, как мало в Катанге людей, умеющих читать. А кроме того... Парень, в лачуге которого я увидел твой портрет, — он, например, относится к этому слову совсем не так, как авторы листовки.

— Надеюсь. И все же...

— Тебя заботит то, что напечатано на обороте?

— Не очень. Этого следовало ждать. Французские «ультра» и о Секу Туре писали что-то в таком же роде. Было бы удивительно, если бы «Юнион миньер» не попытался мне отомстить.

— Пока что они только ликвидировали — хотя бы частично — одно наше упущение. Ведь мы до сих пор ни разу ни где не печатали твоего портрета!

— Как было бы хорошо, если бы в нашей работе не было более серьезных упущений! Впрочем, одно из них мы исправим...

На той же неделе в «Ухуру» по настоянию Патриса был опубликован довольно подробный финансовый отчет НДК. Партийная касса, как свидетельствовал отчет, располагала уже солидными средствами. Источниками ее пополнения служили членские взносы, сборы на митингах, доходы от распространения газеты «Ухуру» и еженедельника «Эндепенданс».

Опубликование этого отчета было косвенным ответом на клевету, которую распространял «Конакат».

В те месяцы, которые еще оставались до выборов и провозглашения независимости, страной должна была управлять «Центральная исполнительная коллегия», составленная из лидеров шести конголезских партий, но возглавляемая бельгийским генерал-губернатором. Да и конголезцы были подобраны в этот орган с таким расчетом, чтобы любое начинание его прогрессивной части наталкивалось на сопротивление реакционеров. Если Патрис Лумумба или Анисэ Кашамура, введенные в состав коллегии, вносили предложение, шедшее вразрез с линией колониальной администрации, то Жан Болиа или кто-ни-

будь другой из рептильных политиканов торопился возразить раньше, чем это сделает генерал-губернатор. Когда же администрация затевала дела столь неприглядные, что даже Жану Болиа было бы неудобно отстаивать их, тогда она действовала в обход Центральной исполнительной коллегии, действовала так, как будто никаких соглашений о ликвидации колониального режима вовсе не существовало.

Это особенно проявилось во время подготовки к майским парламентским выборам.

В Элизабетвиле должен был состояться митинг, на котором ожидалось выступление Лумумбы и лидера «Балубаката» Сендве. Накануне чомбисты спровоцировали кровавое столкновение между лунда и балуба. К приходу полиции на площади лежало тринадцать убитых. Предлог сочли вполне достаточным — власти запретили Патрису выступать в Элизабетвиле.

Сообщали о новых вспышках межплеменной вражды в провинции Касаи. Трудно было проверить эти сообщения, установить масштабы столкновений, но колониальные власти пытались преподнести их как начало гражданской войны. В провинции свирепствовал полицейский террор. Из Бельгии самолетами стали перебрасывать новые контингенты войск.

Из Брюсселя прибыл в Леопольдвиль Гансхоф ван дер Мерш, а из Нью-Йорка — его сын Гастон ван дер Мерш. Первый — в качестве «министра-резидента» Бельгии, второй — в качестве представителя американского банка «Диллон Рид». Выборы еще не состоялись, а в резиденции ван дер Мершей уже начались консультации лидеров пробельгийских партий, началась закулисная возня вокруг проектов состава будущего правительства.

В начале мая Патрис решил было поехать в Брюссель, чтобы разоблачить перед бельгийской общественностью тактику колониальных властей, саботирующих решения Конференции круглого стола. Но пришли тревожные вести из Восточной провинции: полиция разгоняет предвы-

борные митинги, несколько активистов НДК убито, очередной номер «Ухуру» конфискован. Все это Патрис узнал уже в аэропорту, за двадцать минут до посадки в брюссельский самолет. Он сразу же принял новое решение и ближайшим самолетом вылетел в Стэнливилль.

Добиться снятия ареста, наложенного на газету, ему удалось уже на второй день. Все остальное оказалось много сложнее. В одном Патрис убедился, по крайней мере, с полной несомненностью: разгон митингов и даже стрельба полиции по ораторам не были произволом провинциальных властей. Это были пункты единого плана, преподанного из Леопольдвилья и, возможно, утвержденного в Брюсселе. В знак протеста Патрис послал в министерство по делам Конго телеграмму, в которой сообщал, что подает в отставку с поста члена Центральной исполнительной коллегии.

На следующий день Патрис выступал на большом предвыборном митинге. Он говорил:

— Наш долг — разоблачить заговор колонизаторов. Колониальная администрация, бельгийское правительство и королевский двор хотят отчужить НДК — партию, выражающую подлинные устремления конголезской нации. Они хотят создать в Конго марионеточное правительство и сохранить свой контроль над страной. Они хотят отобрать правой рукой то, что дают левой. Но — дают ли? Или только делают вид, будто дают? Они и вида такого не делали бы, если бы ход истории не принудил их к этому. Значит, мы должны действовать еще решительнее, чтобы заставить их в действительности отдать то, что принадлежит нам по праву, — нашу родную землю, нашу поправленную свободу!

Ветер дул в этот день со стороны водопадов Стэнли, и временами, когда шум их становился особенно заметен, Патрис подносил ко рту рупор.

— Ничто не может остановить воды реки Конго, и ничто не может остановить национальное движение страны Конго! Мы не потерпим иностранных войск на своей земле. Мы с радостью и благодарностью примем сотрудни-

чество бельгийских учителей, врачей, инженеров, служащих всех специальностей. Но бельгийские солдаты и полиция нам не нужны. Зачем же Бельгия посылает их в Конго? Пусть бельгийцы на базах Камина и Китона собираются домой. Мы решительно требуем этого! И так же решительно мы требуем отзыва ван дер Мерша! Мы и без этого режиссера сумеем составить свое правительство, потому что оно должно быть настоящим правительством, а не труппой подобранных ван дер Мершем марионеток!

Последние фразы Патрис произносил, уже заметив, что на площади появилась полиция. Белый офицер закричал:

— Внимание! По распоряжению генерал-губернатора митинг распускается. Приказываю в течение трех минут всем покинуть площадь. В противном случае будет открыта стрельба. Предупреждаю: первый залп — в воздух, второй — по трибуне, третий — по толпе.

— Вы все слышали эти угрозы? — спросил Патрис. — Еще год назад многие из вас подчинились бы первому же окрику белого офицера. Не так ли? Теперь им приходится применять вот какие угрозы — да и то ни один из вас, кажется, не собирается уходить. Или кто-нибудь хочет уйти? Нет? Тогда слушайте дальше.

И Патрис продолжал речь.

Когда офицер отсчитал по своему секундомеру три минуты, он подал команду, и раздался первый залп.

Патрис повернулся к полицейским, поднес ко рту рупор и громко скомандовал:

— Отставить!

— Полицейские, — продолжал он, — слушайте, я обращаюсь к вам. Вы знаете, что через полтора месяца наша страна получит независимость. Всего через полтора месяца! И тогда ваши теперешние хозяева перестанут быть хозяевами в Конго. Хозяевами станут сами конголезцы, вот эти люди, в которых вы только что собирались стрелять. Подумайте о том, как вы будете жить через полтора месяца. Опустите ваши автоматы, и давайте подумаем об этом все вместе. Но прежде представьте себе, что стало

бы с вами уже сейчас, если бы высделали залп по трибуне. Посмотрите внимательно на эту тысячную толпу, на эти лица, полные решимости. Мы готовы на любые жертвы, на любую борьбу, чтобы добиться свободы для родины. Для общей родины — нашей и вашей!

Поздно вечером в редакции «Ухуру» Франсуа спросил Патриса:

— Ты знаешь, какая легенда о тебе ходит? Это родилось еще в прошлом году, после октябрьского расстрела. В народе говорят, будто ты неуязвим для пули. Будто ты просто выплевываешь пули, которые попадают в тебя.

— Да, я слышал об этом.

— И?..

— Что «и»? Уж не хочешь ли ты спросить — правда это или нет?

— Нет, я понимаю, конечно... Но сегодня, на митинге, когда ты не покинул трибуну, хотя знал, что сейчас раздастся залп...

— Так и ты ведь не ушел! И Морис и Огюст тоже были на трибуне. Даже из слушателей никто не дрогнул!

— Да, потому что все мы равнялись на тебя. В этот момент все зависело от того, отступишь ты или нет. А ты держался так, будто пули и в самом деле не могут принести тебе вреда.

— Сказка всегда остается сказкой. Но то, что она родилась, то, что некоторые верят в нее, а иные рассказывают ее хотя бы в шутку, — все это... Да, признаюсь тебе, Франсуа, все это немного помогает мне. Если это и не делает меня смелым, то хоть помогает действовать с необходимой решимостью...

Итоги выборов превзошли самые радужные ожидания сторонников независимости, а колонизаторам показали землетрясением. Почва уходила у них из-под ног.

Прежде всего обозревателей поразила активность конголезцев. В Стэнливиле к урнам пришли 99,5 процента избирателей. Старый буржуазно-демократический Брюссель никогда не знал такой активности.

Перед выборами некоторые члены Центрального Комитета НДК считали, что Патрис должен выставить

свою кандидатуру в Касаи, где родился. Но даже в этом Патрис не считал возможным идти на уступки племенной и региональной обособленности. Он баллотировался в Стэнливиле и одержал полную победу.

«НДК-Лумумба» получила в центральном парламенте сорок одно место, тогда как «Абако» — двенадцать мест, а «НДК-Калонжи» — восемь. Остальные партии имели от одного до пяти мест, причем те, чья предвыборная платформа носила откровенно пробельгийскую окраску, провалились почти во всех избирательных округах.

Двадцать депутатов должна была послать в парламент Восточная провинция. И все двадцать мандатов получили здесь кандидаты от «НДК-Лумумба». Кроме того, двадцать один мандат сторонники Патриса получили в других провинциях. Впрочем, как показала еще Конференция круглого стола, у Патриса Лумумбы было немало горячих сторонников и в партиях, организационно не примыкавших к НДК.

С этого времени имя Лумумбы, известное еще недавно только в Конго и в Бельгии, стало все чаще появляться на страницах газет и журналов всего мира. Оно стало символом пробудившейся Африки, символом национально-освободительной борьбы народов «Черного континента». Стало ясно, что конголезский народ выдвинул поистине незаурядного лидера. «Победа левых сил в Конго», «Бескровная революция в бельгийских владениях», «Патрис Лумумба — герой африканского Возрождения», «Что же произошло в Конго?» — подобными заголовками запестрели газеты Парижа и Токио, Лондона и Дели, Рима и Нью-Йорка.

На вопрос «Что же произошло в Конго?» довольно точно ответила в одном западногерманском журнале эрцгергогиня Адельгейд Австрийская — автор весьма осведомленный в африканских делах. Она писала: «Победе НДК немало способствовали обеспеченные исходные рубежи в Восточной провинции, а также личное обаяние Патриса Лумумбы, его невероятный динамизм, энергия, которую излучает этот народный трибун. Вся

территория Конго (а Восточная провинция, Касаи и Киву — в особенности) покрылась сетью энергично действующих ячеек НДК. Они подчиняются общим директивам, но действуют вполне самостоятельно. Связь осуществляется через газету «Ухуру», а в вопросах, требующих секретности, — через партийных курьеров, устно. Это гарантирует от письменных улик, которые могли бы попасть в руки колониальной администрации, и дает возможность широко вовлекать в работу неграмотных. В НДК очень много неграмотных, и некоторые из них играют видную роль среди активистов. Ударная сила партии, созданной Патрисом Лумумбой, и уверенность его изобретательной тактики — это факты, не подлежащие сомнению. Партия Лумумбы завоевала влияние практически во всей стране, в то время как почти все остальные партии действовали в одной какой-либо провинции или опирались на какое-либо одно племя».

И только о том не упомянул осведомленный автор, что именно эта партия наиболее последовательно отстаивала интересы конголезского народа, наиболее решительно боролась за независимость страны.

После выборов вопрос о том, кто должен сформировать первое правительство Конго, был уже как будто бы ясен. Только правительство, сформированное депутатом от «НДК-Лумумба», могло рассчитывать на доверие парламента. И все же ван дер Мерш не прекращал своих интриг.

Патрису была поручена «информационная миссия».

— Заранее учитывая трудности, — заявил ван дер Мерш, — которые возникли бы перед вами при формировании кабинета министров, и не желая осложнять обстановку, мы поручаем вам лишь предварительное выяснение возможностей создания устойчивого коалиционного правительства.

Ван дер Мерш сделал паузу, а затем, словно сменив на лице маску «Торжественность» на маску «Неприужденность», добавил:

— Вот видите, мсье Лумумба, вы не верили в мою объективность, вы повсюду обвиняли меня в закулисных

махинациях, вы требовали, чтобы меня отозвали... А я с радостью поручаю вам эту почетную миссию!

— Разрешите уточнить, господин министр. Эту миссию мне поручаете не вы, ее поручил мне конголезский народ, который отдал НДК гораздо больше голосов, чем любой другой партии. И, кстати говоря, он поручил мне не какую-то неопределенную «информационную миссию», а формирование правительства. Что же касается вашей радости, — она, полагаю, была бы большей, если бы вы могли дать это поручение не мне, а кому-нибудь другому.

На лице старого дипломата появилась маска «Умудренность».

— Да, — сказал он, — мне незачем скрывать это. Но политик не должен руководствоваться своими чувствами. Я думаю, что со временем и вы в этом убедитесь.

Трудности действительно были. Патрис не хотел, чтобы «Абако» — старейшая из конголезских партий, пользующаяся большим влиянием в столице, да и во всем Нижнем Конго — оставалась в оппозиции. Кроме того, в парламенте было столько депутатов, представлявших различные мелкие партии, что и они могли составить оппозиционный блок. Патрис понимал, что «дружественная Бельгия» стала бы всячески поддерживать оппозицию, натравливать ее на правительство. Чтобы избежать этого, он согласился сформировать коалиционный кабинет.

Но, едва расставшись с Патрисом, ван дер Мерш стал вызывать к себе конголезских лидеров. С представителями прогрессивных партий он предпочитал говорить наедине, репительных политиканов собирал группами. Машины из его гаража отвозили одних и сразу же шли за другими. Сопровождения в его особняке продолжались до самого утра, а на следующий день возобновились уже с полудня. Желая встретиться с тем или другим из депутатов, Патрис не раз слышал в ответ: «Он у ван дер Мерша».

Одним — открыто, другим — намеками (довольно, впрочем, прозрачными) ван дер Мерш советовал не входить в кабинет, формируемый Лу-

мумбой, или претендовать на портфели, которые, как он предполагал, Лумумба никогда не согласился бы отдать этим людям.

К 17 июня ему удалось сколотить блок, в который вошли «Абако», «НДК-Калонжи» и «Партия национального единства» (как именовала себя пробельгийская группа, возглавлявшаяся Жаном Боликанго). Этот блок, получивший в газетах название «картеля Касавубу», не решился открыто выступить против Лумумбы. Напротив, лидеры «картеля» заявили, что поддерживают правительство, которое сформирует Лумумба, но — лишь при условии, что главой государства будет избран Касавубу.

Ван дер Мершу это казалось недостаточным. «Это не выход из положения, — говорил он Касавубу, напялив на лицо маску „Сочувственная озабоченность“. — Неужели вы не понимаете, что при таком премьере, как Лумумба, должность президента будет означать не больше, чем должность короля в Норвегии? Некоторый почет и никакого влияния на политику. Полное безвластие. На вашем месте я постарался бы не допустить Лумумбу на пост премьер-министра».

— Сейчас этому трудно помешать, — отвечал его немногословный собеседник.

Однако ван дер Мерш все еще полагал, что является хозяином положения. На следующий день, даже не осведомившись у Патриса о состоянии дел, он заявил, что «поскольку миссия г-на Лумумбы потерпела неудачу, формирование правительства поручается г-ну Жозефу Касавубу».

По городу ползли — точнее, не ползли, а разносились — самые нелепые, противоречащие друг другу слухи. То Патрис узнавал, что ему будто бы собираются предложить министерство почт и телеграфа в кабинете Касавубу («Вы, говорят, работали в почтовом ведомстве. Это верно?»). То общались, будто бы Патрис требует себе портфели министра юстиции и прощения. То звонили и спрашивали: «Неужели вы действительно решили совсем уйти от политической деятельности?!» Все это были пробные шары — они должны были выявить на-

строения депутатов и по возможности расшатать единство сторонников Патриса; кроме того, они явно подсказывали Патрису шаги, которые представлялись приемлемыми его противникам. Разгадать источники этих слухов было совсем не трудно.

Но то, чего добился за эти дни Патрис, было весомей всех затей ван дер Мерша. Вокруг фракции «НДК-Лумумба» в парламенте сплотилось абсолютное большинство депутатов. Не столь уж редко история напоминает о том, что правда сильнее лжи, даже если ложь поддерживают такие силы, как деньги, штыки и традиции. Это было одним из подобных напоминаний.

На пресс-конференции во дворе «О'кей-бара» — пресс-конференции, переросшей в митинг, — Патрис заявил:

— Неудачу потерпела не «миссия Лумумбы», а грязная игра, затеянная ван дер Мершем. Он любит поучать нас, любит говорить об «основах демократического управления страной». Пусть ответит: был ли в истории демократической Бельгии хоть один случай, когда бы формирование правительства поручалось не представителю крупнейшей фракции парламента, а представителю фракции, число мандатов которой в три раза меньше? Бельгийцы хотят пренебречь волей народа, высказанной во время выборов, хотят сколотить правительство из людей, готовых на все в интересах своей карьеры. Но нам нужно не только получить независимость, нам нужно сохранить ее! Нам необходимо правительство, которое сумело бы подкрепить политическую независимость экономической, сумело бы противостоять всем попыткам расчленения и закабаления страны. Вопреки позорным маневрам ван дер Мерша, я сформировал правительство широкой коалиции. И я представлю это правительство парламенту, независимо от того, нравится оно или не нравится бельгийскому министру-резиденту!

— Долой ван дер Мерша! — откликнулись люди, заполнившие двор. — Да здравствует правительство Лумумбы! Ухуру!

— Ухуру! — кричали люди, стояв-

шие на крыше «О'кей-бара» и на небольшой прилегающей к бару площади.

И некоторые из иностранных корреспондентов, приехавших на пресс-конференцию, захваченные всеобщим энтузиазмом, кричали вместе с конголезцами:

— Ухуру! Ухуру!

* * *

22 июня состоялись выборы в палате депутатов. Они показали ван дер Мершу тщету всех его маневров: председателем палаты был избран Жозеф Касонго, один из ближайших соратников Лумумбы. Победа Патриса была предreshена. Сформированное им правительство получило в палате депутатов 74 голоса из 80, в сенате — 70 голосов из 72.

Выборы президента не очень утешили Брюссель. (Впрочем, если говорить об официальном Брюсселе, то он к этому времени был уже наполовину в Леопольдвиле или на пути туда: приближалось 30 июня, надо было продемонстрировать передачу конголезцам «дарованного им суверенитета».) Кое-кто в бельгийском правительстве считал Касаубу слишком медлительным и слишком «себе на уме»; кое-кто просто не доверял ему. Было известно, что его ближайшим советником стал ван дер Мерш-младший, ван дер Мерш-американец. Правда, бельгиец по происхождению, но представитель американского банка, что гораздо важнее любого происхождения.

Через депутата Дельво ван дер Мерш-старший выдвинул кандидатуру Боликанго. Этот казался надежнее, он проявил себя еще во время устройства идиллической «конголезской деревни» на Всемирной выставке. Но ставка, сделанная сыном, оказалась вернее: Боликанго провалился, выбрали Касаубу. То ли очень уж непопулярен был Боликанго, то ли поддержка американского банка оказалась более эффективной, чем поддержка бельгийского правительства.

И вот наступило, наконец, 30 июня — день провозглашения независимости.

В 9 часов утра в кафедральном

соборе Леопольдвилля отслужили «Те деум...» На площади, перед высоким флагштоком, на котором развевался бельгийский черно-желто-красный флаг, оркестр сыграл два гимна — бельгийский и конголезский. Затем в торжественном молчании смотрели, как медленно спускался бельгийский флаг, как навстречу ему поднимался синий с шестью золотыми звездами флаг Республики Конго. У середины флагштока, поравнявшись, они на мгновение остановились. Ветром схлестнуло оба полотнища. Площадь замерла, как будто флаги боролись, как будто от одного этого мгновения зависела вся дальнейшая судьба страны. Вот флаги снова двинулись, каждый — своим путем. Один — вниз, другой — вверх. И в этот момент площадь огласили радостные возгласы. «Ухуру!», «Депенда!» — гремела площадь, и этот гром нарастал, по мере того как синий флаг поднимался все выше.

Патрис стоял рядом с Эйскенсом, премьер-министром Бельгии. По другую сторону от него стояли Касаубу и король Бодуэн, здесь же находились другие почетные гости. Вся эта группа сохраняла молчание. Но если бы этикет и позволил Патрису принять участие в народном ликовании, он не мог бы сейчас произнести и слова: волнение сжимало его горло.

В двенадцатом часу в большом зале Дворца наций началось торжественное заседание обеих палат парламента. Первое слово было предоставлено королю Бодуэну. Это была речь, полная восхвалений по адресу Бельгии и ее «цивилизаторской роли». Порабощение Конго Леопольдом было вежливо названо «союзом двух стран». «Исключительным и замечательным фактом, — говорил король, — является то, что мой двоюродный прадед осуществил этот союз не путем завоевания, а в основном мирными средствами». Свои дифирамбы колониальному строю, якобы подготовившему Конго к независимости, король закончил словами, обращенными к правой стороне зала, заполненной конголезскими депутатами: «Теперь, господа, ваша очередь доказать, что мы поступили правильно, оказав вам доверие».

Это было не столько поздравлением, сколько оскорблением. Бурно аплодировала левая сторона зала, предоставленная бельгийским гостям. Аплодировал прелат Пьер Можайски — седобородый старик, глава всей католической иерархии в Конго, восседавший в первом ряду. Аплодировал Эйскенс, искоса поглядывая на сжатые кулаки Патриса, неподвижно лежавшие на коленях. Речью своего двоюродного правнука был, наверно, доволен даже бронзовый Леопольд, сидевший на бронзовом коне перед Дворцом наций.

После короля выступал Касавубу. И снова аплодисменты гостей были гораздо громче, чем аплодисменты хозяев. Впрочем, хлопали и в правой части зала. Инсценировка разыгрывалась без помех, идиллия казалась полной: Бельгия вырастила черного дитя по имени Конго, воспитала его и теперь дарует ему независимость; Конго с благодарностью принимает этот дар... Эйскенс, продолжая хлопать, о чем-то спросил Патриса, но Патрис торопливо сказал: «Простите», встал и быстро зашагал к трибуне.

— Конголезцы и конголезки! Борцы за независимость, добившиеся сегодня победы!

Это обращение всколыхнуло зал. Оно было совсем не похоже на стандартное «дамы и господа». Люди, сидевшие в креслах откинувшись, невольно подались вперед. Депутаты прогрессивных партий, за плечами которых были годы самоотверженной борьбы, почувствовали, что именно к ним обращается сейчас глава первого конголезского правительства. Сотни тысяч конголезцев, слушавших речи по радио на улицах и площадях, радостно переглянулись в этот момент и теснее придвинулись к репродукторам.

— Хотя независимость провозглашена сегодня по договоренности с Бельгией, — говорил Патрис, — дружеским государством, с которым мы обращаемся как равный с равным, но ни один житель Конго никогда не забудет, что независимость завоевана нами в борьбе, в борьбе повседневной, упорной, трудной, в которой нас не

останавливали ни лишения, ни страдания, ни огромные жертвы, ни кровь, пролитая нашими народами. Мы глубоко гордимся нашей борьбой — она была справедливой и благородной, она была необходима для избавления от унижительного рабства, навязанного нам силой.

Ожидая, пока утихнут аплодисменты, Патрис взглянул в окно. Вся площадь перед дворцом была заполнена народом. Над головами был виден отсюда только массивный бронзовый круп лошади Леопольда.

— Такой была наша судьба на протяжении восьмидесяти лет колониального гнета, и наши раны еще слышком свежи, чтобы мы могли молчать. Мы познали рабский труд, за который нам платили гроши, не позволявшие ни утолить голод, ни прикрыть наготу, ни жить в здоровом жилище, ни растить своих детей так, как того заслуживают родные существа. С утра до ночи мы терпели насмешки, оскорбления, удары лишь потому, что были «неграми». Кто забудет, что черному говорили «ты» не как другу, а потому, что вежливое «вы» было сохранено только для белых?! Наши земли захватывались именем законов, которые признавали лишь право сильного. Мы помним, что закон колонизаторов никогда не был одинаков для белых и черных, он был снисходителен к первым, жесток и бесчеловечен ко вторым. В городах Конго великолепные дома предназначались для белых, а для конголезцев — развалившиеся хижины. Черного не пускали в кино, в рестораны и магазины, которые именовались «европейскими»...

Казалось, что каждая фраза опускается звонкой пощечиной на холерные лица бельгийских представителей. Молодое лицо короля оставалось неподвижным, глаза из-под чуть сдвинутых бровей холодно смотрели на Патриса. Эйскенс ерзал в кресле, откровенно морщился и, покачивая головой, поминутно взглядывал на ван дер Мерша. «Как же это вы, дорогой коллега? — говорил его взгляд. — Разве можно было допускать этого негра на пост премьер-министра?!» Ван дер Мерш делал вид, будто не замечает взглядов Эйскенса. Командующий

«форс пюблик» генерал Янсенс нервно постукивал пальцем по кобуре своего пистолета и с одинаковой ненавистью смотрел на горячо аплодирующих конголезских депутатов, на Патриса, на бельгийских министров. Генерал был убежден, что «вся эта затея с независимостью» — скверная выдумка брюссельских либералов.

Патрис продолжал:

— Кто может, наконец, забыть расстрелы, казни наших братьев, тюрьмы, куда бросали тех, кто больше не хотел подчиняться режиму бесправия, угнетения и эксплуатации?! Братья мои! Все это принесло нам неисчислимые страдания. Но теперь мы, избранные народом, чтобы руководить нашей родиной, мы, так страдавшие телом и духом от колониального гнета, говорим вам: со всем этим отныне покончено!

И такой взрыв аплодисментов покрыл эти слова Патриса, что даже многие из тех, кто полагал, будто «незачем ворошить старые обиды», поняли, как важно было сказать о тяжелом пути, приведшем страну к независимости.

Патрис говорил теперь о новом этапе борьбы, о сплочении и упорном труде, которые необходимы для сохранения независимости и превращения Конго в страну мира и благосостояния, в государство социальной справедливости. Он говорил о предстоящем пересмотре всех законов, о прекращении гонений на свободную мысль, о порядке, который будет основан не на штыках, а на доброй воле. Он призывал забыть все межплеменные раздоры, уважать каждого из сограждан, как и каждого из иностранцев, которые пожелают участвовать в строительстве нового Конго. Он заверял все иностранные государства, в том числе и Бельгию, в готовности к сотрудничеству, «если это сотрудничество будет дружественным и не будет направлено на то, чтобы навязать молодой республике чуждую ей политику».

Каждая фраза прерывалась аплодисментами, в которых зал сливался с площадью, откуда доносилось радостное «Ухуру!»

— Мы покажем миру, — сказал

Патрис, — что может сделать черный человек, когда он трудится в свободной стране. Мы превратим Конго в гордость всей Африки! Вечная слава борцам за национальную свободу! Да здравствует независимое Конго!

Патрис еще стоял, окруженный друзьями, которые наперебой трясли ему руку, когда увидел, что Касавубу делает ему какие-то знаки. Патрис подошел. Касавубу, увлекая его в сад, встревоженно проговорил:

— Все это крайне неприятно.

— Что именно?

— Назревает скандал. Международный скандал. Король покинул парламент. Сразу же. Демонстративно, вопреки протоколу. По протоколу, — Касавубу взглянул на часы, — через сорок минут завтрак. А они все уехали. Что?

— Я ничего не сказал.

— Да. Ты уже все сказал. Они очень обижены. Ты еще говорил, а Калонжи уже послал королю записку с извинениями.

— Калонжи? А чем он провинился?

— Он приносил извинения за твою речь.

— За мою? При чем же здесь он?

— Я не читал. Наверно, он отмежевался от нас. Наверно, выражал возмущение от имени парламентской оппозиции. Что же нам делать теперь?

— Мне не совсем понятна твоя тревога. Уж твоя-то речь содержала столько комплиментов по адресу Бельгии...

— Теперь это не имеет никакого значения. Бельгийцы требуют формальных извинений.

Патрис молча любовался лужайкой красных тюльпанов, сбегавшей к воде, медленными волнами реки, белыми зданиями Браззавиля, ясно различимыми на противоположном берегу.

— Ты меня слышишь? — спросил Касавубу.

— Слышу. Это исключено.

— Как же быть? Положение крайне неприятное.

И вдруг круглое лицо Касавубу расплылось в любезной улыбке. Патрис обернулся. По террасе парламента в сад спускался Эйскенс.

— Я не помешаю вам, господа? — спросил он, приближаясь.

— Нисколько.

— В таком случае я позволю себе присоединиться к всеобщим поздравлениям: ваши речи были поистине блестящи! Однако некоторые упоминания...—Он повернулся к Патрису.— Некоторые места вашего выступления вызвали недоумение в придворных и правительственных кругах Бельгии. Я полагаю, вам это уже известно.

— Да.

— Я полагаю, что мы в равной мере заинтересованы в том, чтобы уладить это недоразумение. Для этого будет достаточно, если вы возьмете обратно те слова, которые... э... которые косвенным образом возлагают на Бельгию всю ответственность за социальные несовершенства в жизни Бельгийского Конго.

— Это исключено, — повторил Патрис. — В моей речи нет ни слова неправды. Нет ни одного слова, которое я мог бы взять обратно.

— О, разумеется, мсье Лумумба! Поверьте, если бы я не был министром, я бы искренне приветствовал все, что было сегодня сказано вами. Полагаю, что так поступил бы и сам Бодуэн, если бы не был королем Бельгии. Но положение обязывает. Ведь и вы уже не частное лицо и не партийный лидер, вы — премьер-министр.

— Я стал премьер-министром для того, чтобы отстаивать правду, а не для того, чтобы лицемерить.

— Все это верно, — вставил Касавубу. — Но было бы очень нежелательно начинать историю нашего государства с конфликта.

— Я полагаю, что господин президент совершенно прав, — подхватил Эйскенс.

— И я согласен с ним. Но было бы еще хуже, если бы история нашего государства началась с унижения. Достаточно их было в прошлом!

Патрис опустил на скамью, возле которой они стояли, и добавил:

— Я не вижу никакого повода для конфликта. Если же кто-нибудь ищет такой повод — ну что ж, это дело его совести.

Эйскенс понял, видимо, что надо менять курс. Он сказал:

— Вы убедили меня, мсье Лумумба, и я постараюсь убедить короля. Помогите мне в этом!

— С готовностью.

— Могу я заверить короля в том, что за завтраком вы произнесете речь, выдержанную в дружественном тоне? Тост на одну-две минуты. Никаких извинений, разумеется, но и упоминаний о прежних разногласиях — тоже никаких. Будем смотреть вперед, а не назад! Вы согласны, мсье Лумумба? Я прошу вас, давайте проявим добрую волю. Если бы вы разрешили, я набросал бы для вас текст этой маленькой речи.

Патрис с нескрываемым, почти издевательским интересом смотрел на бельгийского премьера.

— Что ж, я согласен. Если это не слишком затруднит вас. И если проект будет таков, что мне не придется слишком далеко отступать от него.

Уже перед вечером Патрис, приветствуемый конголезцами, проезжал по бульвару Альбера. В праздничной толпе он увидел рыжебородого Джона Роуллендса и попросил Огюста остановить машину.

— Очень рад видеть вас, мистер Роуллендс, — сказал Патрис, когда Джону удалось протиснуться к нему сквозь толпу. — Скажите, вам ничего не известно о судьбе того раненого журналиста? Помните — в Стэнливиле?

— Да, мсье Лумумба, конечно, помню. Но, к сожалению, он был не ранен, он был убит. Он скончался раньше, чем мы доставили его в госпиталь... Вы хорошо его знали, мсье Лумумба? — добавил Джон, увидев, как помрачнело лицо Патриса.

— Да, Роже был моим другом. Это мой давний друг, еще по Кинду. А в Стэнливиле он, в сущности, спас мне жизнь... Вот, значит, еще одна жертва в борьбе за независимость Конго. Среди соотечественников Роже многим очень не нравится, когда мы вспоминаем об этих жертвах.

— Простите меня, мсье Лумумба, но репортер всегда остается репортером. Так поступил бы, наверно, и ваш друг Роже...

— О чем вы, мистер Роулэндс?

— Я хотел воспользоваться этой встречей, чтобы спросить вас... Среди корреспондентов ходят слухи о вашей речи на завтраке...

— А, понятно. Вы можете сообщить своим читателям, что в этой речи я, разумеется, не повторял того, что уже сказал утром в парламенте. Но в ней не было ни единого слова, которое противоречило бы утренней речи. У мсье Кашамуры, нашего министра информации, вы можете получить полный текст всех выступлений.

— Спасибо.

— По секрету я могу сообщить вам одну забавную подробность. Это как раз касается речи на завтраке... Ска-

жите, на журналистском аргю работа, которая будет опубликована не за подписью написавшего ее, а от имени кого-нибудь другого, именуется «негритянской»? Так, кажется?

— Да, — немного смущенно подтвердил Джон.

— И человек, выполняющий для кого-нибудь такую работу, называется его «негром»?

— Да. Есть у нас такое выражение.

— Ну так сегодня бельгийский премьер-министр был моим «негром». Джон рассмеялся, поняв наконец суть дела.

— И мне пришлось лишний раз убедиться, — добавил Патрис, — что я так же мало приспособлен для роли рабовладельца, как и для роли раба.

Окончание следует

ПУБЛИЦИСТИКА

М. Михалев

ОСЕННИЙ КУСТ

На Разъезжей улице в Ленинграде есть высокое серое здание со многими вывесками у входа.

На этажах — тоже вывески и указатели. В здании снизу доверху помещаются учреждения.

Но пятый этаж совсем не похож на остальные. По узкому коридору влево от лифта иногда почти не пробраться: коридор бывает весь запружен людьми.

Люди толпятся тесными кучками и возле стен, и в самом проходе. Некоторые переходят от одной кучки к другой, так что в коридоре все время движение. И повсюду свой разговор, иногда — спор. Стоит разноголосый гул, накурено. На глаза то и дело попадают лица, заставляющие тебя вспоминать: кто такой, где я его видел? На фотоснимке в газете? На заводской доске почета?

На пятом этаже находится Совет новаторов производства, своего рода штаб ленинградской рабочей гвардии. В этом штабе я и встретил впервые Гегина.

В тот день здесь заседала секция расточников. Повестка дня была под стать всему духу Совета: творческие отчеты. Не хуже, чем в Союзе писателей, у композиторов или в Доме ученых.

Приодетые, все в галстуках, расточники располагались за длинным, чуть не во всю стену, столом, покрытым зеленым сукном. Перед каждым лежал раскрытый блокнот или хотя бы просто листок бумаги. Отчитывавшиеся выходили на середину зала, где стояла на трехногой подставке черная школьная доска, прикалывали к ней чертежи и, полные достоинства, брали в руки указку. Да, тут было на что посмотреть и о чем подумать.

Третьим или четвертым с места поднялся темноволосый хорошо сложенный человек, румяный, со свежими розовыми губами. У него был запас чертежей, свернутых в трубку. Не спеша он роздал их присутствующим и упругой походкой прошел к доске.

— Тут сидят понимающие люди, тратить много слов не придется, — начал он

негромко и как бы между прочим, будничным тоном, но румянец на его щеках заиграл сильнее. — Это редуктор для тепловоза, для нашего железнодорожного транспорта. Значение тоже пояснять не придется. Второй класс точности... Посмотрите, пожалуйста, и скажите: сколько часов надо на такую работу? А потом я скажу, за сколько у нас получалось.

Это и был Евгений Сильвестрович Гегин, расточник Кировского завода, и так он начал свой доклад.

Все занялись чертежами. Слышно было только шуршание бумаги да реплики, которыми обменивались вполголоса: «Выносной центр...» — «Траверз...» — «А не лучше ли два резца? Меньше будет вибрация».

Выжидательно улыбаясь, Гегин стоял у доски.

— Ну, чтобы не тратить напрасно времени, я сам скажу, — подождав, заговорил он снова. — Вначале мы растачивали эти редукторы за сорок часов, а впоследствии, с помощью наших приспособлений, за семь. И не я один, а все расточники нашего участка. — Это он подчеркнул. — Сначала мы их выпускали по десяти штук в месяц, потом по тридцати пяти — сорока, а потом по семидесяти и восьмидесяти. И все на той же производственной площади. Впоследствии я даже не уставал в цеху. — Гегин уже забыл о взятом им вначале тоне, он увлекся. — Я чувствовал себя совершенно свободно. Станок работал, а мое дело было только его контролировать. Я мог стоять и мечтать о полете на Луну. Честное слово!

Это вышло у него так непосредственно, что многие засмеялись. И сам он — тоже.

— Нет, правда...

— А препятствий вам не чинили, тормозов не было? — спросил кто-то.

Он махнул рукой.

— Что прошлое вспоминать! Мы и редукторов этих теперь не делаем. Передали на Луганский завод. Дело в принципе, в методе.

— Вы о нем поподробнее.

— Наши приспособления были несложные... Вот, например...

Начался чисто технический разговор. Он был для меня малопонятен, но сам человек меня заинтересовал. В перерыве я к нему подошел.

Гегин стоял в коридоре, в кругу людей, еще возбужденный, не остывший от выступления. Выждав момент, я спросил:

— Так ли я понял вас: вы проработали на заводе много лет, но не были ни рационализатором, ни изобретателем, пока не столкнулись с этим редуктором?

— Совершенно правильно, — подтвердил он с готовностью и даже будто бы с удовольствием.

— Значит, это ваше первое начинание?

— Правильно, первое, — опять подтвердил он. — А как в природе бывает, знаете? Теплой осенью стоит, стоит куст и вдруг зацветет.

Он взглянул на меня сбоку: мол, что ты на это ответишь? Но тут зазвенел звонок. надо было садиться на место.

Может быть, эта встреча так и осталась бы без следа, но через несколько дней судьба свела нас снова, совсем в другом конце города — в Автове, в молодом сквере, где стояли тонконогие, как жеребята, клены и топольки, подвязанные к кольям.

Евгений Сильвестрович шагал по дорожке с круглощеким плотным малышом на руках.

— Парень? — спросил я, когда мы поздоровались.

— А как же, — отвечал Гегин с шуточной своей интонацией. — Нас по носу видать, что мы — парень. Верно, Саша?

Но Саша только солидно посапывал.

— Подождите, скоро мы научимся говорить. Мы тогда вам на все вопросы ответим.

— У вас много детей?

— Двое. Сын в восьмом классе, а дочка замужем.

Мы встретились взглядами, и он вдруг залиvisto засмеялся, откидывая назад голову, показывая оба ряда ровных, крепких зубов.

— Так ведь это внук мой! Я уже дед. А вы что подумали?

С этой встречи и завязалось наше знакомство. Постепенно я узнал от него много всяких историй, касавшихся как его самого, так и других людей. Одна из них — история Юрия Смышляева.

* * *

Юрий — племянник строгальщика Александра Федоровича Бродилина. Отца своего он не знает, живет у матери-одиночки. Александр Федорович обратился к администрации, и, уважая его, племянника взяли учеником слесаря. Юрию было тогда шестнадцать.

Больше года он работал неплохо, потом вдруг прогулял. Два дня гулял, на третий явился.

В дощатой конторке начальника, тут же

возле станков, собрали людей со всего участка, всех, кто был в наличии. Пришел, конечно, и Гегин. Тогда он впервые как следует рассмотрел этого Юрия.

Парень был небольшой, худощавый, черты лица приятные. Вежливый.

Критиковали его сильно.

— Ты гнилое яблоко, тебя надо прочь из кучи!

— А ведь ты мог бы в почете быть!

— Чего тебе не хватает? Зарабатываешь для своих лет прилично, работа интересная.

— Желания у него нет, вот в чем дело!

Гегин спросил его:

— Что заставило тебя стать на ложный путь?

Профорг Вася Гусев в таком же роде задал вопрос:

— Может быть, ты в плохую компанию попал? Расскажи.

Юрий отмалчивался, каждое слово из него вытягивали.

— Я проспал один день. А после того решил совсем не выходить на работу.

Гегин не часто выступал на собраниях, хотя тот же Гусев каждый раз подбивал его. В этот раз он поднялся без приглашений.

— А как же другие десятками лет работают и ни разу не просыпают? Свой будильник каждого поднимает, ни одной лишней минуты лежать не дает. Ты знаешь, как называется этот будильник? Как же ты думаешь дальше жить?

Ни на кого не глядя, Юрий пробормотал, что дает слово больше не нарушать дисциплину. Люди решили: все-таки дошло до него! А он отработал смену и снова на завод не явился. На другой день — опять.

На третий день Вася Гусев попросил Гегина:

— Давай, Евгений Сильвестрович, мы с тобой к нему съездим.

Гегин уже привык к тому, что с общественными делами его не забывают. После работы отправились втроем: Вася Гусев, Гегин и мастер Лонин. Начальник участка поручил им: если нет у Смышляева уважительных причин, составить акт, и тогда будет дан приказ об увольнении.

Добравшись до места, постучали несколько раз в комнату к Смышляевым. Сначала послышался звон матрацной пружины, затем по полу прошлепали босые пятки, и уже потом в дверях появился Юрий. Лицо у него было заспанное. Впустив посетителей, он опять лег ничком, бдетый, на нерасстеленную кровать.

— Глядите-ка! — засмеялся Вася Гусев. — Не отстаёт от моды.

Черный свитер на Смышляеве был надет задом наперед. Вышитые на груди оленя очутились на самых лопатках.

— Теперь они все так носят под пиджаком. С рисунком считается у них теперь не модно.

Мастер Лонин сказал:

— К нему пожилые люди пришли, а он... Ты что — больной?

Парень неохотно поднялся и сел на стул.

— Что ты спишь в такое время? — опять спросил Лонин.

— Я пришел домой в пять утра.

— Где ты был?

— С товарищами.

— Почему ты не ходишь на работу? — прикрикнул Вася Гусев. — Мы за тебя беспокоимся, а ты нас позоришь, ты на весь коллектив пятно кладешь!

— Ты же еще пацан, у тебя вся жизнь впереди. Люди стараются помочь тебе, а ты...

Смышляев, как и тогда на собрании, отвечал принужденно, опустив глаза:

— Я был с товарищами.

— Какие же это, к черту, товарищи — до пяти утра!

— А вчера почему прогулял, позавчера? Почему не сдержал своего слова, которое дал коллективу?

Но чем больше они его ругали, тем он как бы все дальше отдалялся от них, тем все выше росла разделявшая их преграда, и слова отскакивали, ударяясь об эту глухую преграду.

Над кроватью висел женский портрет. Женщина была молодая, с тонко очерченными ноздрями, мягкой улыбкой и удлиненным разрезом глаз.

Гегин внимательно посмотрел на Юрия. У того были точно такие глаза и улыбка. Гегин спросил:

— Мать где работает?

— Мама? На текстильной фабрике. Табельщица.

— Рублей шестьдесят получает? Уволят тебя — на ее зарплату гулять думаешь?

Юрий съезжился и ничего не ответил.

— Чтобы завтра за десять минут до звонка явился к начальнику участка, — строго сказал мастер Лонин. — Там будем решать, что с тобой делать. Лично мне вопрос ясен.

Уходя, на лестнице, они встретили мать. Она медленно поднималась. Голова ее была совершенно седая.

Все же Гегин сразу узнал ее: лицо, все, что в нем привлекало, почти не изменилось. Лицо было еще молодое, а волосы белые. И одышка. Видно, начало сдавать сердце.

Остановились, заговорили. Улыбка ее сделалась растерянной.

— Юра каждое утро уходил, будто бы на работу. Я верила, что на работу. Что с ним случилось — не могу понять. Но вы, пожалуйста, не оставляйте его, не бросайте на произвол судьбы!

На улице, когда прошли с полквартила, Гегин сказал:

— Благородное, но беспомощное существо.

— Да-а, — протянул мастер Лонин. — Одним словом, мать-одиночка. — Он помолчал, помялся. — А как, товарищи, насчет акта? Будем акт составлять?

— Обязательно, — отвечал Гегин. — О том, что целая комиссия, целых три дея-

теля, не совладали с одним парнишкой. Не смогли разобраться, что с ним такое и почему.

По предложению Васи Гусева, решили зайти в отделение милиции: пусть посмотрят за парнем, это не помешает. Парень растет без отца, без мужской руки.

Пожилой капитан, помощник начальника отделения, выслушал их и принял его вежливо разъясняя: у милиции нет оснований вмешиваться. Хорошо, допустим, можно попробовать припугнуть. Можно послать ему на дом повестку или даже пригласить через квартального. Но эта распушенная молодежь хорошо знает законы. Захочет — придет в отделение, а нет — не придет. Принудительно приводить его мы не имеем права.

С тем они и ушли. Назавтра Юрий в цех опять не явился.

Гегин снова поехал к нему, уже один, съездил раз, и другой, но ни разу дома не застал, разговаривал только с матерью.

— Я ничего не могу с ним поделать, — жаловалась она.

А через неделю в цех поступило письмо из того же отделения милиции: слесарь Смышляев в нетрезвом виде выражался нецензурными словами, учинил в квартире скандал. Милиция просила разобрать дело в товарищеском суде. Но какой мог быть товарищеский суд, если Юрия к тому времени уволили?

— Вот как иногда бывает, — заключил Гегин, рассказав мне эту историю. — Ведь парень может пропасть. Окончательно может сбиться с пути. Кто тогда виноват будет?

Не прошло и недели, как я узнал, что Гегин решил опять съездить к Смышляеву.

— Может быть, дойдет все-таки до его сознания? Как вы думаете?

Я вызвался в попутчики.

И вот мы с Гегиним шли по Лиговке. Был голубой и радостный апрельский денек.

Во всем Ленинграде нет, кажется, другого такого района, как Лиговка и прилегающие к ней улицы. Нигде, пожалуй, не сохранились так ощутимо следы старого Петербурга: мостовые из крупного булыжника и угрюмые дома с тяжелыми арками, под которыми всегда полутемно и сыро, с тесными каменными дворами.

В одном из таких домов и живут Смышляевы.

Мы поднялись по лестнице с выщербленными ступенями. На площадке пятого этажа была полуоткрыта одна дверь. Из-за двери выглядывала женская голова, низко обвязанная белым платком. Концы узла надо лбом длинно торчали в разные стороны, настороженные, точно уши.

— Вот эта квартира, — сказал Евгений Сильвестрович. — Не закрывайте, гражданка, мы к вам.

— К кому это?

Тон ее был не очень приветливый.

— К Смышляеву Юрию.

— Его дома нет.

— А мать?
— И матери нет, не приходила.
— Вот неудача! — Гегин был огорчен. — Как же так? — по-прежнему дружелюбно обратился он к женщине. — Ведь сегодня суббота, короткий день!

— А вы откуда? По какому делу?
— С Кировского завода мы. Интересуемся, поступил ли куда Юрий. Как работает, каково его поведение.

Женщина с решительным видом шагнула к нам на лестничную площадку, на три четверти притворила за собой дверь, а оставшееся незащищенным пространство загородила спиной и скрестила на груди руки. Лицо ее моментально преобразилось. Нос вздернулся. Углы рта заострились. Один изогнулся книзу, другой полез кверху. Нацеленные на нас глубоко сидевшие глазки засверкали.

— Как рабо-та-ет? — по слогам переспросила она. — А никак не работает! Утром уходишь — он дома, приходишь — опять дома. Дружки-товарищи у него каждый день. А то и девочки бывают...

Последнее было произнесено с игрой в голосе поистине артистической. Я, мол, больше ничего не скажу. Да, да, вот именно!

Один глаз ее многозначительно сузился. С победоносным видом она смотрела на нас этим суженным глазом.

— А сама приходит неизвестно в каком часу. Вот вам, пожалуйста: на заводах давным-давно кончили, а ее до сих пор нет. Где гуляет, скажите, пожалуйста?..

Она обращалась теперь не только к нам, но и к дверям соседних квартир, к уходящему вниз темному лестничному проему, к самим стенам этого дома.

— Это неверно, — перебил ее Гегин. Он нахмурился. — Зачем вы так говорите! Ольга Павловна работающая женщина.

Та словно бы только и ожидала этого. Ее брови вспрыгнули на самый лоб. Сила звука возросла еще более.

— Ра-бо-тящая?! А вы помните, какой сегодня день? Ну, что? Ваши жены дома, небось, сейчас гоношатся, а у ней квартира до сих пор неубранная. Ну что? Бывало, я в этот день или накануне еще, в пятницу, свой коридор вымою, на площадку выйду и давай площадку мыть. Потом лестницу — до четвертого этажа. А кто на четвертом живет, те за мной продолжают мыть до третьего. А кто на третьем — до второго... Теперь мне говорят: почему, Клава, не начинаешь? А зачем я начинать буду, если ее уборка? Что, я обязана грязь за всех вывозить?

Мы уже спускались вниз, мы уже скрылись с ее глаз, но сверху все еще несся голос, заполнявший все лестничное пространство:

— За свет, за газ не вовремя платит... Такой день, а ее дома нет.

На улице по-прежнему голубело. Солнце сверкало на стеклах трамвая и автобусов. У перекрестка, сразу на двух лотках, бойко торговали свежей корюшкой, и сыроватый сладковатый запах этой нев-

ской рыбешки, тоже сверкавшей в руках продавцов, распространялся далеко вокруг, напоминая всем и каждому, что пришла весна.

Старый район Лиговки реагировал на ее приход, наверно, точно так же, как и современные озелененные кварталы за «Электросилой» или в Новой Деревне.

Навстречу нам оживленными группами двигалась молодежь, должно быть студенты. Юноши — в укороченных по моде плащах и, конечно, с непокрытыми головами, кудлатые; девушки — в светлых туфлях на каблучках-полугвоздиках.

Мужчины пенсионного возраста, выносившие из молочного магазина кульки с творогом и бутылки кефира, шествовали еще в зимнем, но и на их непреклонных лицах появилось какое-то потепление, в глазах засветилось нечто, казалось бы, уже навсегда ими утраченное.

Мамы и бабушки вели за руки детвору в меховых шубках, в ярко-синих, ярко-зеленых, розовых, голубых рейтузах. Будущие наладчики цехов-автоматов, мастерицы и мастера ателье бытового обслуживания, лаборантки завода нуклеиновой кислоты, сменные операторы у термоядерных установок и работники торговой сети блаженно щурились на солнце, принимая окружающий мир таким, каков он есть.

Возвращались с работы служащие. Женщины прямо с трамвая ныряли в продовольственные магазины, ими владели уже завтрашние заботы: семья захочет обедать и в воскресенье.

У киоска «Союзпечати» выстраивались за «Вечеркой». Газету еще не привезли, но очередь все росла: что там на Кубе? Что в Кенго?

На этой весенней Лиговке, в этой движущейся толпе, в живой, неудержимо текшей реке мы вдруг увидели двух женщин, еще не старых. Они тоже куда-то шагали по тротуару, обе степенные, прибранные. В руке у каждой белел чистенький, аккуратный узелок. Сквозь салфетку отчетливо вырисовывалась тарелка, а на тарелке стояло что-то высокое, круглое.

Женщины направлялись в церковь святить куличи. Мы сообразили это в один и тот же момент и невольно переглянулись — так вот почему наша недавняя собеседница подчеркивала: «Вы помните, какой сегодня день? Такой день, а ее дома нет». Завтра пасха!

— Вот она, святость! — усмехнулся Гегин. — В узелок завязали ее и несут. Разве в этом заключается святость? Она должна быть в душе, в самом человеке. Это его сознательность, совесть.

Он кивнул в сторону дома, из которого мы только что вышли, в сторону той — на пятом этаже.

— Там вон тоже праведница. Все церковные праздники соблюдает и лестницу до костей трет, а сама...

Не сговариваясь, мы с ним двигались по направлению к автобусной остановке: здесь нам делать больше было нечего, надо было уезжать-

— Насчет Ольги Павловны я и не сообразил сразу: ведь у нее на Старом Невском сестра больная. После работы она иногда еще к сестре заезжает.

Обогнав нас, пригибаясь под своими рюкзаками, походным шагом прошагала по обочине тротуара в сторону Московского вокзала четверка парней в синих бумажных свитерах и в синих же вязаных шапочках с помпонами. Из недр парикмахерской выходили на свет обработанные клиенты. Они появлялись в дверях в облаках цветочного одеколона, почти полностью преображенные: как известно, у свежесбритых даже настроение улучшается.

У Евгения Сильвестровича оно, наоборот, ухудшалось. На ходу он размышлял вслух:

— Мое выступление на собрании насчет Юрия было правильное, и уволили его за прогул тоже правильно. Верно? Теперь дальше. В милиции нам ответили, что по закону вмешиваться нет оснований. Законы им, конечно, известны. Потом милиция к нам обратилась, к нашей общественности, а мы отписали: Смышляев к нам больше отношения не имеет. Опять вроде правильно?

Мы уже стояли у автобусной остановки. Он продолжал, не смущаясь тем, что рядом начинают прислушиваться:

— Выходит, все правильно и по закону. А какой результат? А ему, может быть, только и надо, чтобы поговорили о нем. Но не так, что ты, мол, еще пацан, ты ничего не понимаешь, и не как оратор с трибуны, а как мы с вами, как человек с человеком. Мы же ничего не знаем — почему он бросил работу, что за причина?

* * *

После поездки на Лиговку я и задал ему вопрос, давно меня интересовавший: как случилось, что он стал новатором на пятом десятке лет? Что его подтолкнуло?

— Разговор сложный, — дипломатично ответил Гегин. — Непростой разговор.

И замолчал.

Однако, по-видимому, мой вопрос что-то задел в нем.

— Тут ведь надо с предыстории начинать. Осветить все предшествующие события и отношения между людьми. — Он еще продолжал раздумывать.

Опять помолчал.

— Вы, случайно, Соколова Николай Николаича не знаете? Дежурный механик у нас в цеху. Как бы вам его описать? Светло-русый такой, худощавый... Я вас с ним познакомлю. Замечательный товарищ! Мы с ним на одном станке несколько лет проработали. Два сменщика. Дружба у нас с ним была огромная. Прямо как в романе.

Пошутил и засмеялся.

— Нет, серьезно... Я его в два раза старше, то есть, значит, в отцы ему го-жусь, но мы обо всем постоянно советовались и разговаривали, как брат с братом. Норму, конечно, перевыполняли.

В общем, считались по цеху передовыми людьми. По тем временам... А что значит — передовой человек? Вы задумывались? Вот я такой пример приведу из жизни...

Гегин оживился.

— Во время войны, когда мы на Урале были в эвакуации, в нашем тогдашнем цехе почти все станочники норму перевыполняли. По тысяче двести и больше рублей зарабатывали. Инструмента не доставало, неполадки были разные на производстве, но, несмотря ни на что, каждый изо всех сил тянулся, потому что для фронта работали, для победы. Но бывало, отстоит человек двенадцать часов за станком и идет на рынок. Там три рынка было: у Тракторного завода, у элеватора и так называемый Зеленый. Чуть не половина рабочих каким-нибудь промыслом промышляла. Кто зажигалки делал, кто мундштуки или ложки, а кто табаком или семечками торговал. У железнодорожников, у знакомых проводников брали по десяти рублей стакан и продавали тоже по десяти, только стакан, которым меряли, поменьше был. Понятно вам? Что человека на это толкало? А вот что. Он тысячу двести заработает, а триста двадцать с него удержат как военный налог, двести — как подоходный. В аванс получали пятьсот на руки, в получку — двести, двести пятьдесят. А на рабочую карточку выдавали по восемьсот граммов хлеба, и ничего больше. В столовой щи из хряпы варили, да еще иногда по кусочку селедки перепало. А ведь он не один, у него семья... Я тоже на эти рынки похаживал.

Гегин принужденно раздвинул губы, усмехнулся.

— Как хотите, так и судите, я откровенно рассказываю. Бывало, зима, мороз, ветер пальтишко насквозь пробивает, а ты стоишь со своим товаром, не уходишь. А вся корысть какая была? Прикупить на том же рынке банку американской свиной тушонки, чтобы свою семью и себя поддержать. Эту тушонку, в насмешку, «вторым фронтом» называли, — на самом деле второго фронта еще не было. На заводе сквозь пальцы смотрели на наши промыслы, потому что нужда человека на рынок гнала. Это верно, нужда. Ну, а все-таки, если по совести... Могу я сказать про себя, что передовым был, хотя норму каждый месяц перевыполнял?

Как и в тот раз, на Лиговке, когда мы с ним говорили о Юрии, Гегин спрашивал не меня, а себя. Казалось, у него накопилась уйма вопросов, в которых он хотел разобраться.

— Так вот насчет предыстории, то есть, значит, предшествующих событий... Все у нас с Николай Николаичем шло хорошо, и вдруг с участка снимают один крупный заказ. А нового не дают. Верно, с других участков подбрасывают разную мелочь. Конечно, ни один начальник выгодного заказа на сторону не отдаст... Начинаются у нас простои. Кто

позубастее, тот хоть напором брал, требовал, чтобы обеспечивали работой, а я лично напором брать не привык. И вот из лучших начал я скатываться в худшие люди.

Он так и выразился — «в худшие люди».

— А что вы думаете? Если сегодня норму не выполняешь, завтра не выполняешь и послезавтра тоже, знаете как на тебя смотрят? Пусть у тебя хоть тысяча объективных причин будет — неважно. Ты и сам на себя уже по-другому начинаешь смотреть. И тогда со всех сторон на тебя начинают сыпаться неприятности. Будто на бедного Макара.

Как всегда бывает, главная неприятность обрушилась на него с самой неожиданной стороны.

И так и этак разглядывал перед собой Гегин подклеенный к расчетной книжке свежий листок. «Вид оплаты или удержаний»... «Фактические часы»... «Сумма начислений»... И — «к выдаче»...

Нижняя строчка цифр в последней графе была явно неправильная. При всех простоях он заработал гораздо больше.

В это время по пролету между станками проходил старший мастер. Ну, он-то разберется, конечно! Подойдя к нему, подавая расчетную книжку, Гегин еще пошутил: «Что-то не в ту сторону счетно-электронная машина стала крутиться». На заводе своя счетно-электронная станция. «Может, возьмем ее к нам на участок, подремонтируем?»

Старший мастер был человек новый, Гегина он не знал. К тому же он, по всей видимости, опасался за свой авторитет, хотел с первых же дней показать себя волевым, твердым администратором. Он только взглянул на листок, в эту самую графу — к выдаче. «Что, мало? Надо лучше работать. Мы только за работу платим».

— Вот так он меня подбодрил!

Гегин громко засмеялся, откидывая назад голову.

— Выходит, я не заработал, а руку тяну. Понятно вам? Я ему даже не смог ничего ответить. Иду потом с завода домой и думаю: весело! Доработался, заслужил...

Гегин опять засмеялся, но кого мог бы обмануть этот смех!

— А у Николая Николаича своя предыстория была...

Тем же веселым голосом Гегин принялся рассказывать о столкновениях Соколова с бывшим начальником участка Селовым.

Об Александре Федоровиче Селове говорили в цехе, что если он что решит, то своего добьется. Товарищ молчаливый, но настойчивый. Ты хоть головой об стенку бейся — он и глазом не моргнет, не дрогнет. А Николай Николаич, наоборот, горячий, чуть что — взрывается.

— Один раз в цеху начали делать прививки, — уж и не помню, против чего. На эту штуку охотников мало. У меня лично от этих уколов температура чуть не до тридцати девяти градусов поднимается.

«Ты колоться пойдешь? — спрашивает меня накануне Николай Николаич. — Нет? Ну и я тогда не пойду». Назавтра, как раз перед сменой (я только что отработал, а Николай Николаичу начинать), приходит Александр Федорович и сразу административным голосом: «Соколов — в красный уголок на прививку». Если бы он и мне то же самое приказал, ничего бы не было, но тут самолюбие у Николая Николаича вспыхнуло. «Не пойду, не имею такого желания». Молодежь — она ведь очень чувствительна к таким вещам. «Нет, пойдешь!» — «Не пойду!» — «Тогда собирайся домой». Мой Сокол с решительным видом надевает пиджак и уходит. А станок остается стоять. На другой день, в то же время, Селов опять является. «Соколов — на прививку». — «Не пойду». — «Тогда отправляйся домой». И опять Сокол надевает пиджак. Тут я серьезно забеспокоился. Умные люди, а из-за своих характеров делают такую глупость. Начинаю действовать как дипломат. Одному говорю: «Подумай, ведь ты больше всех проигрываешь, ты ничего не зарабатываешь». Потом к другому иду: «За отказ от прививки можно взыскание наложить, но домой отправлять — это где же видано? Ведь от этого производство страдает». Селов подумал, похмурил свой лоб и согласился: «Верно». С виду я вроде бы урегулировал этот конфликт, но отношения между ними стали еще больше натянутыми. И вот один раз прихожу в цех и узнаю: Соколова перевели на другой участок. Товарищ Селов, значит, твердой рукой поставил точку.

Гегин поглядывал на меня и улыбался.

— Вот теперь вы немного себе представляете, какая складывалась обстановка, кто чем дышал и какое у нас с Соколом могло быть настроение. А то некоторые считают, что на производстве люди только о выполнении плана думают. Конечно, план — это главное, но помимо этого иногда такие разгораются страсти. Как в романе, честное слово!

* * *

Оставшись один, без Соколова, Гегин твердо решил уйти. Столкновения со старшим мастером больше не повторялись, но все равно ему теперь здесь не работалось. Не лежала душа.

Как раз в эти дни в цех явилась бригада слесарей-монтажников; начали снимать одни станки, другие — ставить. То и дело мостовой кран пронесил вверх громоздкие многотонные грузы; их неуклюжие тени тяжело скользили по полу, по людям. Гегин сказал бригадире:

— Вы что тут, друзья, затеваете? Хотите у нас все оборудование краном вытаскать?

Тот отвечал ему в тон:

— Все не все, а половину придется. — И добавил уже серьезно: — Новый участок здесь будет. Разве вам не известно?

Не зная зачем, для чего создается новый участок, даже не поинтересовавшись

этим, Гегин решил: вот подходящий случай!

Начальник цеха охотно наложил резолюцию на его заявление: «Перевести». Под горячую руку Гегин тотчас же перебрал на новое место свое имущество — инструментальный ящик — и пошел к другу, чтобы рассказать о своих новостях. Станок Соколова находился теперь в дальнем конце цеха.

Николай Николаич крепил деталь, которую собирался обрабатывать. Еще не шлифованная сталь была тусклой, как бы неживой. Тут же, на столе станка, лежал чертеж. Занятый делом, Николай Николаич и не заметил, как подошел Гегин, а тот молча наблюдал за ним. И Гегин увидел, как сильно похудел его друг за последнее время. Вид у него совершенно измотанный.

Да и как ему было не измотаться! Он поступил в вечерний техникум, а работал в три смены. Иногда сразу же после лекций вставал за станок. Отработав ночь, не отдохнув как следует (Соколов жил в общежитии), вечером опять шел на занятия. А в ночь — опять в цех.

Гегин постоял, понаблюдал, потом подошел поближе.

— Значит, в одиночку страдаем? Давай-ка, друг, опять страдать вместе, может быть, лучше получится. Иди просись к нам, пока людей не набрали.

Так они оказались снова на одном участке и на одном станке, и все опять наладилось.

Станок работал отлично, заказ был подходящим: небольшие редукторы для тепловозов. Оба друга шли в ровном, хорошем темпе. Ими были довольны, и они — тоже.

Гегин работал почти постоянно вечером. Утро он уступил Николаю Николаевичу — ведь тому надо было посещать техникум. Лишь время от времени Соколов переходил на недельку в вечернюю смену, чтобы Гегин мог выспаться: Гегина подводила привычка открывать глаза все равно в шесть часов, во сколько бы они ни лег с вечера — в десять или в двенадцать.

Потом появился новый заказ — крупные редукторы. Стало известно, что участок и создан для этих крупных редукторов. Паровозы отжили свое. Харьковский паровозный завод переходит на новую технику — на строительство тепловозов. Перестройка на полном ходу — дело сложное. Правительство решило в помощь Харьковскому подключить Кировский завод. Кировская марка всегда высоко стояла, кировцы любые задачи решали.

Плакаты на стенах и «молнии» призывали быстрее наладить выпуск крупных редукторов. О крупных редукторах писала газета «Кировец». Профсоюзная организация оформляла социалистические обязательства станочников.

Профорг Вася Гусев подошел и к Гегину. Гегин только развел руками и отвернулся: еще накануне, начав расточку, он

обнаружил, что ни чистоту обработки, ни точный размер дать не может. Мелкие редукторы прекрасно шли на его станке, а крупные — ни в какую. Станок был маломощный, не рассчитанный на такую нагрузку. Очевидно, его по ошибке поставили на этот участок. Не так кто-нибудь спланировал — и пожалуйста.

Снова Гегин и Соколов оказались в хвосте. Кругом люди работали, а они стояли.

Начальник цеха прислал к ним слесарей. Слесари осматривали станок, как врачи — тяжело больного, и ничего придумать не смогли.

Приходили расточники с других участков. Один то советовал, другой — другое. Гегин понимал: сочувствуют ему.

Создалось прямо критическое положение. Приближалась получка, а получить нечего.

Каждый день, придя на завод, предъявив в проходной пропуск, Гегин с тяжелым сердцем шагал по широкой асфальтированной магистрали, вдоль которой справа и слева стоят большие портреты передовиков производства. Лица с плотно сомкнутыми губами — и добродушно улыбающиеся; молодые — и с оплывающими, морщинистыми щеками. Сталевары, кузнецы, инженеры... Он знал почти каждого, и все они смотрели на него, пока он проходил мимо.

Гегин шел потом вдоль заводского сквера, на котором летом росли цветы, а теперь лежал снег, всегда густо задымленный, ноздреватый, забрызганный грязью.

В отдалении стояли здания, большей частью из красного кирпича и тоже задымленные. От них пахло горячей окалиной, чугуном, машинным маслом и еще каким-то чисто заводским запахом. Это были цехи, изо дня в день вершившие свои нелегкие трудовые дела. Они тоже являлись живым укором Гегину.

Через две недели начальник цеха распорядился перевести гегинский станок снова на мелкие редукторы. А для этих мелких уже создали большой задел, готовые детали лежали на складе: цеху в первую очередь нужны были крупные редукторы. Часть крупных даже перебросили для расточки на другие участки — вот какая создалась острота положения, но Гегин и Соколов оказались теперь в стороне.

Зато они снова начали перевыполнять норму.

— Опять, значит, выходим в передовики. Чувствуешь, Николай Николаевич? Как в романе, честное слово! Вон какие пошли проценты...

Николай Николаевич молчал.

Да, проценты теперь никого не могли ввести в заблуждение. Теперь были не прежние времена, люди научились смотреть в корень.

С усмешкой вспоминали в цехе один из эпизодов прошлого — как раз насчет процентов.

До войны здесь работали два долбежника — Петров и Харитонов. Они работали

на одном станке, но люди были разные. Харитонов никогда не забывал о рубле, а Петров любил славу. Он ставил рекорды. И вот как.

Производство в цехе было не массовое, не серийное. Нормировщик учитывал, что рабочему надо сходить в кладовую и получить инструмент, потом надо установить резец на станке, а предварительно — как следует изучить чертеж. Одним словом, времени на подготовку тратили много, а обрабатывать приходилось всего три-четыре детали. Потом получай новый чертеж и начинай все с начала.

Нормировщик давал по часу на каждую деталь.

Харитонов был человек разворотливый. Другой только в очереди у окошка кладовой стоит, а он уже весь инструмент получил и у станка орудует. Другой только резец устанавливает, а Харитонов уже почти закончил первую деталь. Он ни минуты не тратил зря.

А Петров получит чертеж и начинает прикидывать: что можно придумать, чтобы, например, не одну деталь на станке поставить, а все четыре, какие ему поданы? Голова у него была неплохая.

И вот сделает он приспособление, установит резец, закрепит сразу четыре детали, одним словом, все подготовит и зовет мастера. «Сколько мне времени отпущено, знаешь? Засакай!»

Тут, тук, тук... Готово! Восемь секунд...

От станка он шел прямо в радиоузел. Там его уже поджидали. Из радиоузла по цехам передавали сообщения: сегодня товарищ Петров показал производительность труда столько-то процентов.

Он и по тысяче процентов показывал, и по две тысячи. Весь секрет заключался в том, что время, которое шло на подготовку рекорда, не учитывали.

Кончался месяц, бухгалтерия начинала подытоживать заработки. У Харитонova выходило тысяча двести — тысяча триста рублей, а у Петрова чуть не вдвое меньше, «голый тариф», потому что, пока он хлопотал со своими рекордами, ходил, выступал по радио, станок его стоял.

Чтобы как-нибудь сгладить картину, Петрову доплачивали. Случалось, и «липовый» наряд выписывали: руководители были заинтересованы в его «рекордах». Не только цеховые, но и заводские руководители. Петровская слава была им нужнее, чем ему.

Да, теперь люди больше стали смотреть в корень вещей.

Приблизительно в те же дни, когда Гегина с Соколовым снова перевели на рабочую мелких редукторов, токарю Рыбкину дали для обработки большую партию одинаковых деталей.

Мужчина бывалый, Рыбкин быстро сообразил всю выгоду своего положения. Он не стал возиться с каждой деталью поодиночке. Настроил станок и наладил дело как на конвейере: сделает часть операций, обработает наполовину деталь, снимает ее и ставит следующую.

План у него был простой: прогнать одну за другой все детали, перестроить станок на последующие операции, еще и еще раз прогнать, — и пожалуйста, к концу месяца он сдаст всю партию. Подсчитывайте проценты и вывешивайте фотокарточку новатора на доске почета.

Неожиданно дело приняло иной оборот. На сборке потребовались рыбкинские детали, а готовой не оказалось ни одной: все в работе. Мастер приказал Рыбкину срочно закончить начатые, но тот поднял шум: ломался его конвейер, трещали его большие проценты, уплывали уже сосчитанные рубли.

Пришлось пригрозить ему увольнением. В той же конторке начальника созвали собрание участка. И ни один человек не встал на защиту Рыбкина.

Конечно, Гегина и не думали сравнивать с Рыбкиным. Никто не упрекал его, да и не мог упрекать: разве он получал деньги не за работу? Разве он был виноват в том, что не так спланировали, что его станок не брал крупных редукторов? Никто ни в чем не обвинял Гегина. А он сам?

Прежде он хвалился:

— Я с завода ничего в голове домой не ношу. Как из проходной выхожу, так сразу изо всех заводских дел выключаюсь. Человек ведь не может жить только работой, верно?

Прежде он в свободное время английским языком увлеклся. Накупил адаптированных книжек десятка два. Ему легко давался английский язык.

А в последние годы занялся коллекционированием. Вступил в члены общества коллекционеров, стал собирать цветные открытки, почтовые марки.

Теперь он вдруг охладел к этим занятиям. Начал не в меру часто подшучивать над Николаем Николаевичем, а заодно — и над собой, конечно:

— Лежит наш хлеб, а его взять не можем. Руки коротки.

* * *

Один раз во сне что-то его толкнуло. Гегин проснулся.

Это не было обычным утренним пробуждением, когда можно не смотреть на часы, а нужно быстрее спускать ноги на пол: смотри не смотри — шесть уже есть. По тому, что только стул смутно чернел возле кровати и больше ничего не было видно в комнате, а главное — по тому, что он проснулся не сам, а его толкнуло, Гегин сообразил, что еще ночь. И как только сообразил это, сразу вспомнились все дела, все последние события.

Обманывая сам себя, он прикрыл глаза, но перед ним тотчас же возник чугунный темно-серый корпус крупного редуктора, суженный наверху и сразу же расширяющийся, с перехватом посередине; не квадратный, не прямоугольный и не круглый, похожий только на самого себя. Быстро вращаясь, резец на длиннущей — чуть не

В три четверти метра — оправке мягко проходил переднюю стенку.

Передняя каждый раз дается легко. Чехарда начинается в тот момент, когда, уйдя глубоко внутрь корпуса, резец упирается в заднюю стенку и начинает растачивать ее.

Так и есть! Посторонний человек, может, и не заметил бы, а Гегин слышит, что уже началась вибрация, началось бие-ние. Захлебывается станок.

Лежа в темноте ночи, Гегин перебирал в уме все разговоры — что наладчики советовали, что расточники. Перебирал и одно за другим отбрасывал: не то, и это не то, и это...

И вдруг его озарило. Простейшая мысль! Почему она прежде не приходила? Станок не берет крупный редутор потому, что маломощен, не рассчитан на такую нагрузку. Это так, это верно. А если уменьшить нагрузку, если, допустим, ее разделить пополам?

Ему даже стало жарко. Теперь он сознательно вызвал в своем воображении корпус крупного редутора, и тот не замедлил появиться, закрепленный на столе станка. Опять резец начал мягко растачивать переднюю стенку.

Но как только он прошел ее, Гегин остановил станок. Остановил и повернул стол на полные сто восемьдесят градусов.

Да, конечно, именно так! Не сразу навсквозь растачивать, а в два приема — с одной и с другой стороны. Как метростроевцы под землей тоннели друг другу навстречу ведут. Тогда не нужно и такой длинной оправки.

Охваченный не изведанным прежде, неизъяснимым чувством, от которого даже мурашки забегали по спине, лежал Гегин, стараясь не ворочаться, чтобы не разбудить жену. Голова никак не выключалась и работала на полных оборотах. Да, конечно, нужно дополнительное приспособление. Не только на переднюю стенку ко-пир, но и на заднюю.

Ему хотелось поскорее начать действовать, а ночь все не уходила и не уходила, небо за окном серело медленно, неохотно, — осенью в Ленинграде светает поздно.

В цех Гегин явился с утра, хотя его смена была вечерняя.

— Ну, Николай Николаич, хлеб в наших руках!

Соколов с удивлением поднял голову от станка: таким он друга еще не видывал. Гегин принялся объяснять свою идею.

— Вот наш единственный якорь спасения...

Соколов понял с налета.

— Правильно, Женя!

— Надо в бриз предложение подавать. Черты срочно чертеж, ты в этом деле профессор. Надо так оформить, чтобы комар носа не подточил.

На следующий день они вручили письменную заявку белокурому юноше в очках — цеховому инженеру по бризу. Юноша прочел ее и деловым шагом пошagal к выходу, к вестибюлю.

Лестница из вестибюля ведет на второй и на третий этаж, где работают инженеры отдела главного технолога — группа, прикрепленная к цеху. Они устанавливают порядок и способы обработки каждой детали. Никто, даже начальник цеха, не может ничего изменить в технологии без их согласия.

Редукторами для тепловозов ведал заместитель руководителя этой группы Александр Сергеевич Ганичев. От него и зависела судьба гегинской идеи.

Ганичев — почти одного возраста с Гегиным, худощавый, с волнистой поблескивающей шевелюрой, с внимательным, изучающим взглядом. И на заводе работает приблизительно столько же лет, как Гегин. Есть люди, которые помнят, как его звали здесь запросто Сашкой и как он в этом самом цехе возил тележку с деталями. А потом стал токарем, потом — бригадиром, мастером, начальником участка, словом, шагал со ступеньки на ступеньку. Если спросить о нем Гегина, Гегин скажет: «Это самородок», — потому что образование у Ганичева всего семь классов.

Во время войны они вместе были на Урале. Когда надо было как можно быстрее увеличить производство танков, именно Ганичева назначили технологом по ведущим деталям.

Жена по неделям не видела его. Прибегала в заводскую проходную и звонила по внутреннему телефону: «Ты жив?» — «Жив».

С заданием справился он блестяще. Уральские танки пошли на фронт эшелон за эшелон.

После войны Ганичев начал рваться домой, на Кировский. Телеграмма из министерства не помогала, его не отпускали, оттягивали отъезд. Наконец начальник отдела, в котором он работал, со вздохом сказал:

— Что ж, видно, птицу в клетке не удержишь... Вот чертежи на двенадцать деталей для опытной машины. Организуй дело в цехе. Изготовят их, и ты поедешь.

Работа оказалась очень сложная, она требовала большой точности, а станки были изношенные, устаревшие. За станками же большей частью стояла неопытная молодежь.

Через четыре дня Ганичев доложил начальнику: «Ваше задание выполнено».

Он сам сделал все детали, сам снес каждую в измерительную лабораторию и получил на каждую паспорт.

Таков был человек, от которого зависела судьба заявки Гегина и Соколова, который мог одобрить ее или отклонить.

Ганичев не стал долго томить авторов, это было не в его характере. Взял карандаш и четко написал резолюцию: «Отклонить».

Тот же инженер по бризу, который носил заявку наверх, изрядно смущенный, передал Гегину на словах: все дело в повороте стола, повороте, который он, Гегин, придумал. Он не учел реальных воз-

возможностей расточного станка. То, что Гегин предлагает, требует точности исключительной. Ведь каждая ось, любое отверстие — все должно абсолютно совпасть, как продолжение одно другого. Но пусть Гегин заглянет в заводский паспорт станка — какие там установлены допуски. Тогда ему станет ясно, на что он может рассчитывать. Конструкторы и не думали придавать станку такую точность, какой хочет от него Гегин.

Евгений Сильвестрович выслушал все это и ничего не сказал. Он понял, почему вполне честные, умные люди, знающие и любящие свое дело, иногда вдруг оказываются в положении консерваторов. Очень часто их губит шаблон.

Конечно, если взять вообще расточные станки, спорить с Ганичевым едва ли придется. Но речь шла не вообще о станках, а об одном, совершенно определенном станке, который Гегин знал лучше Ганичева.

Когда Гегина перевели на редукторный станок, он сначала себя почувствовал немного растерянно. Людей на участке еще почти не было. Из расточников — он один, Соколова не сразу оформили.

Расточник один, а станков четыре, выбирать какой хочешь. Но как на глаз выбирать? Попадется плохой — будешь потом мучиться.

И тут Гегин встретил Василия Павловича Анисимова.

В недалеком прошлом Анисимов сам был специалистом-расточником, каких поискать. Не только специалистом, но и работягой, преданным своему делу. В первое послевоенное время, когда заводы спешно начали переходить на мирные рельсы и обстановка стала еще напряженнее, чем в войну, он иногда даже ночевал в цехе. Начальник участка сам ходил на рынок за продуктами для Анисимова. «На, покушай, Василий Павлович, только не подведи, поработай еще сколько сумеешь после смены». Тем начальником был не кто иной, как Ганичев.

За последние год-два знаменитый расточник сильно сдал. Теперь это был далеко не прежний Анисимов. Он похудел, весь как бы ссохся, согнулся. Да и возраст уже стал не тот. Его перевели в наладчики.

Гегин первый увидел Анисимова. Как бы задумавшись, старик стоял возле расточных станков.

Поздоровались. Без долгих предисловий Евгений Сильвестрович попросил:

— Посоветуй, Василий Павлович, какой мне станок взять?

— Тебе? — Анисимов неплохо к нему относился. — Вот этот маленький я для себя ладил. — И показал рукой. — Да мне уж не придется...

Гегин и взял тот маленький. Впоследствии, растачивая мелкие редукторы, Евгений Сильвестрович шутил:

— Только не говорит, а понимать — все понимает.

Стараниями Анисимова станок ока-

зался способным работать точнее, чем было указано в его паспорте. Гегин открыл в нем, так сказать, запас точности. А Ганичев подошел к этому станку как к обычному.

Как ни велик был авторитет Ганичева, как ни велика была его власть, Гегин решил отстаивать свое мнение, он решил бороться. Это был уже не тот человек, который безропотно сдал свои позиции, обидевшись на старшего мастера.

Он обратился к начальнику цеха: «Дайте мне один редуктор на пробу. Только один большой редуктор. Мы с Соколовым его расточим».

Гегин знал, на что шел. Производственный цех — это не опытная лаборатория. Цеху положено выполнять план, выпустить продукцию, а не заниматься экспериментами. В случае неудачи никто не скажет: «Эксперимент не удался». Скажут: «Запорол». Представитель технического контроля составит акт, а бухгалтерия удержит из зарплаты виновного всю стоимость испорченной детали.

Вот на что шли Гегин и его друг.

У начальника цеха положение было не легкое. Москва увеличивала программу по большим редукторам. Директор и главный инженер завода требовали: никаких авралов и штурмов в конце месяца. Сдавать продукцию точно по графику.

И как раз расточные станки были одним из самых узких мест.

Начальник цеха решил рискнуть. Сделать опыт, не говоря отделу главного технолога.

Собственноручно Гегин и Соколов смастерили нужное приспособление — второй копир, начерно расточили с двух сторон один крупный редуктор и отправили в измерительную лабораторию.

Измерительная лаборатория — это служба точности. Толстые стены и массивная дверь ограждают ее от цеха с его шумом, оперативной борьбой за план, за сроки, с его кипением страстей по всяким поводам — и стоящим и не стоящим. Здесь царят спокойствие и тишина.

Но это только кажущееся спокойствие. В тишине сильнее ощущается острота той минуты, когда привезенную на тележке деталь будущей машины поднимают ручной лебедкой в воздух и затем бережно опускают на большой стол с почти идеально гладкой чугунной крышкой. Расставленные на стеллажах, специальных подставках и столиках инструменты и приборы, начиная с простейших и кончая оптическими, проникающими в тайное тайных, в самую «душу» детали, говорят свое «да» или «нет».

Гегину и Соколову сказали «да». Черновая расточка удовлетворительна, можно продолжать обработку.

Опять потихоньку, они расточили редуктор начисто. На этот раз лаборатория долго томила их. Проходили минуты, а ответа не было. Никто не понимал — почему. Лишь после стало известно: ведь лаборатория работает в тесном контакте

мнению, все автоматические линии станут растачивать отверстия только с двух сторон... Двухсторонняя расточка прогрессивна, хотя и несколько необычна. Но все новое необычно. Пройдет немного времени, и она завоюет всеобщее признание».

Да, это был совсем иной Гегин, чем тот, каким он любил иногда представиться.

Одно место в этой статье особенно привлекало внимание. Автор вспоминал в этом месте, как во время войны на Урале ему тоже приходилось растачивать почти такие же глубокие отверстия, но только не в редукторах, а в деталях боевых машин.

«Война требовала все больше и больше техники, а мой станок не брал. Приходилось вручную, разверткой, доводить до размера».

Гегин выражал сожаление: почему ему тогда не пришла в голову мысль о двухсторонней расточке, почему она появилась гораздо позже? Между этими строками опять сквозило раздумье — о жизни, о своем труде, — о чем еще? Может быть, о том, что не только люди делают время, но и время делает людей?

Гегину есть о чем думать.

Когда производство редукторов передали на Луганский завод, а людей распределили по другим участкам, Гегин написал в Луганск, отделу главного технолога: «Прошу сообщить, каким способом у вас растачивают отверстия в корпусах больших редукторов».

Отдел главного технолога не ответил. Подождав, Гегин послал такой же запрос в дирекцию.

И опять молчание.

Только после письма в завком пришел ответ из отдела главного технолога. Гегин долго вертел в пальцах эту бумажку: «Расточка отверстий на корпусах редукторов производится согласно утвержденной технологии».

Для него дело было уже не столько в самом методе двухсторонней расточки, хотя и жаль потраченного труда и нервов. Дело было в людях. Неужели же теперь луганские станочники должны будут заново решать задачу, однажды уже решенную, проходить уже пройденный путь? Сколько ума, энергии, сил расходуется у нас таким образом понапрасну!

Не один Гегин об этом думает.

* * *

Опять мы с Евгением Сильвестровичем идем по Лиговке. Весь день, как и в прошлый раз, голубело легкое, щедро подсвеченное небо, а с обеда оно замутилось, подул ветер, полетела крупа вперемешку с дождем, и хотя дождь и крупа скоро кончились, но все померкло, на улицах появилась сырость. А ведь уже май! Вот она — ленинградская весна!

Никто не поручал Гегину заниматься дальше Смышляевым, который давно не числится в списках цеха, за которого не отвечает больше ни профсоюзная, ни комсомольская организации, — Гегин сам взял на себя это дело. Зачем-то оно ему ну-

жно. Евгений Сильвестрович нарочно решил поехать попозже. К концу дня, но, конечно, не вечером. Вечером Юрия наверняка не застанешь: сегодня ведь воскресенье.

Мы прошли перекресток, откуда в прошлый раз на всю округу разносился аромат корюшки, миновали каменную арку дома, будто бы еще больше потяжелевшую от сырости, и по знакомой лестнице поднялись на пятый этаж.

Нам повезло: на звонок вышел сам Юрий.

Мне бросился в глаза его свитер — белые олени на груди, на черном фоне. Все остальное было как я и представлял себе: небольшой, узкий в кости парень. Глаза с удлинненным разрезом. Вежливый.

— Можно зайти? — Гегин уже ступил в прихожую.

— Пожалуйста, заходите.

Парень был заметно смущен.

По узкому коридорчику он провел нас в комнату.

— Мама, Евгений Сильвестрович к нам...

Мать лежала в кровати. Лицо у нее было покрыто нездоровым румянцем. Белые волосы оттеняли этот румянец.

— Ничего, ничего. Ну что вы... Садитесь, пожалуйста. — Она заставила себя улыбнуться в ответ на наши извинения. — Это вчера меня прохватило. Отлежусь сегодня, и все пройдет. Мне долго болеть нельзя.

У стола под зеленой клеенкой было всего два стула. Еще два стояли возле окна, занятые книгами и какой-то одеждой. Юрий сел первым, потом поднял голову, поглядел на нас, еще стоявших, вскочил и принялся подвигать к нам стулья. Сам он примостился на кровати, у ног матери.

— Приехали вас проведать, — сказал Гегин, садясь.

— Большое спасибо. Сколько времени вы потратили... К сожалению, угостить вас нечем. Я сегодня не вставала, Юра не разрешил. Сам в магазин сходил и обед сам сварил. — Она опять улыбалась. — Первый раз в жизни кухарничал. И очень хорошо получилось. И суп, и компот.

— Ладно, мама!

— Может быть, хотите компота? Попробуйте! Юра...

Юрий неловко встал.

— Ладно, ладно, — сказал ему Гегин. — Сиди. Спасибо, Ольга Павловна. Мы ведь к вам на минутку. С ним вот хотели поговорить, да не стоит вас беспокоить.

— Тогда принеси мне попить, Юрочка. Сын вышел из комнаты, и она, торопясь, зашептала:

— Совершенно, знаете ли, переменился, неузнаваемый мальчик стал. И ко мне такой внимательный, ласковый... Я так счастлива, так счастлива! Это нам повезло, в милиции человек попался...

Со стаканом воды вернулся Юрий.

— А Юра снова работает, Евгений Сильвестрович.

с отделом главного технолога. Начальник лаборатории извещил обо всем Ганичева еще после проверки черновой расточки. И тот дал задание провести контрольные измерения как можно тщательнее. Школа, пройденная им в низах производства, помогла ему усвоить одну истину — что практика иногда оказывается впереди теории. Это позволило ему теперь найти правильную линию поведения.

Наконец-то лаборатория опять сказала «да».

Начальник цеха, теперь уже официально, предложил Гегину и Соколову сделать по их методу опытную партию — пять штук.

Не раз замирали сердца обоих друзей, пока они трудились над этой партией. Вдруг не ладилось что-то на сборке. Вдруг узнавали — полетел подшипник. Они бросали все и бежали к испытательному стенду.

Когда пять редукторов были сданы, то вдруг открылось, что маломощный гегинский станочек обгоняет своих сильных собратьев!

Тогда Ганичев решил продолжить начатый без его ведома эксперимент. Гегинское приспособление поставили на другой расточный станок.

Ничего путного из этого не получилось.

Ганичев взял заявку Гегина, зачеркнул свою первую резолюцию и написал другу: «Разрешаю, но только на данном станке».

На участке принялись тщательно регулировать остальные расточные станки. Вскоре и на них появились новые приспособления. После этого расточка перестала быть узким местом участка.

Расточники поняли и оценили сделанное Гегиным, и сам Евгений Сильвестрович тоже понял. Может быть, на миг у него даже захватило дух, потому что получилось гораздо больше того, чего он добивался. Он сделал не только для себя — он сделал для всех.

Механический цех всегда был богат новаторами, смелыми, ищущими людьми. Здесь работал Леонид Лалегин — его метод обработки сложных деталей Городской комитет партии предложил использовать на всех ленинградских заводах. Здесь родился почин фрезеровщика Александра Логинова и слесаря Петра Зайченко — они первые начали составлять индивидуальные комплексные планы повышения производительности труда. Их мысль подхватили не только кировцы, но и рабочие многих других заводов.

В цехе были и еще новаторы, может быть, менее известные, но тоже прокладывавшие пути в будущее. Теперь Гегин увидел себя в их ряду.

Тогда-то и зацвел по-настоящему осенний куст.

Вместе с Соколовым и другими расточниками Гегин начал изобретать все новые и новые приспособления для обработки крупных редукторов. Раз от разу участок набирал силу, увеличивал выпуск. Два-

дцать штук в месяц, тридцать пять, шестьдесят, семьдесят пять... Но недаром спрашивали при мне Гегина на заседании в Совете новаторов: «А препятствий вам не чинили? Тормозов не было?»

В самом начале, когда по новому методу работали только двое — Гегин и Соколов, произошел такой случай.

К Гегину подошел во время работы инженер из бригады.

— Вчера по цеху большое начальство ходило. Не разрешает больше с двух сторон растачивать. Говорит — может произойти крупный брак. Так что учтите.

Когда появился Соколов, встревоженный Гегин стал с ним советоваться: как быть, к кому обратиться? Хотя и беспартийные, оба расточника понимали, что кроме как в партийную организацию идти им некуда. А секретарем партбюро цеха был не кто иной, как Александр Федорович Селов. Его избрали незадолго до этого.

— Ну что ж, — сказал Гегин другу, — нам везет. Как-никак вы с ним приятели!

И они пошли в партбюро.

Селов встретил их без удивления, будто бы они заходили к нему каждый день. Пригласил сесть.

Гегин нервничал, заранее готовый к бою.

— Если наш метод неправилен, пусть мне докажут технически — почему и чем, — начал он без предисловий. — Все данные лаборатории — в нашу пользу. Работа получается точная и гораздо быстрее, чем прежде.

Селов выслушал, нахмурил лоб, ответил спокойно:

— Данные лаборатории мы и сами знаем.

— Так почему же мне говорят...

— А начальник цеха или начальник участка вам что-нибудь говорил? Нет? Работайте как работали. За ваш метод будем вместе бороться. Поддержка партийной организации новаторам всегда обеспечена.

Когда вышли из партбюро, Гегин по своему подвел итог:

— А характер у Александра Федоровича вполне подходящий. Не верно разве, Николай Николаич?

Однажды Евгений Сильвестрович, когда я был у него дома, достал откуда-то с книжной полки несколько листов, вырванных, по-видимому, из общей тетради и исписанных его почерком.

— Вот почитайте потом, если интересуетесь. Хотел в журнал один дать, да раздумал.

Это была статья, совсем готовая, требовавшая лишь небольшой редакторской правки. Читая ее потом, уже один, я как бы заново — в который раз заново! — открывал Гегина.

Техническим языком, но вполне понятно, он подробно описывал суть своего метода, доказывал простоту и дешевизну приспособлений, настаивал, как подготовить станок, и размышлял о будущем.

«В будущем, — писал он, — по моему

— На авторемонтном, — негромко пояснил парень, садясь на прежнее место, на край кровати.

— Как зарабатываешь-то?

— Пока неважно. — Он опять насутился. — Нормы у них очень высокие.

— Вижу, — усмехнулся Гегин, кивнув на руки Юрия.

Тут и я заметил, что пальцы у парня сбитые, с черными заусенцами.

— Да, брат, плохо мы тебя воспитали, — сказал Гегин. — Не научили работать. И жить тоже не научили.

— Ну что вы, Евгений Сильвестрович! — Ольга Павловна приподнялась на локте. — Вы столько им занимались! Он сам виноват. Связался с такой компанией...

— Ладно, мама! Я сказал уже: с этим кончено. Это все в прошлом.

Наступила пауза. Гегин не спрашивал, с какой компанией связался Смышляев, а Юрий не рассказывал.

— Евгений Сильвестрович, нельзя ли ему вернуться к вам? Может быть, вы хлопотали бы?

— Не выйдет, Ольга Павловна. Я и сам буду против.

Она опустила голову на подушку.

— Вот видишь, Юра!

— Пусть поработает годик. А через год мы с вами к этому вопросу вернемся. Как ваша соседка на ту весну лестницу вымоет, так и поговорим.

Наверно, он хотел этой шуткой смягчить только что сказанные слова.

Ольга Павловна выставила вперед ладонь, как бы защищаясь и предупреждая:

— Т-с-с... Тише!

Юрий помрачнел и исподлобья сверкнул глазами:

— Вы лучше не говорите о ней.

Ольга Павловна опять понизила голос:

— Очень нехорошая женщина. К Юре девушки приходили из вечерней школы... Он одно время бросил учиться, а девушки его убеждали вернуться. Так она, вы знаете, так их оскорбила! Я думала, Юра побьет ее... Такой скандал был! Хорошо, милиция потом разобралась.

— Понятно... Праведница!

Вскоре мы поднялись.

— Ну, прощай, а вернее — до свиданья. Ты смотри, не плыви по течению, выгребай. На твоих руках мать. Ей бы надо еще полежать, как следует поправиться, а она собирается на работу. Почему, думаешь, мама не хочет больничный листок брать?

Втроем вышли мы в темноватый узенький коридорчик. Гегин с Юрием впереди, я — за ними.

В ту же секунду позади нас, в глубине коридорчика, тихо скрипнуло.

Мы оглянулись. Из приоткрытой двери выглядывала знакомая женская голова в белом платке.

Спокойно Гегин положил руку на плечо Юрию и продолжал шагать уверенно, прямо, как сама правда.

Дверь позади оставалась открытой. Мы чувствовали, как та, в белом платке, продолжала смотреть нам вслед, и, наверно, концы узла надо лбом прядали, как уши.

— Спасибо вам, — сказал Юрий Гегину в прихожей. И повторил: — Большое спасибо!

За что он благодарил его? Состоялся ли тот разговор — «как человек с человеком», которого хотел Гегин, или, наоборот, Юрий был рад, что Гегин не стал затевать долгого разговора, парню нужнее была рука, вовремя положенная на плечо?

Кто был тот работник милиции, о котором упоминала Ольга Павловна, и каким образом ему удалось добиться перемены в Юрии? Насколько серьезна и глубока эта перемена, как сложится дальнейшая судьба Юрия?

Наверно, и Гегин думал обо всем этом. А может быть, еще и о том, что даже небольшая с виду проблема отношений между людьми оказывается иногда труднее самой сложной технической или научной проблемы.

Почему одним удается приблизиться к чужой душе, а другим — нет? Почему, когда Гегин бился над расточкой больших редукторов, его озарило, а теперь нет? Чего ему не хватило?

Молча спускались мы от этажа к этажу, за ступенькой — ступенька. Во дворе Гегин сказал:

— Вышла книга майора Гагарина. На днях купил два экземпляра. Себе и Саше. Сначала я не понял его.

— Так ведь Саша не умеет читать!

— Вырастет — научится.

— Тогда он вашу возьмет и прочтет.

— Это будет не то — у него своя долгая жизнь. Ведь это историческая книга, начало новой эры.

Позже, на квартире у Гегина, я увидел ту книгу — экземпляр, предназначенный для внука. На обрезе Евгений Сильвестрович вывел карандашом крупно, с верой, с нажимом, буква за буквой: «Саше от деда».

УДИВИТЕЛЬНЫЕ НИТИ

Мумия фараона пролежала 3000 лет в гробнице и осталась невредимой. Пелена, окутывавшая ее, защитила фараоновы останки от микробов-разрушителей: древние египтяне знали тайну чудодейственной пропитки тканей.

Секрет, забытый с течением столетий, был раскрыт в XX веке. Во время второй мировой войны появились гигиенические материалы — ткани, которые предохраняли от инфекций. Они были, так сказать, «одноразового действия»: их нельзя было стирать.

...Пучки тончайших шелковистых белых, желтых, коричневых нитей. Внешне они похожи на обычные хлопчатобумажные волокна. Образно их можно назвать «пожирателями микробов». Они не только не позволяют различным бактериям и грибкам размножаться под тканью, но и убивают их на расстоянии, в зоне 10—12 миллиметров, образуя своего рода защитный барьер вокруг человека.

Подобные волокна получены в Ленинградском текстильном институте, в проблемной лаборатории, которой руководит профессор А. И. Меос. Материалам из этой биологически активной пряжи не страшны ни мыло, ни теплая вода.

Сотрудники лаборатории с помощью академика Латвийской академии наук С. А. Гиллера сумели создать такие реагенты, которые вступали в прочную химическую связь с нитью. Теперь уже бактерицидные свойства ткани сохраняются буквально до полного износа ее, в течение всего срока службы. Ткань-«бактериофаг» может победить возбудителей кишечных инфекций, пневмонии, различных нагноительных процессов, грибков ряда кожных заболеваний.

Какие же перспективы сулит открытие ученых?

— Представьте себе операционную без стерилизаторов, — рассказывает кандидат химических наук Л. А. Вольф. — Зачем обезвреживать перевязочный материал, халаты, хирургические нити, когда сама ткань «работает» лучше любого автоклава? Обрадуются и пищевики, получив в свои руки упаковочный материал для стериль-

ного хранения и консервирования продуктов. Пожалуй, и новорожденному не помешает эдакая «антимикробная» распашонка. Космонавтам, отправляющимся на дальние планеты, также потребуется биологически активный защитный костюм. Словом, ткань универсальна, ей везде найдется применение.

— Сейчас мы готовим выпуск полупромышленной партии нового материала на Ленинградском заводе искусственного волокна, — замечает профессор А. И. Меос. — Из этого волокна будет затем изготовлена ткань.

Но в лаборатории созданы не только волокна-санитары. Я видела, как была поднесена к небольшому мотку волокон зажженная спичка. Моток не воспламенился — пламя моментально погасло. Волокна сами погасили огонь. Ученые нашли специальный способ обработки, чтобы придавать им «негорючие» свойства. С приближением пламени нити разогреваются и... выделяют вещества, которые гасят пламя.

Волокна-пожарники найдут себе широкое применение как обивочный или портьерный материал в помещениях, где требуется повышенная противопожарная защита.

...Иониты — новый вид полимеров. Они напоминают разноцветные пески и способны поглощать из растворов различные соли, щелочи и кислоты. По существу, это своеобразные фильтры, задерживающие одни молекулы и беспрепятственно пропускающие нужные примеси. С их помощью можно очищать сточные воды, улавливать благородные и цветные металлы, дистиллировать воду. Их применяют на тепловых электростанциях, в медицине, на сахарных заводах, в электротехнике — везде иониты надежные, дешевые помощники.

Беда только в том, что ионообменные полимеры быстро засоряются. Осадок забивает зерна «песка», и они с трудом поддаются очистке. Ионит приходится заменять новым.

Исследователи проблемной лаборатории «приспособили» волокна для ионного обмена. Ткань из них легко отмывается от осадков и может быть использована повторно. Последние опыты показывают, что

возможно создать и так называемые электрообменные волокна, которые позволяют, например, выделить чистое серебро или элементарный йод из растворов их солей.

Химики, пожарники, санитары... Над тем, чтобы разнообразить «репертуар» и «роли» удивительных нитей, научные работники продолжают трудиться.

А. Григорьева

ТЕЛЕВИЗОР И... ХЛЕБ

Здание Кушелевского хлебозавода своей не вполне обычной формой напоминает цирк. Но аппетитный запах свежего хлеба, доносящийся до окрестных улиц, вносит ясность. Грузовики-фургоны, на стенках которых размашисто выведена надпись «Хлеб», вывозят отсюда ежедневно по 300 тысяч круглых ржаных ковриг.

Я прохожу по цехам завода мимо непрерывно движущихся лент транспортеров и конвейеров, огромных чанов, или, как их называют, дёж. Заглядываю в главную котельную высотой с трехэтажный дом.

— Всю основную работу за человека у нас выполняют механизмы, — говорит инженер-электрик В. И. Шевченко. — Рабочий стал как бы наблюдателем за машинами, оператором. Различные автоматы регулируют подачу муки, воды, соли, дрожжей, контролируют время замеса, выпечки, короче говоря, все производственные процессы.

— Видели в тесторазделочном отделении пульт? — спрашивает Василий Ильич. — На нем мигают, гаснут, зажигаются зеленые, желтые, красные лампочки. Они сообщают нам, что делают наши «механические рабочие», все ли в порядке. Вдруг, скажем, делитель начнет неправильно нарезать куски теста — больше или меньше нормы. Сразу же лампочка подаст красный тревожный сигнал. Механизировав операции, мы задумались над тем, как бы в полную меру использовать все эти преимущества, как бы управление производственными процессами сконцентрировать в одном месте.

Мы проходим в небольшую комнату с белыми стенами, в одном из верхних этажей. Здесь размещается пульт управления. Несколько щитов. Надписи: «питатель», «делитель», «укладчик», ряд других. Над каждой — лампочки. Это — механизмы тесторазделочного цеха. На соседнем стенде отражается действие системы механизмов другого цеха. И здесь та же игра сигналов. Кажется, что эти щиты живые, они дышат...

Погасли огни на стенде тестомесильного цеха — кончился шестиминутный производственный цикл. Секунда — вспыхнула первая красная лампочка: пошел вновь конвейер. Одна за другой загораются следующие: «мука», «вода», «дрожжи», «соль»...

В центре пульта — экран телевизора.

На заводе установлено пять телевизионных камер — на основных производственных участках и в кабинете главного инженера.

Сотни буханок круглого хлеба дает в минуту завод. Здесь производственное время считают на секунды. И малейший перебой в каком-либо звене нарушает весь рабочий ритм. Но любое отклонение от технологического процесса, любой тормоз в работе сразу становятся известны в этой комнате: о них сообщают световой и звуковой сигналы.

Неожиданно прозвучал сигнал. В чем дело? В тот день, когда я был на заводе, дежурил сменный инженер-механик Александр Васильевич Филиппов — один из энтузиастов внедрения телевидения на заводе. Он берет за ручку управления, нажимает кнопки. На голубоватом экране появляется участок цеха. Диспетчер передвигает ручку. Камера там, в цехе, скользит то по горизонтали, то по вертикали. Все новые и новые участки — на экране. Ага, стоп! Вот где неполадки... Начальник смены Мария Павлова наклоняется к селектору:

— Задерживается зачистка третьего кольца. Примите меры. И зайдите к начальнику смены.

Через несколько минут докладывают:

— Неполадки устранены. Все идет нормально.

Но не обязательно ждать сигнала. Диспетчер, включая поочередно камеры, все время следит за производством. Отсюда вместе с ним, не выходя из комнаты, и я путешествовал по всему заводу.

Тестомесильный цех. Огромные дёжи расположились по кругу. Голубой экран показывает, как одна дёжа степенно подплыла к горлу конвейера, идущего вниз, в тесторазделочное отделение. Металлический шест подтолкнул ее вверх, приподнял, и она опрокинулась на бок. Тесто ползло вниз. Еще несколько секунд, и огромный круглый нож проскользнул по краю дёжи, срезая остатки теста. Дёжа встала на свое место. Предупредительный сигнал. Беготня огоньков на пульте. Круг опять пришел в движение. Я вижу на экране, как пустая дёжа подвигается вперед, а ее место заняла другая, полная теста. А та, первая, уже снова стала наполняться водой, из белого рукава посыпалась мука. Автомат отпустил нужное количество соли, полился дрожжевой раствор, вступила в действие месилка. Все идет своим чередом.

Экран переносит нас в разделочное отделение. Мы наблюдаем, как делитель отделяет ровные куски теста, и они начинают свое странствование по перекрещивающимся лентам транспортеров, попадают в формы, принимают вид круглых буханок и, наконец, уходят в печь.

Так мы кочуем из цеха в цех.

— Вот теперь видите наглядно сами, что дает нам телевидение, — говорит В. И. Шевченко. — Мы теперь оперативно, сразу устраняем неполадки. Не надо, как бывало

раньше, по десяти-пятнадцати мин. искать то начальника смены, то слесаря, выяснять, где и что случилось. Четче стал контроль за ходом работы, образцовый порядок навели на производстве. Теперь собираемся увеличить число телевизионных камер, охватить телевидением другие участки производства, такие, как экспедиция. Там телевизионный глаз особенно нужен...

Внедрение телевидения в производство — заслуга заводских энтузиастов. Они получили от радиотехников лишь установку с десятиметровым кабелем. А что такое десять метров, когда речь идет о линиях связи в производственных помещениях? Пришлось искать самим кабель, раздобывать по частям детали и узлы, необходимые для прокладки линий, установки камер, оборудования пульта, самим делать чертежи и схемы. Словом, главный инженер В. Никольский, инженеры В. Шевченко и А. Филиппов, электромонтеры В. Энно, А. Хомяков и другие справились с тем, что, казалось, было лишь по плечу специалистам из НИИ.

Недавно на заводе побывала делегация из Франции — специалисты хлебопекарни, промышленники, владельцы пекарен. Они были поражены, восхищены увиденным. И не один из гостей говорил: «Oh, très bien! Постараемся то же применить и у себя».

Н. Федоров

ОГОНЬ БЕЗ ДЫМА

Рио-де-Жанейро задыхался. Сотни тысяч автомобильных моторов ежедневно наполняли воздух удушливым перегаром. Как здесь не хватало свежего ветра, который бы мог разветь эту пелену выхлопных газов! Но о «сквозняке» нечего было мечтать: основателей города в шестнадцатом веке не заботила проблема «циркуляции воздуха» — они, разумеется, не предвидели ни изобретения автомобиля, ни промышленного развития в последующих веках и возвели Рио-де-Жанейро в защищенном от ветров месте.

Недавно бразильцы перенесли свою столицу в район не столь живописный, но зато достаточно «продуваемый», где возник новый город Бразилиа.

Наши города теперь тоже не могут похвалиться прозрачностью атмосферы. За последнее время у нас стало намного больше автомашин, и численность их все растет. Следовательно, растет и своего рода пошлина, с которой мы вынуждены мириться ради преимуществ «механизированного передвижения». Но нельзя ли создать бездымный, «чистый», двигатель внутреннего сгорания?

— Даже фокуснику не удастся зажечь спичкой целое полено, — начинает свой рассказ инженер Центрального научно-исследовательского института топливной аппаратуры С. Н. Лисовский. — В цилиндре бензинового двигателя от электрической искры так называемая бедная горячая смесь не воспламенится, хотя в ней

и содержится достаточно топлива, чтобы заставить поршень работать. Поэтому приходится подавать богатую смесь, которая не успевает сгорать целиком. Несгоревшие частицы горючего — это и есть выхлоп. Он содержит угарный газ и другие вредные для здоровья примеси.

— Но полено все-таки можно разжечь, если воспользоваться паяльной лампой, — продолжает наш собеседник. — Подобный же принцип специалисты института решили использовать и для зажигания бедной горючей смеси в цилиндрах автомобиля.

Эта идея не так уж нова, но осуществлена она на практике по-новаторски: исследователи предложили сделать к свечам бензиновых двигателей любой конструкции несложные насадки. Такая насадка дает в цилиндре вспышку-факел, он воспламеняет бедную горючую смесь, которая затем сгорает почти целиком. В отходящих газах содержание вредных примесей, в частности окиси углерода, снижается в пять-десять раз.

В Москве на автобазе № 24 придирчиво испытывалась в производственных условиях аппаратура, созданная кандидатом технических наук Н. Н. Гитлиным, инженерами С. Н. Лисовским и Г. Ф. Будановым. Ею был снабжен и экспериментальный автобус. Здесь велся химический анализ отходящих газов. Продукты сгорания скапливались в резиновом мешке, который время от времени инженеры натягивали на выхлопную трубу. Затем аппаратура факельного зажигания снималась, и мотор работал, как обычно, на одних искровых свечах. Снова улавливались газы и подвергались химическому анализу. И так много раз — на разных скоростях, разных режимах работы мотора, с разной нагрузкой.

Лабораторные данные подтвердили, что усовершенствованная система не только в несколько раз уменьшает зловредные примеси в выхлопе, но и позволяет экономить бензин процентов на 8—11.

В Институт топливной аппаратуры посыпались запросы и заказы. Автотранспортный трест при Ленгорисполкоме хотел бы для начала приобрести 700 комплектов таких устройств. У Глававтомоостранса размах шире — 5000 комплектов, автобаза № 10 Ленсовнархоза готова сейчас же взять 3000 комплектов — только дайте! Министерство автомобильного транспорта и шоссеиных дорог Украины просит прислать хотя бы несколько комплектов для пробы. Запорожский автозавод хочет получить чертежи системы факельного зажигания, чтобы в дальнейшем малолитражные легковые машины «Запорожец» были уже, так сказать, с колыбели снабжены этим полезным усовершенствованием.

Изобретение ленинградских инженеров поможет сберечь миллионы рублей, продлить жизнь двигателей, оздоровить воздух наших городов.

О. Карышев

Н. ПОПЕЛЬ

генерал-лейтенант

Вперед — бермис!

Литературная запись
М. Хейфеца

Надвигалась ночь, ночь окончательного уничтожения Сандомирской группы противника. Неизгладимо врезалась эта последняя битва в мою память. Теснимые с юга неудержимым наступлением армии Пухова, немцы обезумели. Волна за волной бросались они навстречу своим, к северу. Последние снаряды, последние мины, последние пули... В крошечной тьме августовского новолуния мерно полыхали языки пожаров необранного хлеба. На их фоне отрывались от земли цепи солдат, шли на поредевшие ряды наших мотострелков и падали мертвыми. А из-за этих мертвецов выходили новые цепи и шли вперед в судорожной надежде: может, кто-нибудь прорвется! И падали на холодные тела солдат из предыдущих цепей. А на этих ложились новые. Но вот и стрельба смолкла: почти одновременно кончились патроны и у немецких подразделений и у наших. Тысячи людей сцепились в последней смертельной схватке. Все пошло в ход: приклады, ножи, камни, кулаки, зубы. Стоны умирающих заглушались победными криками.

Основной удар противника пришелся по мотопехоте бригады Кочура, а острие удара попало на участок штаба этой бригады. Лишь отдельные гитлеровцы оврагами и лощинами сумели преодолеть этот рубеж: остальные навеки улеглись на маленьком пятчке южнее села Кихары.

Группы Гетмана, Гусаковского и братская пехота Пухова сразу же были брошены в помощь частям внешнего кольца, против обескровленных дивизий деблокирующей группы противника. Совинформбюро сообщало всему миру: «20 августа севернее города Сандомир наши войска завершили ликвидацию окруженной груп-

пировки противника... Ввиду отказа сдать большую часть окруженных войск противника уничтожена».

Утро застало меня в бригаде Кочура. Подъехать к землянке штаба оказалось невозможно: дорогу преграждали ряды трупов. Лишь изредка среди них двигались фигуры раненых мотострелков. Вокруг штаба лежало несколько офицеров. Навстречу мне ковылял окровавленный человек. Одежда его была вся изрезана ножами, белое лицо стягивали засохшие сгустки крови. Это был начальник политотдела бригады подполковник Потоцкий.

— Комбрига Кочура в рукопашной схватке смертельно ранили, — хрипло рассказывал он. — Я принял командование на себя. Отнесли Сергея Ивановича в овраг и продолжали драться. Перерыва не было всю ночь. С полуночи дрались чем могли. Меня поцарапало...

У Потоцкого было десять ножевых ран.

В овраге лежал полковник Кочур... Истекали последние секунды его жизни. Кадровый офицер, он лишь недавно вернулся в армию: до этого партизанское соединение Кочура громило тылы гитлеровских войск и славилось мастерством ночных атак. И теперь, едва прикоснувшись к радости возвращения в армию, перейдя границы освобожденной Родины, герой умирал, умирал в первой же операции. Кровью лучших людей пришлось заплатить нам за эту победу у Сандомира.

Ко мне подошел Помазнев.

— Комбригов Бабаджаняна и Костикова в одном из оврагов нашли. Оба ранены. Костиков — очень тяжело.

Мы немедленно отправились за комбригами. У Армо было поранено горло. Он жадно хлебал теплое молоко, а увидев меня, что-то радостно просипел и попытался улыбнуться синими губами. Ря-

Продолжение. См. «Звезда», 1963, № 1 и 2.

дом лежал Костилов. Взглянув на его изуродованную ногу, неумело опутанную мужскими рубашками, я понял: в армию не вернется. Всего трое суток назад Солодахин расхваливал нового комбрига, и мы с надеждой всматривались в действия этого способного, многообещающего офицера. И вот — такое невезение! Сердечно дожав им на прощание руки, отправил комбригов в армейский госпиталь.

Потом, в госпитале, Армо рассказал мне свою «Одиссею окруженца».

— Почему на связь не выходил? Потому что немецкие танки на КП прорвались, радию разбили, от частей отрезали. Три танка были над оврагом, стволы пушек видны, а мы внизу находились. Что делать? Хотели бежать. Говорю: «Нет, здесь сидеть. Без моего разрешения — ни шагу. Пойду вперед; если по мне стрелять не будут, значит все остальные будут переходить за мной». Из центрального танка выстрелом меня свалило, будто косою подрезало. Хотел кричать, но голоса нет. Вначале думал, что мне руку оторвало. Потом нащупал, оказывается — рука здесь, но изо рта хлынула кровь. Стараюсь кричать, а голоса нет. Смотрю, мой ординарец лежит весь в крови. Я сразу за обрыв — к нашим.

— Состояние мое было тяжелым, — продолжал, передохнув, Армо, — но собой владел. За обрывом нашел щель. Там лежал раненый Костилов. Вытащил его. Тут же нас нашла девушка — помнишь, ее наградили, когда пятьдесят человек спасла? Блондинка такая, Маленький звать. Она меня перевязала, и тут же ее в ногу ранило. Подошел к нам фельдшер, посмотрел и — сразу бежать. Я сначала подумал, что он струсил, а оказывается, нет. Подвел к нам «виллис», посадил. В эту машину нас восемь человек раненых набилось. Фельдшер повез нас низом, чтоб немцы не углядели. А там оказалось болото. Машина застряла. Только успели вытащить тяжело раненного Костилова — от прямого попадания «виллис» разлетелся вдребезги. Я начал собирать людей. Много собралось. Говорить не могу, больше жестами командовал. Но меня понимали. Там отличился командир полка Щедрин. Гляжу — собирает брошенную немецкую технику. Я говорю: «Брось ты этим заниматься». — «Нет, — говорит, — в хозяйстве все пригодится». И пригодилось. Расставили мы пушки, заняли высоты. Кое-кто стал поговаривать, что надо прорываться назад. Но я приказал: «Стоять в обороне насмерть». Мы очень много там немцев уложили. Правда, и наших много погибло.

— Таким образом, в тылу у немецкой деблокирующей группы образовался четвертый слой? — спросил я у Армо.

Но Бабаджанян не мог ответить на этот вопрос. Ведь он не знал тогда общей оперативной обстановки.

— У немцев танков было много, — вместо ответа продолжал он. — А у меня — только остатки моей и 21-й бригады. Да и

то почти без танков, без боеприпасов. Стал искать связи с другими частями. Пошлю — а они не возвращаются. Еще пошлю — опять убивают. Так и не смог ни с кем связаться. Остался у меня всего один танк. Последний. Тогда решили все же прорываться. Солнечный день был. Я посадил в танк раненого Костилова и попытался сам пробиться к своим частям. Еду. Голоса нет, сижу за наводчика. Толкнул механика ногой, он остановился метрах в десяти от немецкой пушки. У меня оставался еще один снаряд, но тут мою пушку разорвало. Старший лейтенант Алексеев кричит: «Товарищ полковник, наш танк горит». Только хотели выйти — по танку опять удар. Алексеев выскочил, его убило. Выскакивает башенный. Вытащили Костилова, он кричит, а танк продолжает гореть. «Что же, — думаю, — делать? Где мои части?» А стрелок кричит, ранен. Механик-водитель Полторак — знаешь, рыжий блондин, маленький — вытащил и стрелка и Костилова. Залегли около танка. Выстрел, второй! Оказывается, немец с левой стороны целится в нас и бьет. Я из пистолета два раза выстрелил в него, и он замолк. К этому времени прибежал радист, не моего танка, а другого. Полторак с Костиловым куда-то исчезли. Потом радиста убило очередью выстрелов, я пополз в картофельную яму, которая находилась рядом. Оказалось, что в этой яме находятся Полторак и Костилов. Оказались мы втроем. Вместе с Полтораком сняли рубашки и перевязали Костилова ногу, чтоб он не истек кровью. По существу, я не знал, где я, где наши войска, где немцы.

— Отдохни, Армо, — сказал я. — Потом договорись.

— Ничего, теперь мне уже не больно... Говорю Полтораку, что тут лощина, может быть, там кто есть? Последнего человека на связь послал, с одним Костиловым остался. Слышу шорохи, вижу Полторака и начальника артснабжения Лукьянова. Они принесли плащпалатку, на которую устроили Костилова. Потасили его. В лощине оказалась группа наших, а Лукьянов сказал, что есть данные, будто с юга наши сюда продвигаются. Я говорю: «Давайте держать оборону до вечера». Одного офицера — Никольского, начштаба арtdивизиона — послали снова на связь, он ушел и не вернулся. Ночью я сильно ослаб, но оборону группа держала стойко. На рассвете на горке слышим перестрелку, потом — русский говор. Наши пришли. А пропавший Никольский лежал раненым больше трех суток. Ел зелень, у него на ногах появились черви — это я уже здесь, в госпитале, узнал.

Слушая Армо, я вспомнил поле Сандомирской битвы. За три года войны мне пришлось побывать и под Дубно и на Курской дуге, которые считаются местами величайших танковых битв истории. Но такого количества трупов на таком малом кусочке земли, как под Сандомиром, не было, пожалуй, и там. Только в фильме

«Александр Невский» режиссер нагромоздил такие кучи тел на льду Чудского озера. Здесь, среди двенадцати тысяч гитлеровских трупов, еще мучились четыре тысячи раненых немецких солдат и офицеров. Недалеко от них наши медработники, перевязывавшие врагов, нашли советских раненых, захваченных немцами в плен в одном из оврагов и расстрелянных.

Найдется ли художник, который создаст картину «После Сандомирской битвы»? Воронов на ней не будет: даже они испугались этого смрада, обгорелых танков, машин, пушек, пулеметов. Рядом с мертвой техникой — и между машинами, и на них, и под ними — лежали те, кто еще недавно жил, страдал и радовался, солдаты, чьи судьбы решила война. Многие лежали уже третий день на августовском солдцепеке. Тела разламывались, едва до них дотрагивались крючком. От других остались только обугленные скелеты. Кто это? Документов не было. В списках эти люди значатся, наверно, пропавшими без вести, хотя мы собственными руками опустили их в огромные братские могилы, вырытые инженерными частями армии.

Двенадцать тысяч мертвых гитлеровцев обеспечили Бальку новую славу человека, «спасшего Германию от катастрофы». Его головокружительная карьера продолжалась: Гитлер направил генерала «Бить так бить» командовать группой армий на запад. «Группой армий» немцы называли фронт. За один год дослужиться от командира дивизии до командующего фронтом!

Чем Бальк заслужил такое повышение? Бывший начальник штаба 4-й танковой армии, генерал-майор танковых войск фон Меллентин написал книгу «Танковые сражения 1939—1945 гг.», в основном посвященную боевым действиям Балька. По фон Меллентину выходит, что «в летних боях на Баранувском плацдарме (слово «Сандомир» он предпочитает даже не упоминать) они с Бальком спасли Германию от катастрофы, за что их и повысил фюрер. Он приводит оценку, высказанную начальником имперского генштаба Гудерианом: «Только благодаря неисчерпаемой энергии и умелому руководству генерала Балька удалось в этом районе предотвратить катастрофу». Короче, всем хорошо: и Меллентину, и Бальку, и Гудериану — «спасли Германию»!

Доказывается этот тезис простейшим приемом. Меллентин пишет: «Обстановка в районе Баранува была особенно критической в период с 5 по 9 августа. 42-й корпус испытывал сильное давление крупных танковых частей русских, но, к счастью, это было одно из лучших наших соединений, имевшее исключительно способных командиров. В то время когда 42-й корпус вел оборонительные бои, подошел 48-й танковый корпус, и с его помощью мы смогли значительно уменьшить плацдарм русских у Баранува».

Итак, критическое положение было якобы лишь по 9 августа. Но почему же

фон Меллентин не показывает бои до конца, до 20 августа? Может быть, потому, что тогда надо было бы писать, как 42-й корпус — лучшее соединение, да еще с частями усиления — попал в Сандомирский котел? Как Бальк с Меллентином ради собственной славы скрыли от окруженных солдат и множества «исключительно способных командиров» предложение советского командования о сдаче в плен? Как они бросили в авантюру «деблокирования» 48-й танковый корпус? Как в результате их действий погиб весь 42-й корпус и откатился на исходные позиции совершенно обескровленный 48-й танковый корпус?

Мне хочется предоставить слово самим немцам. Вот выдержки из показаний пленных: «40-й механизированный полк 17-й танковой дивизии 48-го корпуса к 19 августа насчитывал лишь 99 человек. В ротах было по 15, 17, 7 человек». «В штурмовом полку 42-го армейского корпуса к 19 августа оставалось семнадцать человек».

Может быть, генерал фон Меллентин не имел данных о судьбе этих частей? Почему бы ему не обратиться за сведениями к генерал-лейтенанту фон дер Медему — узнать, сколько человек осталось в 48-м танковом корпусе? Или спросить генерала Геритца, что произошло с 291-й пехотной дивизией? Если понадобится, количество источников можно увеличить.

Фон Меллентин может возразить мне, что ценой этих потерь, этого колоссального кладбища им удалось задержать наши войска и добиться пятимесячной передышки на Восточном фронте. Но и это неправда. Советское командование не планировало дальнейшего наступления с плацдарма в летний период. Нашей задачей было захватить плацдарм, и мы полностью выполнили ее. Плацдарм достиг 120 километров в ширину и 50 километров в глубину. Что касается передышки, то поднятые за эти месяцы на советско-германский фронт последние резервы Гитлера были в очередной операции разгромлены оптом. Это, как известно, гораздо удобнее.

С плацдарма 1-й Украинский фронт дошел прямо до Берлина. Но обо всем этом — речь впереди.

* * *

С 22 августа приказом фронта наша армия была выведена во второй эшелон. Началось подведение итогов операции.

Только теперь мы смогли во всю ширь охватить в своем представлении подвиги наших гвардейцев. Из 21-й бригады, где командиром был Костиков, Солодахин принес тысячу пятсот реляций на награждение. Мы перелистывали эти бесконечные листки, в которых несколькими строчками передавался эпоса бессмертного мужества. Вот отрывки из реляций. «Сержант Бондарь, будучи шесть раз ранен, отказался уйти с поля боя и поджег своим оружием два танка». «Замполит первого батальона Сяюков, тяжело раненый, вывел свой батальон, прорвав три кольца вражеского окружения». «Навод-

чик Казак, член ВКП(б), получил рану в бок, с оторванной рукой оставался один у орудия в окружении и продолжал вести бой». Бабаджанян писал в реляции: «Старший лейтенант офицер связи Петренко возглавил небольшую группу бойцов; гранатами они уничтожили 7 орудий, сожгли 10 машин, перебили 72 солдата и офицера». Особенно мне запомнился в те дни отчет из героической бригады полковника Кочура:

«За период боев с 18 по 20 августа	
убыло членов партии	29;
принято вновь	89;
убыло кандидатов	19;
принято вновь	74;
убыло комсомольцев	31;
принято вновь	188.

Испытывается нехватка в бланках партийных документов.

Начполитотдела Потоцкий».

Правительство высоко оценило массовый героизм Первой гвардейской танковой армии: орденами были награждены многие части и более 15 тысяч солдат и офицеров. Звание Героев Советского Союза получило за Сандомирский бой свыше двадцати человек.

* * *

Для армии наступил перерыв между сражениями. Экипажи и расчеты приводили в порядок боевую технику. Командиры изучали опыт минувших боев, а мы, политработники, подводили итоги партийно-политической работы, оттачивали идейное оружие, учились сами и учили других. Нужно было еще больше разжечь в людях ненависть к фашистам, преданность высоким идеям и нашей борьбе во имя счастья человечества. Отобрали из каждой бригады солдат, офицеров и политработников и организовали для них поездку в Майданек.

Лагерь смерти был расположен всего в нескольких километрах южнее Люблина. Но увидеть его с дороги можно было не сразу: между дорогой и колючей проволокой растянулся огромный зеленый огород. Овощи росли здесь очень пышно: их удобряли золой из крематориев. Прах сотен тысяч покойников высыпали на эти ровные грядки, и охрана СС всегда имела к столу множество витаминов.

Нас провели мимо забора из нескольких рядов колючей проволоки, по которой совсем недавно шел ток высокого напряжения.

С левой стороны от ворот возвышались небольшие производственные склады. В них господствовал образцовый порядок, идеальная немецкая пунктуальность. Первый склад был обувным. По размеру разложена обувь на стеллажах. Над каждым стеллажом белела этикеточка с обозначением: 44, 40, 39... Каждую пару этих ботинок сняли с покойника, отмыли от грязи и крови и приготовили к отправке: ничто не должно было пропасть у фатер-

лянда, все шло в дело. Парад обуви завершался малюсенькими детскими туфельками. Беспомощные, помятые, с болтавшимися пуговичками, они, казалось, хранили еще тепло маленьких ножек. В отдельном ряду стояла ортопедическая обувь. Порядок, главное — порядок, учет и контроль! В следующем складе хранилась одежда. Аккуратно повешены были костюмы, платья, детские курточки. Тут же — ряды полосатых халатов с нарукавными треугольниками, обозначавшими национальность заключенного. Каждый халат — на вешалке, с номером и знаком концлагеря. Покойнику ведь не требуется никакой одежды, и перед казнью заключенный должен был снимать лагерное одеяние и аккуратно вешать его на вешалку. В тот же день еще теплый халат набрасывали на плечи вновь прибывшего смертника. «Меньше производственных затрат!» — это было девизом лагерной администрации.

Еще один склад заполняли волосы. Здесь — тот же изумляющий «порядок»: волосы брюнетов — отдельно, шатенов — отдельно, блондинов — отдельно. Отдельно висели косы, отдельно болтались узкие хвостики детских косичек. Дальше шел склад зубов: отдельно по порядку разложены протезы, золотые коронки.

Но гестаповцы были бы плохими хозяевами, если б удовлетворились зубами, волосами и одеждой. Человечина на этой гигантской бойне использовалась до отказа. Нам показали белую чистую камеру с душем. Здесь мылись заключенные. Потом их приводили в другую чистую камеру, где стояли широкие столы мраморной крошки. Рядом с ними поблескивала нержавеющей сталью сложная медицинская аппаратура для выкачивания крови из живых людей. В следующем помещении из трупов специальными приборами извлекались остатки жира. Еще дальше сдирали кожу. Нам сказали, что сумочки и абажуры из человеческой кожи с татуировкой ценились особенно высоко. Останки заключенного — кости с внутренностями и мышцами — сжигали в печах, а пепел, как я уже упоминал, шел на удобрение огорода.

Но кандидатов в покойники было слишком много: фабрика не справлялась. Эсэсовцы помогали производству: они расшибали черепя железными палками, которые сейчас были поставлены рядом с печами. Так достигнута была «экономия» свинца. Народ в лагерь поступал истощенный, часто непригодный для «работки»: В лазаретных книгах мы видели записи веса заключенных: взрослый мужчина — 32 килограмма! Из такого не вытопишь жира, его желтая кожа не годится на изычную сумочку для фрейлен, да и крови с него немного возьмешь. Таких заключенных вели на пятое поле.

Мы были на пятом поле, когда арестованные фашистские палачи отрывали там трупы своих жертв. Из груди развороченной глины проглянула ножка ребенка.

— Дегенераты! Убийцы! Садисты! — неистовствовала толпа поляков.

Когда-то сюда гнали колонны. Они ложились плотно рядами, и автоматчики поливали их свинцом. В эти часы вокруг лагеря гремели репродукторы, заглушая предсмертные крики и хрипы. Все знали: если румбу сменил фокстрот — значит расстреливают.

Мы видели баллоны со страшным газом «циклоном». Газ был специально приготовлен «только для Востока». «Циклона» оказалось мало — людей стали травить хлором. Через синий глазок вели регулярные наблюдения!

Нам рассказывали: крематориев не хватало. Иногда убивали по восемнадцати тысяч в день, иногда и по тридцати. Начальник крематориев эсэсовец Мунфельд увеличивал пропускную способность печей. Трупы разрезали на куски — тогда вместо шести в печь влезало семь. Мало! Всего 1400 трупов влезало в пять печных отверстий за сутки. Мунфельд поднимал температуру до 1500 градусов, процесс сжигания убыстрялся. Сначала трупы уничтожали за сорок пять минут, потом за сорок, тридцать, двадцать пять. Почти две нормы выполнял оберфюрер. Мы заглянули внутрь печи; кирпич был деформирован от невероятной жары, чугунные шиберы оплавившись.

В бараках запомнилась надпись карандашом: «Ваня Иванов, дурак в том, что не может себе ничего сделать». Недалеко кто-то нацарапал ответ: «Умри так, чтоб от смерти твоей была польза».

Один из наших политработников застыл перед маленьким рисунком синим карандашом. Не было ни текста, ни подписи, только простой тихий украинский пейзаж. Сколько предсмертной тоски по родине и воле глянуло с серой барачной стенки!

Теперь в лагере каждый день шли митинги. Толпы верующих пели «Богородицу», коммунисты — знаменитую польскую «Роту» («Присягу»). Казалось, они присягали отомстить за Майданек. На митингах выступали люди, оставшиеся чудом в живых.

— Я видел, — говорил при нас возчик Владислав Скавронек, — я на собственные очи видел, как эсэсовка привела в крематорий шестерых детей. Это были крошки от четырех до восьми лет. Начальник крематория Мунфельд сам их расстрелял из револьвера и отправил в печь.

— Я видела, как эсэсовка убивала моих подруг. Она раздевала их и избивала бичом, стараясь попасть по соскам и половым органам. Она засекала их до смерти, — говорила бывшая заключенная Майданека.

Мы не узнали тогда имени эсэсовки-садистки. Теперь нам известно, что это была Эльза Кох, нынешняя персональная пенсионерка правительства ФРГ.

С особым ужасом заключенные произносили слово «капо». Нам объяснили, что это такое. В один лагерь с политическими заключенными гитлеровцы придумали са-

жать уголовных бандитов. Из этой отпетой публики создавалось что-то вроде вспомогательной полиции. В лагере убийцам приказывали делать то, за что раньше их сажали в тюрьмы: убивать и грабить людей. Здесь развернулись их звериные инстинкты. У каждого «капо» был свой любимый род истязаний: один бил сапогом в сонную артерию, другой отплясывал на животе, третий ломал дубиной шейные позвонки, четвертый заставлял узников нырять в воду и бил вынырнувшую жертву палкой по голове. В лагере любил острые ощущения.

Сознаюсь, что даже нам, танкистам, было страшно в этом лагере. Казалось, что отсюда не было выхода. Вспоминалась надпись, которую поэт поместил над воротами «Ада»: «Оставь надежду, всякий входящий сюда». Но живые свидетели продолжали рассказы. Люди боролись и здесь, бежали русские пленные. В первый раз семнадцать русских на работе в лесу лопатами убили охрану и ушли на восток. Это называлось — «штурм лопатами». Второй раз бежали ночью: забросали проволоку (тогда еще не электрифицированную) пятью одеялами и ночью уползли восемнадцать человек. Пятьдесят их товарищей по бараку испугались опасностей побега — их всех наутро фашисты расстреляли тут же на месте.

Здесь гибли русские, поляки, евреи, итальянцы, чехи, украинцы, греки, сербы, литовцы, албанцы, латыши, белорусы — полтора миллиона человек.

Наши политработники, офицеры и солдаты увидели это собственными глазами. Они рассказывали о Майданеке молодому пополнению, учили его не только ненависти к врагу, но и любви к освобождаемому от ига Гитлера народам. Майданек был местом, где великая человечность великое интернациональное значение шей борьбы становились особенно ясны.

Нам стали потом известны планы леровцев в отношении Польши и дуг стран Востока.

«Отныне, — писал генерал-губер Польши Франк в 1939 году, — прическая роль польского народа закончена. Он объявляется рабочей силой, ничем... Мы добьемся того, чтобы навеки самое понятие «Польша».

«Для не немецких населенных провинций, — писал глава стапо Гиммлер в 1942 году, — быть высших школ. Для него наличия четырехклассной школы. Целью обучения в этой школе должно быть только: простое большее до пятисот, умение внушение, что божественная ключается в том, чтобы повидать, быть честным, стараться слушным. Умение читать ясным».

Участь рабочего скота лась и польскому народу. покорное, мыслящее чело было заполнить печи М:

того, чтобы этого не случилось, чтобы на земле наступило вместо мрака фашизма светлое царство свободы, мира и счастья, тонули наши товарищи в Висле и погибли под Сандомирсом. Они сложили головы, честно исполнив свой долг. Человечество никогда не должно забывать своих спасителей — солдат Советской Армии-освободительницы.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ

Не поймешь — кончились бои или нет! Еще только пять часов утра, а вся Первая гвардейская бригада давно уже на ногах. Экипажи танков копаются в изношенных машинах — буквально каждый воин нашел себе дело. Не приходит сон к усталым воинам! Непрерывные двухмесячные бои поломали, спутали режим дня, приучили неделями не спать, не мыться, не бриться, обедать и ужинать, когда позволит боевая обстановка. И огромная инерция этой боевой страды все еще несет куда-то танкистов, и им в диковину, что ночью можно поспать, а не ремонтировать танки. Уже три дня мы с Михаилом Ефимовичем объезжаем части, вручая правительственные награды, и в каждой бригаде — одно и то же. Катуков ворчит: «Везде полуночники».

Отпив крепкого чая у гостеприимного Горелова, Михаил Ефимович лукаво спросил хозяина:

— Устал, небось, на бригаде?

— Никак нет! — удивлен Горелов.

— Вот, советовались мы с Кирилловичем: не пора ли тебя на корпус выдвигать?

Лицо Горелова насупилось, изобраило гнетливость:

— В нашей армии на корпусах командья есть. В другую — не пойду!

— Не торопись, планы Военного совета неизвестны. Предполагаем Гетмана чнуть на первого замкомандующего.

— Вот и будет вакантная должность! Бригаде ты сидишь больше двух лет, овал неплохо, образование подхо- академик! Один академик и сме- того: ведь у нас их в армии — раз, а знаешь. Подумай!

Горелов выполнил совет — подумал. По- г:

— Верие — спасибо. Но если мож-

йте мое мнение. У Гетмана

ой, хороший, но там и свои

ытные, и зам неплохо; глав-

ов среди них хватает. А я

люблю и до конца войны го-

гаться на бригаде. Но если

гать — с охотой пошел бы

чу Дремову. Для дела это

я в нашем корпусе все

наю и офицеров, и солдат,

Иван Федорович — непо-

— Горелов пожал пле-

хания танкам уделает.

его зама — с удоволь-

Предложение Горелова ломало наши планы.

— Кириллович, твое мнение?

— А твое? — отвечаю Катукову вопро- сом на вопрос. — Горелову бригаду не я, а ты сдавал. Сам преемника выбирал себе. Дремов-то действительно танкового обра- зования не имеет. Природа танковых войск ему не очень близка. Если удовлетворим желание Горелова, то, конечно, подкрепим Дремова.

— Горелов, а обижаться не будешь, — спросил Катуков, — если вместо Гетмана посадим на корпус не тебя, а твоего дружка Армо?

Горелов даже привстал от волнения.

— За Армо только рад! Кандидатура подходящая. Армо — почти танкист. И на корпус больше меня подходит: сумеет лучше организовать взаимодействие с пехотой.

Ответ был не без доли яда: Горелов гордился своим «чистокровно танкист- ским» образованием.

— Ну что ж, в принципе, считай, погово- рили. Будем докладывать по инстан- циям. Но в бригаде работу не ослабляй.

— Для меня бригада — мой дом. Она для меня — мать родная!

— Не горячись. Хотим узнать твое мне- ние: кого комбригом вместо тебя подо- брать?

Горелов, волнуясь, мерял крупными шагами комнату, брови его задумчиво сдвинулись, губы шевелились, как бы произнося одну за другой фамилии. Мы не торопили. Иногда энергичным взмахом головы он как бы отбрасывал неудачную мысль. Наконец остановился.

— Считаю, что наилучшей кандидату- рой будет не мой зам и не начштаба, а Темник — командир танкового полка из бригады Костинова. Был с ним в несколь- ких боях. Грамотный, смелый, спокойный. Под танком не раз вдвоем лежали — разговаривали. Рассказывал, что он из по- литработников; значит, будет хорошим единичальником.

— Ты Темника хорошо знаешь? — спросил меня Катуков.

— Да. На Халхин-Голе он был началь- ником политотдела танковой бригады, с начала войны выпросился на фронт. Тан- кист до мозга костей! Окончил курсы усо- вершенствования при Бронетанковой ака- демии.

— Сочетание неплохое: политработник и командир, — задумался Михаил Ефимо- вич. — Но как, Горелов, твои орлы примут «какого-то» Темника?

— Все будет хорошо. Ручаюсь.

— Ну что ж, Темник так Темник. По- моему, кандидатура подходящая. — Кату- ков отодвинул от себя пепельницу с дву- мя десятками окурков, подошел к двери и распахнул ее. Чудесный смоляной ветер освежил наши головы.

Из бригады мы поехали в штаб армии. Катуков всю дорогу находился под впе- чатлением беседы с Гореловым.

— Надо будет и с Гетманом поговорить.

Не обидится ли Андрей Лаврентьевич на наше предложение?

— Но это же повышение! — удивился я. — Хватит ему на корпусе сидеть, он войну начал с дивизии.

— А Горелов! Предложили корпус — ведь не пошел! Прав был Дремов, когда просил его себе замом. Дремову, конечно, не хватает образования. В двадцать пятом году кончил пехотную школу и больше не учился. А Горелов — академик! Как он бригаду любит! «Бригада мне дом родной», — припомнил командующий.

— Он ведь сирота. Отец был кровельщиком, упал с крыши, разбился. Мать вскоре умерла. С двух лет Володя в Уржумском детдоме воспитывался. Путь был прямой: ФЗО, завод, из пионеров в комсомол, по путевке комсомола — в танковое училище. Потом — взвод, рота, академия... всю жизнь в коллективе рос, коллективом воспитан. Вот и дорожит коллективом.

— Редкий человек. А Бабаджанян, думаешь, от корпуса не откажется?

— Нет, Армо с охотой возьмется.

В штабе встретили секретаря Львовского обкома партии Ивана Самойловича Грушецкого. У него было к армии много просьб, больших и малых. Касались они восстановления хозяйства Львовщины. Ведь прошел всего месяц, как область была освобождена от гитлеровцев.

— Может, трофейные лошаденки найдутся? А то беда: на коровах пашут. Горе, а не пахота!

— Есть лошаденки, дадим. А танковой армии они и по штату не положены.

— Инвентарь у нас старый, машины разбиты!

— Отремантируем. Да и трофейных машин дадим. Не откажем.

Иван Самойлович от души благодарил армию.

— Провожу завтра партийный актив, приглашаю и вас. Послушайте, как живет, в чем нуждается область.

Больше трех лет мы не бывали на областных партактивах, даже слова эти стали забываться. А до войны между военными и гражданскими работниками существовала тесная связь. Они помогали нам, мы помогали им чем могли. И всю дорогу в двести километров до Львова заполнили разговоры о давних историях и взаимоотношениях руководителей партийных и советских организаций с армией.

Областной партактив проходил в уцелевшем здании Львовского оперного театра. Оно до отказа было заполнено секретарями райкомов, председателями исполкомов, пропагандистами и другими партийными и советскими работниками. Почти все были в гимнастерках со следами споротых погон, некоторые прихрамывали, опираясь на палочку, другие вели запись левой рукой — правый рукав был прихвачен поясным ремнем. Многие среди них — наши боевые друзья: танкисты, артиллеристы, пехотинцы, саперы. И сам секретарь обкома генерал Грушецкий, с которым мы

вместе воевали еще с сорок первого года, только два месяца как оставил армию.

От Первой танковой были приглашены Журавлев, Литвяк, Солодахин и другие.

После выступления второго секретаря обкома товарища Гапочки слово представили Н. С. Хрущеву — секретарю ЦК КП(б)У и Председателю Совнаркома Украины. Он обрисовал перед нами картину огромной работы тружеников тыла. Мы сами с боями недавно проходили Украину, видели разрушенные города, села, заводы, фабрики, взорванные мосты, изуродованные железные дороги, покалеченные машины. Основные фонды промышленности были разрушены до основания! Казалось, нужны десятилетия мирного труда, пока из руин и пепла встанет прежняя цветущая Украина — житница нашего Союза. Но страна не могла ждать столько. И вот в республике, где почти все здоровое мужское население было на фронте, где тысячи угнаны в проклятую неметчину и тысячи расстреляны, велись теперь гигантские восстановительные работы!

Н. С. Хрущев говорил в своем, привычном для нас стиле: с массой конкретных фактов, живых примеров, пересказывал личные беседы с тружениками заводов и полей. Сначала рассказал о Донбассе, который год назад давал только полпроцента довоенной добычи, а сейчас — уже свыше четверти ее, потом о пуске пяти металлургических заводов, о восстановлении Днепрогэса, Криворожья. Потом стали упоминаться западные области: Тернопольщина, Станиславщина, Львовщина, где многие фабрики и заводы уже успели восстановить.

«Наши, слышишь, родные!» — толкал в бок тоненький Солодахин спокойного Литвяка. И действительно, все освобожденные области казались своими и близкими, и радости их удач казались собственными радостями.

Никита Сергеевич обратился к военным:

— Для восстановления народного хозяйства республики нужны специалисты. Надеюсь, товарищи, вы правильно поймете требование времени и не будете задерживать их в армии.

Я смотрел на него и думал: «Да, Никита Сергеевич, и специалистов задерживать не будем, и в уборке поможем». Враг еще не повержен, впереди — тысячи километров фронтовых дорог. Да уж так устроена жизнь: она всегда стремится к светлому, радостному. Потому уже теперь надо было думать о будущем, о том часе, когда навсегда умолкнут орудия, и вновь по весне в белую кипень оденутся возрожденные сады родной Украины, и как прежде выйдут вечером парни с дивчинами на днепровские кручи, и зазвучат над рекой чарующие украинские песни.

Такой, именно такой помог нам тогда увидеть нашу разоренную войной Украину Никита Сергеевич Хрущев.

Ветерком мирной жизни повеяло от его слов. Той жизни, когда главным стано-

вятся тракторы, а не танки, а солдат пре-
вращается в каменщика или сеятеля. И сам
он, Никита Сергеевич, предстал перед нами
в новом свете.

Я увидел в нем не только боевого ге-
нерала, члена Военного совета нашего
фронта, но и руководителя огромной
стройки. Горячность слов Никиты Сер-
геевича, его увлеченность очень хорошо
говорили о том, как он сам истосковался
по мирной работе.

Впрочем, удивляться этому не прихо-
дилось. Военным он стал по необходи-
мости, в тяжелую для Родины годину.
Вместе с ним мы начинали войну здесь,
на Львовщине, в 41-м, вместе сражались
под Харьковом. А разве забыть, что при-
шлось нам вынести на Волге!

Трудясь для победы, он не жалел ни
сил, ни самой жизни. На самых опасных
и трудных участках солдаты не раз ви-
дели рядом с собой Никиту Сергеевича.
Они верили в него, верили его опытности,
его военным знаниям. С его приходом
всегда появлялась уверенность, что все бу-
дет хорошо.

Но мы, командиры, кто ближе знал
Никиту Сергеевича, знали, что никогда не
оставляла его мечта о возвращении к мир-
ному труду, к созиданию. Очень загру-
женный работой в Военном совете фронта,
он никогда не переставал интересоваться
тем, как восстанавливается хозяйство ос-
вобожденных нами городов и сел Украины,
как живут люди. К нему — военному, ге-
нералу — за советом и помощью шли кол-
хозники, рабочие, руководители предприя-
тий, партийные работники. И вот теперь
наша родная Украина полностью осво-
бождена, победа уже близка, теперь не
менее важной становится мирная работа.

Никита Сергеевич закончил выступле-
ние и, сойдя с трибуны, подошел к танки-
стам, пожал нам руки, поздравил с при-
своением гвардейского звания.

С актива мы возвращались под силь-
нейшим впечатлением увиденного и услы-
шанного.

— Какие цифры Никита Сергеевич на-
зывает! — возбужденно говорил Катукоев. —
Всю Украину пустили на полный ход.
И кто? Комиссованные с фронта, жен-
щины и подростки. Ведь года не прошло,
как мы оттуда немцев вышибали!

Он пытался чиркнуть зажигалкой, но от
волнения никак не мог высечь огонь.

— Что может партия с людьми сделать,
если за душу, за сердце берется! Карпаты
сроем — и не заметим. Большую силу
имеет идеологическая работа. А ведь наши
же! Фронтные кадры разожгли этот дух
народный в тылу, наши командиры, по-
литработники и солдаты. Почти все ком-
миссованные, а не угомонятся.

После актива мы неотступно начали ду-
мать, как лучше подготовить людей к
предстоящим боям.

— Давай посоветуемся с работниками
поарма, — предложил я Катукоеву.

...На второй день в светлом украинском
домике, где размещался политотдел, Жу-

равлев собрал всех работников поарма.
Как и всегда, первыми явились подпол-
ковники Слащев и Михайленко. Они
только вчера вечером прибыли из полков
и бригад.

Много рассказывать о задачах полити-
ческой работы по подготовке личного со-
става к предстоящим боям не требовалось:
работники поарма, прошедшие войну, по-
нимали все с полуслова. Но теперь жизнь
выдвигала новые задачи, новые формы и
методы моральной подготовки солдат и
офицеров к боям: нужно было организо-
вать непривычные для фронтовой жизни
дивизионные партийные школы и марк-
систско-ленинскую подготовку офицеров.

— Как лучше это сделать? Где взять
учебники? Кто разработает планы заня-
тий? — спрашивал Журавлев, покачиваясь
с ноги на ногу.

— Методические разработки и учебные
пособия, — предложил Слащев, — напишут
работники отдела пропаганды. А ленин-
ские труды попросим у Львовского обкома.

Уже на другой день Слащев и Павлов-
цев выехали во Львов и из Львовского
университета привезли большое количе-
ство необходимой литературы, чудом уце-
левшей от немецких оккупантов.

Несколько тысяч коммунистов и комсо-
мольцев, офицеры и солдаты армии, нака-
нуне великого броска на запад сели за
учебу, чтобы пополнить свои знания
марксистско-ленинской теорией, освещаю-
щей путь к миру и счастью человечества.
На том этапе она помогала нам осветить
путь к полной победе над гитлеровской
Германией.

* * *

Как-то вечером я услышал звонок ВЧ.
К телефону вызывала Москва. Что слу-
чилось? Что может быть? Мигом пере-
брал в голове все последние события.

— Здравствуйте, — голос начглавура
Щербакова. — Как ваше здоровье?

— Здоров. Все в порядке.

— Вам нужно выехать в Москву.

— Если не секрет, по какому вопросу?

— На месте узнаете.

Ночью мне спать не пришлось. Утром
вылетел. В полете я чувствую себя не-
важно. Особенно худо было на этот раз:
сердце разболелось, воздуха нет, все кру-
жится — через силу дотянул до Житомир-
ского аэродрома. Вывернулся там до от-
каза, полежал без движения на травке,
жадно хватая ртом чистый воздух. Отле-
жался, и тем же порядком — на Киев.

Дальше лететь не смог. Только через
ЦК Украины достал великую в те дни
ценность: билет на поезд Киев — Москва.
Вагон напоминал танк с десантом: пасса-
жиры были на крышах, в тамбурах, на
подножках. Каждый куда-то спешил, у
каждого — проездные документы. В вагоне
все забито. Тяжел был этот путь! Попытки
железнодорожников навести в вагоне по-
рядок не привели ни к чему. Мест-то
нет, а ехать всем надо!

В Москве на Киевском вокзале меня

встретил представитель ПУРа с машиной. Ровно год я не был в столице. В ней почти не чувствовалось теперь войны: редко-редко мелькало неснятое затемнение на окнах, не было видно в воздухе аэростатов воздушного заражения. Улицы многолюдны, на стенах снова висят афиши театров. Замечаю, что везут меня не к центру, а куда-то за город.

— В чем дело? Я — по вызову начПУРа!

— Есть распоряжение пока поместить вас в санаторий «Архангельское».

Иду в свою палату. Открываю дверь... А в комнате — жена и Аллочка, младшая дочка! С 22 июня сорок первого года не виделся с ними... О счастье своим говорить не могу — без слов фронтовики поймут меня. И наверно, не только фронтовики!

Короткие, сбивчивые рассказы...

— Как жили в эвакуации?

— Трудно, Коля. Голодно было, иногда и хлеба не было, ели только печеную картошку. Работали много. Я погоняем на волах была в колхозе, белье для госпиталя стирала, Лизочка — на заводе. Но живем дружно, люди сплотились: только о вас думаем. Проживем, все выдержим и все сделаем — лишь бы вы живые домой вернулись.

— А как сюда попали?

— Живем в Москве. Спасибо Никите Сергеевичу, написал записку в Моссовет. Нас разыскали, перевезли, дали квартиру. Теперь мы москвичи. Как-то странно после деревни.

— А где Лизу́нька? — спросил я о старшей дочке.

— Необыкновенная история! Случайно она встретила в Москве, около госпиталя, твоего водителя Коровкина. Узнала, где ты, горячее ее сердечко знаешь — поехала к тебе, добилась. Дружинницей записалась.

— Разминулись, значит...

«Провинциалу» и фронтовику жизнь столичного санатория показалась тяжелой и странной. Прав был Вася Теркин: «Немногожко б хуже — это было б в самый раз». Высокоученый консилиум приговорил меня к двум месяцам госпитального лечения: истощение, переутомление и прочее... Прошла неделя: лечение, прогулки, знакомства с товарищами. Самой большой радостью была, конечно, семья! И все-таки очень тосковал о родной Первой танковой. Наконец не выдержал: связался с членом Военного совета бронетанковых войск Н. И. Бирюковым, упросил прислать за мной машину. Надо было подобрать кадры, укомплектовать армию, поторопиться с отправкой техники и оружия. Вместо лечения целые дни просиживал в управлениях, и особенно в управлении кадров, вместе с его начальником генералом Сафоновым.

Коридор этого управления заполняли десятки офицеров, прибывших из госпиталей. Среди них было много комиссованных и ограниченно годных, то есть годных только для работы в тылу армии. Я не мог без волнения смотреть на инва-

лидов, видеть, как они, преодолевая усилием воли дрожь контузии, бодро вертя перед глазами Сафонова рукой с перебитым лучевым нервом или притоптывая протезом ноги, просили только об одном — послать их на фронт, и если можно — в свою часть.

Из группы преподавателей военных училищ и академий мы отобрали несколько хороших командиров. Тем неприятнее показался мне разговор с одним подполковником — преподавателем, которому Сафонов предложил поехать на фронт заместителем командира механизированной бригады.

— Я преподаватель тактики, — говорил он, — а вы мне что предлагаете? Это не мое амплуа! — Последнее слово было произнесено с особой значительностью. — Я использовался для проверки частей, отправляющихся на фронт, моими актами и докладами все восхищались. — И подполковник гордо протянул Сафонову пачку блестящих отзывов о собственной персоне.

— А на войне вы были?

— Нет.

— Как же вы преподаете тактику офицерам, которые прошли через три года войны? Вы академиком кончили?

— Нет... — Вот тут, в первый раз, подполковник несколько сбавил тон и даже покраснел.

— Значит, по существу, ни практической, ни достаточной теоретической подготовки не имеет. Вам, наверно, трудно преподавать? — «сочувствовал» Сафонов. — Может быть, генерал Попель поможет этой беде. Возьмете его к себе на должность замкомбрига?

— Надо посмотреть. Пошлите в армию. Пусть товарищ осмотрится там. А к началу боев видно будет, на какую должность его назначить...

В этот момент дверь кабинета отворилась, и в нее вошел офицер. Его лицо выражало крайнее отчаяние, в котором человек не помнит себя.

— Товарищ генерал! — обратился он к Сафонову. — Прошу прощения. Два дня жду вашего решения. Направьте меня на фронт — хоть на батальон! Хоть на роту!

Я привстал от изумления:

— Волков! Петр Ильич!

Он повернулся, лицо его осветилось, руки невольно вскинулись навстречу, голос зазвенел счастливым волнением:

— Товарищ комиссар! Живы!

Я бросился к нему и крепко сжал в объятиях боевого друга. Все расплылось перед глазами, затуманенными слезами радости.

— Ну, рассказывай, рассказывай! Где ты был?

— В плену.

Радость на его лице сменилась выражением затаенной боли.

— Был там кто-нибудь из наших? — Вопрос я задал с болью и тайной надеждой: может, и живы еще пропавшие без

вести боевые друзья сорок первого года. — О Васильеве ничего не слышал?

— Комдив сожжен в танке. Два офицера в лагере говорили — сами это видели. — Голос Петра Ильича какой-то приглушенный, почти сиплый.

— С кем еще встречался?

— На прогулке видел своего старого командира, генерала Ивана Николаевича Музыченко: безногого, на протезе. Его держали в одиночке.

— Как он себя вел? — спросил Сафонов.

— Достойно! Возглавлял подпольную организацию.

Мне вспомнилось, как в сорок первом году тысячами листовок, как снегом, покрыло леса и поля. На листовках изображался храбрый генерал Музыченко в окружении офицеров. Командарм будто бы обращался к армии с призывом сдаваться в плен. В действительности же генерал, захваченный в плен (гитлеровцы вытащили его, тяжело раненного, потерявшего сознание, из подбитого танка), никогда подобного обращения не подписывал. За отказ его игноили в одиночке офицерского концлагеря.

— Ему Власов хотел пост военного министра предложить, — рассказывал Волков. — Иван Николаевич этого прохвоста ждал с протезом у двери камеры целую неделю. Несдобровать бы гаду! Но струсил Власов прийти к Музыченко, не посмел сунуть нос...

Волков говорил с удовольствием, с гордостью. Я возбужденно ходил по кабинету.

— А были пустобрехи, которые скверными языками разносили по армии провокаторскую ложь о Музыченко, — понял мой чувства Сафонов.

— Как ты от меня в сорок первом оторвался, Петр Ильич? Почему не радировал? — спросил я.

Он виновато опустил глаза.

— Виноват. Зарвался. Ведь какой бой был! Углубился километра на три в их боевые порядки. Огляделся, смотрю — никого нет. Хотел радировать вам — рация не работает. Немцы контратаковали, под вечер подбили мою «тридцатьчетверку», экипаж весь поранило, мне раздробило ногу.

Петр Ильич сел, положил сильные руки на колени, глаза его увлажнились.

— Не забыть моих ребят — не бросили командира. Сами раненые, а меня тащили. Не помню, как схватили нас: был без памяти.

Он смотрел на нас невидящими глазами: сейчас был далеко. Подполковник, стоявший у своего кресла, выразительно кашлянул раз, давая понять, что надо сначала решить его «важное» дело, а потом заниматься какими-то старыми историями.

— Раненые шли медленно, — говорил Волков, — отставших конвой добивал штыками. Думал — только б мне до привала дойти... К вечеру согнали нас на поляну, поставили кругом пулеметы. Ночью один раненый вскочил в бреду, ну и дали они

по пленным из пулеметов. Осветят ракетами и лупят! А мы по канавкам прячемся...

Он помолчал.

— Большая была братская могила!

— Бежать не пробовали? — Сафонов подпер голову рукой, лицо его было грустно.

— Из первого лагеря, в Хелме. Сломали помост для порки, доски набросали через проволоку, часовых чурбаками по голове огрели — и ходу. Мертвецы висели на проволоке, от пулеметов нас прикрыли. Да куда мне было бежать с проклятой раной! Недалеко ушел. И перевели в «душгубку» — в офицерский лагерь в Замостье. Вот где мы принимали муку! Особенно в ноябре сорок первого! Слухи распространились, что Москва взята Гитлером. Кое-кто на этом помешался, так и бродили по лагерю сумасшедшими. А двое в уборной на ремнях повесились. Но изменников не нашлось никого.

— Кто распускал слухи?

— Нашлись провокаторы. На Власова, гады, работали.

— А как? — Методы вербовки во власовские отряды интересовали Сафонова.

— Сначала пугали: после финской войны наши якобы своих пленных — которых Финляндия вернула — расстреляли. Вот, дескать, и с вами то же будет. А у Власова, мол, офицерам хороший паек дадут. Подпольная организация вынесла тогда приговор — Музыченко это предложил, — и парочку агентов, — Волков инстинктивно поднял руки, как бы сжавшие горло предателя... Утопили их в отхожем месте. Остальных сдуло из лагеря. Ну, а потом... Агитацией не получилось, так офицеров голодом решили загнать к Власову. Объяснили карантин, отогнали местное население от лагеря подальше, отобрали паек и всех на вареный жом посадили.

— На что?

— Жом, знаете, отходы свеклы. Вонючий, кислый, люди даже с голодухи не могли его есть. Ходили мы по двое, чтоб не падать. Упадешь — тогда уже не встанешь, тут и помрешь на месте. До сих пор помнится, как в суставах что-то шумело, шумело...

Каждое его слово впивалось мне в сердце.

— Через месяц десятая часть офицеров осталась. Остальных зарыли вокруг лагеря. Но к Власову ни один не пошел!

— Как же ты спасся?

— Это из Румынии. В тюрьме сидел. Часовой-румын, хороший парнишка, — Волков улыбнулся, — напильники, одежду и документы принес. И сам со мной бежал.

Генерал Сафонов принял решение:

— Товарищ Волков, через полчаса явиться за предписанием. Поедете командиром полка: опыт имеете, прекрасно себя показали в первые дни войны.

Волков прижал руки к груди:

— Прошу, командиром полка не посы-

лайте. Лучше комбатом или, если можно, замкомполка. Отстал я все-таки за это время.

— Хорошо. Вашу просьбу удовлетворим.

Несколько слов о дальнейшей судьбе Волкова. Он был направлен заместителем командира танко-самоходного полка, участвовал с ним в последующих операциях Великой Отечественной войны, был награжден. В 1950 году пришлось ему уволиться из армии — напомнили о себе старые раны, побои и голодовка в лагерях. Но и сейчас неутомимый коммунист продолжает активную общественную работу.

После его ухода нам надо было решать вопрос со «знатоком» военной теории. Но теперь Сафонов уже не мог говорить с ним так спокойно. Обрушился на него всей силой партийного гнева.

— Вы военный человек?!

— Ну как же...

— Молчите! Отсидеться думали! На фронте люди бьют врага, освобождают братьев из неволи, из лагерей, а вы главной целью поставили остаться живым! Не выйдете! Поедете! Вы прислушайтесь, — Сафонов кивнул на дверь, из-за которой чуть-чуть доносился шум голосов, — раненые, комиссованные, сами ко мне приходят, просят на фронт. Подберите себе определение! Ну? Кто вы такой?

Подполковник молчал, опустив голову.

— Нет, вам и полк нельзя давать! Как вы думаете, товарищ Попель?

— Вполне согласен. Все же пошлите его в армию, мы ему место найдем.

— Ну, уж если так, если никак нельзя... Я согласен. Согласен пойти замкомбригом. — Подполковник был рад хоть этим кончить разговор.

Через месяц Бабаджанян пылко возмущался в штабе армии:

— Пачэму именно мне всэгда такиж кадров дают? Сначала зама пьяницу, потом этот тыловой крыс на комбата! Он танки только на картинке в учебнике видел! Поручаю ему организовать взаимодействие танков с пехотой — не можэт, с авиацией — не можэт. О чем отдел кадров думает? Ему батальон доверять нельзя — погубит всех!

— Нешуми, Армо! Так на какую должность его поставить?

— Если оставить в моей бригаде, то только заместителем командира батальона. Да и то... — Армо выразительно покачал головой.

* * *

После моего возвращения из Москвы каждый день с утра до вечера мы с Катуковым разъезжали по подразделениям. «Лаборатория, Кириллович!» — радовался Михаил Ефимович. И действительно, район размещения армии напоминал гигантскую военную лабораторию. Всюду отрабатывались приемы и методы грядущего наступления: каждая полянка превратилась в танкодром, полигон или автодром. Танкисты учились взаимодействию с авиатора-

ми, разведчики обобщали опыт, одним словом, вздохнуть было некогда на этом «отдыхе».

Как-то раз по дороге на полигон услышал знакомый голос: «Запевай!»

Из строя донеслось:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!

Петя! Петя Мочалов командует. Бронетранспортер остановился.

Крепкогрудый, уверенный командир роты лейтенант Мочалов четко доложил Катукову.

— А, вот он — твой богатырь, Кириллович! — засмеялся Михаил Ефимович. — Знаменитый Петр Мочалов!

Даже уши Мочалова запунцовели от смущения.

— Ну поздравляю, лейтенант, с новым орденом и с новым званием! — Катуков крепко сжал узкую ладонь командира роты.

— Как здоровье? — спросил я Петю.

— Хорошо, товарищ генерал! — Но, заметив мой испытующий взгляд, смутился и добавил: — Швы иногда побаливают, очень уж большие.

— Ну как пополнение? Откуда? — спросил Катуков.

— С Украины. Ничего народ, хороший, только сыроватый, — ответил он солидно, как подобает комроты, и оглядел своих бойцов (они с благоговением смотрели, как их лейтенант непринужденно разговаривает с командованием армии). — Молодые, по восемнадцать лет всего.

А самому Мочалову исполнилось только двадцать лет. Но ведь у него за плечами лежали два года войны, Курская дуга, Днестр и Висла! Глядя на складки, обозначающиеся у верхней губы, на какое-то определенное выражение лица, я чувствовал: перед нами действительно стоит зрелый человек.

— Как «старики», помогают тебе?

Прежняя застенчивая улыбка заиграла на его губах.

— Так их же рядовых почти нет, товарищ генерал. Кто на взвод пошел, кто на курсы лейтенантов. Да не беспокойтесь, к наступлению рота будет готова выполнить все указания.

— А почему думаете, что будет наступление? — спросил Катуков.

— А как же? Для чего мы столько людей на плацдарме положили? И общая политическая обстановка такая... Берлин впереди! Приемы наступления сейчас отрабатываем...

— Правильно думаете! А как с преодолением танкобоязни? Приучаете новичков?

— Так точно, уткужу. Некоторые дрожат, придерживать их по первому разу приходится. Сразу двоих! Орут благим матом. Когда «тридцатьчетверка» над головой проходит, успокаиваю: «Да не бойтесь, он уже прошел, вы живы остались, немного только землей присыпало». Вы же роту доверили, товарищ командующий, вот и готовлю ее. Если жизнь в бою сол-

датам придется отдавать, то какой ценой? Надо, чтобы недаром погибать! Родина с меня за каждого спросит! И каждая мать тоже: как сынок погиб? А что ей ответить, если он вдруг по сырости, по неумелости даром голову сложит? — В голос Пети слышалась какая-то отцовская нота. — Вот и готовлю.

— Ну, друзья, — обратился к роте Михаил Ефимович, — кто из вас совсем не воевал, поднимите руки. Ого! Ну, не горюйте, хватит вам войны! Еще вырастут из вас командиры, как ваш лейтенант. Самое главное — никогда не забывайте, о чем он вам говорит.

* * *

По плану Михаил Ефимович должен был ехать в корпус Гетмана, где шла передача соединения Бабаджаняну. Но Катукоев неожиданно заявил, что передумал: «Заедем лучше вместе на передачу к Горелову, а потом — и к Гетману. Знаешь, народ может обидеться, если меня не будет. А я этого не хочу».

— Может быть, не так народ, как Горелов? — поддел я его. — Шучу, шучу. Понимаю, это твоя бывшая бригада! Как это говорится? Когда семья вместе, тогда душа на месте!

— Ох, любишь ты восьмой корпус!

— Так же, как и ты. Это мне не мешает любить всю армию. Хотя слухи ходят, что восьмой — любимчик командования.

— А, ты тоже слышал? — засмеялся Катукоев и передразнил кого-то: — «Все Дремов да Дремов, а Гетман вроде и не наш...»

— Ну, ты и вправду больше в восьмом бывал! К дружку тянуло, или за корпус болел?

— Да знаешь, и то и другое...

Разговор этот начался еще в штабе и продолжался сейчас в автомашине. К нему молчаливо прислушивался сидевший на заднем сиденье невысокий офицер, смуглый, усатый — новый комбриг «Первой гвардии» полковник Темник.

— Скажи, о чем задумался? — шутливо обратился к нему Катукоев. — Сидишь, как невеста на выданье. В старину говорили: «Хоть за курицу, да на свою улицу». Мы тебя просватали не на сторону, а в своей армии, в свой корпус, да еще в какую бригаду! Вся армия с Московской битвы ее знает. Эх, сколько тогда корреспондентов ездило! Горы бумаги исписали, — мечтательно закончил Катукоев.

— Позвольте, товарищ командующий, сказать свое мнение, — негромко начал Темник. — Бригада отличная, я бы даже сказал, исключительная бригада. Но...

— Что «но»?

— Есть в ней отдельные гонористые офицеры...

Вспомнилось, как сам Темник «гонорился» перед своим новым комбригом Костиковым всего три месяца назад. А вот теперь ему самому предстояло побыть в этой трудной роли.

— Конкретнее? — спросил Катукоев.

— Вот, например, комбат Бочковский. Знаю его хорошо: смелости очень много, но гонору, пожалуй, еще больше. А я спуску не буду давать.

— Бочковский? Вы что, шутите?! Да вы знаете, о ком говорите? За Коломью его в Приказе на всю страну отметили! Вам это известно?

— Слышал, читал...

Было видно, что слова Катукоева Темника не убедили.

— Может, это вскружило Бочковскому голову? Как считаешь, Кириллыч? — взволновался Михаил Ефимович.

Признаюсь, мне было тяжело слушать Темника. Бочковский был человеком исключительной личной смелости, а я всегда чувствовал слабость к таким людям и многое мог им простить. Но в чем-то прав был Темник! Поэтому на вопрос Катукоева пришлось мне отвечать цитатой из «Теркина»:

— «Частично есть». Советую вам, товарищ Темник, присмотрите за Бочковским. Двадцать второй год ему, а уже капитан, комбат, Герой! В нем много хорошего, но есть и зазнайство; развивайте в нем одно, изживайте другое. С ним надо много работать, и здесь вам поможет подполковник Ружин: хорошо знает Бочковского.

...Бригада построилась на полянке. Лица людей были встревоженные, хмурые. Солдаты внимательно поглядывали на комбрига: какой-то слушок, видно, уже прогулялся по частям. Подъехали Дремов и Литвяк. Катукоев принял рапорт от Горелова и, выйдя на середину, поприветствовал однопольчан неизменным: «Здравствуйте, первая советская танковая гвардия!»

Потом Михаил Ефимович пошел вдоль рядов. То тут, то там узнавал друзей по подмосковным боевым делам. Он жам им руки, поздравлял с новыми званиями и орденами. Особенно долго задержался около старшины Кухарева, грудь которого украшал новенький орден Красного Знамени. Старшина славился тем, что кормил людей всегда своевременно, несмотря ни на какие обстоятельства. Сейчас, отмеченный вниманием командующего, Кухарев сиял и еще больше подкручивал кверху усы.

Шедший рядом со мной Горелов был расстроен, глаза воспалены.

— Что с тобой?

— Николай Кириллович, не могу я больше. Всю ночь просидел с «дедом», выложил душу. Я люблю его, верю больше, чем себе. У нас все общее: радости, горе, всякая забота и удача. Знаю, что есть командиры, которые считают своего зама по политчасти наравне с замом по строевой, зампотехом, зампотылом, делят там чего-то. А мы с Антоном Тимофеевичем три года проработали, жили душа в душу, он был совестью нашей бригады, и его ни с кем другим сравнить нельзя было...

— Ты отклонился, Володя. О чем же ты с Ружиным целую ночь проговорил? Горелов помолчал, потом тихо сказал:

— Сердце изболелось! Все как хотел получилось: сам остался в своем корпусе, самый близкий друг на корпус Гетмана пошел. А чувствую — будто в один день снова стал круглым сиротой. Тяжко уходить из бригады. Признаюсь, сознательно задержал вынос знамени. Может, не поздно? Поговорите с командующим!

— Приказ подписан. Комбрига привезли...

— Товарищ командующий, разрешите выносить знамя!

— Пожалуйста, пожалуйста...

И вот прозвучала команда, которая заставляет трепетать сердце воина, сколько бы раз он ни слышал:

— Под знамя — смирно!

Тысячи людей замерли. Появилась великая святыня бригады. Ветер слегка шевелил тяжелый бархат, обогранный кровью наших погибших боевых товарищей. А на фоне красного стяга внимательно вглядывался в своих солдат Владимир Ильич. Вот знамя близко, различаются золотые буквы: «Первая гвардейская танковая бригада». Блестит орден Ленина, орден Красного Знамени, ордена Кутузова и Богдана Хмельницкого! Каждая награда — память о славных битвах, о массовом героизме, о том, как установили несметные полчища врага под Москвой и под Курском, как истребляли их на Украине, как шли с Лениным на знамени и в сердце вперед, на запад! Лицо знаменосца озарено сосредоточенным вдохновением. Мимо людей пронесет вечный символ великого дела коммунизма: каждый может умереть, но знамя, но светлые цели нашей борьбы, воплощенные в дорогом имени Ильича, — они бессмертны!

У гвардейцев перехватило дыхание, спазмы волнения сжимали горло. Еще несколько секунд после того, как знамя замерло на правом фланге, потрясенный Горелов не мог скомандовать «Вольно!»

Катуков зачитал приказ. После слов: «Герой Советского Союза гвардии полковник Горелов Владимир Михайлович назначается заместителем командира 8-го механизированного корпуса Первой гвардейской танковой армии» — будто стон пронесся над рядами. Тягостное уныние заполнило все вокруг и ощутимо давило каждого из нас. Михаил Ефимович заметил это, оторвался от текста приказа и заговорил своими словами:

— Лучший из лучших, командир гвардейского танкового полка, показавший образцы мужества и отваги, полковник Темник назначается командиром Первой гвардейской бригады. Военный совет доверяет ему и надеется, что под командованием товарища Темника Первая танковая гвардия сохранит свои славные традиции и донесет знамя до логова гитлеризма — до Берлина! Ура!

Командующий даже не прочитал подписи под приказом: троекратное «ура», как взрывы, потрясло все вокруг. Головы поднялись. Люди оживленно поворачивались друг к другу: «Темник? — читалось

на лицах. — Что это за такой Темник? Ну-ну, поглядим, чего этот Темник стоит».

Зычный бас Горелова:

— Смирно! Знамя на середину!

И снова лица — строгие, торжественные, как бы освещенные изнутри благородным светом. Горелов и Темник подошли к знамени. Оба были бледны, как мел, только глаза воспаленно горели. Горелов взялся за древко, сделал два шага вперед и встал на колени. И весь строй, как по команде, без единого слова, упал на колени перед своей святыней.

— Не посрамите! — голос Горелова звучал грозно. — Не уроните честь и славу гвардии...

Больше он говорить не мог, приник к знамени губами и застыл. Потом, как будто вырывая из сердца самое дорогое, Горелов протянул знамя Темнику.

Темник, опустившись на правое колено, поцеловал красный бархат, и звуки его голоса разнеслись перед строем:

— Клянусь тебе, родная партия, клянусь тебе, наш советский народ, пока бьется сердце в груди и глаза видят свет, — будем нести это знамя туда, куда прикажет нам наша Родина.

Встал и, крепко сжимая древко, пошел вдоль строя гвардии. Знамя медленно проходило мимо одного ряда, второго, третьего. Потом Темник снова вышел на середину. С этой минуты, он — уже комбриг.

* * *

Из Ставки пришла директива: «Первой гвардейской танковой армии войти в подчинение Первого Белорусского фронта и сосредоточиться в районе севернее Люблина».

Курвиметром вымеряем расстояние: по воздуху 300 километров, по дорогам 450—500. Передислокацию приказано провести комбинированным маршем: танки, самоходки и тяжелые грузы пойдут железной дорогой, а все остальное — своим ходом. Надо произвести передвижение незаметно, скрытно. А попробуйте-ка скрытно двинуть несколько тысяч машин и десятки тысяч людей — так, чтоб вражеский лазутчик не заметил никаких следов! Задача!

Кипит работа: Шалин с Никитиным ищут на карте подходящие дороги, долго думают над переплетениями красных и черных жилочек. Дороги должны быть проезжими и в то же время проходить подальше от городов, и надо, чтоб вели они прямее к цели и чтобы имелись леса для стоянок в дневное время. Многомного других соображений учитывали штабисты, чтобы укрыть армию от вражеских глаз, пока наконец согласно кивнули головами: найдено!

У хозяйственников — не меньшие задачи: надо рассчитаться с местными гражданскими хозяйственными учреждениями — незаметно убрать все концы. Коньков докладывает, что местные товарищи интересовались: «Чего вы так торопитесь? Уезжаете, что ли, оставляете нас? Мы можем

поставлять вам овощи и в другое место, укажите только, куда!» — «Нет, что вы! Просто должно не хотеться, давайте уж рассчитаемся».

После этого разговора армия еще два дня стояла будто бы на месте. А потом — не стало никого. Точно в срок армия успела передислоцироваться в район Каменки, севернее Люблина, и густой лес поглотил ее.

После сосредоточения в полосе нового фронта командование армии обязано было прибыть, представиться и доложить о состоянии армии командующему фронтом, члену Военного совета, начальнику штаба и некоторым начальникам родов войск.

Мы с Катуковым поехали представляться. В командование Первым Белорусским фронтом за месяц до этого вступил маршал Жуков (вместо убывшего на Второй Белорусский фронт маршала Рокоссовского).

Первым делом заехали к начштаба фронта генералу Малинину, одному из способнейших начальников штабов фронта, старому танкисту. С помощью офицера, выделенного Малининым, легко нашли красивый, увитый зеленью домик Жукова. Еще издали узнали со спины небольшую коренастую, плотно сбитую фигуру маршала, прогуливавшегося по асфальту. Без слов оба остановились, чтоб не идти вслед. Вот Жуков повернулся, и мы двинулись навстречу.

— А, танкисты приехали?

— Товарищ маршал...

— Давно знаю, что я маршал. Здорово, Катуков! Здорово, Попель!

В крепком рукопожатии, в веселом рокоте голоса чувствовалась доброжелательность.

Перебросился с нами общими фразами:

— Всё закончили?

— Хвосты подчищаем.

— Хорошо, хорошо! Ведь я вас специально у Верховного выпросил — знаю все-таки по прежним боям. Не подведете?

— Никак нет, товарищ маршал, не подкачаем!

— Не завтракали еще? Пошли ко мне.

— Что вы, товарищ маршал, мы сыты.

Мы и вправду не завтракали, но неудобно же раскрывать это начальству.

Жуков был прост, спокоен, откровенен. В его домике всюду виднелись следы большой работы, лежали карты, схемы, документы...

— Сидел тут несколько дней, — пояснил он, заметив, как мы оглядывали резиденцию, — продумывал план операции. Главное, как лучше маневрировать танковыми армиями? Отдельно вас пускать или вместе с Богдановым? В основном все продумал и дал начштаба для окончательного оформления. Завтра к Верховному везу план на утверждение.

Была у него такая слабость — часто произносить: «Попросил у Верховного», «доложил Верховному», «говорил с Верховным». Сознательно или подсознательно все время напоминал собеседнику, что он

не простой комфронта, а первый заместитель Верховного Главнокомандующего.

— Еще встретимся, — прощался он с нами. — После возвращения побываю в вашей армии! А сейчас доложитесь кому нужно и займитесь боевой подготовкой. Готовьтесь, готовьтесь и еще раз готовьтесь. Дела предстоят большие.

На душе стало полегче после этого разговора.

— Вот если б он всегда был такой! — мечтательно произнес Катуков. — Это была бы служба!

Следующим посетили члена Военного совета фронта генерал-лейтенанта Телегина. Об этом человеке, известность которого много меньше его славных боевых дел, хочется рассказать поподробнее.

Еще в восемнадцатом году юный Костя Телегин вступил в Омскую Красную гвардию и с ее отрядом присоединился к дивизии уральских рабочих легендарного Блюхера. Бил колчаковцев до самого Байкала. Ум, смелость, боевую и деловую хватку молодого коммуниста достойно оценили товарищи по оружию: в 20-м году в составе Блюхеровской дивизии комиссар полка Телегин вел бойцов через Сиваш на штурм Перекопа. Потом был комиссаром в отдельном пограничном батальоне, воевал против Махно. Окончив Военно-политическую академию, стал одним из руководящих работников Политуправления погранвойск. Бои у озера Хасан, финская война — все это наращивало его боевой опыт.

В начале Отечественной войны Телегин стал членом Военного совета Московского военного округа, а потом и членом Военного совета Московской зоны обороны. Когда в 1942 году на территории МВО формировался наш корпус, обеспечение корпуса кадрами и материальное обеспечение шли через Телегина. Я испытывал огромное удовлетворение, работая с этим дельным, широким, умным человеком. Кажется, и он любил работать со мной; во всяком случае, отношения у нас стали простыми и дружескими. Константин Федорович вручал нашему корпусу первые боевые знамена. В начале декабря 1942 года он уехал на Донской фронт — членом Военного совета. С тех пор победы Донского, Центрального, а позже Первого Белорусского фронтов были связаны с именами маршала Рокоссовского и члена Военного совета Телегина: от Волги и до предместий Варшавы успели пройти соединения фронта к ноябрю 1944 года.

Телегин почти не изменился за эти два года: та же бритая голова, тот же широкий выпуклый лоб, из-под которого пристально глядят умные глаза, фигура подтянутая, легкая. И тот же размеренный, вдумчивый, ровный голос.

Катуков вскоре после своего доклада попросил разрешения удалиться — надо было идти к другим начальникам. А я остался. Телегин интересовался всеми деталями жизни армии: и кадрами, и качеством пополнения, и наличием транс-

порта, и обеспечением армии, и многим, многим другим. Мой доклад вышел очень долгим и подробным.

Затем я по-дружески спросил:

— Ну, как чувствуете себя с новым комфронтом?

Телегин подумал, чуть приподнял брови и спокойно ответил:

— Пока неплохо. Конечно, труднее, чем с Константином Константиновичем. Очень разный у них стиль работы. Рокоссовский, когда планировал операцию и руководил ею, органически сливал себя со штабом, был руководителем коллектива. Этот — совсем по-другому: сидит в своем домике над картами, иногда позвонит в штаб или командующим родов войск, что-то выяснит и затем ставит уже готовые задачи на оформление в планах и приказах. Я не касаюсь оперативной стороны дела — тут Жуков действительно силен! Набрал много опыта у командующих, когда ездил по фронтам как представитель Ставки. План операции наметил очень хорошо — что есть, то есть. Но по-человечески — работать с Рокоссовским было много лучше.

— Я слышал, что вы к нему собирались уходить?

— Был такой вариант, но не вышел. Между нами говоря, когда Жуков про это узнал, такая была перепалка! Кричал на Рокоссовского: «Что я — хуже тебя, что со мной Телегин не сможет работать?!» Собирался даже Верховному на Рокоссовского жаловаться. Да, два года провоевал с Константином Константиновичем, хорошо сработались, и осталось наилучшее воспоминание.

— Знаю Константина Константиновича, — отозвался я. — Обаятельный человек.

— Что, воевали вместе?

— Нет, я служил у него в кавкорпусе.

— В какие годы?

— До тридцать восьмого. А потом мне пришлось быть на одном совещании в Ленинграде... Тогдашний начальник ПУРА Смирнов специально приехал проводить.

— А-а! — понимающе протянул Телегин.

— Собрали тогда всех комиссаров соединений округа и информировали нас, что Примаков — заместитель командующего Ленинградским военным округом — арестован. Якобы он насадил всюду своих дружков изменников, и первым называют нашего командира кавкорпуса. Кончил Смирнов так: «Враг народа Примаков всюду насаждал изменников из „червоных казаков“. Многие из них уже арестованы. Немедленно проведите активы и разверните борьбу с замаскировавшимися врагами».

— Ну и как прошли ваши активы?

— Поехал я с совещания в Остров. Там дивизия стояла из нашего кавкорпуса, комиссарил в ней дружок мой, Дмитрий Кулаков. Сидим в вагоне, советуемся. Дима говорит: «Не пойму, как проводить этот актив. Я командира корпуса знаю хорошо. Герой Волочаевки, кристально честный

перед партией человек... И вдруг — враг! Что же делать?» А что я мог ему посоветовать? Решил заехать к нему в Остров, посмотреть, как Дима актив проведет. Команда по телефону из Ленинграда уже была дана, и прямо с вокзала мы на актив отправились: очень срочно приказали врагов переловить. Смотрю на людей, лица хорошие, открытые, некоторых знаю как честных и преданных воинов еще по гражданской войне. Смирнов сказал, что здесь троцкистов полно, а как их найдешь? На лбу же ни у кого не написано, что он троцкист. Начал Кулаков. Пересказал выступление начальника ПУРа, но, как дошел до командира корпуса, рубанул рукой по воздуху и заявил: «Хоть он арестован — не верю. Я его знаю, он истинный коммунист и перед Родиной столько заслуг имеет, что желаю каждому!» Ну, тут некоторые «ультрабдительные» шум подняли: «Ты сам из „червоных казаков“, врагов прикрываешь». После актива Диму сразу и увезли...

— Где сейчас Кулаков? — спросил Константин Федорович.

— Перед войной освободили, служил на Балтике. В сорок первом году героически погиб под Ленинградом.

Константин Федорович негромко сказал:

— Кровью сейчас идет проверка верности Родине. Возьми хоть Богданова, своего приятеля. Тоже ведь бывший «враг народа!» Тяжело ранен под Люблином, кровь пролил. Прекрасно командует Второй танковой армией, Героя получил.

— Знаю его тоже по Ленинградскому округу, он комбригом у нас в корпусе служил, — напомнил я. — Потомственный из потомственных путиловцев. Новшества всегда вводил в боевую учебу, ночные стрельбы да многое еще другое. Лучшая бригада была в танковых войсках! У нас же в корпусе и забрали его в тридцать восьмом, под Первое мая. Уже в сороковом, когда освободили, помогал ему устраиваться учителем истории в Лужскую среднюю школу. Довели, подлецы, его семью — отказалась от «врага». Испортили Богданову навеки личную жизнь.

— Вот кадры перебили! — чуть возвысил голос Телегин. Для него это было знаком большого возбуждения. — Самые наши лучшие кадры перебила ежовская банда. Хорошо, что некоторых сохранили: когда стране трудно стало — пошли эти люди жизнь и кровь за нее отдавать.

— А как вас, Константин Федорович, чаша сия миновала? Комиссарил у Блюхера и остался вне тюрьмы?!

— Видно, очередь не дошла, — печально улыбнулся Телегин. — Случайность, конечно. Ведь из старых комиссарских кадров во всей армии совсем немного нас осталось.

В дверь постучали. Вошел высокий смуглый бронет. Это был Семен Яковлевич Озерянский — заместитель начальника разведывательного отдела фронта.

— Прошу прощения, — обратился он к

Телегину, — есть новость о Варшаве. Николаю Кирилловичу, наверное, тоже интересно послушать.

Мы с Озерянским были хорошо знакомы еще с довоенных лет по совместной работе.

— Докладывайте! — сказал Телегин.

Коротко, четко Озерянский нарисовал обстановку в польской столице. Гитлеровцы уже подавили восстание. Не только героические повстанцы, но даже их жены и матери были репрессированы и брошены в концлагери, за ключочную проволоку. Детей продавали на специальном базаре в местечке Серцы; цена за ребенка колебалась в пределах до 25 марок. А тем временем некоторые руководители восстания, заранее рассчитывавшие использовать пожар народной ненависти для захвата ключевых позиций, попали в гитлеровском плену в условия, как выразился Озерянский, «не хуже лондонских». В первую очередь это относилось к главнокомандующему «Армией Крайовой» генералу Буру (он же граф Комаровский). Фронтовой разведке удалось выяснить его судьбу: после капитуляции Бур попал в руки начальника карательных отрядов СС обергруппенфюрера фон Бах-Желевского — своего троюродного брата. Тот обошелся с родственником крайне милостиво. Озерянский предполагал, что причиной «рыцарского благородства» эсэсовца была не только кровная связь, но главным образом одобрительное отношение Бура к идее польско-немецкого союза против России. Стало также известно, что дальнейшую заботу о Буре взял на себя его приятель по спортивным соревнованиям («Кажется, по пинг-понгу», — заметил разведчик) некто Фегелейн, родственник Гитлера.

— Бур сделал свое дело — Бур может играть в пинг-понг! — с негодованием сказал Телегин. — В Варшаве был голод, острая нехватка продовольствия, оружия, медикаментов, а Бур — эта английская соержанка — отказался иметь с нами связь. И товарищей из «Армии Людовой» не допустил на рацию. ЦК и ПУР обязали меня ежедневно информировать их о варшавском восстании. Приходится нашей разведке всеми средствами изворачиваться...

Из других данных, принесенных Озеряньским, мне запомнилось сообщение о какой-то темной личности в штатском из окружения Бура. Разведке удалось выяснить, что это был заместитель эмигрантского премьера Миколайчика, готовивший высадку в Варшаве «лондонского» правительства; он же был агентом «Интеллидженс сервис». Очевидно, контролировал деятельность Бура в интересах Англии.

— У вас все, товарищ Озерянский? — обратился Телегин к разведчику.

— Никак нет, — и Семен Яковлевич положил перед нами великолепно изданную, многокрасочную, богато иллюстрированную газету. На первой странице был изображен зал исключительной красоты, заполненный людьми.

— «Испанский зал» Пражского Крем-

ля, — пояснил Озерянский. — Здесь проходили пленарные заседания конференции изменников Родины.

Он перевернул лист, и мы увидели изображение президиума, ораторов, наиболее почетных гостей, группы делегатов.

— Вот фигура номер один, — указал разведчик на центральное фото. Высокий человек с лошадиной рожей; френч и брюки навыпуск. Ворот и рукава френча окантованы желтой полосой, брюки украшены лампасами. Роговые очки, прическа ежиком, рука, засунутая за борт френча...

— «Выдающийся русский полководец, генерал Андрей Власов», — с непередаваемым юмором прочитал Телегин подпись под фото. — Смотри, Николай Кириллович, чем не Сашка Керенский?

На конференции собрались все «осколки разбитого вдребезги»: и «атаман Всеволодского Войска Донского» Петр Краснов с сыном, «дослужившимся» в эмиграции до звания генерал-лейтенанта; и «атаман кубанского казачества» Шкуро — скуластый, с грубым лицом хулигана, в черкеске с газырями; и представитель «Допомогового комитета» петлюровец Сергей Войцеховский; и какие-то офицеры в форме лейб-гвардии, подпоручики, есаулы...

— И бабы тут...

— Это по традиции! Помнишь женский батальон Керенского?

Мы перевернули еще лист. На следующем снимке протектор Богемии и Моравии Ганс Франк приветствовал «нового союзника Третьего Рейха». А рядом изображался «торжественный акт подписания мирного договора с Германией»: от имени России договор подписывал президент, он же председатель «Объединенного комитета освобождения народов России от ига большевизма», он же «главнокомандующий российской освободительной армией» Андрей Власов. Оказывается, Гитлер уже «не воевал с Россией», а просто помогал своему союзнику Власову «очистить ее от большевизма».

Фюрер ничего не пожалел своим колуям: двадцать миллионов рейхсмарок отвалил на РОА («Российскую освободительную армию»), не считая вооружения и обмундирования. Впрочем, обмундирование выделили обычное, немецкое, только на рукав фашистского мундира пристроичили нашивку со скрещенными крестами и надписью «РОА». Вот и вся разница в форме.

Телегин перелистнул еще страницу и вдруг позвал:

— Николай Кириллович, смотри, все честь по чести. Главком Власов даже принимает присягу! Приводит к присяге членов комитета! Гляди, поп этих прохвостов благословляет. «Руководитель русской православной церкви за границей митрополит Анастасий произносит проповедь», — прочитал Константин Федорович. — «Велико значение православной церкви! Именно в православной церкви мы чувствуем себя особенно русскими, и не подлежит сомнению, что велика будет воспитательная

роль нашей старой свободной церкви в нашем новом свободном государстве».

— Девять дней служили в соборах молебны о даровании успеха делу, — заметил Озерянский.

Но Анастасия переплюнул его коллега, митрополит Берлинский и вся Германия Серафим: этот прямо заявил, что «богатырям духа, исполненным сил, суждено совершить великое дело освобождения России». Так мелкий подонок Власов попал в «богатыри духа».

Мне довелось знать бывшего генерала Власова. В 1941 году он командовал механизированным корпусом во Львове — был нашим соседом. Мои друзья из этого корпуса подробно рассказывали о свойствах характера их комкора, и картина, прямо говоря, выглядела весьма неприглядной.

Особенно возмущался назначением Власова на корпус молодой, энергичный и талантливый комиссар Иван Васильевич Зуев. От него я узнал веки жизненного пути будущего предателя Родины.

Власов происходил из нижегородских хозяйчиков, учился в семинарии. Однако в 1920 году сманеврировал: бросил духовную карьеру и поступил в армию. Тогда же окончил шестимесячные курсы красных командиров, и на это военное образование будущего «генерал-лейтенанта» завершилось навсегда. Дальше — взвод, рота, батальон, преподаватель тактики в пехотной школе, офицер штаба округа. 1938 год, когда армия потеряла многих лучших командиров, оказался годом стремительного взлета Власова. Он последовательно стал полковником, начальником разведотдела Киевского Особого военного округа, командиром дивизии... «Везет в наше время недоучившимся попам! — как-то с горечью сказал Зуев. — Каких людей замели, а этот остался цел. Видно, за широкой спиной сидит!» Едва побыл Власов комдивом — буквально несколько месяцев, — как приехал нарком обороны Тимошенко вручил Власову переходящее Красное знамя, орден и вскоре назначил его командиром механизированного корпуса.

До сих пор отчетливо помню бурю возмущения, когда командиры Львовского корпуса (многие из них, например комдивы Фотченко и Огурцов, были замечательными танкистами) узнали, что их комкор не имеет ни военного образования, ни боевого опыта, никогда не командовал ни полком, ни — фактически — дивизией и вдобавок ни бельмеса не смыслит в танках. «Курьез! Не дай бог с таким комкором встречать войну!» — по-дружески высказывал мне Петр Фотченко общее мнение.

Но за какие же качества так выдвигали этого пронырливого невежду? В чем секрет его блестящей карьеры?

По словам его сослуживцев и по моему собственному впечатлению, у Андрея Власова действительно были выдающиеся способности в определенном отношении: это был, видимо, крупнейший очковтира-

тель, подхалим и лакировщик в нашей армии. И сожалению, в годы, когда из армии насильственно удаляли многих лучших командиров дивизий, корпусов, армий, округов, людей с сильным и волевым характером, создалась некоторая возможность для процветания беспринципных и угодливых мерзавцев вроде Власова. Они умели, что называется, «подавать товар лицом», беззастенчиво присвоить себе плоды чужой кропотливой работы в войсках, согласиться с любым мнением начальства, иногда неверным... И Власов «благоденствовал», пока не грянуло великое испытание — война. Тут уж нельзя было соврать или угодить, тут надо было воевать...

Командир дивизии, прикрывавшей отход частей Второй ударной армии весной 1942 г., рассказывал мне, что последний видел Власова: нашел его в избе с любовницей, доложил, что дивизия должна уходить. Тот ответил: «Выполняйте свою задачу, а я знаю, что мне делать».

В этой избе, как после сообщалось в немецкой печати, его нашел фашистский полковник Рихтер. Власов сидел в красном углу, под иконами. На самолете его доставили в Берлин...

— Константин Федорович, а вы читали статью в «Красной звезде»? Верно пишут, что Власов — старый троцкист?

— Может, и троцкист, черт его знает. — По спокойному лицу Телегина пробежала тень неудовольствия. — Статья-то слабая была.

— А мне думается, он всегда был просто редиской...

Редиской в годы нашей юности называли замаскировавшихся врагов советской власти: сверху она красная, внутри белая.

— Помните, как нас били, — продолжал я, — за подбор кадров?

— Помню!

— А за такой подбор надо бы не только бить, а крепко наказать.

— И главное, — задумчиво произнес Константин Федорович, — надо не забывать, как из подхалима, из любителя легких наград, карьериста и очковтирателя в трудную минуту вырос злобный предатель. Помните, что нравственно гнусный тип всегда может превратиться на крутом повороте в социально опасный элемент. Хранить надо непримиримость к проходцам!..

Доклад Озерянского был кончен, и разведчик вышел. Константин Федорович обратился ко мне:

— Мы отвлеклись разговором об этой дряни — о Власове. Теперь давай о главном. Смотри на карту. Военный совет фронта утвердил вам станции снабжения, — вот они: Леопольдув и Окшея, и станцию выгрузки Соболев.

— Растительности маловато, — сказал я, вглядываясь в район, обведенный красным кружком. — Леса мало, чтобы укрыть грузы и подходящие эшелоны.

— Политграмоту тебе читать? Есть лес, нету леса, где я тебе его возьму? Насажу,

что ли? А все, что дает нам тыл, ты обязан сохранить до последнего грамма и винтика! Потеряете запасы — сорвете фронтную операцию.

— Мне ясно.

— Ясно-то тебе ясно, а вот если потереете запасы, тогда видно будет, ясно ли это тебе и твоим людям. Объясни, чтобы поняли: каждый выстрел фронта — это поезд боеприпасов, а в бою стреляют тысячи раз. Чтобы только одна ваша армия пошла в наступление, понадобятся сотни цистерн горючего, тысячи вагонов боеприпасов, продовольствия и всего прочего. И все это нужно не только разгрузить, но и зарыть в котлованы — спрятать от авиации. От нас нужна какая помощь?

— Емкостей не хватает...

— Немного дам. Остальное изыскивайте на месте. Учить ученого — только портить! Рыть котлованы тебе не будем, своими силами обойдешься. Запиши-ка номера эшелонов...

Торопливо заносу в блокнот десятки номеров: за каждым стоит поезд, идущий сейчас в адрес армии с горючим, боеприпасами, запчастями, продовольствием и другим имуществом.

Окончив диктовать, Телегин улыбнулся:

— Вот бы удивились классические военные теоретики или современные западные, услышав наш разговор: какие-то члены Военных советов занимаются функциями полководцев и их тылов. Ведь это же совершенно новое явление в природе современной армии. Партийные работники стали генералами.

— А трудновато вам, Константин Федорович, заниматься всем этим одному? Железные дороги и шоссе разбиты, непрерывность снабжения под угрозой. А тут еще дополнительная работенка — коменданты...

— Да, приходится крутиться, как белка в колесе. ПУР два года обещает дать второго члена Военного совета. Но не хватает кадров. Всё говорят: «Справишься пока один». Вот и справляюсь. Ладно, поезжай. Скоро заеду к тебе, познакомлюсь с армией.

* * *

Я отправился домой: так на фронтовом языке у нас назывался штаб армии. Он и был родным домом. Но в тот вечер в нем было неспокойно: Катюков, я, Шалин и Коньков тревожились о подходящих эшелонах, прибывающих и убывающих по графику командования фронта. Они не будут ждать! А куда же нам сливать горючее, прятать боеприпасы? Хорошо было воевать во времена суворовско-кутузовские: патроны клали в солдатские ранцы, лошадей пускали пасти на подножном корму. Что не помещалось на солдатском горбу, клали на подводы, и отправлялись бить врага. А в современной войне горючее не разольешь до бакам — на предстоящую операцию нам планировали несколько заправок; снаряды тоже не раздашь эки-

пажам — требуются три боекомплекта. Значит, без складов горючего и боеприпасов не обойтись! Но авиация противника методично разыскивает склады: немцы знают, что лишит нас запасов — означает сорвать зимнее наступление. И придется армии глубоко зарывать в котлованы цистерны с горючим, ящики с патронами и снарядами всех калибров и марок — наш НЗ на месяцы бесперывных боев. Сколько тут придется земли перекопать под котлованы, сколько перетаскать тяжестей! А в армии нет ни одной землеройной машины, ни одного погрузочно-разгрузочного механизма, их заменяют три сотни пожилых людей, ветеранов империалистической и гражданской войн — кладовщики, грузчики (они же и охранники) с длинными лопатами в руках. Это — герои народного ополчения, добровольцы, израненные в трех войнах. Им предстоит совершить дело, которое в мирное время показалось бы просто невысказанным, невозможным.

К нашему приезду «отцы» уже становились в строй. Их браво выправке могли позавидовать лучшие мотострелковые части. Еще бы! Кое-кого я знаю лично: вот тот высокий, седоусый, гладко причесанный на пробор солдат — бывший рядовой лейб-гвардии Семеновского полка; другой — широкогрудый, с чуть кривыми ногами — когда-то был лихим драгуном. Есть тут и кирасиры, и гусары, а более всего, конечно, — обыкновенная пехота, «инфантерия», как ее называли тридцать лет назад. Когда-то все они носили разную форму, разные погоны; теперь они — советские солдаты, и лихо сдвинутые ушанки украшают маленькая звездочка.

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравия желаем!

Смотрю на них, а в голове — разговор, услышанный во время построения: «Приехали наши генералы. Опять, значит, работенка предстоит. Когда все тихо-гладко — их тут нету». — «Без нас не обойдутся. Ну что ж, последуем».

Всю дорогу продумывал речь, а получила она очень короткой.

— Товарищи! От имени Военного совета армии благодарю вас за замечательный, самоотверженный труд, за практическую помощь гвардии в разгроме фашистов на Сандомирском плацдарме. Танкисты, мотострелки, артиллеристы, саперы — представители всех родов войск — просили передать вам, солдатам второй линии, большой привет и большую благодарность за помощь в обеспечении горючим и боеприпасами. Военный совет кроме благодарности за сохранение социалистического имущества и активное участие в разгроме врага награждает вас орденами и медалями.

Строй замер. На лицах этих пожилых людей — гордость и удовлетворение. Только у одного непроизвольно вырвалось:

— Ишь ты!

Начальник отдела кадров уже разложил на столе ордена, медали и времен-

ные удостоверения к ним. Коньков зачитывает приказ. Ветераны подходят поодиночке. Смущенные и гордые, тронутые вниманием к их труду, некоторые забывают уставное «Служу Советскому Союзу» и, растроганно пожимая руку, говорят: «Спасибо, спасибо» или «Спасибо Родине». Просят передать гвардейцам первой линии (или иногда — «сынкам»), что не подведут: «Пусть на нас крепкую надежду имеют». Коньков доволен до предела, лицо его покраснело еще больше.

После вручения орденов всех пригласили на торжественный обед. После тоста за сегодняшних «именинников», за награжденных, пришло время «делового разговора».

— Вот, отцы, для вас начинается новый бой. Нужно в трое суток вырыть столько котлованов и разгрузить столько эшелонов, что в обычное время и за двадцать суток, пожалуй, не сделать.

Я коротко изложил, что надо сделать. Слушали внимательно.

— Всё сделаем, — ответил бывший драгун. — Раз обещали гвардейцам — сделаем. Тут народ рабочий, знаем, чего стоит каждый снаряд и каждый литр бензина: наши жены и дочки, а кой у кого и внучата, в тылу на армию работают. Нешто мы их труды под немецкие бомбы подставим? А вот как с емкостями дело обстоит?

— Куда сливать? — поддержал его плечистый седоватый ефрейтор.

— Кое-что нам даст фронт, а остальное найдем на территории. Вот майор Слынько, начальник ГСМ, несколько трофейных железнодорожных цистерн уже раздобыл.

— Махорочка у нас неважнецкая, язык щиплет, что навоз. Вот полтавская была у нас хорошая, с такой махоркой и котлованов можно было бы больше нарыть, — мимоходом пошутил ефрейтор, который спрашивал меня о емкостях.

— Ну, если так, Военный совет примет все меры, — ответил ему в тон я. — Постараемся полтавской раздобыть.

Смотрю на этих людей и думаю: знаете ли вы, отцы, какой великий подвиг совершаете, сколько тысяч жизней спасают ваши лопаты?! Никакими наградами не отблагодарить вас за богатырский труд. Сколько норм вы делаете за эти трое суток? И посчитать даже трудно — нет таких норм. Сколько нужно — столько и делаете. И танкисты пойдут в бой, не боясь остаться без горючего и боеприпасов, которые сбережете вы, незаметные герои армейского тыла.

Через несколько ночей армейские запасы горючего и боеприпасов уже были перегружены мозолистыми руками ветеранов в глубокие котлованы, зарыты и замаскированы грудками осенних листьев. Напрасно кружились в воздухе «хейнкели» — ни одной бочки, ни одного ящика, ни одной цистерны не потеряла в те дни наша армия на базе снабжения. Спасибо вам за это, отцы!

* * *

На северной окраине небольшого польского городка Седлеца собрался руководящий состав Первого Белорусского фронта: командующие армиями, члены Военных советов, командующие родами войск и другие. Здесь, впервые за всю войну, нам пришлось участвовать в военной игре на картах, строго придерживаясь реальной сложившейся обстановки и с учетом предстоящей задачи.

Военный совет каждой армии сидел за своим столом, на котором лежала синяя папка с картами и документами. На папке — длинный заголовок: «Варшавско-Лодзинско-Познаньская операция». Впоследствии историки назовут ее короче и мощнее: «Висла — Одер».

Вначале начальник штаба фронта генерал-полковник Малинин охарактеризовал общее положение, сложившееся к концу 1944 года: почти повсеместно противник изгнан с территории Советского Союза; блок фашистских государств развалился, Германия осталась воевать в одиночестве. Против нас Гитлер держит примерно семьдесят пять процентов своих лучших сухопутных войск с целью не допустить Советскую Армию в восточные провинции Германии. Возможно, его расчеты строятся в надежде на раскол антифашистского блока. На главном стратегическом направлении — Берлинском, по имеющимся документам, создана глубоко эшелонированная оборонительная система, состоящая из семи рубежей. Общая глубина ее 400—500 километров, — от Вислы до Одера.

Далее генерал-полковник изложил положение на Западном фронте. Рассказав об успешном выходе союзников на линию Западного вала, сообщил, что 16 декабря гитлеровцы перешли в районе Арденн в контрнаступление и прорвали неукрепленный участок фронта шириной до ста километров. Под угрозой уничтожения находятся четыре армии союзников.

— Ни одной части, ни одной винтовки Гитлер не взял с советско-германского фронта. На Западе у него всего семьдесят три дивизии, в основном фольксштурм, то есть ополчение из стариков, подростков и инвалидов. Посадили этих тугоухих и желудочных больных в доты Западного вала, вооружили чуть ли не берданками, даже пистолеты для них отобрали у аэромобильной охраны, и вот держат союзные армии на месте более четырех месяцев, — докладывал Малинин. — А с освободившихся участков Гитлер собрал остатки своей полевой армии и, усилив ее двумя танковыми армиями, крепко стукнул союзников. Английские войска и две американские армии отступают в направлении Дюнкерка.

— Дорога-то знакомая, бегать туда привычно! — это бросил реплику Василий Иванович Чуйков.

— В предстоящей операции, — подвел итог Малинин, — нашему, а также Первому Украинскому и Второму Белорусскому фронтам выпала честь стать тара-

ном, разгромить главные силы противника, приблизиться к главной цели — Берлину — и водрузить знамя Победы в самом логове фашистского зверя. У меня всё, товарищ маршал.

Шелестят карты, на которые мы с Михаилом Алексеевичем Шалиным еще вчера вечером нанесли обстановку — и за себя и за противника.

Постепенно, час за часом, начинаем познавать идею наступления. Расширяется круг вопросов, нарастают задачи, вырабатывается методика прорыва. Интересно наблюдать, как проявляются на игре организаторские и оперативные таланты нашего генералитета. Сразу стала видна подготовка каждого из присутствующих: ведь здесь любой мог свободно выражать свои мысли, высказывать мнения, любой мог предлагать новые варианты в решении сложных задач.

За соседним столом углубился в работу мой старый товарищ, командующий 2-й гвардейской танковой армией, Герой Советского Союза генерал-полковник Богданов. Я не виделся с Семеном Ильичем с довоенных времен. Про него шутливо вспоминают, что до революции место этому молодцу было отведено среди великанов первого взвода первой роты лейб-гвардии Семеновского полка. Когда он сегодня, нагнувшись и протянув мне правую руку, левой радостно сгрел в объятия, — дух захватило! Ну и сила! Рядом с ним что-то отмечает красным и синим карандашами член Военного совета — боевой, веселый Петр Латышев.

— Ну как, Семен Ильич, рядышком нас пустили?

Дело в том, что командующий фронтом согласился с мнением командармов — решил пустить обе танковые армии вместе.

— Рядышком, — удозлетворен Богданов. — Теперь за левый фланг спокоен — прикроете. Вот справа го́ло, смотреть да смотреть...

Семен Ильич указывает на синюю прожилку реки.

— Приказано быть на Бзуре на второй день: мы внутреннее кольцо сомкнем вокруг Варшавы, вам внешний фронт отжимать на запад. Ну, у нас дорога попрямее! В прорыв вхожу на участке Берзарина. А вас кто вводит?

— Василий Иванович Чуйков.

— Знаменитая армия. Этот тебе чистенький прорыв сделает. Но и Берзарин не плох!

Я с любопытством посмотрел на живое, энергичное лицо Берзарина. Рядом с ним сидел член Военного совета Боков, знакомый мне еще с довоенных времен, когда он был начальником Военно-политической академии, а потом комиссаром Генерального Штаба. Около них как раз стоял маршал, который, как правило, переходил от стола к столу, работая с одной армией, пока другая подготавливала решение.

— Как у вас с наблюдателями?

Наблюдатели — постоянная тема у нашего комфронта. Мы уже слышали от

командующих общевойсковыми армиями, как придирчиво он проверяет кадры наблюдателей: пытливые ли, развитые, инициативные...

Когда Берзарин доложил: «Исключительно хорошие люди», — Жуков обратился ко всем присутствующим: «Минуточку внимания!»

Все оторвались от карт.

— Один из командующих хвалил мне своих наблюдателей, а когда я приехал к нему и сказал: «Покажи свой НП», — полчаса таскал меня по переднему краю, искал наблюдательный пункт, да так и не нашел. Фамилии называть не буду...

Показалось, что общевойсковики вздохнули с облегчением.

— Но наказывать буду! Наконец завел меня в лес, показал вышку, говорит: «Отсюда я наблюдаю». Смотрю я на лестницу — не всякий акробат заберется! «Лезь», — говорю. Не лезет. Я тогда сам полез. Не без трудностей, но все же одолел лесенку. Кругозор с вышки — двадцать метров, не больше. Кругом одни сосны торчат.

Все засмеялись.

— Командармам необходимо лично контролировать разведчиков. Недавно, например, разведка донесла мне, что у противника танков много. Я не согласился с нею. А почему? Изучил данные авиации и, главное, наблюдателей. Что оказалось? Макеты там стояли, а три танковые дивизии Гитлер увел с направления нашего главного удара: одну — в Восточную Пруссию, две — на юг!

После слов командующего опять наступила рабочая тишина. Мы с Шалиным подошли к столу, где сидели уроженцы Калуги, «калужские», как шутливо звали Василия Ивановича Чуйкова и члена Военного совета Алексея Михайловича Пронина. К Василию Ивановичу с особым уважением относились руководители фронта: он, как правило, высказывался перед самым заключением комфронта, который часто соглашался с ним. «Легко Чуйкову умные слова последним говорить, — как-то съязвил Богданов. — А вот попробовал бы вначале!»

С Чуйковым обсудили конкретные меры по обеспечению ввода нас в прорыв. Он продумал их оперативно грамотно, позаботился о назначении саперов на разминирование танковых маршрутов.

Познакомившись с планами соседа справа и с планами армии, вводящей нас в прорыв, вернулись к своему столу.

— До конечного пункта операции — сто семьдесят километров, — меряет циркулем и считает вслух Шалин. — Срок — четыре дня, средний темп — сто восемьдесят разделить на четыре... Сорок пять километров в сутки по прямой.

— Креленько, Михаил Алексеевич. А вы не помните темпы продвижения танковых войск в предыдущих операциях?

— Пожалуйста, Николай Кириллович. Уманьская — пятнадцать километров в сутки, Львовско-Перемышльская — двадцать

пять — тридцать километров. Да и то — это максимум на отдельных направлениях. Белорусская в среднем двадцать — двадцать пять километров. Если вас интересуют немцы, то их наивысшие темпы в сорок первом году — пятнадцать-двадцать километров.

Мысленно прикидываю: запланированные нами темпы в операции в полтора-два раза выше максимальных, какие только знала история танковых войск.

Шалин продолжает рассуждать в своей обычной манере: несколько резольционно.

— Задача танковой армии — продвигаться вперед и не дать отходящим частям противника сесть на подготовленные рубежи...

Его карандаш прошелся по полосам вражеских укреплений, нанесенных в междуречье Вислы и Одера.

— И одновременно встречать подходящие резервы противника и громить их до занятия ими этих рубежей. Бить так, чтоб противник всегда опаздывал! Успех будет зависеть от быстроты темпов передовых отрядов.

— Кого предлагаете пустить передовыми?

— Если не возражаете, оставим Гусаковского и 1-ю гвардейскую бригаду. Пусть Темник оправдывает доверие.

— Согласен.

— Командиров батальонов, рот, взводов надо будет в передовые бригады особо подобрать, чтобы были самые смелые и грамотные офицеры со всей армии. Например, Гусаковскому требуются два новых комбата.

— Только один. Карабанов хотя назначен замкомбригом, но наверняка откажется пока от повышения, пойдет комбатом передового батальона. А на второе место рекомендую посмотреть заместителя комбрига Пинского. Очень просился командиром батальона в передовой отряд. Может, подойдет, офицер неплохой!

— Охотников впереди идти у нас всегда хватит. — Михаил Алексеевич заносит в свой блокнот фамилии Карабанова и Пинского. — Важно правильно людей подобрать буквально в каждый танк. Приедем домой, сразу этим займемся.

Военная игра на картах продолжалась неделю. Штаб фронта превратился на этот срок в своеобразное научное учреждение, я бы сказал, в своеобразную Академию Генерального Штаба, с той разницей, что там обстановка создается руководителем кафедры, а тут она была реальной. Идея и замысел огромной операции облекались в точные и ясные формы: отшлифовывались детали взаимодействия общевойсковиков и танкистов, вырабатывались наилучшие варианты ударов, уточнялись и расширялись масштабы операций. В конце игры штаб и командующий фронтом, с учетом всех высказанных мыслей, дали окончательную директиву на операцию.

Выступал маршал. Приказав изучить план операции с командирами всех степеней, он сообщил:

— Разговаривал с Верховным. Верховный торопит нас: союзники теряют штабы. Черчилль радировал о помощи, кричит об отчаянном положении. Обещали им наступление. Сроки укажу позже, но времени осталось немного. Поддержка авиаторов будет незначительной: прогноз на январь плохой. Поэтому и планировали мы операцию на февраль, но приказано спешить.

Разъезжались домой — в армии, изучив каждую дорогу, каждый город, каждую речку, которые должны были встретиться на пути армии. Казалось, пройден весь маршрут до Познани, и я с закрытыми глазами мог представить Лодзь, Лович или Кутно. Такое же ощущение было и у других генералов. Игра была достойным завершением огромной подготовительной работы накануне самой масштабной и стремительной операции второй мировой войны. По возвращении из штаба фронта предстоящая операция с такой же тщательностью была проиграна на картах с командирами и штабами корпусов и бригад.

* * *

На проигрыше операции в штабе армии Гетман предлагал:

— Армо, тебе помочь подготовить корпус к предстоящим боям?

— Спасибо, мы и сами...

Бабаджанян хотел все сделать самостоятельно, «без подпорок». В этом — свой плюс: сразу привыкает к ответственности за корпус. Сами так сами!

Зато Дремов крепко шлифовал Темника:

— Завидовал Горелову, что ходит в передовом отряде, вот теперь попробуй... — И начиналось старательное поучение: как переправить и укрыть танки, как заранее изучить маршрут для передового батальона, где поставить колонны — словом, все мелочи подготовки передовой части.

— Не слишком ты его, Иван Федорович? — заметил Катуков.

— Надо. Ему передовым не приходилось быть, пусть учится.

После проигрыша операции на картах мы с Катуковым решили ехать на плацдарм. Дремов с Темником, Армо с Гусаковским, Никитин, Соболев, Фролов — все поехали с нами в одной машине, чтоб не демаскироваться. По этой же причине никто не надел танкистских комбинезонов, а мы с Катуковым облачились в офицерские шинели.

Главная цель поездки — посмотреть своими глазами местность, где будем наступать, откуда входит в прорыв. Если этого не сделать заранее, армия будет, говоря грубо, напоминать кошку, которую занесли в мешке в лес и там вытряхнули: иди, ищи нужное направление. Надо отработать взаимодействие с общевойсковыми армиями, изучить дороги, идущие к месту сосредоточения, колонные пути через минные поля — и свои и противника.

Выполнение задачи началось уже

в пути: отмечали состояние дорог. Армо даже охнул, увидев перед Вислой огромную болотистую пойму. Инженеры проложили по этой трясине настил, за которым начинался километровый мост. Заметили по спидометру общую длину переправы. «Боже ты мой! — вырвалось у Темника. — Почти четыре километра». Начался спор, сколько же танков здесь сможет пройти в одну ночь.

— Прежде всего, с какой скоростью идти?

Даже Бабаджанян вынужден признать: «Не больше тридцати километров в час, иначе все к черту поломается». (Кстати, строители моста рассчитывали на максимальную скорость в 12 километров в час.) Катуков берет за карандаш. Несложные расчеты, и Михаил Ефимович объявляет: «Мост пропустит сто танков в ночь!» А у нас их в семь раз больше. Не возиться же целую неделю!

Это — типичная мелочь. Ежечасно приходится сталкиваться с такими незамысловатыми проблемами, как будто далекими от героики лихих рейдов, захватов штабов и вражеских знамен. А не решим сейчас вопрос переправы — поставим под угрозу выполнение фронтовой операции.

Гусаковский, внимательно оглядев мост, предлагает: «Он, кажется, прочный, сделано на совесть. Пустим сразу несколько танков, пусть держат интервалы на величину пролета. Только надо соблюдать график движения, посты установить, а то попадут две машины на один прогон и прямым ходом рухнут на дно».

На той стороне реки находился командный пункт Чуйкова. Василий Иванович был исключительно любезен и гостеприимен. Мы впервые взаимодействовали с ним, а условия были крайне сложные. По существу, для нас это был первый опыт наступления с плацдарма: до сих пор мы только захватывали их и сдавали потом общевойсковикам. Впервые также преподносился танкистам и «чистый прорыв»: обычно мы сами себе прогрызали бреши в обороне противника. Сейчас до всего надо было пойти своей головой: изученная в академиях битва под Камбрэ (1917 год!) мало помогала на Висле. Но с Чуйковым все решалось проще обычного.

Василий Иванович развернул перед нами карту плацдарма.

— Вот! Четыре месяца работали! — Крепкие пальцы командарма уперлись в небольшой кусок в излучине реки, где буквально не было живого места от пометок. — Миллионы кубометров перекидали лопатками.

— Один солдатик говорил, — припомнился мне давний разговор на Курской дуге с Петей Мочаловым: — «Рюют и рюют! Метро построить можно!» А тут целых три метро построили. Наверно, всю осень и ползимы гимнастерки не просыхали.

— Самоотверженно люди работали, — признал член Военного совета Пронин.

— Дисциплина у вас, как видно, хорошая: проехали мы — и незаметно, сколько

тут всего нарыто. Наверно, и с воздуха ничего не видать.

— Пленные в голос показывают: русские зарываются, значит, к долгой обороне готовятся, — улынулся довольный похвалой Пронин. — Но вообще налетов мы не очень боимся — зениток сверхдостаточно. За одну минуту можем произвести тридцать четыре тысячи зенитных выстрелов, так что прямое бомбометание на плацдарме исключено.

— Богато живете! Москву меньше зенитчиков защищало!

Когда сейчас, спустя семнадцать лет, ищу подходящее сравнение, чтобы передать удивительное ощущение от этого небольшого участка к западу от польского городка Магнушева, мне вспоминается сад. Как опытный и затейливый садовник разбивает клумбы и ямы для кустов и деревьев, используя каждый клочок земли, кроме специально оставленных дорожек, так и здесь: установленные по квадратам тысячи танков, пушек, машин, сотни тысяч солдат заполняли, казалось, каждый метр, исключая дороги. Позднее, когда мы осмотрели плацдарм подробно, даже страшно стало! Под любым деревом была зарыта пушка, или танк, или боеприпасы, и когда наверху, покрывивая, словно ночная утка, пролетал снаряд, невольно думалось: «Попадет, промахнуться здесь невозможно». Еще плацдарм напоминал мне персидский ковер, где не бывает места без узоров и полосок: так и здесь нельзя было найти кусочка, не перекопанного землянками, траншеями и котлованами. Когда я сказал об этом Пронину, он ответил поговоркой солдат плацдарма: «Если наши траншеи вытянуть в линию, дойдешь до Берлина и еще вернешься обратно». И это не было преувеличением!

По дороге к командиру дивизии, с участка которого Темник должен был начать ввод бригады в прорыв, Катуков возбужденно обсуждал все данные, сообщенные Чуйковым:

— Двести двадцать стволов на километр фронта! Выходит, по оружию на каждые четыре метра! Не считая эр-эсов. На каждый квадратный метр участка противника приходится по три килограмма снарядов! На каждый километр фронта — тридцать пять танков, это не считая двух наших танковых армий! Дивизия занимает всего пять километров по фронту, идут в три эшелона! Ну, набрали силушки!

— А помнишь, Ефимыч, харьковское наступление весной сорок второго года? Пятнадцать стволов на километр да два танка на три километра — и то благом считалось. Дивизия, бывало, держала по тридцать — сорок километров фронта. Да и какая была та дивизия. Эх!

Землянка командира дивизии надежно укрыта на опушке леса. Землянка теплая, уютная, обжитая. Чувствуется — люди здесь живут несколько месяцев. Но собравшиеся офицеры мысленно уже поки-

нули ее: разговор идет только о движении вперед.

Та же уверенность в успехе владеет комдивом. Он деловито договаривается с Темником о расположении танковых колонн: «Ваш передовой отряд пойдет сразу за моим третьим эшелонем, вот отсюда». Палец отмечает пункт, потом командир показывает маршруты в минных полях, подробно объясняет расположение частей противника. «Надо все посмотреть своими глазами», — говорит Катюков, и хозяин ведет нас всех на свой НП. По дороге оглядываемся по сторонам: танки, пушки, машины, боеприпасы — все аккуратно побелено, закрыто сетками под цвет снега, и «рамы» (разведчики «фокке-вульфы») спокойно скользят наверху, не замечая ничего. Иногда постреливают отдельные наши огневые точки, которые немецкие наблюдатели засекали и сосчитали еще в сентябре. Идем по траншеям. Кое-где политработники проводят беседы, солдаты читают газеты, книжки, кто-то с аппетитом ест наваристый суп, — в общем, первая линия живет по обычному распорядку, введенному с первого дня пребывания на плацдарме. И чем ближе к переднему краю, тем больше все стихает, замирает, только стереотрубы непрерывно поворачиваются, и наблюдатели зорко ловят малейшее движение противника.

С любопытством мы разглядываем гвардейскую пехоту армии Чуйкова.

— Далеко не матушка пехота сорок первого, сорок второго, — будто подслушал мои мысли Михаил Ефимович. Здоровые, одетые в новую одежду, обутые в целые, добротные сапоги, имеющие на вооружении и автоматы и снайперские винтовки, солдаты радуют наши взоры. Черенки лопат отполированы руками до блеска. Вид у пехотинцев чистый, свежий. Главное — каждый излучает бодрость! До них еще не доведен приказ о наступлении, но «солдатское радио» работает, опытный солдат сорок четвертого года чувствует, что не сегодня-завтра — вперед!

На НП изучили маршруты, по которым пойдут танки, Темник обо всем договорился с комдивом Чуйкова — пора было возвращаться в штаб 6-й гвардейской армии. Там нашлось еще несколько дел: Фролов в последний раз уточнил вопросы артобеспечения в момент ввода в прорыв, я договорился с Прониным о необычном использовании мощных громкоговорящих установок (МГУ):

— Просьба к тебе, Алексей Михайлович: в ночь нашего выхода на плацдарм пусти по МГУ музыку. Одну ночь не поагитируем их — урон не очень большой получится...

— МГУ орет так, что и танков не слышно, — понял замысел Пронин. — Целую ночь им «Катюшу» крутить буду: фрицы Дунаевского и Блантера любят — все на свете прозывают.

Наступила последняя ночь перед прорывом, темная, тихая. Загорались иногда цветные ракеты, да с передовой, не умол-

кая, разносились «Катюша», «Вечер на рейде», «Огонек»... На плацдарме никто не спал. Командиры и политработники пошли по окопам и батареям — доводить приказ до бойцов, беседовать о предстоящем бое, проводить под покровом темноты последние партийные и комсомольские собрания. Офицеры сверяли часы. От солдата до генерала — у всех на душе тревожно и напряженно. Сотни тысяч воинов нетерпеливо ждали «первого салюта». Еще не брезжил рассвет, а в окопы уже принесли щипцы посытнее: сегодня солдатам предстоит много работы.

Наш КП находился в двадцати метрах от командного пункта Чуйкова. Это был небольшой блиндажик, времянка, отрытая кое-как, на одни сутки. Харчевин установил тут печурочку: зима холодная! И хотя Михаил Ефимович сидел в валенках и неразлучной бурке, он присоседился поближе к огоньку.

Последний раз ночью проверялся каждый винтик, каждая деталь в сложном механизме армии.

Восемь тридцать! Мы у Чуйкова. Будто сразу колебнулась, колыхнулась земля от ударов тяжелой артиллерии: тысячи снарядов рассекли туманный воздух — и бой за прорыв начался!

Командующий артиллерией генерал Пожарский напоминал мне дирижера огромного симфонического оркестра, только палочку ему заменяли рации и телефонные аппараты, выстроившиеся в ряды, а симфония, которой он управлял, была не только слышна, но и видна. Змеи огненного вала, изогнувшись, прыгнули вперед. Короткий приказ — и они оттянулись немного обратно, прогладив полосу траншей. Огонь как бы отплясывал там, над головами врагов, повинуюсь приказам генерала Пожарского, прорывающимся сквозь этот дьявольский грохот. Все небо расчертило полосы пламени — это эр-эсы выжигали уцелевшие объекты. Потом смертоносное пламя мгновенно перелетело дальше, и в ту же секунду тысячи солдат поднялись и побежали вперед. Их «ура» не слышно, оно смешалось с ревом снарядов, с фантастическим танцем огня, пожирающим все на их пути. «Пошли гвардейцы!» — упоенно кричит им вслед Чуйков.

— Пора в передовые отряды, Ефимыч! Бригада Гусаковского уже стоит в колонне. Головной батальон Карабанова пристроился сразу за третьим эшелонем пехоты: пойдет след в след. Помазнев ведет нас туда, где идут собрания коммунистов и комсомольцев.

— Члену партии Константинову поручается измерить глубины реки Пилицы, — доносится голос секретаря. — Подготовьтесь как следует, все-таки январь месяц. Командиру отделения коммунисту Никитину поручается первому форсировать реку. Никитин, вам известно, что на том берегу Пилицы сильно укреплено?

— Так точно. Доверие партии оправдаю.

— Комсомольцу Василию Погромско-

му, — слышится неподалеку, — поручается водрузить на том берегу Пилицы вымпел ЦК комсомола...

Помазнев буднично, методично начал перечислять план партийных поручений на период боя: каждый коммунист получил конкретное задание. Членам партии доверили самые трудные и самые опасные дела — в этом заключалась их единственная фронтовая привилегия.

Резолюция собрания была короткой: «Считать задачей парторганизации в политическом обеспечении боя — личным примером воодушевлять состав на героизм».

Встретили Гусаковского.

— Горючего хватает?

— Полная заправка.

— Людей покормили?

— Сейчас начинаем.

Рядом с Гусаковским — Армо. Волнуется; всю ночь провел на плацдарме. На вопрос о состоянии частей четко докладывает: корпус сосредоточивается на плацдарме, к выполнению боевой задачи готов!

Танкисты уходили в далекий рейд, и нам хотелось провести с ними последние часы перед боем. Пусть своими глазами увидят, поймут, что действительно всегда помним о них, что теперь они, передовые, — самые дорогие люди в армии, что, как бы далеко ни умчались, Военный совет не забудет, пришлет на выручку главные силы.

Бойцам приносят завтрак в ведрах, старшина тащит на шее фляжки с «огненной влагой» — законные солдатские «сто грамм».

— Товарищ генерал, может, с нами? — гостеприимно, но чуточку смущенно приглашает командир взвода из батальона Карабанова.

— А как же иначе!

— Това-а-рищ командующий! — Голос из соседней роты. — У них каша холодная, просим к нам, у нас — лучше...

— Уши у тебя холодные, — огрызается первый. — Каша — первый сорт!

Наступают последние минуты.

— Задача понятна?

— Так точно, товарищ командующий: водрузить знамя Победы в Берлине. Бить его, гнать, главное — без передышки, окружить и уничтожить, — предвкушает победу танкист.

— Не давать технику увозить! — добавляет второй.

Последние рукопожатия и поцелуи. Обнимаем своих дорогих гвардейцев, посылая в бой и, может быть, на смерть, как собственных сыновей. Мешаются соленые слезы, дрожат от волнения губы, крепко сжимают в объятиях сильные мужские руки. И как бы стыдясь своих чувств, проведя рукавом по глазам, они птицей взлетают на танки и скрываются в люках. Скоро, скоро в бой!

...Подъезжая к бригаде Темника, издали видим танкистов, выстроившихся у своих машин. Темник и Ружин обносят знамя бригады. Вот они подошли ко второму батальону. Бочковский медленно и очень громко произносит:

— Клянемся, что мы, идя в бой, будем драться до последнего дыхания, пока сердце бьется в груди, а глаза видят врага.

— Клянемся! — повторяет бесстрашная гвардия.

— Клянемся тебе, Родина, что сполна рассчитаемся за сожженные города и села, за сожженных в дьявольских печах, отравленных в душегубках, расстрелянных и замученных жен и детей, братьев и сестер, отцов и матерей. Смерть немецким захватчикам! Да здравствует победа!

Комбриг и Ружин проносят знамя перед рядами. Внезапно один рядовой сделал два шага вперед, взял рукой полотнище и вырвал ниточку бахромы. Бережно сложил и спрятал на груди.

— Достану в Берлине!

Как сжатая пружина, изготовилась наша армия к рывку.

Продолжение следует

Ел. Вечтомова

ТРОНЫ И СУДЬБЫ

ТРОПИШКА ИЗДАЛЕКА

Всем нам приходится много ездить — для встреч с читателями, по заданиям редакций, с пропагандистскими бригадами, просто так — «для души». И вот однажды я снова попала в знакомый, голубой и зеленый от садов и воды Тихвин.

Поздно ночью, идя с вокзала, остановилась возле небольшого деревянного дома, обшитого вагонкой. Окошки его еще теплились. На чистых белых занавесках двигались тени растений — кто-то переставлял лампу. Все остро напомнило мне такой же дом на Урале, где жила наша семья, рядом с университетской хирургической клиникой, в которой работал отец.

Мне показалось, что вот-вот раздастся дребезжащий звонок за дверью, и я услышу хриловатый спросонья и от холода голос санитарки Фроси на крыльце с чепцом навеса:

— Ондрей Олексаныч! Резаных привезли!

Кто тут живет? Как живет? Может быть, люди спорят и ссорятся, а может быть, мучаются над каким-нибудь новым открытием, которому поразится весь мир?

Сколько таких домишек в России! Сколько великолепных людей выросло в них, несмотря ни на что: Горький, Чайковский, Пирогов, Ленин... Да, даже юность Ленина прошла в таком доме! Здесь, в Тихвине, раскрывался талант Римского-Корсакова.

В каждой семье — свои воспоминания. В детстве их слушаешь, как сказку. Позже небрежно отбрасываешь пачки старых писем, в лучшем случае отлепив с конвертов старинные марки. Зевая, перелистываешь альбомы с фотографиями волосатых студентов в косоворотках, тоненьких удивленных гимназисток, теток с требовательными глазами репинской царевны Софьи, печальных бабушек в ротондах и гипюровых косынках.

В юности стесняешься воспоминаний. Говорить хочется только о будущем, писать о настоящем, запоминать только самое новое, боевое.

В моей юности главным было — ниспровергать! Всё: старый мир, рождественскую елку, длинные косы...

С годами мы далеко уходим по своим дорогам. Но придет время — все равно заметим узенькую тропинку, которая бежит из далекого прошлого, от неказистой избушки, рабочего барака или провинциального дома прямехонько в твою жизнь, в самые твои «последние достижения».

Вернувшись из Тихвина в Ленинград, я с особенным пристрастием начала спрашивать родных о днях их молодости. Рылась в старых письмах, в газетных вырезках со статьями и портретами своих одноклассников, ставших инженерами, председателями колхозов, командирами строек, министрами. Дошло дело и до шершавых альбомов, сделанных на века. Переворачивая негнущиеся страницы, я видела уже не только давно знакомых и родных людей с детскими именами и шутивными прозвищами, по традиции сохраняющимися в нашей семье, но ту же безвестную тропинку, бегущую через жизнь в самое далекое будущее.

Человек в малице возле оленьей упряжки, — смешливый студент Петёра с буйной шевелюрой, — оказывается, снят в якутской ссылке. Он работал в подпольных кружках с Марией Ильиничной. Маленькая гимназистка с большим бантом в волосах как бы сбежала из зудермановского «Воя бабочек». Сидит на бутафорской балюстраде, похожая на Комиссаржевскую, широко раскинув худенькие руки. Об этой девочке столько рассказывали в нашей семье — о ее любви к молчаливому геологу с Северного Урала, о ее не особо счастливом замужестве и о том, как «они не сошлись характерами», расстались. А ее дочка Лёка едва не сгинула во время войны, но все-таки стала геологом, как ее покойный отец.

В нашей семье всегда любили шутку. Вот бледный любительский снимок маленького дома, дорогого только для тех, чья жизнь началась в нем. Самовар на садовом столе. Блюдо с шаньгами. Ребятишек, самых маленьких, посадили в боль-

шую квашню. В этом доме, немного поцыгански безалаберном на первый взгляд, полном шумной молодежи, появлялись за обеденным столом студенты и мастеровые, иногда даже не назвав своего имени или пробурчав: «От Петёры».

Старшая сестра — красавица, недотрога и брезгуша, учительница Анюта-белая, в светлой кофточке с глухим воротом — хранила в флаконах из-под духов «симпатические» чернила. Маленькая гимназистка — самая меньшая в семье — играла в вырезанные из журналов картинки и прятала среди них листки папиросной бумаги с гектографической печатью, пачкающей пальцы. «Царевна Софья» — Анюта-черная, невеста Петёры — уехала за ним в ссылку.

Лёка приходится мне не то племянницей, не то двоюродной сестрой. Но я знаю о ней только по рассказам.

Как много примет времени, событий исчезает с каждым поколением! Бывшие курсистки, мои тетки, красиво и подробно пишут из Перми о том, как меняется город, о праздниках цветов, о новых районах, которые не грех перенести в Москву или Ленинград, сообщают рецепты «скоростных» печений, рассказывают о гастролях вахтанговцев и о самом молодом Гамлете. Одна из них всю жизнь мечтала стать агрономом, а работала бухгалтером. Уйдя на пенсию, она иногда видит во сне, что не сдала квартальный отчет...

Воспоминания не умирают, если от них тянется ниточка к будущему. О них надо рассказывать молодым.

Я задумываюсь над одним, очень важным моментом: Лёка очутилась в распадающейся семье, среди чужих людей, но «не пропала». И не потому, что оказалась в детдоме или интернате. И без этого жизнь ее сложилась прекрасно. Она встретила очень хороших людей, выведших ее на правильную дорогу. И я решила: я должна снова увидеть Урал, знакомых и незнакомых людей! Я просто не могу не выяснить судьбу этой девочки! Тут мало одних воспоминаний.

ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ ПОДАРКИ

Пароход бежит по Каме. Но вот течение лирической Белой, молочное от алабаstra, врывается в глинистую желтизну Камы — меж совсем разных берегов. Один еще в хвойной шубе лесов, другой, отлогий, песчаный, — в многоярусных гнездах стрижей. Долгое время бурлят воронки, каждая своего цвета, никак не хотят слиться. Не так ли случается и с людскими характерами? Не так ли произошло в жизни Лёкиной матери, в ее трудном замужестве? Наконец побеждает спокойная мощная Кама. Но в жизни-то не всегда так!

Найду ли я в Уфе дом на окраинной улице? Может быть, он давно снесен? По всей стране справляют новоселья.

Пасутся табуны коней. Доносится ды-

мок кизячных костров, ромашки, неповторимый запах реки. Как сто лет назад, в Гусином Горле — Дюртюлях плавают лебеди, на пристанях пахнут рожжами и вяленой рыбой. Но грузы теперь бегут по транспортеру.

Пароход наш — заслуженный. В салоне с картины глядят сквозь заснеженные ветки елок глаза уфимца Матросова. Пароходу исполнилось шестьдесят семь лет, но сообщение о его возрасте для всех полная неожиданность. Это бывший купеческий «Иван», бывший «Нырб» и даже бывший «Жан Жорес»; теперь — «Александр Матросов». Он плавает последние рейсы. Принято писать о новых домах, новых морях. Но новых теплоходов на все новые моря еще не хватает, и «Матросов» — чистенький, быстроходный — поддерживается командой в такой форме, что его стиль чувствуется по особо щегольской швартовке и легкому отбегу от пристаней.

* * *

Дом в Уфе я нахожу. Он одноэтажный со стороны бульвара, полного цветущих лип и запыленных кустов с голубыми колокольчиками. Тяжелые чугунные калитки-вертушки, несомненно, сохранились с XIX века. Со стороны фруктового сада, сбегającego к Белой между других садов, домик вроде как двухэтажный. В мезонине, наверное, и жила гимназистка, мечтавшая походить на Наташу Ростову и Нину Заречную. «Мы увидим небо в алмазах», — повторяла она. Героини Тургенева, Чехова были своими в этом доме. О них говорили, как о родных, из-за них ссорились. В трудовой большой семье, знакомой с ломбардами, где пропадали гимназические и студенческие золотые медали, были долги и труд, труд, труд, репетиторство с шестого класса — лишь бы поставить на ноги всех ребят. Старший сын заменил младшим рано умершего отца. Купец сдал бабушке дом с условием наладить в городском саду его молочный буфет. Через несколько лет дом был отобран. И неожиданно, как в плохих романах, свалилось наследство от незнакомых родственников — дом в другом городе. Но Петёра объяснил, что собственность — позор. И бабушка, все еще красивая, хоть и поблекшая в заботах, молча (она была на редкость мудрая и молчаливая) неловкой жесткой маленькой рукой подписала нужный документ об отказе. Переехали в Казань. Жили в семейных номерах. Помню я их — с окнами, выходившими на толчок! Но многого о своих героях не знаю, особенно того, что происходило с ними позже, в Перми. Да я не знала и того, что они постепенно становятся моими героями!

ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ

Я в Перми. Трамвай, кряхтя и урча, вырывается на пустыри, еще захлапленные строительным мусором. Он несется вперед, к огромным заводам, выросшим на

месте роц и полей. Великолепные дома, дворцы культуры, кино, магазины. Словно ковер, стелется асфальт все дальше.

За рекой, на месте дач Нижней Курьи, вырос целый город Закамск.

Снова, как в школьные годы, роюсь я в книгах и газетах читального зала центральной библиотеки. От тетушек стало известно, что Лёка, которую в школе прозвали «Уфимкой», сбежала в Чердынь и еще дальше, к Красновишерску с его алмазной разведкой. Надо ехать туда.

Краевед Николаев, один из редакторов Пермского издательства, рассказал мне о Чердыни. Когда ни он, ни многие другие не могли ответить на какой-нибудь вопрос, то разводили руками и говорили: «Теперь разве уж только Лунегов!» Это имя я встретила и в местной «Звезде», где когда-то школьницей познакомилась с никому еще не известным фельетонистом Аркадием Гайдаром — юношей в синей рабочей спецовке, с золотым чубом, вырывающимся из-под кепки.

Лунегов писал в своей статье о драгоценной находке чердынского архива. В одном из писем сестры Ленина Анны Ильичины есть упоминание о том, что в Кокушкино — место ссылки Владимира Ильича — собирается ехать двоюродный брат Ульяновых, врач. Лунегов разыскал документы, рассказывающие о деятельности врача Залежского, окончившего Казанский университет и работавшего в Чердыни. А. А. Залежский успешно боролся с ospой. Документы рисуют его как незаурядного, гуманного человека, крупного деятеля. А любви к человеку в холодном крае так не хватало!

Кажется, мне уж не важно найти следы той самой, подлинной «Уфимки». Важно узнать людей, которые вывели или могли вывести ее на правильный путь.

Я опять на теплоходе. Он выходит в огромное Камское море — молодое, сейчас спокойное. Как поэтично определяют гидрологи, водное зеркало моря равно 1700 квадратным километрам.

Ночь я не сплю. То и дело выхожу на палубу — боюсь пропустить Хохловку, где работала наша экспедиция. Для Камского моря искали место геологи в тридцатых годах. Для меня это была первая творческая командировка. Молодых литераторов тогда зачислили в экспедиции коллекторами, чернорабочими, лаборантами. Так все изменилось, что не узнать! В когда-то тихой деревеньке теперь известный завод. И вдруг, точно нарочно сохраненный или воссозданный памятью, возникает поселок на крутом взгорье над новенькой пристанью, заменившей прежние мостки! И все отсюда кажется прежним. Вьется тропинка. Тесно переплетается с другими.

Днем подходим к Вишеру. Молодой человек в сером костюме рассказывает легенду о Полудовом камне, о битвах, гремевших на берегах, мимо которых мы идем.

— Да вы что — историк?

— Нет. Я на заводе работаю, а тут хаживал с Лунеговым...

— Лунегов? — услышав фамилию, повеселели сидевшие на палубе и изнывавшие от жары и безделья пассажиры. — Илья Алексеевич?

Через пять минут я знаю, что тот был болен, а теперь «бегает по-прежнему», не жалеет себя, что не следует дожидаться автобуса в Рябинине, а надо постараться в Тюлькине попасть на ныробскую попутку, тогда успею застать Лунегова еще в музее, а то ускачет, и не найти до завтра.

Лунегов! Каким он окажется? Немного чеховским дядей Ваней или Астровым? Археолог, краевед, историк, этнограф... Чем только он не занимается!

...Чердынь в прошлом — захолустный купеческий город. Там жили сто пятьдесят семейств Тит Титычей. Было четырнадцать церквей и часовен, целая улица кабаков и других злачных мест.

На первый взгляд Чердынь изменилась мало. Какой-то остряк поторопился назвать ее «городом пенсионеров».

В бывших торговых рядах теперь кинотеатр, в богадельне — гостиница, вместо тюрьмы — пекарня, в купеческих особняках амбарной крепчайшей архитектуры — детские ясли, школы. В городе пока нет крупных заводов, мало рабочих. Сплавные рейды, вроде Рябининского или Керчевского, живут более бурно, и культурный уровень их куда выше чердынского. Но с осуществлением Волго-Печорского каскада город переродится.

Здесь, кажется, впервые в моей жизни даже при первом знакомстве не перевирают мою фамилию, а Лунегов даже спрашивает, не родственница ли я таких-то.

Нет, он совсем не похож на старого интеллигента. Что-то в его облике скорее напоминает комсомольца двадцатых годов, чоновца. Сухощавый, легкий, в полувоенном костюме, в черной кепке на затылке, с той вольной, как бы беззаботной повадкой, которая позволяет каждому попросту обратиться к нему со своим делом. Проходя по улице, заметил он двухцветную землю на холме над Колвой и послал ее на анализ. Доказал, что именно тут проходила городская бревенчатая стена городища, сторовшая несколько веков назад. От сильного пожара земля спеклась как раз там, где проходила стена.

Оказывается, он и был чоновцем. Его легко представить с вещевым мешком за плечами. Всюду он — дома. Услышал свист птицы — усмехнулся. Проследил блестящими темными глазами ее полет. Стукнул по обомшелому обломку скалы. Подобрал камень. Поскобил ногтем. Спрятал в карман. Записал что-то в блокнот. И — дальше, — ловкий, легкий, внимательный и по особому добро заинтересованный во всем, что ему открывает природа, чем одарят сердце люди.

Уже через полчаса знакомства он показывает мне одну из самых дорогих ре-

диквий музея — страничку, вырванную из ученической тетради: полудетский почерк, выцветшие лиловые чернила. Докладная агитатора уисполкома Ани Хомяковой, большевички, вчерашней гимназистки. Вернувшись из района (уезда), где в нее стреляли кулаки, Аня писала: «Все это не говорит, что население относится враждебно к Советам. Оно само не знает, что делать. Нет сознания, беспросветная тьма среди бедняков. Будь побольше людей партийных среди них, беседуй с ними почаще, дай им разъяснение тех вопросов, которыми они заняты, — они проснутся».

Ее зверски замучили колчаковцы в 1918 году.

Распутывая клубки трагических судеб, узнавая имена расстрелянных безвестных героев, Лунегов нашел место гибели Ани и еще тридцати пяти красногвардейцев. Теперь в Чердыни около тридцати памятных обелисков — вех борьбы за установление советской власти в крае.

Письма к Лунегову идут со всех концов Советского Союза — от рыбаков, академиков, охотников, педагогов, партийных работников.

Охотник Собянин звал его: «Приезжайте, я нашел окаменелых раков, а недалеко есть озеро. Пузыри вскакивают. Как лопнут — синее пламя».

Конечно, Лунегов поехал к другу. Оказалось — действительно там кораллы и газ.

Однажды в селе Редикор, куда Илья Алексеевич был командирован, прибежала к нему уборщица школы:

— В щебневом карьере череп нашли, а кладбища там сроду не было. Не убили ли кого?

На лобной части черепа Лунегов заметил резкую зеленую полосу. След медного украшения! Какого же времени? Начал копать песок и щебень обыкновенным ножом. Нашел нижнюю челюсть. Дальше — весь скелет, серебряные серьги, шумящие подвески, несколько сот бусин. А через два месяца приехавшие по его приглашению ученые определили: захоронение IX—X века, родановской культуры.

В музее тысяч шестьдесят экспонатов. Большинство — археологических, историко-революционных — найдено Лунеговым и его сотрудниками. Путешествует Лунегов во время отпуска. Для ремонта музея сам закупает олифу, краски, да и лезет на крышу красить: уверяет, что оттуда мир дальше видно. Со своими соратниками он и штукатурит и клеивает музей. Всей своей жизнью, деятельностью, внешним видом он опровергает представление о музейных, архивных тружениках. Он весь с жизнью, в жизни.

Мальчишкой-охотником Лунегов делал чучела зверей и птиц, которые приносил музею в подарок. Именно в подарок! Что заставляло поступать так мальчишку, для которого дорог каждый грош? Тяга к культуре, восхождение богатством, чудесами жизни. Когда в 1926 году сельский кружок любителей природы командировал его на конференцию краеведов в Свердловск, он

сто пятьдесят верст прошел пешком. Денег-то не было!

Его знали Надежда Константиновна Крупская, Бажов. Помогали ему учиться. Когда его выдвинули на работу в музей, старая интеллигенция (а мы знаем, она бывала разная) встретила «комиссара», «неуча» в штыки. Илья Алексеевич рассказывал, что он тогда в самом деле не знал значения слов «этнография», «палеонтология», а за его плечами, кроме четырехклассного училища, не было никакой теоретической подготовки. Учился работа. Он собрал вокруг музея бывалых людей, сам бродил по деревням, в горах, лесах. Разработал несколько десятков неповторяющихся маршрутов. Результаты путешествий обобщил и опубликовал. Это был его первый печатный труд. И теперь еще новые поколения «следопытов», «кладоискателей» бродят по лунеговским маршрутам.

Ученые приезжают знакомиться с лунеговскими раскопками. В их научных трудах встречаются упоминания его работ. Сам он — автор книг и публикаций. В Эрмитаже хранятся новосасанидские серебряные блюда, выкопанные Лунеговым.

Возле Лунегова постоянно теснятся школьники, подростки с большими глазами, с отрешенным видом, озабоченные чем-то важным, своим. Ну, разве не важно найти, например, пиropy для геологов?

Уж Лунегов-то прихватил бы «Уфимку» в свои путешествия, привлек бы неистощимой жадностью к узнаванию. Рассказывая о своей юности, он вспоминает ссыльного, ставшего его старшим товарищем, и говорит:

— Фамилии его не знал, помню только, что звали Петром.

У меня холодеет сердце. Пусть это случайное совпадение и речь идет не о Петере, но уж слишком все получается так, что только диву даешься.

Нет, совсем не важно проследить только ту самую тропинку. Важно, что она слилась с путями народа.

Когда советские войска занимали новые города Германии, Илья Алексеевич, трижды раненный во время Отечественной войны, ухитрился водить бойцов по европейским музеям. Он собирал письма заключенных в концлагерях узников и до сих пор помогает людям отыскивать друг друга, узнавать о судьбах родных и близких. Он собрал прекрасный материал о земляках — Героях Советского Союза, о работах края в семилетке. За десятки километров выезжают Лунегов и его сотрудники с передвижными выставками в колхозы. И всюду у него друзья и помощники. Для таких, как он, не существует слова «захолустье». К нему, как на огонек, тянутся люди с горячим сердцем.

Лунегов познакомил меня со своей давней приятельницей, Елизаветой Маркеловой Юргановой. В глухом поселке, куда и сейчас доберешься только на самолете, проработала она сорок лет. Елизавета

Маркеловна — орденосеи, депутат райсовета, персональный пенсионер — всю жизнь мечтала о путешествиях, со всем пылом чудесной души учила ребят — требовательная, любящая, непреклонная.

Видимо, когда человек приезжает ненадолго, с ним легче быть откровенным. Мы дни и ночи проводили в разговорах с моими новыми знакомыми. Столько выделось в них родного. Отец бкал, как бкает Лунегов, о многом в жизни Илья Алексеевич и Елизавета Маркеловна судят так, как судили в нашей семье.

Я читала письма к Юргановой взрослых, немолодых людей.

«Вашу доброту, душевное благородство мы ощутили, когда еще были детьми!» «Что нового в Енидоре? Рвусь работать домой». «Лиственицы, которые мы сажали, наверное, выше школы? Ваши письма буду беречь до конца жизни». «Великая благодарность людям, учившим нас». «Только теперь я понял, находясь в армии, как скверно поступал, не слушаясь Вас, сколько потерял из-за этого».

Могла ли пропасть здесь «Уфимка»? Нет, не могла. И не пропала. Лунегов загорается моим стремлением попасть к алмазникам. Подсказывает, кого найти в Красновишерске, с кем поговорить, что увидить. Он дает мне «веху» — имя учителя Зырянова, который «тоже все знает». Дороги сходятся: геологи, алмазная разведка, «Уфимка», ставшая геологом...

РОВЕСНИК ГОРОДА

Вездесущий «газик», в просторечии «козлик», мчится не разбирая дороги. Проскакивает поселки сплавных рейдов — Керчевского, Рябина, Тюлькина. Мелькают деревня Березовая Старица, Усть-Язвинская лесная биржа, леса, леса, леса и сыпучие пески.

Над нами торопятся по своим делам маленькие самолеты. Иногда с неба падает белый зонт парашюта, — заметили лесной пожар.

Красновишерск. Городок вырос вдоль Вишеры, вокруг бурно строившегося целлюлозно-бумажного комбината.

Гигантские штабелы древесины, в семь, девять тысяч кубов каждый, тянутся возле города. «Лопари» — выгрузочные агрегаты, простоватые на вид со своими тросами и будками — перетаскивают пачки баланса прямо на гидролотки завода. Здесь начало рождения бумаги.

Лес здесь — все! Он определяет тонус жизни, настроение жителей, благосостояние, жизненный уровень, возможности, перспективы. Людям, привыкшим к величию леса, даже жутко представить себе всю эту мощь и красоту в переработке. Лес! Кругом лес! Он тянется зубчатой стеной. Им, как шубой, окутан Полюд. Он вылеживается на лесных биржах. Он на комбинате. Из него строят дома. И всюду настораживающие надписи: «Помни об огне!»

Этот молодой район по территории равен двум третям Бельгии. Хозяйство огромное, влору целой республике — леса, комбинат, сплавные рейды, алмазы! Но председатель исполкома Антонина Петровна Заболотных, маленькая, подвижная, смеется:

— Романтики! Конечно, алмазы — это важно, но они ведь только малая часть нашего хозяйства...

Только подумать: алмазы — не главное в большом хозяйстве!

Заболотных помогает найти Зырянова. Для этого приходится привлечь чуть ли не всех комсомольцев. Лето. Каникулы. Он неуловим. Но мы все же встретились.

Зырянов — ровесник Красновишерска. Он как бы родился со страстью к путешествиям, собиранию песен и минералов. Комсомольский работник, потом учитель, автор двух сборников: «Вишерские частушки» и «Лирическая частушка», куда вошла едва ли десятая часть собранных. В блокнотах Ивана Васильевича рядом со старинной песней и старинными сказами большое место занимает современная частушка, советская народная песня. Но дело даже не в этом. Главное — что он заразил своей страстью комсомольцев, и все, кто возвращается из дальних командировок, первым делом спешат к нему: «Еще нашли — записывайте»:

Вы не все, цветочки, вяньте —
Зеленей, поляночка,
Вы не все меня ругайте,
Пожалей, сестряночка!

У Ивана Васильевича негромкий голос, очень светлые, почти белые волосы и близорукие голубые глаза. Он читает записи песен. Их порой приходится собирать по строчкам — несколько строчек в одном колхозе, несколько в другом. Многие сказы расспыались на частушки. Приходится угадывать целое. Собирать. Народ на Урале неразговорчив, и счастье, что родные Зырянова из здешних. В деревнях у него много знакомых. Знают не его — так отца, не отца — так деда. Ему рассказывают все. Чудесной музыкой звучит запись сказа о пропавшем муже. Приезжают к его жене незнакомцы:

Всю-то Мбскву проезжали,
Ко вдовушке заезжали.

Жена не узнает хозяина, а он явился с товарищами —

Полтараста, да все на конях,
Все на конях, да на серых,
Все на серых, да все во седлах,
Да во черкасских.

И этот человек неразделим со своим краем.

НЕБО И ЗЕМЛЯ В АЛМАЗАХ

Зырянов не только читает стихи и сказы, но и едет со мной к алмазникам. Знакомит с начальником геологоразведки. Сюда вела мечта «Уфимки». И на ла-

дони у меня — вишерские алмазы. Целая горсть! Высыпаны они начальником разведки не без тревоги. В дощатом полу широкие щели, — а ну как упадет камешек? Ведь на каждый — свой паспорт. С удивлением ловлю себя на том, что после всех встреч ослепительное чудо в руке уже не ошеломляет так, как должно бы ошеломить. Даже жаль. Изменились масштабы оценок.

Вглядываюсь. Любуюсь. Люди бывалые — мы знаем, читали, что неограниченные алмазы тусклы, похожи на кристаллы горного хрусталя. Вишерские же просто невероятны. словно прошедшие отделку, сверкают они четкими гранями — каждый чуть поменьше сустава большого пальца, продолговатые (что крайне редко бывает!), круглые, овальные. Светятся голубыми, зелеными, желтыми огнями. Сверкают всеми цветами радуги камни чистой воды. Они выше якутских по своему среднему весу и по ювелирным качествам раз в десять.

Сто лет назад найдены здесь первые русские алмазы. Разработку вскоре забросили, так как не было свободного выхода породы. Только теперь идут настоящие поиски и находки.

До сих пор крупнейшие месторождения алмазов были в Африке. Якутские не уступают африканским, а уральские лучше якутских.

Ищут алмазы не только геологи, а и сотни старателей, следопытов-романтиков — читинские, якутские, вишерские, чердынские, кизелские. Исследуют выходы разных пород, находят строительные материалы, нефть, целебные источники, соль, спутники алмазов пиропы — гранаты, темно-красными зернами лежащие перед нами в пробирках. С этого и начинала «Уфимка». Ах, Лунегов, Лунегов, что тут за люди!

Что стоило двум девочкам, окончившим институт и направлявшимся в экспедицию, вернуться домой после первых испытаний? Труд и в самом деле не женский. Впервые в жизни довелось им ехать верхом. Падали с седел, натерли ноги, пять раз переходили вброд сумасшедшую речонку, ведя лошадей в поводу. В горных осыпях лошадь сломала ногу. Пока одна из девочек добралась до поселка и привела машину, другая в ладонях носила воду из ручья раненой лошади. А потом, дожидаясь, сидела под сосной и читала «Золото» Полевого.

Что-то роднит этих девочек с Лизой Юргановой — женщин разных поколений. Лучшие качества души обнаруживаются не сразу. Алмазы лежат в земле глубоко. Тонны породы нужно вынуть из шурфов, просеять, промыть, прежде чем

на конвейере под лучами рентгена просиет голубая драгоценная капля.

Мы встречаемся с «Уфимкой» зимой, уже в Ленинграде, куда Лёка ненадолго приезжает по своим геологическим делам. Передо мною высокая сухоощавая женщина с узким лицом. Загар просвечивает даже сквозь воротничок ее капроновой кофточки.

Помню, меня особенно трогало то, что «геологини» даже в лесу, в горах, и по выходным дням не расставаясь с лыжными костюмами, все-таки обязательно надевали тонкие нарядные блузки, оттенявшие их загорелые, обветренные лица.

Вид у нее независимый. Согласитесь, что мы знакомимся позденько... Лёка, вероятно, ждет родственников расспросов, и ее глаза щурятся насмешкой. В уголках около глаз — светлые морщинки.

Мне кажется, что если не все, то самое главное в ее жизни я знаю сама. И писать буду не об этой сильной, уверенной в себе женщине, а о девочке, удивленно и радостно смотревшей на Лунегова, когда он открывал ей и ее товарищам сокровища своего музея, снаряжал в первую школьную экспедицию. Буду писать о худом костлявом подростке, карабкающемся вместе с геологами на тайге безо всяких троп (тропы лягут за ними. Потом по их вехам прорубят дорогу). Буду писать о ночующей в мокрых палатках, бродившей по колену в воде и оттирающей замороженные руки.

Я ни о чем не расспрашиваю, и может быть, на моем лице тоже появляется насмешливое выражение. Как-никак мы — родственницы. И Лёка, у которой есть уже своя дочка, родившаяся в одном из походов, начинает рассказывать о кизелских ребятах, нашедших пещерный жемчуг. Жемчуг представляется мне красивым, таинственно мерцающим в полумраке пещеры. Но, оказывается, он не такой яркий, как морской. В его составе не хватает минерала арагонита, и если его разрезать, то он напоминает собою нечто вроде игрушки-матрешки: массу шариков, вложенных один в другой.

...Бегут, бегут тропинки человеческих судеб. Горят прекрасные сердца. Совершаются великие дела, совершаются обыкновенными людьми.

Кроме крупных заводов и строительных есть еще у нас глухие уголки. Пóлно! Можно ли их называть глухими, когда там живут такие люди, как Лунегов? Они не дадут человеку пропасть, если в нем есть хоть крохотная искра, данная народом. Где бы он ни был, где бы ни начиналась его тропинка, она приведет его к большому пути народа. Тогда он увидит небо и землю в алмазах.

ДВЕ ФАМИЛИИ РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ

В небольшом латышском городке Руиена на улице Лумбажу жила когда-то чета Лиепинь. Им принадлежал низенький ветхий домик с окнами почти вровень с землей. Никто никогда не видел Лиепиней унывающими и несчастными, хотя горькая нужда цепко прижилась в их семье.

В этом гнезде выросли свободолюбивые птенцы. В 1918 году в тылу немцев, захвативших Латгалию, начал действовать партизанский отряд из железнодорожников Валки и крестьян Вольмарского уезда. Ими командовал молодой большевик Эльмар Лиепинь. Эльмар со своим отрядом сражался в рядах Третьей латышской бригады и на Оке, на Березине. Красный генерал водил бригаду освобождать Орел, уничтожать денкинцев. А сподвижником его в походах был родной брат — Виктор Лиепинь, также партизан и командир Красной Армии.

С именем третьего брата — Яна связаны подпольные руиенские маевки. Земляки долго не знали, кто этот смельчак, что из года в год, не страшась жандармов, в день Первой поднимает над Руиеной знамя свободы. Только затем открылось его имя — Ян Лиепинь. Его прикончили ищейки Ульманиса в тюремном застенке.

Под стать своим братьям была и Элла-Марта-Иоханна. Она походила на мать, эта сероглазая веселая певунья, которая знакомила молодых руиенцев с мятежными стихами Эдуарда Вейденбаума и Яна Райниса, читала запретные листки о борьбе на баррикадах в Риге, о крейсере «Память Азова», поднявшем алый флаг на Ревельском рейде.

Где доставала шестнадцатилетняя девушка волновавшие всех крохотные листки? На этот вопрос могли бы ответить железнодорожники Валки и Мыйзакюлы, заходившие на огонек к Якобу Лиепиню. Бойцы первой революции, они заметили в юной Элле свою соратницу и как равному, надежному товарищу поверяли ей свои замыслы.

А затем и в Луге, куда девушка отправилась на заработки, она не отошла от борьбы: подбрасывала то в рабочее общежитие, то в солдатскую казарму тонень-

кие брошюрки с вольным словом. Приходили эти брошюрки издалека — из Цюриха и Женевы, тайными тропами. Элла отыскала в помещичьей усадьбе укромный уголок для нелегальных сходок и стала связанной в революционном социал-демократическом подполье. Но лужская полиция установила за ней слежку, и молодая подпольщица по совету товарищей переменяла свой адрес. С той поры и начались бесконечные скитания члена Российской социал-демократической рабочей партии большевиков Эллы Лиепинь.

Удивительно сложилась судьба латышской революционерки! О ней я услышал в Ленинграде, на Суворовском проспекте, в квартире Елены Черновой, дочери Эллы Лиепинь. В тот вечер у Елены собралась вся родня: дядя Эльмар (тот самый красный генерал, а затем инженер на Ленинградском сталепрокатном заводе), старший сын Эллы — Борис, старая коммунистка Маргарита Васильевна Фофанова, у которой жил, скрываясь от Временного правительства в 1917 году, В. И. Ленин.

В 1916 году царской охранке удалось напасть на след Эллы. Она была арестована и предана суду за антивоенную пропаганду и антиправительственную агитацию в войсках.

«Признать виновной и сослать подсыдимую на вечное поселение в Восточную Сибирь, в Верхоленинский уезд», — гласил приговор.

Стражники привезли молодую большевичку в деревню Качугу. В Качуге к тому времени образовалась целая колония из ссыльных ленинцев. Здесь были и товарищи Эллы по петербургскому подполью: студент Николай Козицкий (его имя носит ныне радиозавод в Ленинграде), Наташа Грузман, Екатерина Белая.

В один из зимних дней приехала в Качугу врач Евгения Николаевна Егорова. Она не была осужденной — в Качуге находился ее муж, Николай Козицкий, и она решила делить с ним тяготы каторги и ссылки. Евгения Николаевна привезла с собой важные новости: в Петрограде рабочие часто бастуют, за Нарвской заставой и на Выборгской стороне то и дело

стихийно возникают антивоенные митинги и демонстрации — грядет буря.

Обычно спокойная, ровная Элла Лиепинь слушала эти новости с явным волнением:

— Надо пробиваться в Петроград!

— Как пробиваться? В стужу? По бездорожью? Без каких бы то ни было документов?

— Конечно, надо все обдумать, но вопрос о побеге будем считать решенным, — ответила Элла.

Эллу обняла жена Николая Козицкого.

— Давайте, дорогая, поменяемся местами. Отныне я — Элла Лиепинь, а вы — Евгения Николаевна Егорова. Берите мой паспорт и эту шубку, она пригодится в дороге.

Колония слыльных освятила это второе крещение Эллы, ставшей с тех пор для партии, для рабочего класса Питера Женей Егоровой.

Женей впоследствии звали ее и Ильич, и Свердлов, и Крупская, и Калинин. Женей звали ее рабочие и большевики Выборгской стороны.

Преодолев тысячи километров зимнего пути, Женя Егорова благополучно вернулась в Петроград. Поздравляя товарищей, оставшихся в ссылке, с наступающим семнадцатым годом, она тайно сообщила им: «Явки в порядке, жизнь начинается».

Кто знал Женю Егорову, тот понимал смысл этих слов: жизнь начинается — Женя попала в свою стихию, в революционный водоворот.

В Петрограде Женю приютила старая большевичка Лидия Каменская. И сразу же Лиепинь-Егорова заняла место в строю профессиональных революционеров, готовивших страну к февралю и к Октябрю семнадцатого года.

По тому, как дружно, солидарно бастовали заводы Выборгской стороны, по смелым лозунгам, что писали они на своих алых стягах, по выступлению женщин-пролетарок 23 февраля с требованием «Долой войну! Хлеб детям! Мужей из окопов!», — по всему чувствовалось, что у поднимающихся масс есть опытный организатор и руководитель. Это действовал подпольный Выборгский районный комитет большевистской партии. Секретарем райкома и была Евгения Егорова.

Много интересного и незабываемого узнал я в квартире на Суворовском: о беседах Ленина с Евгенией Егоровой, о дружбе ее с Крупской, о том, как Крупская, Фофанова и Егорова в 1917 году создали в роскошном особняке питерского заводчика первый в мире дворец отдыха для пролетарских детей. Узнал я о том, как формировались и обучались на Выборгской стороне десятилетия Красная гвардия и отряды красных сестер.

В апреле семнадцатого года из эмиграции в Петроград вернулся Ленин. Питерцы встречали его у Финляндского вокзала и пламенно поддержали ленинский

призыв к социалистической революции. Здесь же у броневика, с которого выступал Ленин, рабочий-котельщик завода «Новый Леснер» Афанасий Селицкий вручил Владимиру Ильичу членский билет партийной организации Выборгского района. Билет был заполнен и подписан секретарем райкома Евгенией Егоровой.

Маргарита Васильевна Фофанова вспоминает:

— После июльского расстрела мирной демонстрации я зашла в Выборгский райком. Женя Егорова коротко объяснила мне ход событий. «Ясно, понятно?» — переспросила она. Кстати, такой вопрос, объясняя что-то, всегда задавала Надежда Константиновна, и, видно, у нее этому научилась наш секретарь. «Так вот, — продолжала Женя, — теперь быстро отправляйся домой. Следом за тобой поедет машина, но ты, пожалуйста, не оглядывайся, иди самым коротким путем. Когда машина минует мост, товарищи выйдут из нее и направятся за тобой. У тебя на квартире Ленин проведет совещание с членами ЦК. Следи за входом, будь начеку».

Оказывается, Егорова давно облюбовала дом, где жила Фофанова, для организации конспиративной квартиры. А в канун Октябрьских событий секретарь райкома предупредила Фофанову:

— Мы предполагаем использовать твою квартиру для Владимира Ильича.

Из этой квартиры, за несколько дней до Октябрьского штурма, Крупская принесла в райком секретное письмо Ленина. Письмо было адресовано руководителям Выборгского района, и его зачитала узкому кругу активистов Евгения Егорова. Ленин писал, что исторический момент для захвата власти настал, надо только действовать внезапно, твердо и решительно, надо начинать вооруженное восстание, и начинать его немедленно...

Именно из квартиры Фофановой на Сердобольской улице и ушел Ленин в Смольный руководить Октябрьским вооруженным восстанием.

После победы Октября Егорова по личному поручению Ленина организовала Первый петроградский продовольственный отряд, который, борясь с кулачьем, снабжал хлебом горожан. Затем партия послала ее на Волгу, возглавлять Саратовский губком. Егорова была в числе первых женщин, удостоенных ордена Ленина. Ее наградили за революционные заслуги перед международным женским движением в юбилейный день 8 марта 1933 года.

Жене Егоровой не пришлось больше приезжать в свой родной маленький городок на реке Руче. Но в 1944 году там побывал сын Эллы Борис Егоров. Он участвовал в освобождении города от фашистских оккупантов.

Как же сейчас зовется Лумбажу, где жила славная династия Лиепиней? Может быть, стоит назвать ее теперь по-другому: улица Эллы Лиепинь — Евгении Егоровой?

А. Акимов

Борис Дьяков

ПЕРЕЖИТОЕ

В этой документальной повести, отражающей период с ноября 1950 по апрель 1951 г., нет вымышленных лиц, обстоятельств и событий. Здесь выведены люди с их подлинными именами, за исключением немногих, чьи фамилии память не сохранила. Со всеми этими людьми меня столкнула горестная доля в годы культа личности Сталина.

Некоторые из действующих в повести лиц безвременно и трагически расстались с жизнью, унося в душе своей верность партии и Родине. Большинству возвращено их честное, жестоко поруганное имя, и они сейчас с нами, они трудятся на благо коммунизма. Встретятся в повести и те, о ком не мог я сказать доброго слова. Пусть они предстанут перед судом собственной совести.

Главное же, к чему я стремился, — показать, что истинные коммунисты, какие бы страшные испытания ни обрушивались на них, всегда оставались коммунистами.

До последнего своего часа мы будем хранить в сердцах глубокую благодарность и любовь к партии Ленина, к ее Центральному Комитету, к Никите Сергеевичу Хрущеву за восстановленную ленинскую правду.

Я не мог не написать этой повести. Ее продиктовала сама жизнь.

НА ПЕРЕСЫЛКЕ

Вот и сибирские морозы! Под сорок завернуло... Зима нынче обманула все календари и заявила в Тайшет очень рано, по собственному желанию. Бог с ней, с зимой. Сюда ей и дорога. А вот почему здесь я?..

Утром опять носили и складывали в штабеля доски — тяжелые, заснеженные, словно поросшие серебристым мохом. С непривычки, да еще после года тюрьмы, ныли руки и плечи, появлялась дрожь в ногах. Все время надо было двигаться. Остановишься — ругань, угрозы. Мы в одном из строгорезимных лагерей, созданных в 1949 году. Восточная Сибирь, морозная иркутская земля... На мне пальто с ватной подкладкой и круглая котиковая шапочка. Я чувствовал себя почти раздетым. Види выдавшие лагерники убеждали, что на пересылке — благодать, кантовка. А пошлют на лесоповал, так узнаешь, почему кусок арестантского хлебушка.

Над горизонтом висел багровый, в морозном тумане, шар солнца. Воздух синезиый. Из труб торчали длинные столбы

белого дыма. Снег так хрустел, будто ногами давили стекло.

Внушаю себе: «Не поддавайся отчаянию. Ты попал в неведомый край, на дно пропасти, где холодная тьма, где вокруг тебя не люди, а лишь очертания фигур. Те, кому ты здесь подвластен, не слышат ни твоего голоса, ни ударов твоего сердца. Они считают себя сильными, но пугаются каждого твоего шага. Тут всюду высматривает тебя смерть. Не позволяй себя убивать. Защищайся!»

...Время от времени водили греться в барак. Там нас собиралась добрая сотня мужиков. Духота, затхлость. Пять вагонок заняли больные, инвалиды. Остальные — на полу.

Принесли кадушку с кипятком. Конечно, без заварки. Вспомнился крепкий чай с лимоном... Ну, и этот хорош!.. Жестяная кружка накалилась, но пальцы заковчели, не чувствовали. «Чаевничали» в синем махорочном дыму минут десять. И снова — доски...

Подошел низкорослый рябой надзиратель, по прозвищу Крючок, в дубленом

полушубке, добротных валенках, и все равно — съежился от холода. Поманил пальцем в сторону. Спросил вполголоса: — Правда, писатель? — Взглянул недоверчиво. — На полную катушку определился?

— Нет. Десять лет.

Крючок не то искренне, не то с издевкой бросил:

— Счастливчик... — Затем — тоном допроса: — Трибуналом судили?

— Нет.

— Наклепал на себя?

— Нет.

— На нет суда нет, есть особое совещание, — равнодушно заметил Крючок. Помолчал. — Пальтишко-то жидкое... Давно взяли?

— Первого ноября сорок девятого.

— Зеленый...

— Сегодня ровно год.

— Вон что! С днем рождения, выходит?.. — И громко: — Таскай, таскай, батя. В лагере вкалывать надо. Рассказики потом писать будешь.

Отошел, похлопывая меховыми рукавицами.

Я продолжал носить доски. Они становились тяжелей и тяжелей. Порвалась перчатка, вылезли два пальца. Мороз сразу их — клещами. Я сжал пальцы в кулак, натянул перчатку. Крючок заметил. Подскочил. Велел мне и моему напарнику бросить доску. И, ровно мы в чем-то провинились, заорал:

— А ну — за мной! Интелегэнция...

Все, и мы тоже, решили: карцер. А он привел нас на кухню. Пар. Сырость. Дразнящий запах жарящегося лука: для начальства готовят... У плиты — повар. Одет по всем правилам: грязно-белый колпак, такая же куртка и тряпка за поясом. В котле черпаком мешает. Крючок первым делом к нему:

— Понимаешь, выпимши был... Кисет, хрен его знает, куда задевал! Дай-ка займы, без отдачи, пачку махры, а?

Повар привык, что надзиратели обжимают. Повесил черпак у плиты, скрылся в кладовку. Вернулся.

— Кури, начальникек...

Крючок засунул пачку поглубже в карман ватных штанов. Взглянул на кучу картошки в углу. Мерзлая. Сморгнулся. Повернулся к нам:

— Чтоб всю как есть почистили. Проверю. А то выгоню за зону, на общие... Папочку с мамочкой припомните...

И — повару:

— Потом накормишь их от пуза.

Мне показалось, что, уходя, он улыбнулся. Я подумал: «Один из тех, кто обречен быть человеком-псом... Но и злые псы вяляют хвостами...»

Напарник мой — удивительно неразговорчивый. За четыре дня, что мы на пересылке, только и удалось вытянуть из него, что он инженер-строитель, коренной пермяк, осудили его за преклонение перед иностранной техникой, сидел три года

в итээле,¹ а теперь вот попал в Озерлаг, куда снают пятьдесят восьмую... На нем бушлат и ушанка первого срока. Близорукый. Очки с толстыми стеклами. В бараке мы сидим и спим рядом, на полу. Он непрерывно дымит самосадом, даже ночью.

Ели сладковатую розовую картошку. Он, опустошив целую миску, сказал повару: «Спасибо», а мне: «Какая гадость!» И больше весь остаток дня и вечер — ни звука.

Тяжело ему молчать? Или, может, так легче? Или молчать — лучшее для того, кто сам себе не доверяет? Мне же хочется кричать, чтобы всё и всё услышали... Как мы измолчались! Неужели никто и никогда ничего не узнает?

Моя записная книжка — в голове. Но четко помнится все, что было в далекие-далекие времена. А то, что произошло месяц, год назад, удивительно быстро стирается. Ускользает из памяти одна дорогая мне строка. Надо восстановить ее... Впечатать в мозг навсегда.

Это было первого ноября 1949 года. Я после ареста — в боксе. Жду отвода в камеру. Входит лейтенант, дает на подпись протокол обыска. Ничего не взято. Только фотографии... Я вспоминаю: на столе была фотокарточка — Ленин в очках, в полупальто и кепке сидит в шезлонге, читает рукопись. Эту карточку со своей надписью подарила мне в сороковом году Лидия Александровна Фотиева, секретарь Владимира Ильича... Тревожно спрашиваю у лейтенанта: «А карточка Ленина?..» Он веско отвечает: «Таких фото мы не забираем». Я говорю: «Спасибо. Значит.. Ленин дома!» Лицо у лейтенанта дергается, он берет подписанный протокол и высказывает вон из моей клетушки...

...Перед самым отбоем привели в барак немца. Тощий, седой, с профессорской осанкой и тонкими чертами лица. Он назвался: «Главный хирург Берлина. — И почему-то добавил: — Хиромант». Расстелил на полу меховую шубу, лег, вытянулся и мгновенно уснул.

ВЕЧЕРОМ, ПОД ПРАЗДНИК

Мы до сих пор на пересылке. Мороз уменьшился. После обеда крупными хлопьями шел снег. Залепил окна в бараке. Стекла — в снежных искрах.

У дверей тамбура расположился немец-хиромант. К нему протянулся десяток ладоней. Немец предрекал всем скорую свободу и длительную жизнь. Гонорар брал только сахаром.

Ко мне подсел Митя — студент Московского горного института. Круглолицый, с добрыми детскими глазами. Родом из Кантемировки, Воронежской области. Комсомол послал его учиться. Провожали всем колхозом. Гордились своим Митькой. Был он на первом курсе. От счастья голова

¹ ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь облегченного режима.

кружилась. В лагерь, говорит, попал по дурости. Зашел как-то в булочную, купил сайку. Тепдая, пышная. Тут же разломил ее пополам, а внутри — окурочек. Расшумелся: «Это вы такой хлеб продаете в столице? За людей нас не считаете!» Потребовал жалобную книгу... Прошла неделя. На октябрьском вечере в институте танцевал с любимой девушкой. Не дали до-танцевать. Увезли. Получил десять лет за антисоветскую агитацию в булочной.

Подсел он с листком бумаги, сказал:

— Стихи сочинил... Можно, прочту?

Читал он тихо, волнуясь, кусал губы. Читал о девушке-студентке, которую так ни разу и не поцеловал... О метро, в котором не успел наездиться... О двух билетах на «Ивана Сусанина», которые отобрали при обыске... Прочитал и спросил:

— Коряво?

Стихи были наивные, ученические.

— Превосходно! — сказал я. — Пиши.

Он обрадовался.

— А позволят?..

— Если и не позволят — пиши!

— Спасибо.

Инженер слушал нас, сдавливал пятерней щеки, качался, как от зубной боли, и вдруг заговорил. Слова у него вырывались изнутри — залежавшиеся, сдавленные:

— При жизни... я очень любил... свою семью... Перед самым этапом... сюда... письмо получил... Дочка. Девять лет... Люся... Нет, десять... Да, уже десять... Пишет: «Папуля, ты... в плену у немцев или... у наших?..»

Он неестественно рассмеялся. Закашлялся. Кашлял долго, натужно. Сорвал очки. Прокопченными самосадам пальцами протирал стекла.

— Не смогу ей ответить... скоро. — Он надел очки, привалился спиной к стене. — Там... в итээл мы писали, часто... Здесь — нам могут... каждый день. А мы... два! — Он показал два пальца. — Два письма в год... Мы — «особые»...

Инженер глубоко вздохнул. Устал от такого обилия слов. Свернул. Закурил. Желтый свет лампочки падал на его застывшее лицо, резко выделяя подбородок.

Послышались заунывные удары молотком о рельс. Отбой. Вошел широкоплечий старшина. Вместе с ним ворвался в барак ледяной ветер. Старшина вызвал семерых и увел.

— В БУР,¹ — пояснил инженер. — Под праздник изолируют террористов... Меня тоже... убеждали... хотел, мол, убить Сталина... Не убедили.

За дверями — стук железа. На ночь — под замок.

Мостимся на полу. Гушим свет. Я впился глазами в темноту. После одиннадцати месяцев тюрьмы, где в камере и ночью электричество, темнота сейчас — отдых.

Чей-то всполошенный голос:

— Братцы! Завтра же тридцать третья годовщина! Октябрьский праздник!..

В ответ — тишина. Кто-то продолжи-

тельно вздохнул. И опять — тишина. У каждого свои мысли.

Вспомнилось и мне... Год назад я был в подследственной тюрьме за толстой железной дверью. Ключ в ней поворачивался с ужасающим скрежетом. От этого звука лихорадило... Над окном — деревянный щит — козырек. Виднелась лишь узкая полоска неба. И внезапно в этой полоске утром шестого ноября — красный флаг! Красный флаг на крыше МГБ... Весь тот день камера молчала. Тридцать два оневших человека!

Мои мысли перекинулись в комнату Веры. Сейчас в Москве часа четыре. Скоро — торжественное заседание в Большом театре. Вера будет сидеть у репродуктора, слушать доклад, а думать обо мне: куда увезли, жив ли?.. А что вообще происходит на земле? Целый год — ни газет, ни радио. Только слухи и слухи: война в Корее... договор о дружбе с Китаем... в Москве, на Ленинских горах, строят небоскреб для МГУ... Ничего не знать — самая страшная кара! А что если меня завтра, на праздник, вдруг освободят, совсем освободят? Вот именно — «вдруг»... Впрочем, за два месяца после приговора много воды утекло... Прокурор уже разобрался в моем деле — следствие велось преступно. Протест, вызов в Москву самолетом, переследствие... Все ясно! И я на свободе!.. Что же, вполне реально.

Инженер лежал на спине, курил. Я тихо спросил:

— Вызывают отсюда на переследствие?

Он не сразу ответил. В темноте разгорелся огонек его сигарки. Потом — глухо:

— Случается... Вызовут и срок прибавят.

На дверях упал со звоном засов. Дневальный тревожно крикнул, как кричат, вдруг увидев пламя пожара:

— Шмо-он!

Заворочались, закрипели, заругались на вагонках. Инженер вскочил. Он знает, что это такое.

— Обязательно под праздник! Сволочи...

Зажегся свет. На пороге — четыре полушубка с погонями.

— Встать... мать вашу!.. Развязать сидоры!

Группами загоняли в угол. Кто успел натянуть брюки, а кто и в подштаниках. Выворачивали мешки. Раскидывали белье, сухари, кусочки сахара, карточки родных. Высыпали табак из кисетов, спички из коробков. Крутили палкой в параше. Трясли пальто, бушлаты, одеяла. Шарили на вагонках и под вагонками. Оттаявшими валенками ступали на вещи. И все — молча. Даже с удовольствием... Моим мешком завладел Крючок. Запустил в него лапищу, покосился на меня и ногой оттолкнул мешок. Стал ворошить вещи инженера.

Ничего запрещенного полушубки не обнаружили. Только у Мити отобрали стихи. Вывалились за дверь. Зачем им стихи?..

Барак стал похож на барахолку. Мы

¹ БУР — барак усиленного режима.

медленно, больше часа, собирали вещи. Собрали. Уселись. Молчим... Суетился лишь один лысый морщинистый дед. Растерянный, подошел он ко мне.

— Ты чего, дедушка?

— Куда-й-то кисет мой зашмонали!

— Откуда сам-то?

— Из-под Москвы...

— Землячок...

— Очень даже хорошо... С красными цветочками... темненький... Нешто скосили?

— Срок большой?

— Да хватит... За советскую власть страдаю.

— Как так?

— О-хо-хо... Курить есть?

Инженер высыпал деду на жесткую сухую ладонь щепотку табака, дал бумажку — узкую газетную полоску. Дед присел на корточках, как, бывало, у себя в деревне, на завалинке, скрутил папироску и заговорил — недоуменный, беспокойный:

— Как оно приключилось — ума не приложу!.. Возвратился я в первомайский праздник от родной сестры. Сам понимаешь, выпивши. Глажу, а на сельском Совете заместо красного знамени тряпка мотается. Ни цвету, ни виду — линючка!.. Ах, думаю, сукины вы дети! Чего ж это такое делается? Советскую власть унижаете!.. Я мигом на крылечко, на баясину и — сорвал ее, тряпку-то, значит... Ну скажи, товарищ, по-правильному я сделал или нет? Знамя-то — оно такое должно быть, чтоб под ним помереть не страшно было! Не линючка же, товарищ, а?.. Не линючка?.. А мне — десять годов!

Он поднялся трудно, вздохнул:

— Разный оборот в жизни приключается... А тюрьма, что могила: в ней каждому место отыщется... — Дед вздернул плечами. — Но помирать задаром я не согласный! Я товарищу Сталину все чисто опишу. Он разберется — кто правый, а кто виноватый... А покуда что, хоть и старый, а в лагерные работы вполне год! По плотницкому делу план смогу давать...

Он отошел на середину барака, влез на расшатанную табуретку и обратился ко всем, как с трибуны:

— Товарищи зеки! Прошу, значит, у кого кисет мой обнаружится... с красными цветочками... беспрерывно прошу возвратить... Память от старухи.

В бараке поднялся шум. Никто старика не слушал. Он безнадежно махнул рукой, слез с табуретки и стал карабкаться на вагонку.

Постепенно все улеглись. Потушили свет. Поохали, притихли, захрапели. Инженер ворочался, кашлял, курил. Потом встал, подошел к окну. В окно со двора одиноко глядела электрическая лампочка. От нее на заснеженном стекле загорались радужные искры.

Еще сильнее залегала тоска на сердце.

Уснул я в конце ночи. Приснился мне лысый дед: залез он на крышу МГБ и снял красный флаг...

Эти два дня и у нас был праздник. На работы не выгоняли. Кормили сытней. В утренней баланде плавали кусочки солонины. За обедом дали по пирожку с картофелем, прибавили льняного масла в «шрапнель».¹

Инженер вчера подарил лысому деду кожаный кисет. Дед даже целоваться пошел... Утром я и Митя дежурили по бараку: вынесли Пашу на длинных гнувшихся палках, полили кипятком пол и драили швабрами.

В полдень явился нарядчик. Сказал, что послезавтра специалистов отправят на производства, а всех прочих — работягами на лесоповал, чтоб на морозе закалялись. Сел за стол переписывать профессии. Его окружили. Гвалт стоял невообразимый. Каждый цену себе набивал. Первым записался на плотничьи работы лысый дед...

Нарядчик — парень лет двадцати пяти. В лагере — семь лет. Обжился. Он из тех, о которых не думаешь ничего дурного, пока не увидишь. В мягких низких валенках, в москвичке с меховым воротником, в белой заячьей шапке с длинными, ниже плеч, ушами, он выглядел штатским. Курил папиросы. Говорить спокойно разучился, кричал, обрывал на полуслове. Смотрел на зевов свысока, будто здесь он один невиновный, а все прочие — «фашисты»,² справедливо разоблаченные. Записи делал карандашом на тонкой дощечке, которую носил под мышкой.

Инженер посоветовал мне записаться руководителем художественной самодеятельности.

— А разве такие нужны? — удивился я.

— Нужны. Скажите, что артист, режиссер. Пошлют на авторемонтный завод, там сформирована культбригада из заключенных. Поедем тогда вместе, у меня наряд туда, чежи строить... Между прочим, на авторемонтном заводе увидите Лидию Русланову. Как-то раз лагерное начальство, рассказывают, решило устроить для себя концерт Руслановой — ведь известная артистка. Открылся занавес. Она вышла, стала у рампы и молчит. Голос из первого ряда: «Почему не поете, Русланова?» Она говорит: «Не вижу здесь моих товарищей по несчастью. Пока не приведете в клуб заключенных, петь не буду...»

Инженер нервно чиркнул спичкой, закурил, несколько раз затянулся дымом.

— Зашушукались: как быть? В БУР ее — концерт сорвется. Дали команду привести работяг. А работяги уже спать полегли. Их чуть не за ноги с вагонок постаскивали и человек сто усадили в последние ряды. И Русланова запела. Ах, как она пела, говорят, в тот вечер! На-

¹ «Шрапнель» — ячменная каша.

² «Фашисты» — так уголовники называли обвиненных по политическим делам.

чалству не дозволено аплодировать артистам-зекам, а тут такое поднялось — и офицеры, и надзиратели (о работагах говорить не приходится) так хлопали, говорят, что еле отпустили ее... Со сцены, конечно, не из лагеря. Вот... Понятно? — Инженер улыбнулся, показав остатки черных зубов. — Идите. Записывайтесь!

Я протолкался к столу нарядчика. Он выслушал, поглядел на мою круглую котиковую шапочку, словно приценивался к ней, побарабанил костлявыми пальцами по столу и сказал:

— Кантоваться хочешь, батя? Поедешь лес пилить. Точка. Артистов у нас и без тебя хватает...

Вернулся я на место с ощущением, что мне плюнули в лицо. Решил никуда не устраиваться. Поеду на лесоповал, как и встает.

Инженер вспылил:

— Энтузиазм будущего покойника! Да вы там, друг любезный, в два счета загнетесь. А вам — жить да жить! Вы чего сюда пожаловали? Искупать вину? Тогда проситесь на каменные карьеры... На кой черт вы целый год сопротивлялись на следствии? Подписали бы всю ахинею и — на погост! По крайней мере, не тащились бы в Сибирь этапом, не черпали бы ковшом всех страданий... Ан нет! Не сдались...

Он подвинулся ко мне, заговорил придушенным шепотом:

— Так храните же и здесь дух сопротивления... если верите. Я, например, верю. Здесь тоже борьба. Да, скрытая, страшная, но борьба! Не думайте, что в лагере сидят только жертвы беззакония. Есть среди нас и настоящие мерзавцы. Лютые наши враги. Узнают, что вы коммунист, — оглядываются...

Помолчав, инженер спросил как бы между прочим:

— В шахматы играете? Очень хорошо! Тогда вам известно: иной раз кажется — мат неизбежен, но... напряжение мысли, расчет, ход конем, или рокировка, или пешку в ферзи и — жизнь выиграна!.. Вы, разумеется, понимаете аллегории?

Нарядчик переписал всех «спецов». Прошелся по бараку. Оглядел еще раз всех и каждого, крикнул:

— Доходяги и все иные фитили утром — в санчасть!

И скрылся за дверью.

Инженер спросил — есть ли у меня что-либо подходящее: аппендицит, грыжа или язва. Когда узнал, что есть грыжа, взял с меня слово, что я пойду к врачу.

— Обязательно надо вырезать. У нас на лагпункте от ущемления двое в ящик сыграли, — сказал он. — Кстати, в больнице интересных людей можно встретить...

Шумно распахнулись двери. На пороге выросла фигура человека в москвичке, меховой шапке и черных бурках. Смуглое лицо, острые скулы. Руки — в боковых карманах. Один глаз прикрыт, над другим — бровь вздернулась. Вид начальствен-

ный. Выкрикнул мою фамилию. У меня сердце замерло. Выкрикнул еще раз, настойчивее:

— На вахту! С вещами!

Я схватил мешок, начал почему-то запихивать в него свою шапочку. «Я чувствовал!.. Я ждал этого!» Где инженер? Где Митя? Надо проститься... А инженер уже завязывает мой сидор, пожимает плечами, ничего не понимая. Митя стоит тут же, глаза растерянные, что-то говорит, я не слышу. А голос в дверях подгоняет: — Живей, живей! В барахле запутался? Загребая мешок.

— Прощайте, товарищи!

Бросился к дверям. И вдруг услышал:

— Ат-ставить!

Человек в бурках рассмеялся.

— Разыграл вас...

Я уронил мешок. Отшатнулся от этого человека, как от призрака. А он виновато объясняет:

— Малюкаев я... Врач из Сталинграда... Узнал, что вы на пересылке... Смотрел ваши пьесы и фельетоны ваши читал... Человек вы, помню, веселый, вот я и... Здравствуйте! — протянул он руку.

В бараке — смех. Сквозь гул смеха слышу гневный голос инженера: «Жестокый вы человек!..» А я от волнения ничего не могу сказать. Опустился на мешок. Малюкаев подхватил меня под локоть, поднял.

— Виноват... Ради бога, простите!.. Пошли к нам, в соседний барак. Угощу крепким чаем, домашним!

Чай был густой, ароматный, сладкий. Но кружка дрожала в руке...

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

Как только занялся серый зимний день, я приволокся в санчасть.

Вошел в ярко освещенный домик. На стене — зеркало! Я даже вздрогнул... Впервые со дня ареста вижу себя в зеркале... Впавшие глаза, обвисшие щеки, один нос торчит. Щетина отросла. Две недели не брили...

Из передней — дверь к врачу. Белые стены, белые табуреты, белый топчан, белый шкаф... Все белое, слепящее. Почувствовал себя чужим, случайно забредшим сюда. Над столом склонилась женщина в погоне капитана медицинской службы. Лицо молодое. Меня предупредили, что капитан Козлова строга, непреклонна.

— Да? — спросила она, не поднимая головы.

Объяснил, в чем дело. Нельзя ли сделать мне бандаж?

Она удивленно взглянула:

— Что сделать?

— Бандаж... Пожалуйста, товарищ Козлова!

Она — резко:

— Я вам не товарищ!.. И не Козлова.

— Простите... гражданин врач.

— Бандаж захотел! Может, думаете, у

нас есть и мастерская модных мужских шляп?

Она встала, накинула белый халат, уложила меня на топчан, осмотрела.

— Зачем привезли к нам свою грыжу?

— Вы спросите, зачем меня сюда привезли...

— Все вы тут «невиновные!» — оборвала она. — Поедете в центральную больницу. Там оперируют не хуже, чем в Москве. Оттуда — на лесоповал... Фамилия? Имя, отчество? Год рождения? Статья? Срок? Конец срока?. Можете идти!

В дверях я встретился с нарядчиком.

— В больницу-гробницу захотел, артист?.. Ехай, ехай... Там профессор сидит, шикарно трупы режет!

Он захохотал и шмыгнул в санчасть.

Целый день с пересылки отправляли этапы — на лесоповал, на лесоповал, на лесоповал... Только семеро попали на кирпичный завод. Эти уезжали обрадованные: на производство, под крышу, а не в лес, на мороз.

В нашем бараке толстый парень-молдаванин, страдающий, по его уверению, слоновой болезнью, вчера записался в повара. А сегодня, узнав, что его занарядили в лес, устроил мастырку. Лежал на вагонке с опухшей сине-фиолетовой ногой и выл от боли. Когда надзиратель вел его в карцер, парень кричал на всю зону: «Мамочка! Спаси меня, мамочка!..»

Митя уехал валить лес. На прощанье прочитал мне наизусть свой фельетон в стихах «Х. В.» — о случае на следствии.

А случай был такой. Следователь показал ему папку с делом. На обложке стояли буквы «Х. В.» — «Хранить вечно». Спросил, знает ли он смысл этих букв. Митя простодушно ответил: «Знаю. Христос воскрес». Следователь рассмеялся: «Хана тебе — вот что, а не Христос воскрес!» Митя улыбнулся и спокойно сказал: «Так тут же на „Х. Т.“, а „Х. В.“». Стало быть, хана не мне, а хана вам!» Следователь взбесился и загал Митю на два дня в карцер, ни есть, ни пить, ни спать не давал. Фельетон кончался строками: «Я не думаю, что стану я пророком, но сказал, однако же, с намеком!»

Моего соседа-пермяка оформили на завод. Мы ходили взад и вперед по короткой протоптанной дорожке неподалеку от вахты. Мороз сдал, но дул ветер. По небу низко и быстро плыли серые мрачные тучи. Мы подняли воротники, спрятали руки в рукава (осточертело держать сцепленные пальцы за спиной!) и впервые беседовали без свидетелей.

— Года два пришлось мне быть на стройке, под Пермью, — рассказывал инженер. — Временами так увлекался работой, что забывал, где я... Однажды до того забылся, что написал статью в областную газету «Звезда». На участке у нас было много безобразий и с транспортом, и с материалами. Я попросил вольнонаемного опустить корреспонденцию в почтовый ящик. В редакции, конечно, и подумывать не могли, что это зек прислал статью.

Взяли и напечатали! Я, как увидел, испугался: заголовок, подзаголовок и крупно — фамилия... Вызвал меня начальник лагпункта. Раскричался: «С каких пор в лагере зеккеры объявились?.. Через кого ты, мерзавец, послал статью?! Говори!.. Через кого мину под меня заложил?!..» — «Ну, — подумал я, — теперь сгноит в карцере...» Я отказался, конечно, назвать фамилию доброго почтальона. Начальник пошумел, пошумел и отпустил меня. Вскорости гонорар пришел. Ясное дело, не выдали. Да шут с ним, с гонораром! Важно, что после статьи все было устранено... Мне записали нарушение лагерного режима. Должно быть, и редактору за ошибку хвост накрутили... А как я мог иначе? Ведь я — коммунист!

К инженеру подбежал нарядчик:

— На вахту! Конвой пришел!

Прощаясь, инженер обнял меня:

— Ну, желаю... Но что бы с вами ни случилось — головы не опускайте!

В дверях вахты он обернулся, помаhal мне рукой.

* * *

К вечеру собрали этап в больницу, человек шестнадцать. Одни ехали за жизнью, другие — за смертью. Оказался среди нас и Малюкаев. Он всех подбадривал, сулил каждому отдельную койку, даже серый хлеб и даже молоко. Говорил, что повезут нас в санитарном вагоне, а лечиться мы будем у бывших кремлевских врачей.

Молчаливо-встревоженные, столпились мы у вахты. Один Малюкаев егозил. Подошел старший лейтенант. В руках — наши лагерные паспорта-формуляры. Опять: «Имя, отчество? Год рождения? Статья? Срок? Конец срока?»

Пока нас перекаливали, приполз слух: кто-то не сдюжил, удавился в уборной. Кто он — так и не узнали. Раскрылись ворота.

— Разговорчики! — крикнул офицер. — Предупреждаю: выход из рядов считается побегом. Оружие будет применено без предупреждения. Всем понятно? Шаг вперед!

Пошли, потащились в неизвестное.

Санитарный вагон оказался стойлом на колесах для перевозки скота. Загнали в два узких отсека, за решетку. Заперли. Ни сесть, ни повернуться. А посреди вагона — просторно. Тлеет огонек в железной печурке. На фанерном ящичке фонарь «летучая мышь» отбрасывал белесые полосы света. Вокруг ящичка сидели три конвоира-автоматчика. Рылись в документах, выкрикивали без надобности наши фамилии, нарочно коверкали их, издевательски посмеивались. Мы не обращали внимания... Скорее бы лечь на койку!..

Поезд шел медленно, надрывно гудел паровоз. Разгулялась метель. Дуло в щели. Мы жались друг к другу, переминаясь с ноги на ногу. Малюкаев принялся рассказывать анекдоты. Старший конвоир услышал, шагнул к решетке:

— Тихо-о! Прекратить похабщину, мать вашу...

Мы дружно, громко расхохотались. Смех людей за решеткой, неожиданный, как смех покойников, напугал конвоира. Что-то бурча, он попятился назад.

Наконец поезд дернулся, остановился. — Приехали! — объявил старший.

Загremели замки на отсеках.

— Выходи по одному!

Первыми у выхода из вагона оказались я и человек с забинтованной головой. Два солдата, матерясь, с трудом откатили примерзшую вагонную дверь. В лицо ударил сухой морозный снег. Метель. Внизу, вверху, по сторонам — тьма. На какое-то мгновение вспыхнули сбоку паровозные искры и погасли.

— А лестничка где? — спросил я.

— Вот тебе лестничка!

Сильный удар в спину, и я полетел вниз. Упал, зарылся в сугроб. Спину придавил мешок. Снег забился под пальто, в рукава, за шею. Представилось, что лежу один среди огромной белой пустыни. Бесполезно кричать, звать на помощь. Застучали колеса уходящего поезда. Мелькнула мысль: «Сейчас застрелят!» Я вскочил. Лай собак, крики конвоиров, забывание метели, гудки паровоза — все слилось в единый устрашающий вопль.

Рядом в сугробе кто-то стонал: «Ох, сердце, сердце...» Совсем близко раздалась команда: «Поднима-ай-сь!» Человек в сугробе не пошевелился. Я помог ему встать на ноги. Снег залепил больному лицу, повязка слезла с головы, одним концом повисла на плече... Тот же голос: «Всех парашютистов подобрали?» Значит, таким манером выгрузили и остальных... А где перчатка?.. Неужели я потерял перчатку?!

Передо мной из метельной мглы вырос полушубок с овчаркой на поводке.

— Чего кружишься?

— Перчатку потерял...

— Ай-яй-яй, замерз, бедняга... Вот посажу тебя сейчас голой задницей на снег, сразу согреешься! — Собака гавкнула, заскулила. — Разберись по пяты!..

Ко мне пристроился Малюкаев.

— Начальники! — озорно крикнул он. — А может, лыжи у вас найдутся?

— Получай лыжу!

Конвоир толкнул доктора прикладом. Малюкаев шатнулся, промолчал. Только ярость блеснула в его глазах.

Свистела, злилась метель. Протяжно лаяли собаки. Донеслось знакомое: «...будет применено без предупреждения...» Я тяжело вздохнул, и почудилось мне, что вздохнула и вся белая, завихренная пустыня.

Двинулись. Проваливались, падали в сугробы, снова вставали и снова — в сугробы. Меня не покидала мысль: «Перчатки нет... Нет перчатки...» Поискал в карманах — нет, потерял, разиня!.. Взвились ракеты — одна, другая, третья. Их свет вырвал из гудящей тьмы шестнадцать согнутых спин. Конвой проверял —

все ли в строю? Ракеты несколько секунд погорели над нами и угасли. Снова, как на экране, затемнение...

Выбрались на шоссе. Сзади и по бокам, точно удары плетью, крики: «Подтянись! Подтянись!»

Пошли на мутный свет фонаря. Вот и ворота вахты. Остановились. Собаки замолкли, полегли, устали...

На крыльцо вахты поднялся офицер. С вышки протянулся многометровый, ослепительно белый меч прожектора, прорезал метельную пыль, скользнул по нашим рядам и уткнулся в домик вахты, в лицо офицера. Он сдвинул ушанку на глаза. Ветер вырывал из его рук формуляры, порошил их снегом. Начался нудный, лающий опрос. Под шапкой офицера выделялись большие черные усы. Я смотрел на него и видел только усы, одни усы... В моем воображении вдруг нарисовалось совсем иное лицо. В уши лезли совсем иные слова и перемешивались с теми, которые выкрикивал офицер. Совсем иные: «...Товарищи... братья и сестры... к вам обращаюсь я, друзья мои... Статья? Срок? Конец срока?..»

Меня лихорадило. Ёле ответил на вопросы офицера. Не понимал, куда нас вели. В глазах — белый хаос метели и черные усы... Пришел в себя только на скамейке в бане, когда кто-то плеснул в меня горячей водой из шайки.

Вымылись. Сдали свои вещи каптеру — коренастому медлительному равнодушному человеку, бывшему московскому адвокату Резникову. Он милостиво отдал, кто попросил, домашние тапочки, остальное унес. Голыми выстроились у дверей приемной комнаты, неуклюже топтались, ежились. Было холодно, у всех изо рта шел пар. Малюкаев приплясывал.

— Ну как, призывники? — допытывался он. — Вот вам и больница... Чего молчите? От радости в зобу дыханье сперло?

Подошел мой черед. Я стоял перед столиком, покрытым простыней. За ним сидели в белых халатах женщина (у нее мальчишески задорное лицо, вздернутый носик, на голове теплый вязаный платок, из-под халата виднелась шинель) и два пожилых врача-зека. Все трое принялись разглядывать меня. Женщина спросила:

— Давно у вас грыжа?

— С рождения.

— Приберегли для нас?

— Судьба...

— Незавидная у вас судьба.

— Согласен.

— Будем оперировать?

— Согласен.

Она помолчала, заглянула в мой формуляр.

— Драматург?.. Не те пьесы, наверно, сочиняли?

— Между прочим, меня обвиняли и в том, что я инсценировал роман «Анна Каренина» в целях пропаганды помещичье-дворянского быта.

Врачи-зеки улыбнулись. Она встала,

подшла ко мне, приставила стетоскоп к груди и чуть слышно сказала:

— Сказки рассказываете... Дышите нормально.

Выслушала легкие, сердце и обернулась к врачам:

— В чистую хирургию!

В предбаннике я надел застиранное лагерное белье, сунул босые ноги в продырявленные валенки. Старший санитар Славка (он из Западной Украины, высокий, один глаз сильно косит) протянул больничный халат:

— Пошли.

— Вот так и пошли? Там же метель, мороз!

— Да тут метров пятьдесят.

— Ничего себе. Верная простуда.

Подошел надзиратель. Глаза колючие, со смешинками.

— Права качаешь, фашист?.. А ну — момент за санитаром!

Я решительно отказался идти в корпус раздетым. Сел на скамью. Надзиратель побагровел.

— Ишь ты какой! Сейчас вот докладу капитанше Перепелкиной. Мы тебе жизни дадим...

Он ушел. Минут через пять вернулся с тулопом на руке. Швырнул его на скамью:

— На! Барин московский...

* * *

В седьмом корпусе чистой хирургии меня принял дежурный фельдшер Миша — красивый плотный парень. Повел в четвертую палату для вновь поступающих. Коридор сверкал: надраенный швабрами пол, марлевые занавески на окнах, комнатные цветы в горшках на деревянных подставках. Неужели сейчас я лягу? Какое счастье! Оказывается, и здесь может быть свое маленькое счастье...

Я переступил порог палаты и остолбенел. На двух низких вдоль стен нарах лежали впригирку человек сорок. Все — на одном и том же боку. А воздух!.. Вернее, никакого воздуха... Миша предложил мне протиснуться между двумя спящими и подал громоподобную команду:

— Па-а-вернись!

Все одновременно, как заведенные куклы, перевернулись на другой бок, с оханьем, кашлем, и продолжили спать.

Вот тебе и отдельная койка! Какой же, однако, злой шутник этот доктор Малюкаев...

Миша спросил у меня:

— Вы москвич? Писатель? Очень приятно... У нас много москвичей. В корпусе у доктора Кагаловского — доктор тоже ваш, из Кремлевки — лежит председатель Московского горсуда, профессор кафедры гражданского права МГУ Вольфсон... Час назад прибежал ко мне генерал Войцеховский, само собой, бывший генерал. Знаете, конечно? Да известный колчаковец!.. Тухачевский дрался против него в гражданскую... Теперь его превосходительство дневальным у Кагаловского... Так вот, при-

бежал он за шприцем и говорит: «Вольфсон безнадежен...» Жаль! Гибнет крупный ученый...! Задохнуться здесь можно! Пошли в коридор!

В коридоре Миша продолжал информировать меня:

— На грассу и вашу писательскую братию завезли: два ленинградца — Четвериков и Дмитриевский... Теперь еще и вы... Вот и литкружок... — Он грустно улыбнулся. — Ступайте, ложитесь. Устали, наверно, с дороги-то?.. А мне пора одной тут подлюке укол сделать — власовец. Вот не подышают же такие!..

Миша взбудоражил меня и ушел. Я вернулся в палату, прислонился спиной к горячей печке и простоял так до утра.

Утром многих вновь поступивших больных одели в бушлаты, валенки и угнали в морозную тайгу на заготовку дров.

Я лег на освободившееся место и не то чтобы уснул, а просто замер, провалился, но на сей раз уже не в сугроб, а в такое желанное, скованное всего меня забыть...

В БОЛЬНИЦЕ

На третий день меня положили в пятую предоперационную палату и, действительно, на отдельную койку, деревянную. Она была длинная, узкая. Подушка набита опилками, а матрас — крупной стружкой. Наволочка и простыня — сероватые, одеяло — темное, грубошерстное. После тюрьмы, барачного пола и голых нар такое ложе выглядело просто комфортабельным. Рядом с койкой стояла деревянная тумбочка на двоих и на ней — две эмалированные кружки. Над окном была повешена тюлевая занавеска.

В палате кроме меня были еще четверо. На койке у окна лежал власовец, которому Миша, в первую мою ночь в седьмом корпусе, чертыхаясь, делал уколы, — грузный малый, со шрамом на щеке, с глазами, все время что-то высматривавшими. Рядом с власовцем — маленький хромоногий китаец Ваня. Он заверял всех, что никогда в жизни больше не будет шпионить, ругал Чан Кай-ши: «Свуолочь!» — и старательно, под руководством фельдшера Миши, изучал по учебнику русскую грамматику. Напротив мучился от разьедавшего желудок рака украинец Ткаченко, с черным лицом и густыми лохматыми бровями. Он ничего не говорил, только стонал. Был в палате еще и москвич Сева Топилин — пианист. Топилина не посылали на общие работы, берегли его пальцы. Он хорошо справлялся с обязанностями лагерного фельдшера.

Оперировать меня обещал Николай Дмитриевич Флоринский — старший хирург. Сухопарый, в очках, всегда подтянутый, он день и ночь не покидал корпуса, здесь же обедал, здесь же и спал. В ординаторской лежали на шкафу скатанные в трубочку чертежи, над которыми он просиживал иной раз до подъяема, если не предвиделись утренние операции.

Как-то Флоринский зашел в палату и стал делиться со мною наболевшим. Рассказал, что приходится делать сложные операции. Больные обычно — отоцавшие, гипертоники, сердечники, они плохо переносят вмешательство ножа. Много случаев рака... Часто привозят работяг с открытыми переломами рук, ног. Они мучаются по несколько месяцев. Но вот он предложил оригинальную конструкцию шины для ускоренного срастания переломов.

— Любопытная штука, — сказал Николай Дмитриевич. — Как-нибудь я вам покажу, еще, глядишь, опишете, — улыбнулся он. — Отослали мое изобретение в Москву... Не знаю, что скажут. Думаю, заинтересуются. Для всей страны может пригодиться... Если одобряют, тогда, пожалуй, хоть немного скостят срок. Двадцать пять лет у меня... Это, скажу я вам, целая вечность! Сердце еще сможет выдержать, а душа... нет! Для нее лекарства не найдешь.

Теперь я был спокоен: попал в надежные руки. Но накануне операции Флоринский вдруг сказал, что оперировать меня хочет капитан Перепелкина.

— Та самая, что принимала наш этап? — вспомнил я, тревжась.

— Да, да. Не беспокойтесь. Уверяю, она все отлично сделает. Ассистировать буду я.

Перепелкина работала уверенно, спокойно, даже подшучивала. Очень дороги были живые, человеческие ее глаза... Николай Дмитриевич после операции сказал:

— Хорошо, очень хорошо. Только вот шелка нет, зашьем леской. Крепкая, из конского волоса...

Миша отвез меня на каталке в новую, шестую палату. Я оказался в ней третьим. Четвертым привезли Ткаченко. Ему удалили три четверти желудка. Он лежал с неподвижным, почти мертвым лицом. Примерно через час наведальась Перепелкина. Проверила у Ткаченко пульс и ушла нахмуренная. Дня через два, поздно вечером, к нашему общему изумлению, она появилась в палате. В руках был граненый стакан с темно-красной жижицей. Она плотно притворила дверь, села на табурет возле Ткаченко и принялась кормить его с ложечки. Он глотнул раза два, закрутил головой.

— Ткаченко! Это кисель... Я дома сварила... Ешьте!

Он посмотрел на нее круглыми немymi глазами, провел желтыми узловатыми пальцами по ее руке и отвернулся к стене. Перепелкина поставила стакан на тумбочку и вышла.

Ткаченко бредил. Весь вечер и ночь он бормотал:

— Вышни... чорни вышни... Марышко, зирвы мэни вышеньку... ось, на тий гилочки... прошу тэбе, Марышко... зирвы...

После укулов он ненадолго смолкал, потом снова: «вышни... чорни вышни...» К рассвету затих, умер. Голова его была запрокинута, и остеклившийся глаза, казалось, продолжали глядеть на ветку с черными вишнями...

Труп вынесли в морг. Убрали койку. А стакан с киселем из сушеной черники так и остался на тумбочке. Никто не протянул к нему руки. Наверное, всем представилось, как Перепелкина идет домой, варит кисель для чужого ей человека, для заключенного, с которым она не имеет права вступать в разговоры, называть по имени, проявлять внимания больше, чем это установлено особой инструкцией... Вот она возвращается в больницу, хотя по службе ей, как и всем остальным вольнонаемным, запрещается приходить в зону после рабочих часов. На вахте, пряча стакан с киселем под полою своей капитанской шинели, она добивается пропуска в корпус...

Вошел Славка в белой шапочке (он носит ее с докторской солидностью), взял стакан, спросил:

— Никто не желает?

Повертел стакан в руке, постоял в раздумье и снова спросил у всех, с чуть заметным волнением:

— Надеюсь, доктора... Клавдию Федоровну... не выдадите?.. Если кто хоть слово — зарежу!..

* * *

Среди ночи зашел в палату дежурный фельдшер Конокотин. Все спали. Я мучался бессонницей. Он присел на край койки.

— Очень знакома мне ваша фамилия... Скажите, не ваш родственник в двадцатых годах был секретарем ЦК партии Белоруссии по пропаганде?

— Да. Мой двоюродный брат Василий Конокотин взволнованно поднялся.

— Так это ваш брат? Василий Владимирович? Я при нем работал в отделе печати... Где он сейчас? В каком лагере?

— Расстреляли... В январе тридцать седьмого.

Конокотин начал быстро ходить по палате, остановился у окна, как бы рассматривая морозные елочки на стекле, и снова подошел ко мне, вынул из карманчика лимонные дольки.

— Угощайтесь. В посылке получил... — Опять присел на край койки. — Я хорошо, очень хорошо его помню... Большевик с пятнадцатого года... А за что?

— Понятия не имею! Знаю только, что он не дадил с Кагановичем... А из откровений уже собственного следователя узнал, что Вася на допросе запустил в следователя чернильницей.

— Да... — задумчиво протянул Конокотин. — Он был именно таким... Нетерпимым ко всякой лжи, несправедливости, к малейшим укланам от ленинской линии... — Конокотин стал что-то трудно напоминать. — Кажется, в прошлом году... Да, в прошлом, от одного артиста-зека я слышал... Сидел он с вашим братом в лагерях на Печоре... Ведь его, должно быть, расстреляли после переследствия?.. Понятно. А там они оба работали молотобойцами в кузнице, жили в землянке. Однажды Василий проснулся от неужи-

данного и дикого: артист, сидя на полу, пел «Средь шумного бала случайно...» И Василий, человек, чуждый какой-либо сентиментальности, схватился за голову и выскочил вон из землянки. Прислонился к сосне и навзрыд плакал...

Мне стало не по себе от этого рассказа, и я перебил Конокотина:

— А вы, Орест Николаевич... за что?

Бледное, худое лицо Конокотина, с чуть выпуклыми глазами и тонким заостренным носом, как-то одревенело.

— Вы и без того не спите...

— Орест Николаевич! Я уже такое слышал и такое видел... А заснуть все равно не засну.

Конокотин глухо заговорил:

— Я убил самого себя... Да, самого себя, — повторил он. — Не верите? Я тоже не верю... Меня обвинили в том, будто я, пользуясь внешней схожестью со старым большевиком и политработником Орестом Конокотиным, убил его и завладел документами... Никаких свидетельских показаний, что я — действительно я, Конокотин настоящий, во внимание не принимали. Для комедии разыскали древнюю старушку, мою няньку. Она сначала показала, что я кем-то убит, а когда на очной ставке увидела меня, вскрикнула: «Орестушка!» Старуху выгнали. Приговорили меня за террор к двадцати пяти годам...

Он подошел к застонавшему больному, сменил компресс, вернулся.

— Много, много человеческих трагедий... Вот и здесь есть люди... От одной мысли, что они заключенные, становится страшно. Если бы не моя вера в партию, не стоило бы жить... Тут, в одиннадцатом корпусе, — Тодорский Александр Иванович! Коммунист с восемнадцатого года... В гражданскую был комбригом, комдивом, комкором!

— Позвольте... Тодорский? Не автор ли это известной книжки «Год с винтовкой и плугом»?

— Он самый... Ленин писал о нем, говорил на XI съезде... Посылал автору в Вьесьегонск теплый привет. Ленин для Тодорского — та жизнь, которую никто и никогда не сможет у него отнять! — И, забыв, что больные спят, закричал: — Начальник Воздушной академии! Кавалер четырех орденов Красного Знамени! А теперь... теперь он — занумерованный! Понимаете?.. У него на спине тавро — «Ш-551»!

Конокотин ударил кулаком по тумбочке. Захлебнулся от гнева. Потом продолжал спокойнее, но голос его дрожал, и на лице выступили красные пятна.

— Ужасно! Ужасно!.. В тридцать седьмом расстреляли его жену... Крупный инженер-химик, проектировала и помогала строить химзавод в Дзержинске, Горьковской области... Еще до Октября была в наших рядах... Избрани секретарем Союза молодежи при Московском комитете партии... И брата Тодорского тоже расстреляли... начальника Главхимпрома,

Ивана Ивановича... Да и сам Александр Иванович прошел муки смертные... все тюремные круги ада. Удивляюсь, как только уцелел!.. Он сам все расскажет. Вот поправляйтесь, познакомлю... Хорошо, если бы вы остались у нас в службе, придурком.

— Что? Придурком?.. Каким это придурком? — поразился я.

— Видите ли... — замялся Конокотин. — Придурками в лагере называют тех заключенных, которые выполняют хозяйственные или канцелярские работы. Правда, есть зеки, считающие, что придурки — особо привилегированные, подхалимы и доносчики... Это неверно! Конечно, попадают и такие. А в основном придурок — знаете кто? Умный заключенный при дураке начальнике!

Он рассмеялся.

— Да, но начальствующий дурак, — заметил я, — самый опасный из дураков.

— Верно! Однако умный в лагере может многое сделать и делает для судеб остальных. А здесь в больнице, куда стекаются живые ручейки со всех лагпунктов трассы, очень важно...

Конокотина позвал встревоженный Славка. В соседней палате умирал инженер, автор книги по технике связи. Книгу эту ему прислали из Москвы, и он не разлучался с нею, держал под подушкой.

* * *

На утреннем обходе Перепелкина спросила — как я себя чувствую. Я ответил вопросом:

— Гражданин доктор, а почему мало таких... как вы?

Она сдвинула брови и — сухо, официально:

— Просьбы есть?

— Жена не знает, где я...

— Санитар! Дайте ему листок бумаги и карандаш. А вы... подайте заявление начальнику больницы, майору Рабиновичу, что после тюрьмы... Вы сколько просидели под следствием?

— Одиннадцать месяцев. Но какие это были...

— Меня это не интересует. Вот и напишите, что потом сразу попали в больницу и просите разрешения сообщить жене свой временный адрес... Вас скоро отправят. Я передам... — Она, поймав себя на какой-то мысли, запнулась. — Хотя лучше, если заявление снесет санитар.

Она выписала послеоперационным больным по двести граммов молока, по пайке серого хлеба (Малюкаев не такой уж, видно, враль) и, уходя, впервые тихо сказала всем: «До свиданья!»

На следующий день быстро вошел в палату Славка и, как по тревоге, поднял меня.

— Кум¹ вызывает. Быстро!

— У меня же еще швы...

— Это не на воле! Собирайся.

¹ Кум — так заключенные называли оперуполномоченных на лагпунктах.

Сопровождал меня по зоне дневальный оперуполномоченного — высокий зек с вытянутым, застывшим в удивлении лицом. Кружилась голова от слабости, от морозного воздуха. Дневальный вел меня под руку и произносил только одно слово: «Держись!» Произносил он его через каждые десять секунд одним тоном, не меняя выражения лица. Вот он — робот, подумал я. Невидимая рука нажимает сейчас у него единственную кнопку, других не трогает, и хорошо отработанный механизм разжимает железные челюсти и выталкивает один этот звук: «Держись!.. Держись!..»

В «хитром домике», как называют зеки стоящую посредине зоны хибарку — кабинет оперуполномоченного, сидел пахло одеколоном. Свежевыбритый молодой brunet, майор государственной безопасности, предложил сесть на стул и сказал:

— Можете написать жене. Сейчас. Здесь.

Положил передо мной почтовый лист бумаги, конверт, ручку, подвинул чернильницу.

Мысли путались. Перо спотыкалось. Строки куда-то убегали. Я не знал, что можно и чего нельзя писать, спрашивать не хотел и писал, как люблю ее, что мы обязательно снова будем вместе, что встречаю я новый год бодро, с глубокой верой в торжество правды. Верю и надеюсь, писал я, что вернусь и к своей работе, что переживаемое будет казаться нам тяжким, бредовым сном, каким оно кажется мне теперь...

Майор прочитал написанное, саркастически улыбнулся:

— Надеетесь?.. — И с безнадежностью сказал: — Надейтесь...

Позвал дневального:

— Отведи его в корпус. — И ко мне: — Письмо отправлю.

КОМКОР И ДРУГИЕ

Начался новый год. По-прежнему стояли морозы. Окна в корпусе обросли толстым слоем льда, на пол капала вода, образуя широкие лужицы. Славка сбился с ног: подвешивал к подоконникам бутылки и банки, по десять раз на день притирал полы, с угла в угол передвигал цветы, протирал каждый лист (все-таки дом напоминают!), днем и ночью принимал обмороженных, придавленных на лесоповале зеков, выносил в морг одного за другим «досрочно освободившихся».

У меня вскоре после операции обнаружился свищ. Я сказал Флоринскому:

— А вы уверяли, Перепелкина все делает отлично?

Он прищурился и многозначительно сказал:

— Все и было сделано отлично... До весны у нас продержитесь... Пенициллина нет. И выписывать его из дома... не надо.

Но лежать в корпусе мне не пришлось. Вызвали к главному врачу больницы майору медицинской службы Баринову.

Нелестная слава ходила о нем по всей трассе. Это он однажды сказал: «Прежде всего я чекист, а потом уже — врач». От такого не жди снисхождения... Низенький, с выхоленным лицом, злыми глазами и резким, стегающим голосом, он внешне чем-то напоминал уздного брандмейстера. Меня осмотрел тщательно, что-то пробурчал и сказал:

— Не скоро заживет... Но торчать вам на койке незачем. Работать надо.

Меня перевели в барак для выздоравливающих, назначили статистиком в медицинскую канцелярию и библиотекарем в КВЧ. Пришили к спине и на правое колено белые тряпки. И я стал человеком № АА-775.

Библиотека культурно-воспитательной части была скудной: сотни две старых книжек. Имелась, что казалось довольно странным, и политическая литература. Опер предупредил, что выдавать ее зекам я могу каждый раз с его специального разрешения. Составив каталог, я обошел все корпуса и бараки, спрашивал — кто и какие желает читать книги.

И тут я встретился с Тодорским. Произошло это у Ореста Николаевича, в так называемой лаборатории тканевой терапии. Помещалась она в землянке с камышовой крышей и покосившей скрипучей дверцей. Войти в нее можно было только согнувшись в три погибели. Здесь Конокотин обрабатывал в термостате плаценту, которую доставляли из Тайшетского родильного дома. Работал он, забывая обо всем, вдохновенно. Коллеги прозвали его «художником плаценты». Бикс с готовым материалом он всегда доставлял в корпус гордо, торжественно: нес на вытянутых руках, подняв голову и медленно ступая. Больные, выдавшие эту процессию, обычно говорили: «Гляди! Отец Орест святые дары несет». В лаборатории топилась сложенная из кирпичей печка с плитой, поддерживался постоянный уровень температуры. Заходивших к Оресту Николаевичу зеков всегда ждал «настоящий чай».

В один из вечеров зашел и я. За канцелярским столом, рядом с Конокотиным, сидел над дымящейся кружкой Тодорский. Он встал — высокий, широкоплечий, с не потерянной военной выправкой, поздоровался и сказал:

— Садись, товарищ, с нами.

Говорил он с вымученным спокойствием, иногда, что-то вспоминая, долго не отнимал от губ кружку с чаем. Потом снова начинал рассказывать — тихо, внятно. Время от времени на его болезненно припухлых щеках подергивались жилки.

Арестовали Тодорского осенью тридцать восьмого года. Назвали участником военно-фашистского заговора, вредителем, потенциальным террористом. Ошеломленный, доведенный на следствии до умопомрачения, он, не помня как, «признал вину». А придя в себя, решительно отказался от таких показаний. Шестнадцать раз допрашивали его следователи Малы-

шев, Кузовлев и Казакевич. Снова, с остервенением, добивались от него «признания». Он выстоял.

В мае тридцать девятого года его судила военная коллегия. Ни председатель коллегии Алексеев, ни члены суда Детистов и Суслин не смогли сломить его. Тодорского приговорили к пятнадцати годам заключения в лагерях, к последующему поражению в правах на пять лет, к лишению заслуженного им в боях за советскую власть воинского звания «комкор», к конфискации имущества...

— Когда после приговора я был доставлен в Бутырку, — говорил Тодорский, — сидевшие в камере горячо поздравляли меня, да и сам я был бесконечно счастлив: вырвался из петли!.. Затем увезли на север. Был я грузчиком на пристани Котлас, землекопом на стройке шоссе около Ухты, рыл землю вместе с чудесными людьми — академиком-микробиологом Павлом Феликсовичем Здрадовским и с инженером-электриком Труновым, Евгением Игнатьевичем... Тяжко было на душе... Неужели все считают меня врагом?! И вдруг получаю письмо, записочку от старой большевички, от друга моей расстрелянной жены, от Марии Григорьевны Габриэловой!.. Она в Баку работала с Кировым, в секретариате. Тоже, как и моя жена, — инженер-химик... Я поразился: меня нашла Габриэлова! Зачем?.. Это ведь опасно для нее. Она писала: «Дорогой Александр Иванович! Крепитесь, умоляю вас — крепитесь!» И дальше строки, от которых мне стало и радостно и страшно: «Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена!..» Это письмо я держал в руках, как свидетельство бессмертия коммунистов! Настоящих...

Он попросил у Конокотина еще чаю, покрепче, и вспоминал...

— Летом перебрасывали нас из Ухты в Тайшет... Двигался длинный-предлинный товарный эшелон, с решетками, с замками... На станционных остановках люди подходили к нашим вагонам, не обращая внимания на окрики и угрозы конвоя, и подавали в оконца сахар, папиросы, хлеб... А на одной узловой станции, помню, разгружался воинский состав. Солдаты, узнав, что везут заключенных, бросились к нашему эшелону, оттеснили охрану, совали табак и спички, протягивали деньги, свои солдатские гроши!.. Народ не обманешь, народ правду чувствует!

Конокотин налил всем свежего чая и высыпал из сумки остаток посылки — белые сухари.

— Не поверите, — продолжал Тодорский, — а ведь было и такое. В бараке на сотом километре от Тайшета — я работал там санитаром околотка на двадцать коек — завязался у ребят спор о советской власти. Я загорелся и чуть не целую лекцию прочитал за советскую власть. Повар-зек и спрашивает:

— Ты вот все знаешь, все по полочкам

вроде как разложил. А ну скажи: война идет в Корею — кто победит?

— Наши! — твердо ответил я.

Повар засмеялся:

— Совсем ты с ума спятил, Александр Иваныч!

Повара поддержал один бывший белый офицер:

— Удивительный народ! Вот Тодорский — точно карась, ей-богу!.. Его жарят на сковородке, дым идет, а он кричит: «Хорошо пахнет!»

Прослышал о дискуссии в бараке начальник снабжения, старший лейтенант Богданов, пришел и говорит:

— Тодорский! Сделай одно дело, а?

— Какое, гражданин начальник?

Он помялся и просит:

— Проверь меня по истории партии.

Зачет сдавать надо, боюсь провалиться.

Я проверил его. Рассказал, видимо, начнаб об этом начальнику санчасти, младшему лейтенанту Березенцеву. И тот ко мне:

— Тодорский! Ты как, можешь составлять для меня конспект по истории партии? Не позабыл еще?

— Помню, гражданин начальник. Но нужна книга.

— Книга будет, только — цыц! Чтоб никто! А то отправят тебя куда не надо. Ясно?

Книжку он принес. Я работал тайком, в каптерке околотка. Только начну, кто-нибудь войдет. Я книжку — в ящик. Так, вижу, дело не пойдет. Надо ночами писать. А в околотке жил доктор-зек. Уляжется он спать, я — за конспект. Прислушиваюсь — не встал ли доктор, не проверяет ли околоток? Он часто это делал. Пронюхал про мои ночные бдения. Подкрался ночью. Защищел: «Я знаю, что вы делаете по ночам, — доносы пишете!..»

Березенцева я не выдал. И не потому, что он начальник, а потому, что мне самому хотелось читать и думать о партии.

— Как же Березенцев потом...

— Ты слушай, слушай, товарищ... Он меня отблагодарил. Принес здоровенную кошку и говорит: «В отпуск уезжаю. Сдаю Муську на хранение. Если убежит — голову тебе оторву!»

Заскрипела дверь, и в землянку вошел, сутулясь, начальник режима, лейтенант Кузник.

— Что у вас тут — подпольное собрание? — строго спросил он, поглядывая по сторонам. И стал греть руки над плитой.

— Чайком пробавляемся, гражданин начальник, — пояснил Конокотин и взялся усленно, с хрустом, грызть сухарь. — Не угодно ли за компанию?

Кузник ничего не ответил и, стоя над плитой, философствовал:

— Не следи тут за вами, все давно бы дуба дали... Иногда не так опасно делать людям зло, как делать им много добра...

Обернулся к Тодорскому:

— Чтоб зона была расчищена — во! — Он поднял руку с оттопыренным большим пальцем. — Каждую тропку лично про-

верю. — Посмотрел на часы. — После отбоя не засиживаться.

Заглянул по углам, под стол и вышел боком — настороженный, невзрачный человек.

— Собачья должность! — сказал Тодорский. — Для них мы, заключенные, чучела в бушлатах. А если вдруг из-под бушлата выглянет человек — глаза таращат... Прошлым летом приехал на околоток начальник Озерлага, полковник Евстигнеев. Идет по зоне, а я подметаю. Вытянулся перед ним, прижал к правому плечу метлу, как винтовку. Он остановился.

— Ты — что, бывший солдат, что ли?

— Так точно.

— Где служил?

— В Москве.

— Москва велика. Где именно?

— В Наркомате обороны СССР.

— Что там делал?

— Был начальником управления выших военно-учебных...

— Имел военное звание? — не дал договорить он.

— Так точно. Комкор рабоче-крестьянской Красной Армии!

Он посмотрел на меня снизу вверх и сверху вниз.

— Какое преступление вы совершили?

— Я ни в чем не виноват.

— Как же не виноваты! Вас, вероятно, судил суд?

— Так точно. Военная коллегия.

— Какое наказание получили?

— Пятнадцать лет.

— Вот видите! А говорите — «не виноват»...

Я посмотрел ему в глаза. Он отвернулся.

— Подметайте... — Полковник, резко повернувшись, ушел.

Раздались удары молотком о рельс. Конокотин решил заночевать в лаборатории, где у него стоял топчан с матрасом и одеялом, а мы вышли в зону. На небе одиноко светилась замерзшая белая луна. На столбах — электрические лампочки. В гулкой морозной тишине было слышно, как трещал снег под валенками часовых. Поочередно на каждой из четырех вышек вспыхивал прожектор, луч пробегал по запретке, тревожно оцупывал ее и, зацепив край темного неба, прятался, погасал.

Мы пожали друг другу руки и пошли: Тодорский — в корпус, я — в барак.

Только начал я раздеваться, как пришел дневальный начальника больницы Жидков. Был он министром путей сообщения в буржуазной Латвии, а в Латвийской ССР — главным инженером Управления дороги. Жидков привлекал к себе внимание патриаршей седой бородой, которую ему разрешили носить. Среди наголо остриженных, безусых и безбородых зеков он выглядел весьма колоритно. Жил он в приемной Рабиновича, спал на диване и называл начальника — «майор-человек». (В лагере приставка «человек» означала самую высокую степень одобрения чего-либо и кого-либо: хлеб-человек,

суп-человек, мороз-человек, начальник-человек и т. п.)

— Извините за беспокойство, — обратился ко мне Жидков. — Пожалуйте к начальнику.

Вызов поздно вечером к начальнику больницы радости не сулил: на освобождение так не вызывают. Пока я одевался, Жидков говорил, поглаживая бороду и моргая короткими ресницами:

— Майор предупредил меня... ежели изволите спать, то не тревожить, а наказывать поутру вставаться...

В маленьком кабинете начальника больницы ярко горела настольная лампа. Майор читал газету. Когда я вошел, он, не отрываясь от газеты, бросил: «Сядьте!» Я продолжал стоять. Отложив газету, он встал, прошелся по кабинету и снова предложил мне сесть. Странновато было погрузиться в глубокое кресло... Майор начал расспрашивать о моем деле: как долго шло следствие, какие обвинения предъявили, где и кем я работал до ареста. Отвечал я взволнованно и пространно. Он выслушал до конца и сказал:

— Если все, что вы говорите, действительно так...

— В моем положении неправду говорить нельзя, — заметил я.

— Тогда вы можете вполне рассчитывать на пересмотр дела. Ну, а пока что — работайте у нас. Вот какая у меня к вам просьба. — Он вынул из ящика стола книгу. — Хороший роман написал Казакевич — «Весна на Оudere». Попробуйте-ка сделать инсценировку для лагерной самодеятельности, а?..

От радостной растерянности я молчал.

— Тут, правда, не обойтись без женской роли. Но выход есть. Скоро в больницу поступит заключенный Олег Баранов. Его и гримировать не надо. Наденет юбку, кофточку и — вылитая двадцатилетняя остриженная девушка! Так что пусть это обстоятельство вас не смущает. Закройтесь в КВЧ и пишите. Я дам указание, чтобы вас пока не отвлекали на другие работы, кроме, конечно, канцелярии...

Все это я воспринял, как частицу свободы, вдруг заглянувшей мне в глаза. Жидков, прикрывая за мною выходную дверь, весело подмигнул:

— А майор — человек!..

ЭТАПЫ, ЭТАПЫ...

Медицинская канцелярия располагалась в двухкомнатном домике с широкими, почти над самой землей, окнами. В прихожей за грубо сколоченным дощатым столом сидел переплетчик Толоконников — согбенный старик с молодыми глазами и порывистыми движениями. От него пахло махоркой, клеем и горелыми сухарями, которые он сушил тут же, в жарко натопленной русской печке. Толоконников переплетал фолианты с историческими болезнями, актами вскрытий и другими медицинскими документами. Из при-

жожей одна дверь вела в кабинет к Бариннову, другая — в комнату начальника канцелярии (она обычно пустовала, так как работу за начальника выполняли заключенные, начальник же являлся лишь подписывать бумаги).

Каждое утро в кабинет к Бариннову собирались на оперативку врачи. Он выслушивал рапорты, иногда молча, иногда ругаясь, и уходил в морг на вскрытие очередных трупов. Потом заглядывал в один-два корпуса, «тянул» фельдшеров и санитаров и до следующего дня исчезал, если не было этапа из больницы.

Вот и сегодня к девяти часам стали приходить врачи. Первый вбежал Малюкаев. У него во всю спину была натянута белая тряпка с жирным лагерным номером на ней. Нарочно такую простыню нацепил, с вызовом, или, как он говорил, «с подтекстом»! Он полулег на барьер и таинственно сообщил:

— Слышали, какая оперетка разыгралась в Братской больнице? Это не «параша»,¹ нет, нет!.. Главный врач, зек Петерфальви — я его знаю, он окончил медицинский факультет в Вене — оказался, представьте, епископом! — Малюкаев громко рассмеялся. — Членом ордена каких-то «милосердных братьев». Его сразу с врачебного амвона коленкой под зад и — табельщиком на тринадцатую колонну! Чудны дела твои, МГБ...

Он смешился вздохнул и скрылся в дверях кабинета.

Пришли вместе медлительный, говорящий полупшепотом глазник Толкачев (работал в Одессе с академиком Филатовым) и толстый нахмуренный патолого-анатом, профессор Заевлошин (тоже из Одессы, был бургомистром при немцах). Заевлошин спросил, разматывая теплый серый шарф, плотно облежавший его шею:

— Сколько?

— Трое, Михаил Николаевич... Все из туберкулезного.

— Отлично. Работка есть.

И, выставив вперед живот, двинулся в кабинет.

Вскочил шумливый, вечно куда-то спешащий Кагаловский — «поборник справедливости», как прозвали в больнице доктора за его бесстрашие при защите больных зеков, за что он нередко платился отсидкой в карцере. Кагаловский возмущенно сообщил, что посылку из Москвы задержали бюрократы на Невельском почтовом отделении и в результате все протухло.

Пришла Перепелкина — в меховой шубке и теплом платке. Погоня с нее сняли (нам, конечно, не сказали, за что, но мы поняли: «За неправильное отношение к заключенным»). Оставили при больнице вольнонаемным хирургом. Она молча кивнула нам и села на стул в самых дверях кабинета.

Появился всегда всем и всеми недо-

¹ «Параша» — слух, сочиненный внутри лагпункта.

вольный ушник Ермаков. Застучал в сенях протезным ботинком невропатолог поляк Бачинский (он пишет в лагере диссертацию по гипертонии). Замкнули шестствие кожник Каменев, с болезненным одутловатым лицом, и Николай Дмитриевич Флоринский.

Вслед за ними вошел и Бариннов, потирая замерзшие уши.

— Все в сборе?

— Так точно.

— Ох, и натопили ж вы... Это все Толконников, сухари свои жарит... Запрещают! Слышите? Дров в больнице нет.

Только началась оперативка, заглянул нарядчик Юрка (москвич, инструктор физкультуры). Бушлат на нем — коробом, теплая кепка перевернута задом наперед.

— Вы живы еще, мои старушки? — зашумел он с порога. — Жив и я. Привэт, привэт! — Поздоровался. — Слышал я, что вы, тая тревогу, загрустили шибко обо мне?.. Так вот, старик, получай! — Он положил на стол длинный лист бумаги, погрозился, прикусив кончик указательного пальца (что означало — «Без трепала!»), и сейчас же ретировался.

Это был пока что секретный список очередного этапа из больницы. Среди уезжавших на лесоповал значился и Малюкаев. Не было сомнения, что опер и Кузник решили избавиться от колючего и постоянно нарушающего режим доктора. Бариннов, конечно, не защитит Малюкаева. Бариннову все равно: хоть всех врачей — на лесоповал, а больных — в морг. Малюкаев — язвенник, туберкулезник, он не выдержит в зимнюю стужу на общих работах...

Закончилась оперативка. Все, громко разговаривая, расходились. Бариннов замешкался в кабинете. Я отозвал Малюкаева в сторожу:

— Ты должен заболеть. Теперь же. Не сходя с места.

Малюкаев изменился в лице.

— Кузник... — процедил он сквозь зубы.

В дверях показался Бариннов. Малюкаев согнулся, заохал.

— Что с вами?

— Проклятая язва... гражданин майор.

— Резину вы с ней тянете, Малюкаев! Резаться надо... Госпитализируйте его в первый корпус.

Бариннов вышел, ничего не поняв...

Малюкаев посветлел, сказал:

— Чтобы лучше прожить, надо уметь дурачить начальников.

Через полчаса он лежал на больничной койке.

А в медканцелярии началась комиссия этаплируемых.

* * *

В сенях и прихожей толпились, сидели на корточках, подпирали стены спинами люди разноликие, разномыслящие, разноязычные, но все — угрюмые. На них — рваные треухи, засаленные, в дырах, бушлаты или телогрейки, нелепые, точно заброшенные сюда для слонов, боты

«ЧТЗ» (так окрестили их лагерники): сшитые из старых автопокрышек и стянутые обрывками веревок. Уходивших на этап каптер Резников старался наряжать, по указке расчетливого начснаба, в самое что ни на есть отборное тряпье. Заскочил Юрка, проверил — все ли притащились на комиссовку. Разозлился, увидев одного с повязанной щекой:

— Зубки заболели?.. Бендеровская твоя харя! Тоже мне... Иов многострадальный!

Нарядчик доложил майору, что этап собран, и убежал.

Баринов единолично определял категории трудоспособности: первая, вторая — инвалид работающий, инвалид неработающий. Вызывал по одному, осматривал десны, щупал зады, выслушивал (скорее — делал вид, что выслушивает) сердце, легкие. Потом молча показывал мне (я записывал категории в формуляры) один или два пальца, а то коротко и резко выпаливал: «Р-р-работ...», «Н-н-неработ...» Определенными показателями для него были не десны, не сердце и легкие, а статья и срок.

— Сле-е-е-дующий! — раздавался, словно свист кнута, голос Баринова.

Зеки оголялись до пояса и робко, со страхом, а некоторые и с отчаянием, входили в кабинет, как за новым приговором.

Очередным был старик лет семидесяти, полуглухой. Он обвел глазами комнату, перекрестился широким крестом на цветы в углу и сразу, как подломили его, рухнул на колени, протянул вперед руки:

— Не могу-у-у, граждани-и-ин... не отсыла-ай...

— Встать! — крикнул Баринов.

Старик, крихтя, поднялся. Ноги и руки у него тряслись,

— Статья?

— Чего?..

— Статья!.. спрашиваю.

— Шпиён..

— Сними рубаху!.. Порядка не знаешь?

Старик обнажил сухую, впалую грудь. Майор придавил к ней стетоскоп.

— Западник?

— А?..

— Глухая тетеря... Западник — спрашиваю?

— Не-е... курский.

— Срок?

— Десятка...

— Дыши!

— Нече-ем дышать... гражданин врач... майор...

— Одевайся! — Показал молча два пальца. — Сле-е-е-дующий!

Старика сменил востроносый зек с опухолью под глазом. Он был полицаем на Украине. На лагпункте притворился умышленным. Его привезли в психиатрический корпус больницы. Здесь на второй день его так исколотили соседи по койке (утащил пайку хлеба у кого-то), что он сразу объявился нормальным. За обман просидел трое суток в карцере, Баринов без осмотра записал востроносому первую категорию.

— Сле-е-е-дующий!

В кабинет, держась рукою за дверь, шагнул человек, вернее — подобие человека, от которого остался почти один скелет. Конусообразная голова была повязана грязно-зеленым кашне. Глаза провалились, но еще смотрели из глубоких впадин остро, въедливо.

— У меня... ре-зо-лю-ция...

Говорил он по складам, глухо ронял пудовые слова. Протянул тетрадный листок. Пальцы короткие, восковые.

— Какая еще там резолюция? — сморщился Баринов и пробежал глазами по бумаге.

— Про-шу власти... пре-дер-жа-щие... оставить во... вве-ре-нной вам... боль-ни-це. Непременно... умру. Рак!

— Госпитализировать в корпус восемь!

Баринов бросил на стол заявление. На листке была размашистая резолюция майора Рабиновича — «Оставить».

— Давно сидите?

— Сто лет... и мо-жет... еще... последнюю ночь.

— Что это у вас на голове?

— У ме-ня... ни на го-ло-ве, ни в голове ни-че-го нет.

— Кем раньше работали?

— Член кол-л-легии... Че-ка... за-меститель Менжинского... был!.. Посол в Кита-е... был!.. Могу... идти?

— Пожалуйста. — Майор посверлил себе висок пальцем, чтобы я видел, и крикнул: — Сле-е-е-дующий!

Пропустив в дверь медленно переступавшего старика, в кабинет влез средних лет детина. Голова — под потолок, на груди татуировка — пол-литра и веночком надпись: «На Луне водки нет».

Баринов заглянул в формуляр детины.

— Бессрочное заключение? Каторжанин?.. По луне тоскуешь?

— Да. Увижу — вою...

— Видно, делов наделал...

— Шоферил на душегубке.

— Много передушил?

Детина оскалился:

— Мало. Надоть было боле...

Баринов сжал кулаки. Кровь ударила ему в лицо. Я в ужасе подумал: «С кем мы здесь?!»

Вошел надзиратель:

— Можно, товарищ майор?

Я не поверил своим глазам: Крючок! Он не узнал меня.

— Доставил тут одного хрукта с пересылки. Наряд к вам...

Баринов посмотрел и отложил документ в сторону.

— Скажите лейтенанту Кузнику... этого душегуба до отправки этапа — в карцер!

— Есть, товарищ майор! — Крючок козырнул. — Пошли!

Увел детину.

За дверью послышалось: «Разрешите?» В кабинете появился приземистый человек в штатском пальто, с меховой шапкой в руке.

— Прибыл в ваше распоряжение, гражданин главный врач.

— Фамилия?
— Паников... Павел Алексеевич. Врач.
— Так, так. Документ у меня... Хирург?
— Хирург. Работал с Бакулевым.
— Вон как?.. Статья? Срок?
— Пятьдесят восьмая, десять... Десять лет спецлагерей.

— Так, так... Как же это вы, Паников, загремели сюда?

— Неправильный диагноз, гражданин главный врач.

Баринов из-под бровей посмотрел на него.

— Хм!.. Ошибка, значит?

— Да, ошибка. Прежде всего, моя ошибка:.. Вел партработу в Первом медицинском институте... Поехал в колхозы. Увидел вопиющие безобразия. Обо всем откровенно написал Сталину. Думал, что искренность — это откровение сердца... Вот, собственно, и... все!

— Я не судья вам и не прокурор, — сказал более чем равнодушно Баринов. — Ступайте в барак для заключенных врачей.

* * *

Комиссовка закончилась часов в семь. На этап ушло человек двадцать. Но после ужина нарядчик принес документы уже на вновь поступивших: тридцать живых и тридцать первый — мертвый. Акт гласил, что заключенный был застрелен конвоем при попытке к бегству.

— Что-то участились такие акты, — сказал я. — Главное, «бегут» те, кто, судя по историям болезней, ходить-то не в силах. Не провоцируются ли такие «побеги»?

Юрка закурил и — вполголоса:

— А ты разве не знаешь? Конвоиры за бдительность премируются... Оформляй, старик, поскорее этап и приходи в барак. На сон грядущий буду всем читать наизусть Есенина. А тебе — авансом. Хочешь?

Он сел на табурет, перекинул ногу за ногу и начал:

— «Я знаю — время даже камень крошит... И ты, старик, когда-нибудь поймешь, что даже лучшую впрягая в сани лошадь, в далекий край лишь кости привезешь...»

Юрка читал, я слушал его и вдруг заметил на формуляре знакомую фамилию. Ром! Яков Моисеевич!.. Мой тюремный друг! Полгода в одной камере...

— Юрка! Этап уже развели по корпусам?

— Не перебивай! Какой ты, право... В бане еще!

Я сорвал с гвоздя бушлат и выбежал из канцелярии.

Яков Ром! Один из первых начальников политотделов МТС! Награжден за работу в деревне орденом Ленина! С какой гордостью говорил он об этом в тюремной камере... А как скандалил со следователем! То и дело уводили его в карцер... Мы вместе объявляли голодовку протеста. От тюремной пищи у Рома обострилась язва желудка, шла горлом кровь. Он попросил купить ему за его деньги свежего творога. Следователь сказал: «Признаешься — получишь и сметану». Тогда Ром до-

бился вызова к начальнику Бутырской тюрьмы. Тот высочайше разрешил продать килограмм. Нас было в камере четверо. Он каждого угостил...

Два санитары несли в гору по дорожке носилки с человеком, укрытым одеялом. Я остановил их возле фönаря. Отвернул одеяло. Он! Наклонился:

— Яков Моисеевич!

Из-под лагерного треугольника на меня глядели усталые, бесцветные глаза. По губам скользнула скорбная улыбка.

— Что с тобой? — ненужно спросил я.

— Опять кровь... — послышался слабый голос.

Рома унесли в пятый корпус. Я вспомнил: в библиотеке есть книжка его жены, писательницы Игумновой. Побегал в КВЧ. Там шла репетиция «Весны на Одере». На сцене раздавался тонкий голос Олега Баранова. Я извинился, что не могу быть на репетиции, открыл библиотеку. Вот и повесть «Маркизетовый поход». Я поспешил в пятый корпус.

Ром лежал на койке с открытыми глазами. В палате был полумрак. Сильно пахло йодоформом.

— Яков Моисеевич! Смотри!

Он повернул ко мне голову, увидел книжку, приподнялся, выхватил ее из моих рук и вдруг засмеялся:

— Неправда...

Поднес книжку к глазам.

— Танина... Танина... книжка... — Он задыхался от волнения. — Здравствуй... Татьяна Сергеевна! Вот и повстречались, повстречались... А долго можно ее не отдавать?... Книжку? — спросил он с испугом.

— Держи сколько хочешь...

Пробил отбой. Я вернулся в канцелярию. С разрешения Кузника оформлял этапные документы до поздней ночи. И все время думал, думал и думал о людях здесь и о людях там. За окном, на котором не было решеток, мне виделся большой, широкий мир, такой близкий и такой отсюда далекий...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ПИСЬМА

«Хитрый домик» посреди больничной зоны был у всех бельмом на глазу. Вызывали туда днем и вечером, больных и здоровых, только прибывших и давно живущих. Никому не давали покоя. Зеки шли в домик всегда настороженные. Знали: от беседы с опером не жди ничего доброго. Выругает невесть за что (тогда готовься к этапу), учинит допрос по делу человека, о котором ты давным-давно забыл, и не будет этому верить... Беда здесь слабохарактерным: страдания, которые им причиняют, меньше тех, какие они причиняют самим себе.

В один из светлых морозных дней зашел длиннолицый робот и к Тодорскому, в одиннадцатый корпус (Александр Иванович болел экземой правой голени). Сказал одно слово: «Одевайся». Все было понятно.

Тодорский вошел к оперуполномоченному.

— Гражданин начальник! Заключенный Тодорский по вашему вызову прибыл.

Опер вежливо предложил стул (Тодорский сел), папиросу (Тодорский отказался). Сам долго закуривал, тухли спички. Потом сказал недовольным голосом:

— До меня дошли слухи, что в разговорах с другими заключенными вы называете себя коммунистом.

— Совершенно верно.

Опер не ожидал столь быстрого признания. Устался на Тодорского.

— Какой же вы коммунист? Вы — заключенный! Вас наказал советский суд.

— Вам должно быть известно, гражданин оперуполномоченный, что и на следствии и на суде я не признал себя виновным. И я действительно ни в чем против советской власти не виноват. Поэтому я был и остаюсь коммунистом.

— Хорошо! — Майор придавил в пепельнице только что закуренную папиросу, помолчал и сказал:

— А вы думаете, что все в лагере любят коммунистов? У нас здесь есть урки,¹ гитлеровские холоуи, да и самые отпетые фашисты, они когда-нибудь вам голову снимут за то, что вы коммунист.

— Я был бы рад этому... Знал бы, что не зря погибаю.

Майор встал, резко отодвинул стул. Поднялся и Тодорский.

— Как ваша нога?

— Покорно благодарю. Легче.

— Залезались вы в больницу... Идите!

Об этом приеме рассказал мне Александр Иванович, когда я в тот же день забежал к нему в корпус с просьбой прочитать мое заявление Генеральному прокурору. Обсудив создавшуюся обстановку, мы решили, что опер намечает Тодорского в этап.

— Тогда и я с тобой, Александр Иванович!

— Не опережай событий, товарищ. И тебе еще придется ложкой море пить. Знаешь, как в народе говорят: над кем стряслось, над тем и сбылось. Дай-ка твое прошение...

Он внимательно прочитал восемнадцать страниц убористого текста. Одобрил, но посоветовал разбить заявление на подзаголовки.

— Длинно очень... Не захотят читать. А подзаголовки — необычная форма, привлечет внимание.

Мы вписали восемь подзаголовков. Я понес заявление в спецчасть. Шел по двору, крытому засиневшим небом и обнесенному забором с колючей проволокой. Плыло одинокое желто-бурое облако, окрашенное холодным солнцем, разлохмаченное, широкое. С грустью подумал я: вот если бы как в сказке — за волосы да под небеса и на этом облаке домой!

В спецчасти — очередь жалобщиков. Заключенный Ильин — сгорбившийся моло-

дой человек, в простых очках, в треушке, сдвинутой на затылок — он не снимал ее даже в жарко натопленном помещении, — принимал заявления и, то ли в шутку, то ли всерьез, предупреждал:

— Смотри, добавку получишь.

— Когда ответы придут?

— Через три месяца, как из пушки!

— А нельзя ли, чтоб тут не лежало, поскорее отправить? — спросил я, подавая заявление.

Ильин подержал на руке, как бы проверяя на вес, мое послание:

— Ничего себе... Советую передать эту защитительную речь непосредственно через начальника больницы. Экономь время!

Я пошел к домику начальника. В приемной министр мыл пол: засучил штаны до колен, надел галоши и неистово колотил шваброй по мокрым доскам.

— Соблаговолите не входить, — сказал он, увидев меня. Выпрямился, и седая борода его задралась кверху. — Майор в Тайшете. Вернется ночью... А у вас что, заявление? Можете вручить. Завтра утром прочтет и отправит. Майор — человек!

Он отстал шваброй и, обернув руки о штаны, взял заявление, снял галоши и босиком, ступая на цыпочки, понес его на стол начальника.

Теперь три месяца, изо дня в день, буду жить надеждой. А надежда, как она порою ни обманчива, все же облегчает жизнь.

По дороге я наведалься во второй корпус, к старому знакомому, коммунисту Драбкину. В тридцатых годах он был членом бюро Воронежского обкома партии, заведовал промышленно-транспортным отделом, на ту же работу переехал в Саратов. Драбкин страдал хронической коронарной недостаточностью, и недели две тому назад его привезли в больницу в тяжелом состоянии. Долгие годы заключения подорвали здоровье этого когда-то крепкого, жизнерадостного человека. Он сидел за тумбочкой в синем полинялом лагерном халате и надписывал конверт.

— Вот хорошо, что зашел! — оживленно сказал он. — У меня новость. Ты не знаешь, а я в далеком прошлом был протезистом. Дома сохранилсь, правда, неказистое, но все нужное для зубопротезного кабинета. Рабинович разрешил выписать! Тряхну стариной. Вот письмо жене, с обратной распиской. Требую инструментарий. Отправь через КВЧ, и если можно — сегодня.

Он передал незапечатанный конверт и принялся увлеченно фантазировать о предстоящей работе в больнице.

— Ты писал Сталину? — спросил я.

— А ты?

— Я написал Генеральному прокурору. Откажет — напишу в Верховный Совет. А если и там отклонят, тогда уж обращай к Сталину. Последняя инстанция!

— Я писал... — задумчиво произнес Драбкин.

— И что же?

— Не ответил.

— Может, не дошло?

¹ Урки — уголовные преступники.

— Дошло. Знаю, что дошло!.. Варейкис тоже писал ему... даже Варейкису Иосифу Михайловичу, первому секретарю Хабаровского крайкома, члену ЦК, не ответил... А тот писал, писал и сошел с ума... Мне рассказывал человек, который сидел с Варейкисом в одной камере... Иосиф Михайлович подписывал протоколы допросов и смеялся, подписывал и смеялся смехом безумца...

Нашу беседу прервал художник Эмир Малаев. Он из крымских татар. По виду — желтушник: лицо желтое, глаза желтые, выпученные. Все в больнице знают, что Эмир глотает наркотики и ухитряется добывать их в нужном количестве. Но как он это проделывает, и притом безнаказанно, — диву давались! А секрет был простой: Эмир писал картины для начальников, и начальники сквозь пальцы смотрели на его наркоманию, что и облегчало ему охоту за морфием. Эмир попал в больницу, когда она еще была итэзловской, ко всему и ко всем привык, и все к нему привыкли. А недавно его «этапная неприкосновенность» окончательно укрепились: он за пять дней, по специальному приказу, написал маслом портрет Сталина-генералиссимуса для Озерлага и заслужил высокую похвалу высокого начальства.

— Ищу тебя по всей больнице! — озабоченно говорил он, стоя в дверях палаты. — Лети в КВЧ. Тебе почта!

Я и впрямь полетел туда на крыльях. Вбежал, запыхавшись. Инспектор КВЧ, лейтенант Лихошерстов — рыжеватый, с тупым взглядом, — протянул мне пачку конвертов, открыток и бандеролей.

— На целый месяц чтива хватит, — сказал он с презрением к моей рвавшейся наружу радости.

Семнадцать писем сразу! Газеты! Я помчался в барак, разложил почту по числам. Вера, родная!.. Она пишет по два раза в день. Читаю письмо за письмом, читаю с жадностью изголодавшегося по теплomu близкому слову, как бы слышу голос жены, вижу ее... Да вот и карточка! Боже мой, состарилась... Но со мною, а это для меня главное!.. Она знает и верит, может, только одна она и верит, что я ни в чем не виноват...

Карточка была маленькая, паспортная. Наглядевшись, я завернул ее в лоскуток, перевязал ниткой и — на шею, под сорочку.

НЕОЖИДАННОЕ И ОЖИДАЕМОЕ

События набегали на события, лагерные «параши» все чаще превращались в действительность.

Майора Рабиновича, как и следовало ожидать, сняли за мягкотелость. Начальником больницы назначили майора Ефремова — человека нового, еще никому из нас не известного. Заключенным установили заработную плату (об этом давно шли разговоры). Моя месячная ставка, сказали, двести рублей: сто будут удерживать за «пансион», сто — на руки. Те-

перь я смогу и отсюда помогать Вере! Но когда начнут выплачивать — никто еще не знал. Объяснили, что в зоне откроется лагерь, начнут отпускать продукты за наличные, но по спискам, не всем, и на разные суммы (своеобразная форма штрафов и воздействия). Очень кстати на моем личном счете оказалось двести рублей: Вера продала кое-какие вещи и выслала мне подкрепление, на питание. Сама, наверно, осталась без копейки... И, наконец, еще одно событие: пожаловала в зону кинопередвижка. Раз в месяц обещают кино. Сегодня привезли фильмы: «У них есть родина» и «Женщины Китая».

Но что произойдет в ближайшие дни, может быть, даже завтра, предугадать было трудно. В зоне родились две «параши». Первая: едет правительственная комиссия по пересмотру дел, будут «десятый пункт» переводить в ИТЛ. И вторая: больница закрывается и придурков увезут на Колыму.

После обеда погнали в баню, хотя три дня тому назад все мылись. Баню протопили наспех, плохо. Раздевались мы медленно, нехотя. Ввалился Крючок (его перевели надзирателем в больницу). Зашел в моечную, для чего-то посчитал шайки, вернулся в предбанник. Вытащил из кармана кисет с красными цветочками, скрутил «козью ножку». Пригрозил:

— Кто вольное белье наденет — голяком до вахты и обратно!

Заметил у меня на шее лоскуток, подскочил. Не успел я отшатнуться, как он судорожно рванул его.

— Гражданин Крючок! — в испуге крикнул я и спохватился. Но было уже поздно: слово не воробей...

Кругом все прыснули.

— Какой я «крючок»?! — вскипел он. — Ты гляди... Зацеплю твой писательский язык, так до новых веников об этой бане помнить будешь.

Развернул лоскуток, впился в карточку. Притих.

— Жена?

— Да.

— Седая?

— Да.

— Извиняюсь!

Он вернул карточку и, вобрав голову в плечи, исчез.

Вечером обе «параши» были погашены необычайным «ЧП», молнией облетевшим больницу: заключенным, имеющим деньги на личном счете, разрешено подписываться на заем; подписка оформляется в КВЧ.

Я бегом в клуб. Там, за столом, покрытым куском кумача, сидели Лихошерстов и Кузник, несколько обескураженные. Перед ними лежали списки. На стене висел свеженаписанный лозунг: «Заем укрепляет могущество нашей Родины».

Я подошел к столу.

— Правда, можно?..

Лихошерстов заглянул в список.

— Пожалуйста. На сколько?

— На сто рублей.

Полковник и окружавшие его офицеры смотрели, как приближался к ним советский генерал, начальник Воздушной академии, младший санитар лагерного барака. А он шел, не сбиваясь с ноги. Остановился. Вытянулся.

— Гражданин начальник! Заключенный Тодорский по вашему приказанию прибыл.

— Ну... как у вас дела?

— Покорно благодарю.

— Сколько уже отсидели?

— Тринадцать лет.

— Сколько отстаете?

— Два года.

— Дотянете до конца?

— Пожалуй, дотяну, если здесь останусь.

— Значит, здесь хорошо?

— Трудны этапы, гражданин начальник, переброски. А на одном месте спокойнее.

Полковник согласно кивнул папашой.

— Товарищ Ефремов! Тодорский выполняет правила лагерного режима?

— Замечаний не имеет,— ответил начальник больницы.

— Ну и отлично. Вот вы и останетесь, Тодорский, здесь.

— Покорно благодарю.

— Без моего разрешения, товарищ Ефремов, никуда его не отсылать.

— Слушаюсь, товарищ полковник.

Евстигнеев стянул перчатку, посмотрел на окружавших его офицеров и снова натянул перчатку на правую руку.

— До свиданья, Тодорский!

— Честь имею кланяться, гражданин начальник!

Полковник направился к вахте.

Тодорский постоял, посмотрел вслед удаляющемуся начальнику и медленно, в раздумье, уже не солдатским шагом пошел назад, в барак.¹

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Минул еще один месяц из сотни тех, что были предназначены мне для страданий.

Как-то вечером, перед самым отбоем, в библиотеку заглянул Тодорский.

¹ В настоящее время Александр Иванович Тодорский, генерал-лейтенант запаса, живет в Москве, ведет литературно-общественную работу.

— Дай мне, товарищ, дня на два «Историю партии».

— В барак?.. Не советую, Александр Иванович. Идти с поклоном к оперуполномоченному?.. Не стоит дразнить гусей.

— Возможно, ты и прав. Хотел было почитать об одиннадцатом съезде нашей партии... Ну, да уж ладно!

— Так давай лучше вот что почитаем! Я достал с полки тридцать третий том Сочинений Ленина.

Тодорский изумился и обрадовался:

— У тебя есть ленинские тома?!

— Лихошерстов привез из Тайшета. Разрешили...

— Читай!— сказал он торопливо.

Медленно читал я слова Владимира Ильича из отчета ЦК партии XI съезду РКП(б):

«Я хотел бы привести одну цитату из книжечки Александра Тодорского. Книжечка вышла в г. Весьегонске (есть такой уездный город Тверской губ.), и вышла она в первую годовщину советской революции в России—7 ноября 1918 года, в давно-давно прошедшие времена. Этот весьегонский товарищ, по-видимому, член партии...»

У Тодорского по щеке скатилась крупная слеза. Он не стыдился ее.

Мы прочитали ленинский отчет съезду, и снова страницы о Тодорском, о его книжке, и не заметили убежавших часов.

Рванулась дверь. Вошел Крючок.

— Вы что тут, контрреволюцию разводите?! Да меня за вас на губу засадят! Скоро рассвет, а они... Р-р-ра-зойдись!— крикнул он по-фельдфебельски.— Завтра утром—это уж сегодня!— всю службу выгоняем на лесоповал!

Мы шли с Тодорским по тускло освещенному двору. Ночь была темная. Звезды скрывались за густыми тучами, сплошь покрывшими небо. Нам чудились запахи вешней воды, распустившихся березовых почек, виделась зеленая трава, хотя ничего этого ни в воздухе, ни на земле не было. Просто чудилось. Апрель ведь!..

Луч прожектора выскочил из вышки, пробежался по запретке взад и вперед, задержался на колючей проволоке и врезался в зону, поймал нас, осветил, ослепил и удрал назад, на вышку.

Ночь сделалась еще темнее, как это и бывает перед рассветом.

Около стола уже толпились медики, работяги, обслуга. Каждый, поставив свою фамилию на подписном листе, благодарил за разрешение. Спрашивали: а дадут ли, и когда, облигации на руки?

— Они будут храниться в финчасти Озерлага, — пояснил Лихошерстов. — Номера серий и облигаций скоро всем сообщим. Выигрыши будем выплачивать.

Прибегали дневальные из корпусов: как быть? Больные требуют, чтобы и у них была принята подписка.

— Ходячих оденем, — распорядился Кузник, — а которые лежат, пошлем к ним Эмира и библиотекаря.

Через весь заснеженный двор потянулись в КВЧ длинными чернеющими цепочками больные в бушлатах, из-под которых торчали короткие лагерные штаны или просто кальсоны.

В корпусах, среди больных, я и Эмир провели подписку за какой-нибудь час. В подписных листах лагерного пункта значилось около четырехсот фамилий. Не подписывались, конечно, да им и не предлагали, бендеровцы, власовцы и гитлеровские наймиты.

В седьмом корпусе возник инцидент. Больной, у которого не было на счете денег, категорически потребовал, чтобы и его оформили на пятьдесят рублей. Уверял, что деньги ему выслала дочь и он вот-вот их получит. Это сделать было нельзя. Тогда он застучал костылем:

— Жалобу в Москву пошлю, мать вашу за ногу!.. Чем я хуже других? Я не фашист! Я советский человек!

Но какое отношение подписка на заем имела ко всему, что упорно, волнуяще нарастало в зоне? Просто совпадение, решили мы.

А тут еще поздно, перед самым отбоем, вдруг позвали на киносеанс. И пока вертели фильм, учинили в больнице повальный шмон. Испортили-таки праздничное настроение!.. Обрыскали все бараки, лечебные корпуса, поднимали больных с коек, заворачивали матрасы, обшаривали тумбочки, аптечки, шкафы с инструментами.

Загадка с каждым часом углублялась.

* * *

Ночью меня разбудил Крючок. Подобревшим голосом сказал:

— Иди, батя, во второй корпус. Разрешаю. Фельдшер чего-то тебя вызывает.

Я понял, в чем дело.

Умирал Дабкин... Он лежал на спине, с помутневшими глазами и шептал:

— Всё... всё... всё...

Я молча сел у изголовья. О чем, что сказать?.. В палате не спали. Все смотрели на уходящего от них.

Движением бровей он позвал меня. Я опустился на колени возле койки, приблизил лицом к его белому измученному лицу.

— Про-щай... — с трудом произнес он. И вдруг неподвижные его руки зашевелились, ожили. Он обхватил меня за шею, еще ближе притянул к себе.

— А Сталин... Сталин... — прохрипел он. И в это мгновение глаза его остановились, дико искривился рот, руки сползли по моим плечам и упали на койку, как отрубленные.

Спустя дня два ранним утром шел я в канцелярию. По дороге к вахте плелась лошаденка, покрытая инеем, впряженная в розвальни. На них стоял сколоченный из неотесанных досок гроб. На крышке гроба сидел солдат с вожжами в руках, с автоматом за плечом и с сигаркой во рту. Увозили труп Дабкина, увозили на кладбище, что выросло на горке за больницей. Прибавится еще одна, подумал я, безымянная могила под серым сибирским небом. Будет торчать из земли еще одна фанерка и на ней — лагерный номер покойника.

За санями с гробом коммуниста Дабкина случайно шел человек, занятый своими мыслями, шел по какому-то своему делу, опираясь на палку. Это был дневальный, белогвардейский генерал Войцеховский... Какая жестокая, какая страшная своей внезапностью картина!

* * *

Через два дня мучившая всех загадка была разгадана и «парашники» посрамлены. В больницу прибыла комиссия Озерлага, во главе с полковником Евстигнеевым. Прибыла она не для переводов в ИТЛ, не для засылки кого-то на Колыму, а для очередного обследования.

День выдался теплый. Понемногу подтаивал снег. На стрехах появились первые сосульки. Тренькала капель. Чувствовалось — идет весна. Полковник, сопровождаемый группой офицеров и новым начальником больницы, ходил в расстегнутой шинели и в съехавшей набок серой каракулевой папахе. Обошел все корпуса, бараки и остановился перед клубом — длинным сараем, покосившимся на бок.

— Надо отремонтировать, — обратился он к Лихошерстову. — Представьте смету... А сейчас вызовите Тодорского.

Лихошерстов передал приказание мне.

Александр Иванович работал младшим санитаром в пересыльном бараке больницы. Отсюда каждое утро уходили на общие работы за зону выписанные из корпусов и ожидавшие этапа. Частенько из этого барака люди возвращались на койки. Выписывали второпях, лишь бы выписать, выполнить процент плана по санчасти. Тодорский был ответственным за чистоту помещения, за стирку, штопку и выдачу в бане белья работягам. Я застал его ковырявшимся в куче белья.

— Александр Иванович! Полковник вызывает!

Тодорский спрятал белье в кладовку, надел телогрейку, проверил, в порядке ли номер на спине, и тяжело вздохнул:

— Вспомнил полковник... Ну, что ж... пошли. Только вряд ли «из Назарета может быть что-либо путное»...

Он пошел солдатским шагом, но с опаской.

ИСКУССТВО

Д.м. Молдавский

НЕФТЬ И РАДУГА

Будем говорить о художниках Баку. О полотнах, рождающих радость, о современном искусстве, ярком и своеобразном.

Есть традиция начинать очерки о Баку одной и той же фразой:

— Я не был здесь столько-то лет, приехал и не узнал.

Я никогда не был в Баку, приехал сюда впервые, но узнал этот город. Это город стихов Владимира Маяковского и его блистательных очерков, где публицистика рождает эстетику, а эстетика тысячами нервов связана с реальной жизнью. В очерке о молодых столицах нашей страны Маяковский говорил: «Жизнь интереснее и сложнее поэтических и беллетристических книг о ней».

Я видел этот город на тысячах фотографий и на десятках лент кинохроники; вышки, уходящие в горы и подступающие к морским глубинам, врезались в память. Я запомнил романы и стихи Мехти Гусейна и Сулеймана Рустама, Самеда Вургуня и Расула Рза.

Говорят, что совсем другими стали улицы и совсем другими стали дети. Однако где-то здесь пробегала заплаканная, но храбрая девчонка — помню, ее по роману ленинградского прозаика, так проникновенно очертившего облик юной азербайджанки. А вот здесь, в этом подвале, работал, думал и мечтал полуголодный мальчик Гарегин — мы успели полюбить его, такого непосредственного, и такого человеческого, и такого своеобразного паренька из книги другого нашего писателя.

Я иду по Баку и узнаю его. Я узнаю воплощенную в жизнь мысль Маяковского. Это не громкие слова. Пока мы в залах «творческих союзов» красиво и долго разговариваем о чертах современного стиля, архитекторы Баку показали нам, что такое современность. Здесь строят здорово — новаторски, талантливо, с блеском. Можно написать поэму о любом павильоне в прибрежном парке. Достоин оды новый строительный район. Даже простая милицеевская будка, вознесенная над улицей, достойна восторжен-

ной рецензии! Павильоны с крышами, спасающими от жары, корпуса, полные света... Наша эстетика, эстетика, внесенная в мир революцией, нашла свое воплощение во многих стройках страны, но, пожалуй, в Баку она особенно наглядна. Архитектура социалистического Баку — это шаги по будущему.

И какими жалкими кажутся аляповатые и перегруженные деталями дома до-революционных хозяев города, и какими жалкими кажутся не менее аляповатые и пышные здания годов культа личности!

Говорят, что стиль современного города не традиционен. Это неверно. Только надо знать, что из старой традиции можно внести в жизнь, а что благополучно отдать на хранение музейным работникам. В удивительном, романтическом и ожившем свой век старом городе, запертом в крепости, есть строения, которые, вероятно, еще долго будут восхищать архитекторов. В том числе Девичья башня XII века с ее прямыми очертаниями, с удивительной скупостью деталей, там же — близко от нее — дворец ширваншахов. Это тоже почтенный комплекс зданий — ему больше пяти веков. И там тоже удивительная четкость и простота линий, целесообразность решений. Это — та традиция, которую полезно помнить (разумеется, не для простого копирования!).

Великолепен и радостен город Баку, так гармонично сочетающий в себе черты настоящего и будущего. Прошлое там тоже не забыто.

Я говорил об узнавании города. Я узнавал не только его кварталы и его людей.

Бывают такие удивительные ситуации. Каюсь, но впервые фамилии азербайджанских живописцев Михаила Абдуллаева и Надира Абдурахманова я узнал, получив немецкий и чешский журналы, посвященные нашему искусству. Было это несколько лет тому назад, и тогда, помню, облитые солнцем, очень яркие и свежие репродукции произвели на меня впечатление и даже устыдили: где-то не так уж далеко живут и работают интересные,

профессионально зрелые мастера, а я, как и многие ленинградцы и москвичи, интересующиеся искусством, узнаю о них почти случайно!

Я приехал в Баку, чтобы познакомиться с некоторыми картинами и некоторыми художниками. Меньше всего я ставлю перед собой задачу написать очерк современного искусства республики.

Но даже в этих кратких заметках я должен подчеркнуть, что искусство Азербайджана — это искусство ищущее, стоящее на пути подлинного новаторства.

Партия еще и еще раз показала всем нам, как далек путь наших поисков от пути буржуазных псевдонаторов. Мы с возмущением и презрением читаем «труды» апологетов абстракционизма, вроде М. Сефора, где доказывается преимущество искусства, которое ничего не изображает. Сефор так и пишет: «Абстрактно любое произведение, в котором нет ничего, кроме чистых элементов композиции и цвета». «Картину нельзя считать абстрактной, если художник включил в нее изображение реальной действительности, хотя бы в самых фантастических формах...» И дальше: абстракционизм — «диалог с холстом за закрытой дверью», «вечное искусство — искусство для искусства».

Абстрактное искусство, по словам М. Сефора, «призвано затронуть в человеческой душе некие отголоски внешнего мира, близкие снам, грезам, идеальным изображениям».

В этих словах — одна из характерных черт философии, легкой в основу абстрактного искусства, философии ухода от реальности в мир мифов, снов и грез, в поиски своего внутреннего подсознательного «я», ухода в «тайны духа». Смысл абстракционизма — в бегстве от жизни с ее борьбой, дезертирство, а то и коварный удар в спину. Конечно, такое «новаторство» нам отвратительно и чуждо.

Мы — за новаторство подлинное!

ЖИВОПИСЕЦ ИЗ АМИРАДЖАПА

Саттар Бахлул-заде немолод, но удивительно подвижен и стремителен. Он похож на героя Фенимора Купера или Майн-Рида. Типичный «краснолицый брат». Есть в его внешности нечто романтическое. И даже самый беглый взгляд на его полотна говорит, что романтика есть и в его творчестве.

Я вхожу в мастерскую Саттара Бахлул-заде и не успеваю представиться. Не успеваю сказать и двух слов, как передо мной одно за другим начинают возникать полотна — веселое многоголосье неба и зреяя желтизна земли.

Живописец ставит у мольберта и у стен свои картины. Сколько ярности, сколько мудрой простоты в этих горах, деревьях, тропах, облаках!

Великолепны маки — они расцветают на фоне желтых скал или камней, зрелые, пышущие солнечными огнями... Сно-

ва маки... Букет осенних цветов... Картины весны...

Художник стремительно ходит по своей большой мастерской. Он приносит всё новые картины и наброски.

Снова весна. Весна на полотнах Бахлул-заде не громкая, не шумная — это робкая весна, задумчивая, пробуждающаяся. В этом обаяние картин художника.

Не все картины Саттара Бахлул-заде нравятся мне одинаково. Некоторые — более ранние — чересчур насыщены деталями.

Но в большинстве своих вещей Саттар Бахлул-заде — художник ищущий, отнюдь не боящийся успешностей, отвлеченного и обобщенного решения. Его новые работы «Кипарисы» и «Ивы» — дерзкая попытка показать поэтичность всего лишь несколькими мазками, яркими и точными. Его наброски к «Ночному Баку» — попытка заново открыть сочетание цветов, которые рождаются на грани света и тени, — очертания гор, блеск воды, фонари над бухтой.

Я видел полотна Саттара Бахлул-заде и у него дома, и в музеях, и у друзей художника. Есть в них поэтичность, задумчивость и дерзость.

Саттар Бахлул-оглы Бахлул-заде родился в селе Амираджан, в нескольких километрах от Баку.

Расим Эфендиев, автор интересной книги о художнике, пишет, что селение это было цветочным оазисом среди суровой природы Апшеронского полуострова. И юный Саттар «очень любил деревенские праздники, игры, яркие одежды парней, пестрые наряды девушек, с восхищением он рассматривал разукрашенные народными мастерами различные предметы быта — расписные высококолесные арбы, деревянные резные ложки, разноцветные сундуки; на сельских ярмарках с восторгом разглядывал он резные игрушки, джорабы, оранжевые с желтым и зеленым оттенком и с прекрасными орнаментами».

Все это безусловно так.

Правда, когда я был в Амираджане, это был уже пригородный поселок, несущий черты иной эстетики: нефтяные вышки подошли к нему вплотную, отодвинув в сторону многокрасочность древнего быта. Но какие-то краски, какие-то черты старого здесь сохранились.

О своем детстве Бахлул-заде рассказывал мне немного. Он только вспоминал своего школьного учителя Мамед-али Исазаде, который когда-то, много лет назад, обратил внимание на талант маленького школьника. Художник гораздо больше говорил о живописи и поэзии: народная песня, Шостакович, Вах, Бетховен, композиторы родного Азербайджана — все это источник его радости и волнения. И, конечно, поэты.

Но есть имя, которое Саттар Бахлул-заде приносит с особой интонацией. Это имя Владимира Фаворского — русского художника, у которого он учился в Москве.

У Бахлуд-заде были хорошие учителя: Фаворский, Гончаров, Бруни... Автор книги о нем пишет, что он изучал и «творческие принципы пейзажистов прошлого — Коро, Левитана и многих других». Это справедливо. Но, видимо, излишняя скромность помешала назвать здесь и другие имена, в том числе имя Клода Моне, замечательного французского живописца, который открыл новое видение цвета и оказал влияние на все последующее искусство.

С. Бахлуд-заде — художник современный. Он лиричен, он тонок, он экономен в средствах выражения. И главное — со своим собственным почерком. Его не спутаешь ни с кем другим. Возьмем ли мы его «Царство яблок» — горы со снеговыми вершинами, тополя, бурное цветение садов, или его «Каспийскую красавицу» — море, вышки, волны и облака, — мы всегда увидим почерк художника, непередаваемые черты его творческого характера.

О, легкокрылые краски азербайджанского художника. Я еще не раз вспомню в нашем Ленинграде «Лес Чахмах», и «Весеннюю песню», и «Цветущую землю» — уходящие в небо дымки листвы, кипучую радость света, всю его нежную, такую задушевную и лиричную живопись.

Одна из его работ названа «Зеленый ковер». Это не зря: в Азербайджане вековая культура ковроткания. Каких только замечательных ковров нет в музее искусства им. Р. Мустафаева. Геометрический орнамент и орнамент цветочный, реалистическое изображение людей, садов, гор и геометрический условный мир, тоже многокрасочный и тоже веселый. Некоторые ковры — законченные художественные произведения. <

С. Бахлуд-заде назвал свое полотно «Зеленый ковер». Это не только дань традиции: это еще и утверждение своей связи с тем искусством цвета, которое вырабатывалось веками и которое способно оплотворять современное искусство с не меньшим правом, чем остальные жанры народного творчества! Гармонична, радостна и многоцветна картина живописца. Тополя, взлетающие к небу, цветущие кусты и зелень, мягкая, свежая, веселая зелень, еще не опаленная солнцем и зноем.

С. Бахлуд-заде дружен с молодежью. Это важная черта в жизни каждого художника. Он не только старший товарищ, он еще и просто товарищ. И когда он говорит о работах Тогрула Нариманбекова или Таира Салахова, в его голосе звучит признание мастерства и хорошая гордость за успехи друзей.

С. Бахлуд-заде — поэт до мозга костей, о нем ходят легенды и новеллы. Про него рассказывают, будто он ходит по Баку и вдруг, нарушая все правила, срывает с городской клумбы приглянувшийся цветок. Никто не возражает. Все знают, что художник перенесет этот цветок на полотно картины, что он даст ему вторую, долгую жизнь!

Мы ездили с художником смотреть на-

скальные изображения, сделанные много веков назад; мы гуляли с ним по старому городу; мы ходили по новому Баку. Он очень много знает и очень напряженно чувствует современность, этот автор горных пейзажей, певец садов и цветов — живописец из Амираджана Саттар Бахлуд-заде.

ОБ ОДНОМ ГРАФИКЕ, О ПРИКЛАДНИКАХ И ОБ ОДНОЙ ПРИТЧЕ

Я должен начать с извинения. Буду говорить об одном графике, хотя в Азербайджане есть немало художников этого жанра, о которых следовало бы писать. Я в долгу перед Расимом Бабаевым, очень современным, очень строгим графиком (его живопись также достойна внимания), в долгу перед Кязимом Кязим-заде, патетическим, приподнятым, романтическим художником, в долгу перед Юсифом Гусейновым, и перед Эльмирой Шахтатинской, и перед очень многими другими. Но так получилось, что я познакомился прежде всего с Аликбером Рзакулиевым, заинтересовался его творчеством и его судьбой, постарался войти в его художественный мир, и теперь хочу рассказать об этом галантливом графике и интересном живописце.

Впервые я увидел работы художника в музее имени Р. Мустафаева. Это были ранние его работы — небольшие холсты. Мне сказали, что когда-то, еще в двадцатых годах, их увидел в Москве Диего Ривера, внимательно поглядел и сказал, что из молодого художника вырастет мастер.

Аликбер Рзакулиев учился в Бакинском художественном техникуме, потом Бхутемасе.

Впереди открывался путь живописца. Но все получилось иначе.

По моей просьбе Рзакулиев написал свою короткую биографию. Сразу за словами о его учителях идет строчка: «На каникулах в Баку арестован...» Он просидел около двадцати лет. Жизнь была сломана.

Я прочитал эти строки и подумал, что, наверное, новые работы Рзакулиева должны быть трагическими, или ущербными, или нести разочарование. Но я не учел одного — в автобиографии Рзакулиев написал и другое: «Я член ВКП(б) с 1922 года... Спасибо нашей Коммунистической партии, давшей мне возможность снова работать». Эти слова объяснили мне многое и в образе самого художника и в его творчестве.

У Рзакулиева есть свое видение мира, есть свой взгляд на вещи. Он очень сдержанный художник, но художник, полный веры в людей, в мир.

Рзакулиев сумел пройти мимо искушений формального новаторства, избежал тех декадентских вывихов и лжеисканий,

о которых говорил Н. С. Хрущев при посещении выставки московских художников.

В мастерской я долго разглядывал его гравюры. Иногда это были вариации на темы его же старых вещей. Так он повторял собственные художнические впечатления о старой школе. И смотря на них, я вспоминал строки классиков и, конечно, в первую очередь Сабира. (Кстати, А. Рзакулиев сделал очень интересный портрет поэта, прекрасно передающий, на мой взгляд, те черты, которые так рельефно встают в его стихах.)

Художник показывал в основном свои работы из цикла, который удивительно скучно назвал «Рыбное хозяйство», и из цикла «Студенты».

«Рыбное хозяйство» — неудачное название, а гравюры получились наполненные жизнью, свежие, сильные!

То несколько наивное восприятие мира, которое художник сумел пронести через очень тяжелую жизнь, здесь особенно ясно.

Они сказочны — его северюги и его осетры. А в образах реальнейших парней-рыбаков и не менее реальных женщин, несущих бочонки или укладывающих рыбу, есть нечто эпическое — это-то и создает прелесть жизненности и непосредственности. От гравюр Аликбера Рзакулиева пахнет морем, потом, солью!

Другой цикл его работ называется «Студенты». Это большая сюита, куда входят изображения девушек, склонившихся над книгами, и девушки в лаборатории, и группы молодых людей, ожидающих автобуса, чтобы ехать куда-то в район, на поля, на практику. Все, что я упомянул, — это, так сказать, внешние сюжеты работ А. Рзакулиева. Но всюду есть еще и внутренний сюжет — великолепное озарение юности, с ее угловатостью, ее оптимизмом и ее энергией, которую так трудно передать на полотне или бумаге!

...Лист за листом ложатся на стол. В большинстве это линогравюры. Есть и рисунки. Очень хороши у художника портреты детей. Они очень живые, очень реальные, эти мальчишки. То они застыли перед телевизором, то они с подчеркнутым вниманием глядят в учебник, то они засыпают, нагнавшись за день!

Портреты писателей. Сабир. Самед Вургун. Детский писатель Рзакулиев. Мне трудно судить о сходстве с оригиналами. Но могу говорить о близости к тем образам, которые встают перед читателями их произведений!

А вот еще несколько гравюр. Это рассказ о жизни деревни, о жизни колхоза, правдивый, неприкрашенный. Здесь уместно вспомнить историю, которую рассказал мне художник. Речь шла об одном мастере, имя которого я не назову. Он сделал небольшую гравюру, изображающую женщину, которая доит козу. Композиция ее, решение — все это было угадано очень точно. И товарищи художники, которые видели эту работу, говорили автору хоро-

шие слова. А потом приехал дальний родственник из деревни. Он посмотрел и сказал: «Дорогой мой, как ты мог? Почему ты посадил доярку сзади, а не сбоку?» И гравюра так и осталась у художника дома, осталась как напоминание о том, что воспоминание — вещь важная, но только близость к натуре способна передать жизнь правдиво.

Аликбер Рзакулиев работает над циклом «Наши дети» и серией «Женщины». Трудно говорить, как будут выглядеть эти работы в целом. То, что я видел, очень значительно и очень интересно. Но, пожалуй, изо всех работ художника самое большое впечатление на меня произвел его «Архангельский пейзаж»: я почувствовал этот мир, где такое студеное небо и студеная вода. Баржи, буксиры и бревенчатые дома. Все это сохранило черты нашего Севера.

...Я выхожу от А. Рзакулиева. Я пересекаю город, широкий, приветливый и яркий. Город, украшенный памятниками и статуями. Не буду писать ни о фигуре С. М. Кирова, стоящей над Баку (скульптора П. Сабсая), не буду говорить и о скульптурах Фуада Абдурахманова. Но есть область, о которой надо сказать хотя бы несколько слов, потому что она все ближе и ближе подходит к задачам жизни, вызывает все больший интерес, а говорим мы о ней до неприличия редко и мало.

Речь идет о прикладном искусстве. Давно ли художники-прикладники считались у нас почти подсобниками? О их работах говорилось редко, только в связи с выставками народного творчества.

Между тем, в современном городе, в современной жизни, в современной эстетике на долю прикладников выпала большая работа. Они должны соединить практическую необходимость и красоту. Они должны сделать так, чтобы каждый окружающий нас предмет говорил о прекрасном. Они-то должны многое и многое делать. К сожалению, те самые люди и те самые организации, на которых лежит обязанность сделать изделия художников-прикладников массовыми, донести их до тысяч, миллионов людей, далеко не всегда чувствуют свой долг!

К чести Баку надо сказать, что здесь многое делается. Мы любовались и деревянными инкрустациями, и металлическими врезками, и изящными барельефами. Но это только начало. Бакинские прикладники имеют право на большее. Мозаику, фаянс, стекло я видел в залах музея, где готовилась выставка, и, что было особенно приятно, уже в жизни, уже в быту. (Правда, гораздо реже, чем хотелось бы!)

Я запомнил имена Гусейна Гусейнова, и Тельмана Зейналова, и Гаджибалы Раджабова, и Мирзоага Карфарова, и Тофика Агабабаева, и Гасанага Алекперова, и многих других молодых художников (многие из них, отмечаю это с гордостью ленинградца, окончили училище имени Мухоминой). Это люди, которым принадлежит

художественное будущее города. Я видел десятки созданных ими предметов. Я видел витражи и вазы, блюда и сервизы. Я видел поиски новой пластики и новых решений.

Иногда даже прикладникам предъявляют требование внешнего правдоподобия. Хотят, чтобы человеческое изображение на тарелке выглядело как фото, а витраж напоминал старомодную газетную рекламу. Не нужно это! Правда и правдоподобие в искусстве имеют мало общего. Аликбер Рзакулиев, рассказавший мне притчу о доении козы, был справедлив: в искусстве нельзя врать. Но в искусстве надо фантазировать.

ВНИМАНИЕ, ЖИВОПИСЬ!

Хозяин комнаты худ, мал, небрит. Он чрезвычайно возбужден и, пожалуй, зол. Темперамент не позволяет ему ни остановиться, ни присесть. Он ругает всех вокруг. Заодно и самого себя. Первое впечатление — не очень-то в его пользу. Но я твердо помню, что пришел к живописцу. И хорошо знаю, что судить поэтов по их внешности, кинозвезд по заявлениям в домоуправление, а художников по их речам — нельзя. С художниками надо знакомиться по их картинам.

И я прохожу два метра, отделяющие Шмавона Мангасарова от его полотен.

И все меняется.

Шмавон Мангасаров — живописец старшего поколения. Он демонстрировал свои работы на выставках еще двадцатых годов. Их выставляли в Баку, в Тбилиси, в Москве, в Филадельфии. О нем писали в «Правде», в других газетах.

В музеях я видел его ранние работы. Врезалось в память полотно «У ручья» (другое название — «Колхозный дворик»). Яркие, сочные краски, смелые, чуть стилизованные очертания людей. Запомнил и другое — «На сушке хлопка»: белая громада волокна, а на переднем плане — группа женщин, ярких, улыбчивых, радостных. У молодого Мангасарова, конечно, перемежались влияния, но выбранный путь его был совершенно определен и четок. Это был путь поисков, путь трудный. Во всяком случае, художнику в годы, которые мы называем теперь «годами культуры личности», предъявляли всевозможные обвинения. Обвинения исчезли, ушли, растаяли, а картины остались.

Я не пишу исторический очерк или монографию о живописце. По совести говоря, в мастерской Мангасарова есть и работы, сделанные явно в расчете на дурной вкус. Но много работ, о которых не могу не сказать с восхищением и интересом. Прежде всего, это галерея очень ярких женских портретов. Есть что-то гордое, величественное, благородное в его портретах азербайджанских женщин. Есть особый, сдержанный восторг в облике простых людей, созданных им.

Мангасаров немало поездил по респуб-

лике. Он бывал и на чайных плантациях, и у хлопководов, и, конечно, у нефтяников. Есть черта, которая мне нравится в его нынешних картинах и которой, пожалуй, не было у Мангасарова молодого: умение увидеть мир в движении, в развитии.

Его ранние работы, хотя бы очень яркая «Ковка буйвола», были подчас фрагментарны, носили черты откровенной стилизации. Казалось, художник стремится внести в современность всю прелесть средневековой миниатюры, ничуть не изменяя ее приемов и решений. Новые работы Мангасарова реалистичнее, глубже, цельнее. Его натюрморты — то изысканные цветы, то самая обыкновенная картошка, его пейзажи, изображающие восход, его многофигурная композиция — все это радует яркостью и своеобразием.

Из более ранних работ мне хотелось бы упомянуть «Смерть Меджнуна на могиле Лейли» по мотивам поэмы великого Низами. Вот лежит Меджнун, обнаженный, исхудалый, живое надгробие любви, а вокруг удивленные и покоренные им звери. Есть настоящая пластичность в этом полотне, высокая человечность и глубокое проникновение в характер.

Мангасаров — автор огромного количества интересных полотен. В силу инерции прошлых лет, далеко не все они попадают на выставки, далеко не все становятся известны зрителям (хотя о нем были статьи в центральных газетах). А жаль! Его труд достоин всяческого уважения и интереса.

...Шмавон Мангасаров ходит по комнате и ворчит. Он чем-то недоволен. Ах, да, ему не нравится собственная последняя работа. Ну что же, бывает... Но вот предстоящая работа достойна внимания. Я подхожу к двум полотнам, стоящим у стены. Два женских портрета. Две девушки. Одна из них, по-видимому, азербайджанка, другая — русская. Обе они красивы той высокой красотой юности и мысли, которые превращают даже некрасивые лица в лица красавиц, которые заставляют нас любоваться ясностью и жизнерадостностью.

Но есть нечто большее в этих портретах. В девичьих лицах скрыта глубокая мысль, что-то объединяет эти два разных полотна.

Художник ставит передо мной еще несколько холстов.

Возникает галерея характеров. Это всё — женщины, разных возрастов и разных национальностей. Один за другим рассматриваю эти портреты. Кажется, их больше двадцати. В одном я вижу черты матери, в другом — возлюбленной, в третьем — сестры. И кроме всех этих черт, в них есть что-то объединяющее.

Трудно пересказывать содержание поэмы. Еще труднее рассказывать содержание картины. На картины надо смотреть. Но мне кажется, что объединяет всю эту галерею женских образов чувство внутренней удовлетворенности, то чувство,

которое приходит тогда, когда ты сознательно и точно определил свое место среди людей.

Я спрашиваю Шмавона Григорьевича, кого изображают эти полотна. Он отвечает, что рисовал девушек со швейной фабрики, что это бригада коммунистического труда, что все эти девушки, женщины знамениты у себя на производстве.

Да, конечно, совсем уж не обязательно обставлять картину всеми деталями рабочего места! Нам кажется, что куда важнее передать комплекс чувств и мыслей, человечность труженика!

В книге отзывов о выставке Мангасарова, которая была несколько лет назад, есть разные оценки его работ. Но несомненно одно: перед нами интересный, ищущий художник. Назым Хикмет писал о нем: «Вместо того чтобы идти по легкому, спокойному пути подражания, копирования и создавать произведения, которые бы без труда воспринял обыватель, Мангасаров искал, он боролся, чтобы внести новое в советскую азербайджанскую живопись».

Это справедливые слова.

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ ИСКАНИЯ

Поиски идут по-разному. И с разным успехом. Правда, слово «поиски» в Баку чаще — и справедливо — относится к нефтяникам, хотя вполне применимо и к искусству. Я сказал «в Баку», но и в Ленинграде поиски инженеров и конструкторов совершенно явно опережают поиски поэтов и живописцев. Нет, я не хочу ставить знак равенства между мастерами бурения, чьи вышки охраняют Баку со стороны гор и со стороны моря. Прежде всего потому, что в технике никто не будет требовать освоения способов добычи нефти прошлого века. Есть новые, более эффективные. В искусстве все по-другому. Иногда следует заглянуть в прошлый век, а иногда даже в палеолит...

Вот такой разговор и вели мы с Тогрулом Нариманбековым, проходя от надгробий не то четырнадцатого, не то шестнадцатого века, лежащих во дворце ширваншахов, к району новейшего строительства.

Новаторство, поиски — неприменная черта искусства. Распознать и оценить новатора, определить его талант — для этого тоже нужно дарование. Увы, им обладают не все. Есть в Баку живописец, о котором говорят, по-моему, гораздо меньше, чем следует. Это Тофик Джавадов, человек молодой, безусловно талантливый, ищущий.

Я был у него в мастерской. Первое впечатление от его работ — плакатность, резкость красок, подчеркнутая прямолинейность изображаемого. Он берется за сложные композиции, ищет нехоженые тропы. Мне показались интересными его картины, изображающие людей с эстакады в необычном ракурсе, портрет скалевара,

детский портрет. Образы Джавадова резки, круты (я не беру в расчет его нарочитые стилизации, ученические подделки под разные «измы» — это, к счастью, у Джавадова не серьезно).

Этот человек знает и Ван-Гога, и Пикассо, и, безусловно, современных мексиканцев. Он учится у многих, а находит он самого себя. Грубоватость, резкость тонов, творческое упрямство, его находки (ну хотя бы его «Резервуары») — все это интересно, все это волнует.

Терпеть не могу новаторства для новаторства, художественных вундеркиндов, не умеющих видеть жизнь и пытающихся возместить свое неумение эксцентричностью и заумью. Поиски Джавадова — иного свойства. Джавадов — художник, безусловно, социальный. Он весь в сегодняшнем дне. Более того, он весь в родном городе. Индустриальная тема, которая так трудно входит в художественное сознание очень многих наших современников, для него органична и близка. Его пленяет размах строительства, он видит в нем рождение нового характера. Он не принадлежит к той категории «молодых», о которой редактируемый Маяковским журнал писал: «Бойтесь выдавать случайные искривы недоучек за новаторство, за последний крик искусства. Новаторство дилетантов — паровоз на курьих ножках». В лучших работах Джавадова присутствует современность, присутствует рабочий человек. Это его тема. Это направление его творчества.

Путь поисков извилист. Он требует особого внимания. Было бы непростительной ошибкой, если бы вдруг Тофик Джавадов отошел от важнейшей темы в область чистого эксперимента. Для того чтобы это не произошло, человеку надо помочь — помочь советом, помочь организацией выставки, помочь, преодолевая инерцию вкуса.

После знаменитого посещения руководителями партии и правительства выставки московских художников наши критерии стали строже, мы еще непримиримее относимся к буржуазному формализму, абстракционизму, сюрреализму. Но тем больше прав у нас для борьбы за подлинно новаторское, социалистическое искусство. Тем внимательнее мы должны быть к творчеству молодых, оберегая их от влияния тлетворной буржуазной идеологии и поддерживая все духовно близкое нам.

Я разговаривал с Джавадовым. Он показался мне знающим, думающим. Когда мы говорили о корнях его искусства, о том, как появляется новая форма, он, в отличие от десятков других молодых живописцев, не назвал мне фамилии прославленных мастеров. Он сказал другое. Он заговорил о скалах, о горах, о причудливом рисунке, высеченном на них временем. И еще о наскальных изображениях первобытного человека, найденных археологами в зоне Кобыстана, недалеко от селения Дуваны. Он показывал мне снятые

им кальки с этих изображений и свои зарисовки.

Когда я вышел из мастерской Джавадова, я понял, что мне необходимо побывать в Кобыстане, поглядеть на древние рисунки. Об этом я заговорил с Тогрулом Нариманбековым и с Саттаром Бахлузаде. Мои новые друзья подумали, посоветались и вдруг, так же как и я, поняли, что без немедленного посещения Кобыстана жизнь не в жизнь...

И вот на следующий день они, я и художник-реставратор Фархат Гаджиев выехали в гости к человеку эпохи палеолита.

Очень бы мне хотелось порадовать читателей какой-нибудь басенкой, вроде истории о снежном человеке. Сколько сказочных образов, сколько опереточных поворотов сюжета можно было бы использовать в нашем рассказе! В жизни все бывает проще и суше. Но не зря я все-таки назвал эту главку «Извилистый путь искания»: это относится не только к работам молодого живописца, это еще относится и к нам, отправившимся на поиски наскальных изображений. Только здесь эти слова надо понимать, пожалуй, иронически: первобытные рисунки Кобыстана давно открыты. Их знают и изучают ученые Баку и ученые других стран.

Но мы-то дороги к ним не знали!

Все было... Застрелили в грязи, перебирались через ручьи, пережидали колоссальную отару овец и наконец добрались! Добрались, увидели и ахнули!

Я и раньше видел наскальные изображения в Северо-Восточном Казахстане. Я знал их по рисункам, по схемам. Но здесь я снова и снова (и не только я, мои спутники-художники в равной степени) восхищался лаконичностью, дерзкой простотой и цельностью всех этих оленей, охотников, движущихся фигурок. В местности, названной Бег-Даш, мы видели джайранов и всадников, мы видели быков и человечков. Автор их, человек далекого прошлого, видел мир в движении. И насколько старомоднее выглядят полотна наших хорошо знакомых эпигонов, впикивающих в свои картины и скульптуры все морщинки, складочки и лепестки, но неспособных передать живую и настоящую жизнь...

Мы едем обратно.

Мы едем в Баку, в город, сверкающий вечерними огнями. Огни всюду. Они над горами, над вышками, они над морем — там, в море, еще работают. Впрочем, работают и здесь, на берегу. Мы как раз проезжаем мимо бухты Ильича. И вспоминаем подвиг бакинских рабочих, своими руками — такая уж тогда была техника! — засыпавших огромный кусок заводняемой морем территории и поставивших на ней нефтяные вышки. Этому посвящена, между прочим, картина Надира Касумова, воспроизводящая на основании исторических материалов этот важный момент истории.

И вот мы уже мчимся по улицам, мимо садов, вдоль приморского парка. Велико-

лепны и радостны очертания новых павильонов и новых домов. Да здравствует современность искусства, вызванного к жизни нашим трудом!

ЛИНИЯ И МЫСЛЬ

Я познакомился с Тогрулом Нариманбековым еще до приезда в Баку; собственно, не с ним, а с некоторыми из его работ. Они выставлялись на всесоюзных смотрах, репродуцировались. Запомнилось полотно «Расстрел бакинских комиссаров». Где-то на заброшенном клочке земли стоит группа людей. Русские, грузины, армяне, азербайджанцы... Они стоят подерживая друг друга, измученные пытками и голодом, израненные, полуживые. Но они стоят и смотрят прямо перед собой, куда-то через головы палачей, на нас, в будущее. Резко очерчена поднятая рука одного, резко выписана мускулатура другого, поднимающегося из последних сил, чтобы взглянуть в лицо смерти как положено смотреть людям, умирающим за свободу!

Я запомнил его пейзажи. Запомнил натюрморты. Потом приехал в Баку и натолкнулся на полотна, утяжеленные второстепенными наблюдениями, лишенными цельной концепции. Впрочем, сразу же оказалось, что работы эти — ранние, ученические.

Потом я встретил Тогрула Нариманбекова, небольшого, худощавого, с острокопечной бородкой, выдающей его молодость.

Мы почти сразу установили внутренний контакт, — может быть, потому, что Тогрул учился в Вильнюсе, а я очень люблю этот город, с его запоздалой и какой-то совсем не суровой, а скорее лиричной готикой, смещением стилей и особой теплотой.

Тогрул Нариманбеков учился здесь, знакомился с шедеврами европейской и русской классики. Хорошо знает он и литовских художников. Мы говорили с ним о Чурленисе, о его живописной музыке и его музыкальных картинах. Выяснилось, что молодой живописец хорошо поет, учился в консерватории.

Потом вместе смотрели работы Тогрула. Должен сказать, что они показались мне не просто работами одаренного человека. Сквозь сильный рисунок, сквозь яркие краски, сквозь оригинальную композицию проступала ясность человеческих чувств. Одно за другим проходили передо мной полотна, все шире и шире раскрывающие главное — человека.

«Счастье». Эта картина изображает женщину, раскинувшуюся на цветастом ковре; руки ее заложены за голову. Она глядит в небо, обыкновенная, я бы сказал даже, некрасивая женщина. Рядом с ней — маленький, совсем маленький мальчик. Есть в этом полотне ощущение счастья, простого, обыкновенного, знакомого миллионам женщин на земле. Того счастья, которое называется счастьем материнства.

Я видел портреты Нариманбекова: портрет его друга Саттара Вахлул-заде, «Портрет старушки» и много других законченных работ и набросков. Каждый из них создавал иллюзию личного знакомства. Теперь мне кажется, что я знаю даже тех, кого лишь мельком видел на портретах Нариманбекова, — с их мыслями, характерами и даже маленькими слабостями.

Живописец не боится утрировать, подчеркивать характерные черты. Для него не существует равенства деталей. Его метод прямо противоположен копированию действительности. Он воссоздает ее в своем единстве.

Тогрул Нариманбеков — первоклассный рисовальщик. Много раз я видел, как он рисует, уверенными, резкими линиями, схватывая самое характерное, самое главное. Резко очерчены его герои. Линия, выравнявшаяся из-под карандаша или кисти, говорит сама за себя, она создает рельефы, объем, помогает цвету.

Выше, говоря о картинах, я главным образом рассказывал о впечатлении чисто литературном. Но, разумеется, это лишь маленькая доля ощущения от картин Нариманбекова. Синяя юбка женщины из картины «Счастье», бордовая ее кофта, алая рубашка младенца — это какой-то кусок радуги, осветившей, как рассказано в легенде, землю и провозгласившей радость и мир.

У Нариманбекова есть полотна и рисунки, повествующие о нефти, нефтяниках, о селе и колхозниках, есть десятки произведений, посвященных увиденному в нашей жизни. Почти всегда художник находит и новый ракурс, и новый поворот темы. Я сказал бы, что для его дарования характерно общественное понимание темы. Во всяком случае, самые лучшие, самые живописные его полотна социально значимы.

Тогрул Нариманбеков участвовал во многих выставках и в Баку, и в Тбилиси, и в Москве, и за рубежом. Он и сам бывал в Польше, привез оттуда много интересных этюдов, которые демонстрировались в Москве на выставке «Мир глазами молодых». Как-то я спросил Тогрула о том, кого он любит из художников прошлого и из современников. Ответ звучал как продуманная формулировка:

— Я люблю непосредственность народного искусства, эмоциональность Ван-Гога, образность мышления Фаворского. У Пикассо люблю разнообразие ощущений, идущих от жизни.

Я понял, что это не просто случайная реплика. В какой-то степени это программа, это разговор об учителях по большому счету.

Мне особенно радостно было слышать это, потому что никаких непосредственных влияний названных мастеров на Нариманбекова я не обнаружил. По-видимому, он пережил их как-то внутри себя, незаметно.

Впрочем, одно влияние у него ощутимо.

Это — влияние времени. Тогрул Нариманбеков — в поисках. Он ищет не самого себя — черты художественного характера налицо. Он ищет новые способы выражения бытия, взгляда на мир. А взгляд этот, как и положено взгляду нашего современника, оптимистичен, широк и философичен.

Из этого, разумеется, не следует, что поиски заставили Тогрула Нариманбекова забыть о мудрой простоте как одной из основ связи искусства и зрителя. Художник сам рассказал мне одну историю.

Тогрул работал где-то в горах. Он жил в доме каменщика, который казался ему человеком родственной профессии. В общем, так оно и есть: настоящий каменщик — всегда где-то в глубине души художник. Хозяин был гостеприимен и не навязчив. У него была только одна просьба: перед отъездом написать ему на стене эпизод из поэмы «Фархад и Ширин», который, как казалось ему, особенно подходил к горам и скалам тех мест.

Смотреть картину собралась вся семья каменщика. И, взглянув на свою работу вместе со всеми, художник вдруг увидел, что не рассчитал угол зрения, и фигуры получились, пожалуй, чересчур приземистыми. Но он промолчал, надеясь, что никто не заметит этого. И он ошибся, молодой живописец из Баку.

Каменщик, похвалив работу, тем не менее сказал: «Что-то они у тебя толстоваты...» И здесь дочь его, осторожно сказав, что картина, конечно, красива, заметила: шея-де у Фархада чересчур тонка.

Каменщик выслушал ее и сказал: «Фархад ломал скалы. Он страдал. От таких страданий не только шея могла похудеть — он сам мог стать собственной тенью».

Эту историю Нариманбеков рассказал мне как бы между прочим, но было очевидно, что этот талантливый и думающий человек хранит ее в памяти не только как занятный эпизод. Он знает, для кого работает. Серьезно. Вез скидок.

Тогрул Нариманбеков молод. Он в поисках. Он в раздумье. Главное у него есть — собственный взгляд на мир, собственное направление поисков.

СОВРЕМЕННОСТЬ. МУЖЕСТВО.

СИЛА

Таир Салахов. Вам не надо его представлять. Его работы демонстрировались много раз в Баку, в Тбилиси, в Ереване, в Киеве, в Москве... Вы могли их видеть на страницах «Огонька», «Юности». Таир Салахов представлял нашу живопись в Польше, в Венгрии, во Франции, в Соединенных Штатах Америки. Короче говоря, Салахов — один из наиболее известных молодых живописцев. К этому можно смело добавить — и талантливый.

Это очень цельный художественный характер, целенаправленный, строгий к

себе, значительный и в поисках и даже в просчетах.

Таир Салахов любит Маяковского. Это не просто любовь к превосходному поэту. Мы говорим с ним о поэме «Про это», мой собеседник цитирует стихи о Баку. И вдруг мы оба перестаем говорить о Маяковском в прошлом. Есть слишком важная тема, чтобы ограничить ее даже самыми блестящими стихотворными строчками. Маяковский ведь был не просто большим поэтом. По сути дела, эстетика будущего, видение прекрасного в грядущем — все это есть и в его стихотворениях и в его статьях.

Мы говорим о заметках Маяковского, посвященных впечатлениям от французских художников, и о будущем советской живописи. Мы вспоминаем его стихи и говорим о работах здешних архитекторов.

Я и раньше был уверен, что Таир Салахов должен любить Маяковского. И рад, что не ошибся. Ощущение нашего времени, органичность восприятия техники, мужественность и лиризм, умение поверить в мышление зрителя — очень многие черты, которые я почувствовал в Салахове, связаны с поэзией и эстетическими взглядами Маяковского.

Таир Салахов закончил Московский художественный институт имени Сурикова. Первыми работами, обратившими на себя внимание, были полотна «Эстакада» и «С вахты». Это были вполне профессиональные, умелые работы, в которых ставились темы: человек, труд, техника. Художник как бы нащупывал в них собственный почерк, собственное восприятие действительности. Была в них и свежесть, внутренний подъем и многие другие качества, которые присущи живописцу и сейчас.

Картина, с которой начинается Таир Салахов таким, каким мы его любим, появилась несколько позднее. Речь идет о полотне «Утренний эшелон», репродуцировавшемся много раз.

Эта вещь достойна особого внимания.

Для азербайджанской живописи техника, труд, нефть органичны. Даже те живописцы, которые, казалось бы, далеки от восприятия современной индустрии, очень легко включают в свои картины вышки, нефтяные резервуары и другие черты, определяющие нынешний пейзаж Апшерона.

Молодой человек Таир Салахов, выросший в Баку и воспитанный на Маяковском, воспринял труд нефтяников и технику как органические черты жизни.

Его «Утренний эшелон» по своему сюжету предельно прост. Мост. Цистерны с нефтью. Под мостом — мчащиеся машины. Вот и все.

Вы спросите: а где же герой, где же труд?

Мы вступаем в сложную область, отвечая на этот вопрос. Дело в том, что в живописи кроме изображенного на полотне

есть еще один персонаж; если хотите, можете назвать его «От автора». Это тот, кто окрашивает своим настроением все происходящее, кто вкладывает живую душу в изображаемое, — будь ли это закат над Волгой или цех современного завода. Он-то и должен разбудить в вас героические чувства, заставить полюбить труд, увидеть счастье работы.

«Утренний эшелон» — картина сдержанная, лаконичная, простая. Ничего лишнего. Просты линии. Просты цвета. Но есть в ней сила, есть мужество, есть чувство времени.

Я попросил Салахова отвести меня на то самое место, где он работал над своим полотном. Мы подошли к мосту, спустились. Я недолго ждал. Наверху по мосту прогрохотал состав. Внизу промелькнул грузовик. Все было «так, как на полотне». И не было главного: не было тех ощущений, тех мыслей, которые навевала картина. Живописец выломал из породы глыбу, отшлифовал ее и рассказал о структуре горы — более того, о структуре целого хребта!

Внешне полотно вроде как бы точно воспроизводило увиденное. Пожалуй, живописец лишь снял лепные финтифлюшки, наклеенные на стены под мостом, несколько выпрямил линии. Но это нарочитое упрощение увиденного вдруг не только осовременило сюжет, не только придало ему динамичность, но и заставило подумать о человеке. И в картину вошло отношение художника, а с ним человеческое тепло. Думающий человек встал за этим полотном. Я почувствовал его, героя современности, искателя и мыслителя.

Этими же чертами — человечностью и лаконичностью — отмечена и другая работа Салахова, «Гладиолусы». Стеклобанка на подоконнике. В ней несколько цветков. И как фон — стена большого многоэтажного дома. Сдержанные линии, сдержанные тона. А получилась новелла о счастье и современности, о нежности и силе.

Я должен сказать, что в этих полотнах — в «Утреннем эшелоне» и «Гладиолусах» — я обнаружил не только подтекст, свойственный вообще всем значительным произведениям искусства, я обнаружил и нечто более редкое: умение соединить безгранично правдивое изображение мира с острым чувством времени и еще — умение увидеть за простыми вещами символы больших идей.

Работа Таира Салахова «Портрет Кара-Караева» также несложна по сюжету. За большим, очень большим роляем сидит человек. Вот, собственно, и все. Но почему же этот самый нарисованный роляй вдруг начинает звучать? Почему, смотря на портрет азербайджанского композитора, думаешь еще и о том, что в музыке также идет борьба за новые средства воплощения, и тот человек, который изображен на полотне, безусловно ищущий, прокладывающий новые пути?

* * *

...Я в последний раз пришел в Музей искусств имени Р. Мустафаева.

Снова смотрю полюбоившиеся мне полотна. Новые художники. Мастера прошлого. Выше я говорил о нескольких азербайджанских живописцах-современниках. Мог бы рассказать и о многих других. И, конечно, расскажу о М. Абдуллаеве, о Н. Абдурахманове и других уже признанных, уже известных.

А сейчас в заключение хочу упомянуть о тех предшественниках, которые в какой-то степени определили пути развития современного искусства республики.

Снова вглядываюсь в портреты Мирза Кадьма Эривани, старого мастера, соединившего в себе изысканность миниатюриста, и дерзость народного умельца, и психологию художника-реалиста.

Почтительно рассматриваю рисунки Азима Азим-заде. Этот художник жил в наше время; последние его работы — антигитлеровские памфлеты. Я смотрю серию, изображающую типы старого Баку, рисунки, посвященные бедным и богатым, тяжелой доле женщины. В них есть сила, юмор и гротеск.

Снова обращаюсь я к работам Бехруза Кенгерли. Этот художник умер в начале двадцатых годов. Тонкий, дерзкий, думающий, он оставил рисунки и акварельные работы, запечатлевшие образы его современников, в том числе и людей революции.

Получается, что я пришел попрощаться. Что ж, вероятно, так оно и есть. Но прощание это ненадолго. Я обязательно еще раз приеду сюда, чтобы посмотреть и работы старых мастеров, и моих друзей — тех, о ком я писал здесь, и тех, о ком еще должен написать!

Я видел и другие полотна Таира Салахова. Большим чувством и мыслью насыщена уже широко известная работа «Резервуары», где изображены огромные хранилища для нефти, отраженные в густой темной воде. И «Окно» — крыши, окна, а на окне банка с несколькими кисточками. Эти работы также предельно просты, сдержанны по цвету, точны по своей концепции. Они выполнены в том же ключе, что и «Утренний эшелон».

Его новые работы «На Каспии» и «Тебе, человечество» говорят о дальнейших исканиях.

В первой есть черты той романтизации мира, когда современные конструкции и маленький вертолет приобретают вид каких-то огромных деталей будущих колоссальных строений.

Вторая картина, изображающая стремительные фигуры, парящие в космосе, — попытка вынести подтекст наружу. Но, пожалуй, из всех последних работ Таира Салахова эта наиболее упрощает мысль — подтекст стал всего лишь отвлеченным символом.

Таир Салахов — не просто один из талантливых живописцев. Его творчество — попытка утвердить в современной живописи те эстетические нормы, за которые сражался Маяковский и его друзья. Революционная современность, видение мира человеком социалистического общества, вечный поиск — для него не просто громкие слова. Это то, чем наполнено творчество мастера. Его жизнь.

К картинам Салахова вполне приложимы слова Н. С. Хрущева о том, что искусство должно «возвышать человека, вдохновлять и вести его на благородный подвиг».

КРИТИКА

П. Глинкин

ТЕМЫ — ГЕРОИ — КОНФЛИКТЫ

Нельзя не заметить смену интонаций в ходе споров о взаимодействии в искусстве людей разных поколений. Отброшены запальчивые, но бесплодные попытки противопоставить творчество молодых опыту старших. На месте «схоластической проблемы антагонизма между старым и новым поколениями», которую на Западе тщатся выудить из нашей действительности, непредвзятый ум находит различные формы содружества признанных мастеров с талантливой молодежью.

Пришли свежие дарования в кино, в поэзию, в драматургию. Пришли и в прозу. Естественно, многих заинтересовала сущность явления, получившего не бесспорное, но быстро привившееся в критическом обиходе название «молодой прозы». Ухватить, однако же, эту сущность, оказывается, не так-то просто, и суждения неизбежно расходятся. Допустим, взялся кто-то за нелегкое дело установить общие черты, объединяющие, по его мнению, новых писателей в одну когорту. Вот-вот, кажется, определил их любимого героя, юношу, который «пришел в литературу — потерявший и вновь обретший веру», который «на перепутье» ищет «своего места в жизни», пытается «понять и осознать наше время», — как тут же критику ставят убийственный вопрос: «Но как быть... в тех случаях, когда в произведениях молодых авторов не изображен молодой человек на перепутье?» (См. дискуссию в журнале «Молодая гвардия», 1962, № 4 и др.).

Действительно, если присмотреться внимательнее, обнаруживается, что молодая проза весьма противоречива. Потому очевидно, и не удается собрать под одну крышу это разноголосое и многоликое явление литературной современности. Да и нужно ли? Может, лучше от усилий втиснуть с помощью пары общих признаков всю плеяду молодых в обиход звучного термина обратиться к изучению опыта хотя бы наиболее активных из них? Впрочем, и обобщения и синтез необходимы критике так же, как метод анализа.

Но тогда, наверное, больше все-таки смысла вскрывать закономерности литературного процесса, независимо от возраста его участников. Как увидим дальше, созвучия и диссонансы в произведениях писателей разных поколений равно бытуют.

Но это лишь одна сторона проблемы. Другая, как заметил в упомянутой дискуссии Юрий Белаш, заключается в том, что, ведя речь о недавних дебютантах, слишком сужают их круг. По преимуществу этот круг ограничивается именами ленинградских и московских авторов. Так утрачивается истинное представление о широте тематики, обилии творческих индивидуальностей, разнообразии стилистических почерков. Десяток-полтора имен, не сходящих с уст в спорах о новом отряде беллетристов, далеко не показывает истинных сил влившегося пополнения. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в многочисленные книжки местных журналов и альманахов. Так и сделал Юрий Белаш. Мы последуем его примеру, не отказываясь вместе с тем от права листать в нужных случаях страницы центральной периодики и перемежать разговор о начинающих авторах с общими замечаниями о прозе последних лет.

Среди других обращают на себя внимание две повести, по многим *внешним* признакам — творения молодой прозы: «Таня» Е. Красносельской («Подъем», 1961, № 1) и «Владыкина победа» Э. Савельевой («На рубеже», 1961, № 1). Вот начало первой: родительские слезы, гам, кутерьма, прощальные объятия — вчерашний десятиклассник устремляется в путь, на дальнюю стройку, обуреваемый честолюбивыми мечтаниями. «Слава казалась мне тогда такой же обязательной данью человеку, отважившемуся ехать в Сибирь, как безвозвратное пособие при вербовке. Я еще и чемодана с чердака не стащил, а ее алмазный блеск уже по-новому озарил мои поступки и характер. Я вдруг почувствовал свою незаурядность».

Как чаще всего случается в наше время у молодых прозаиков, герой рассказы-

ваит о себе сам. Весьма обычна и ситуация. Можно сказать — нарочито обычна, что лишь оттеняет необычные акценты: эти саморазоблачения, полемический задор, иронию, бьющие по шаблону. К тому же, в отличие от некоторых своих известных литературных сверстников, этот парень трезво мыслит и не лишен юмора. Он тоже испытывает разочарование, но очень своеобразно: «Стоило мне попасть в Сибирь и познакомиться с ребятами, как вся моя дутая исключительность разлетелась в прах. Героев с путевками и командировками в карманах были тысячи». Возникает неизбежная в подобных произведениях тема поиска своего места. Герой так буквально и понимает годовой итог своей самостоятельности: «Где набивая шишки, где получая радости, я по-немногу занимал свое место в жизни». Взрослея, парень переживает и сомнения и неудовлетворенность, но здоровое нравственное начало одерживает верх. Находка писательницы состоит в том, что на современном материале показано, как зреет человек под действием первопричин, заложенных в нем предшествующим воспитанием. Впрочем, сам герой к своему воспитанию относится довольно скептически: «Не так-то легко найти правильный путь, когда у тебя за спиной строгости школьной дисциплины и бесчисленные родительские запреты». Тут проглядывает добрая авторская позиция. Все-таки это мыслит еще мальчишка. Познал он за время скитаний многое — верно. Но ведь ему еще восемнадцать лет. Писательница постоянно об этом помнит. Передав слово герою, она не забывает и о своих обязанностях. Не найдя в Сибири особой романтики, парень язвит, томясь: «Хотя бы буря какая-нибудь, или пожар, или небывалое половодье, которые так часто бушуют на экранах кино и так редки в жизни».

Трудно не полюбить этого беспокойного юношу. Сейчас он, последовав порыву, неумному пристрастию к дорогам, умчался из родных мест. Завтра он пойдет в армию, или поступит в вуз, или вернется к родным с испосланной ему на чужбине любовью, — все равно он останется добрым, умным, честным и веселым человеком. От необходимости принимать решения он не уйдет, жизнь постоянно будет ставить перед ним новые трудности. И он с ними справится, выражая себя не в слезливых исповедах и ложнозначительных философствованиях, а как и полагается мужчине — в поступках.

Другой парнишка, по прозвищу «Тихарь» (из повести Э. Савельевой «Владыкина победа»), никогда не участвовал в слишком озорных играх, ни с кем не ссорился. Ребята относились к нему хорошо. Все шло нормально: жил, учился, сдал последний экзамен, перешел в следующий класс. Вчера договорился с девушкой покататься на лодке. А сегодня «вот он сидит один и пытается оправдаться перед собой». Случилась беда. Ни за что ни про

что его побил одноклассник, а он, рослый, сильный, смалодушничал, не ответил на обидные, незаслуженные удары и только прикрывался руками. В этом позорном состоянии и увидела его Мариша. «В ее глазах были и участие и, как показалось ему, презрение». Участие — это бесспорно, презрение — это ему показалось. Но девушка проявила сердечную доброту гораздо шире: она пришла на свидание и попыталась утешить парня. Он же, терзаемый униженным самолюбием, выказал слабодушие, оскорбил ее совершенно зря, выместив на ней обиду: «Дура ты! Уходи к своему Сеньке!» Мариша по заслугам оценила поведение Владыки: «А ты и верно трус. И я этого не знала...» И ушла. А несчастливец еще долго сидел у озера. И бессильные, злые слезы застилали ему глаза.

Таков зачин. Привычная ситуация, десятки раз уже читанная, знакомая в мельчайших подробностях, вплоть до традиционной в подобных случаях лексики: «трус», «дура» и прочее. И еще один типичный штрих: после размовки с подругой Владыка бежит от неприятных переживаний вон из города, на лоно природы, к деду. Но на этом и обрываются аналогии.

У Э. Савельевой нравственная перестройка юноши — в фокусе художественного исследования. Вопросы: почему, как, под действием каких обстоятельств она происходит? — интересуют писательницу прежде всего. Решающую роль во Владыкиной победе над собой опять-таки сыграли добрые семена, брошенные в душу ребенка и укрепившиеся в ней неистребимыми ростками. Владыка поборол в себе трусость, более того, проявил храбрость, смелливость, упорство, изболчив браконьеров.

Тема развития, мужания человека очень часто в литературе последних лет идет бок о бок с темой перевоспитания. Интересен в этом смысле роман А. Калинина «Запретная зона» («Огонек», 1962, № 9—15).

К заключенным на стройку прибывает с очередной партией их главарь. Борьба за власть над «шпаной» идет не на жизнь, а на смерть, и сейчас она приобретает особенно жестокие формы, потому что «воровские короли» почувствовали, как их влияние резко падает. И вот, когда дрогнули их основные кадры, атаманы ударили в набат, решили принять свои меры. Один из них и просочился через все фильтры на гидроузел в самый ответственный предпусковой момент.

Этот мотив сплетается с другими. Вырисовывается фигура Молчанова, «попавшего ни за грош. То есть, конечно, виноват, но попал он, как курунок прямо в суп». А тут же рядом работает друг его детства комсомолец Зверев. Главного героя романа, секретаря партийной организации Грекова, а вместе с ним и автора, мучает вопрос: «Как и когда случилось, что в детстве Молчанов и Зверев лазили

друг к другу через забор... а теперь их разделяет граница запретной зоны? Один оказался преступником, а у другого жизнь сложилась иначе... Все эти молчановы... они же не от рождения преступники, а когда-то, в самый критический момент их жизни, были просмотрены». Внешне неожиданно, но по глубокой внутренней связи судьба преступника вплетается в семейную драму Грекова, у которого сын от первой жены встал между ним и второй, любимой женой. Рождается мысль об ответственности отцов за судьбы детей. Греков страшно боится «просмотреть Алешу, как когда-то просмотрели Виталия Молчанова его родные и все другие, близкие ему люди».

Пожалуй, главная мысль, вокруг которой вьются основные сюжетные узлы романа, сводится к следующему: человек на доброе отзывчивее, чем на злое. В каждом есть доброе, пусть под коростой злого, и, чтобы пробиться сквозь нее, необходимы терпение и время.

Это не проповедь идей абстрактного гуманизма. Это размышления героя, столкнувшегося в буднях с кучей неотложных дел. Он должен принимать совершенно определенные решения, направлять судьбы людей. И ничего этого он не сможет сделать, не разобравшись в основных принципах отношения к человеку. Острота идеи подчеркнута у А. Калинина тем обстоятельством, что осознает ее крупный партийный работник в 1950 году. Произведение, однако, явственно обращено к сегодняшнему, его отличает нравственно-этическая актуальность.

* * *

Убеленный сединой хирург в романе Г. Троепольского «Чернозем» («Подъем», 1958, № 3—4; 1961, № 1—2) у постели полуживого парня, жертвы самосуда, облыжно обвиненного кулаком в убийстве отца, вспоминает собственную молодость, ссылку, родителя, проклявшего его за прегрешения против царя и веры. «Что же это такое? — думает он. — У нашего поколения дети спорили с отцами. Сейчас еще сильнее этот спор. Может быть, жизнь-то и движется тем, что дети лучше отцов?»

Подобные мысли волнуют многих прозаиков. Авторы стремятся выяснить своеобразие свойственных каждому поколению черт, установить причинно-следственные связи при смене периодов в нравственном движении общества. О проблеме отцов и детей критики немало писали, судили, объявляли ее несуществующей, надуманной, ложной, однако в литературной практике она отнюдь не исчерпана, в разработке ее появились новые грани. Тема привлекла и таких талантливых прозаиков, как В. Тендряков, С. Зальгин, А. Калинин, Г. Троепольский. Все четверо завоевали первую любовь читателей в качестве очеркистов, исследователей важных общественных проблем. Опыт художников-публицистов наложил печать на их творения в крупных эпических жанрах, в

которые они внесли столь свойственную для очерка последнего десятилетия манеру контрастного повествования.

Немногословны характеристики Соколовых, старшего и младшего, из «Короткого замыкания» В. Тендрякова. Автор рисует их портреты приемом сопоставления, а затем и противопоставления: «они очень походили друг на друга, но так, как походит фотографический негатив на свой позитивный отпечаток». С первых абзацев писатель акцентирует внимание на деталях, важных для развития столкновения между отцом и сыном («отец порывист, напорист, сын склонен к задумчивости» и т. д.).

Но вот обозначен главный водораздел:

Отец: «Любовь к человеку! Да здравствуют слова! А слова остаются словами. Моя любовь в машинах, она весома, вещественна».

Сын: «Машины эту высокую любовь еще могут вытерпеть, они железные, а люди гнутся».

Экспозиция завершена, читатель подготовлен к восприятию злободневного психологического конфликта. В последующих описаниях центра энергосистемы чувство тревоги, эмоциональное напряжение усиливается, растет ощущение надвигающейся драмы. В полную мощь основная тема — принципиальное различие в духовной организации двух близких людей — зазвучала среди эпизодов катастрофы, когда большой промышленный город на пятнадцать минут погрузился в средневековый мрак.

Такой же разлад профессора Вершинина с молодежью стал важной пружиной в фабуле романа С. Зальгина «Тропы Алтая». Погоня профессора за легким успехом наталкивается на суд окружающих, которых единит честность и высокая ответственность перед собственной совестью, перед наукой, перед друзьями, перед семьей, женщиной, — в конечном счете, перед обществом. В числе этих людей — не только давние оппоненты Вершинина, ученые иной закваски, но и товарищи по работе, студенты и, что особенно важно, самое близкое и дорогое ему существо — любимый сын. Препградой на пути морального падения отца встает новая нравственность Вершинина-младшего и его единомышленников. В таких ситуациях неизбежно возникает тема прозрения. Мучительные минуты сомнений и очищения приходится переживать отцам и у С. Зальгина, и у В. Тендрякова, и у Г. Троепольского; сыновний бунт становится для них последним толчком к пересмотру ложных критериев.

Тяга рассматривать явление в его сложности, в единстве самых неожиданных, казалось бы, сочетаний становится пристрастием многих современных прозаиков. Однако в таком подходе к действительности есть и свои подводные рифы. Желание во что бы то ни стало нарисовать людей, события в столкновениях, в борьбе приводит иногда к оправданию

тяжкого, даже трагического опыта, к односторонней философии познания истины через страдание, через бедствие. Драматические отсветы нелепой смерти близких людей уж слишком часто теперь окрашивают судьбы героев. Через горькие испытания проводят центральных персонажей авторы большинства названных здесь произведений.

Вот погибает в повести В. Тендрякова очень дорогой Вадиму Соковину человек, отношения с которым готовы были вылиться в крепкую мужскую дружбу. Следуют суждения, в которых мысль героя сливается с мыслью автора: «Переживания никогда не проходят бесследно. Они заставляют думать, они делают человека мягче, отзывчивее, глубже. А разве этого мало? Шаракаться от переживаний, стыдиться их — обкрадывать себя, а вместе с собой всех...» Так думает Вадим, казнясь смертью Саньки Гордеева, но тут же вся философская концепция и нравственного возрождения Соковина-отца. Потеряв, как он думает, сына, пережив ужас невосполнимой утраты, он в невероятных душевных муках вновь обретает дар полноценных чувств, снова начинает понимать людей, болеть за человека.

Та же мысль у А. Калинина. На Игоря Матвеева обрушилось тяжкое испытание: любимая девушка совершает ночные прогулки с пожилым человеком на катере по Дону. Товарищи наседают на парнишку, требуют проявить гордость, отказаться от неверной, а он не может, он не допускает мысли о ее падении, продолжает ее боготворить, отстаивает свое право верить вопреки очевидным для других фактам. В этом его нравственная сила. Он прозрел душу любимой глубже, чем прочие. Хотя роман А. Калинина не окончен и судить о нем в целом рано, похоже, что Игорь окажется прав. Но пока он жестоко страдает. И тут-то рождается у Грекова мысль о необходимости разочарований для духовного роста человека.

Вот еще афоризмы из прозы 1962 года: «Если человечеству оставить одни только радости, оно почувствует себя обворованным» (Г. Халилецкий. Веселый месяц май). «Не было бы горя, не по чему бы тогда и мерить счастье, оно бы отсутствовало. Мир состоит из вопиющих противоречий... Считать себя счастливым — значит замкнуться в себе» (В. Тендряков. Короткое замыкание). «Видно, без разочарований не мужает ни один человек» (А. Калинин. Запретная зона).

Тема не новая в литературе. Еще древние считали:

Чем ночь темней, тем ярче звезды,

Чем глубже скорбь, тем ближе Бог...

Разумеется, не исключен и такой поворот в нравственной жизни человека. Но плохо, когда голоса сливаются в дружный хор, воспевая горькие испытания, когда мотивы страдания разливаются осенним половодьем. Может быть, это реакция на теорию бесконфликтности, на популярные

в прошлом розовые концовки? Но есть опасность, что возникнет не менее плачевная теория о печалях, напасть и злополучиях как движущих силах нравственного совершенствования. Неужели действительно надо согласиться, что не будучи горя — отсутствовало бы счастье, и если сохранить человечеству только радости, оно почувствует себя обворованным, что быть счастливым — значит замкнуться в себе, что нельзя мужать без разочарований, что только страдания делают человека мягче, отзывчивее, глубже? Но так ли это?

Герцен был не чужд страстей, он изведал кружение сердца, цену мук и вот что думал: «Несчастье — самая плохая школа! Конечно, человек, много испытавший, выносливее, но ведь это оттого, что душа его помята, ослаблена. Человек изнашивается и становится трусливее от перенесенного. Он теряет ту уверенность в завтрашнем дне, без которой ничего делать нельзя; он становится равнодушнее, потому что свыкается со страшными мыслями». Стоит прислушаться и к авторитету Герцена — знатока человеческой души.

* * *

Господство нравственной проблематики, напряженный интерес к духовным ценностям, к сдвигам в моральных представлениях современника, бесспорно, сказываются на искусстве наших дней, стимулируют его поиски, захватывают все новые сферы, определяют темы, кристаллизуют типы.

Не так давно критика отмечала «перенаселенность» романов о современной жизни порочными красавицами. Образ коварной соблазнительницы невиданно размножился, очевидно от усилий авторов избежать скуки, развлеч. Однообразие приема неотвратимо привело к схематизации, колоритная фигура лукавой прелестницы скоро обратилась в штамп.

Ольга Кожухова в повести «Не бросай слов на ветер» («Молодая гвардия», 1962, № 6) посвятила несколько гневных строк этому удивительному поветрию. Помняв дорогую сердцу автора внешне непривлекательную наивную простушку, она пишет далее: «В той же повести есть и другая особа женского пола. Красивая хищница. Львица. Автор отвергает ее красоту как нечто ненужное людям, непристойное... Неужели мы столь безоружны и так слабы душой перед женской красотой и перед красотой человеческого тела вообще, что должны эту красоту всячески унижать... придавать ей, подобно средневековым попам, какой-то нечистый, греховный смысл?.. Противопоставление стерильно чистой серости яркой, но „греховной“ и „злой“ красоте, на мой взгляд, происходит от бессилия постигнуть истинный смысл красоты...»

Так было. Но литературный процесс есть непрерывное обновление форм. Иногда более бурный, иногда замедленный.

Сейчас, в пору динамичного развития прозы, не мог надолго застыть без движения и этот персонаж. Если взглянуть в последние модификации изящной сумасбродки, можно обнаружить, что в разработке образа появились новые тенденции.

Нынешняя красавица, хотя и агрессивна, и легкомысленна, и чурается коллектива, не испорчена до конца. Ее нравственная ущербность — скорее попросту неприкаянность, бравада. Как правило, она акцентирует свою необычную внешность крикливой манерой одеваться, стремится выделиться из толпы, противопоставляет себя людям, то и дело, впрочем по пустякам, вступая в конфликт с окружающими. Но в глубине души она таит неудовлетворенность собой, испытывает беспокойство, иногда бессознательно, таясь от других, ищет прочной основы в жизни. Эта вторая, здоровая суть ее вступает в спор с навывками, приобретенными ошибочным опытом. Внутренняя борьба выражается в нервозности героини, в эксцентричности ее поступков, в неожиданных вспышках благородства и отвращения к низменным инстинктам у других. Яркая внешность и крикливое ее оформление оказываются обманчивыми. Кокетка стала утонченной, она теперь не на уровне, а значительно выше лощеных хлыстов, узколобых стилаг, ученых ловеласов и прочих неизменных своих спутников по сюжету.

Такое поверхностное противопоставление женской добродетели пороку, как в повести Е. Красносельской «Таня», ныне уже редкость. Вначале герой испытывает кровную обиду от встречи с дурнушкой. Затем она поражает парня внутренней чистотой, благородством, твердостью при столкновении с хулиганствующими рвачами и покоряет его. Это заглавная героиня. Как антитеза ей — красавица Светлана, малодушная, корыстолюбивая, вышедшая замуж глупо, по расчету, и за то наказанная роком. Вот ее «идеология»: «Самое главное в жизни — квартира и удобства».

Столь примитивное решение «в лоб» теперь, повторяем, встретишь редко. Новейшие разновидности литературных чаровниц — Рита Плонская из романа С. Залыгина «Тропы Алтая», Нелли Прозоровская из повести Б. Изюмского «Студентка первого курса» («Дон», 1962, № 6), Тамара Чернова из «Запретной зоны» А. Калинина — значительно сложнее.

Нелли Прозоровская, на первый взгляд, обладает всеми необходимыми качествами и признаками традиционной обольстительницы, созданной на погибель легкомысленному роду мужчин. «Раскрашенная девица с обнаженными плечами». Соломенного цвета волосы до плеч, как у Брижит Бардо. Мозги у нее «засорены чепухой»: на уме одни ухагеры». Прозоровская охотно вступает в спор с подругами о морали. На их рассуждения о счастье как борьбе за светлые идеалы бросает: «Прописные официальные истины. Ходячая передовица». Ее собственное представление о счастье — «подучать максимум удовольствий». А чего

стоят «Нелькины штучки! Ведь до чего, бесстыжая, доходит: является на консультацию к Гнутову, усаживается и... колени свои выставляет. А последний раз вплыла на факультетский вечер в гиппировом платье на розовом трико. Прямо будто голышом». Экзамены Нелли, конечно, сдает кое-как. По этому поводу одна читательница заметила: «С такими-то плечами, с такими-то коленками? Что там за профессора бездушные!» Один из таких «бездушных», положительнейший молодой ученый Брянцев, поставив Нелли в зачетку тройку, рассуждает: «Диплом ей понадобился только как дополнение к приданому. Обучить бы ее ремеслу». Самой Нелли ее судьба рисуется несколько иначе. Она во всеулышание объявила, что «ей нужен муж, который освободит ее от материальных забот».

Если б только пересказанное — перед нами был бы еще один экземпляр поделки, тиснутый по затрепанному трафарету. Но Нелли Прозоровская — богаче. В ней немало и хороших свойств. Она остроумна, начитана, «хотя и безалаберная, а все же симпатичная: веселая, добрая. Охотно занимает девушкам деньги, разрешает им носить свои вещи». В манере одеваться, держаться, в циничных суждениях ее много наносного, случайного, нарочитого. В глубине души она чувствует тцету и мишурность своих позиций. Однажды Нелли проговорила: «Ох, нашелся бы человек, который перевернул бы меня с изнанки на лицевую сторону». Значит, понимает, что есть у нее еще и лицевая сторона. Постепенно с ходом действия сомнения девушки углубляются.

Рядом с сердечной, неистощимо щедрой духовно, но невзрачной, серенькой по виду Онежкой в «Тропах Алтая» С. Залыгина — яркая Рита Плонская. Это противоположение поначалу без конца подчеркивается: неотразимая, пустая, безнравственная, несчастная Рита, и мудрая, возвышенная, счастливая Онежка-дурнушка. Из расстановки сил вроде бы все ясно, как дальше пойдет дело. Но необычный случай в прозе последних лет: завлекательная особа не очень строгих правил отеснила постепенно золушку и заняла место на переднем плане повествования.

Духовное перерождение Риты Плонской — одна из главных линий романа. Под воздействием потрясений она очнулась, поняла вдруг, что «всегда была несчастной». Не стало самоуверенной вызывающей красоты. Девушка углубилась в себя, задумалась, произвела переоценку ценностей. Итог получился плачевный. Оказывается, никаких успехов и не было. «Школьные мечты ее не осуществились, в горном институте были одни только неприятности, в университете ей было скучно, дома ее неизменно ждали ссоры с отцом и особенно с матерью. Как это до сих пор она считала себя удачливой, даже думала, что она — баловница судьбы, замышляла все новые и новые удовольст-

вия, загадывала новое счастье? Была счастлива своим детским убеждением, что счастлива, больше ничего».

Горестное переосмысление былого все нарастает, захватывает Плонскую, заставляет от минувшего перейти к событиям и людям ее теперешних будней. Самоанализ этот тем впечатлительнее, что протекает в сознании персонажа, который прежде был почти лишен дара мыслить. Рита же у Залыгина мыслит, и очень убедительно; трудно, противоречиво идет к открытиям, от маленьких истин ко все более сложным. Ее внутренние монологи становятся столь же необходимыми в романе, как раздумья «серьезных» героев — Рязанцева, Онежки, отца и сына Вершинных. Они не кажутся неожиданными, странными. В книге Залыгина все люди живут напряженной духовной жизнью.

Следующий этап в движении образа — Тамара Чернова из «Запретной зоны» А. Калинина. Внешние признаки обычны: девушка настолько прелестна, «что ей уже не завидовали подруги», у нее уже «не могло быть соперниц». Но от Риты Плонской и Нелли Прозоровской Тамара решительно отличается внутренней силой, нравственной привлекательностью. Кроме чар, данных от природы, оказалось «у нее нечто, что, пожалуй, было выше самой красоты, — полное пренебрежение тем, красива она или нет, и равнодушие к тому, как могут посмотреть на нее и что могут подумать о ней другие».

Тамаре Черновой не нужно меняться. Тамара — неподкупная совесть молодежи. Она первая поддержала смелое предложение отказаться от раздельной работы с заключенными, она уязвляет комсомольского вожака за слепое подражание в манерах руководителю стройки. И все-таки

в некоторых существенных признаках образ традиционен. По авторской мысли эта красавица непорочная, чистая, и вместе с тем обстоятельства ее жизни таковы, что окружающие готовы принять ее за развратницу. Она отвергает беззаветную любовь замечательного паренька, у нее какие-то вызывающие недоумение у друзей-комсомольцев «отношения» с пожилым начальником района. Но, независимо от этого, комсомольцы ее уважают, и по всему видно, что с публикацией второй части романа все «вывихи» ее окажутся недоразумением.

Таковы последние сдвиги в трактовке популярного женского персонажа. Это уже не упрощенная злодейка-разлучница, зловещая тень на пути положительного героя. Нет. Ныне это преимущественно сбившееся с праведного курса, мягущееся существо. Если оно и причиняет боль другим, то по неведению, от растерянности. И в нем сильно развита тяга к добру. Это существо ненавидит ложь и, как бабочка, заблудившаяся в ночи, не колеблясь устремляется на луч света, лишь только он забрезжит.

Здесь шла речь о распространившейся в литературе последних лет контрастной манере повествования и о том, что в произведениях писателей разных поколений и творческих принципов сходство улавливается не реже, чем различия.

Для тех и других важно, оказывается, вскрыть природу конфликта, обнаружить его суть. Традиционному в прошлом приему финального апофеоза благополучия многие из нынешних авторов противопоставляют контрастную манеру изображения жизни, господствует тенденция к глубокому осмыслению острых ситуаций современности.

ЧЕЛОВЕК ПОБЕЖДАЕТ

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. «Новый мир», 1962, № 11

Об этой книге еще много будут размышлять и много писать. Вероятно, должно пройти какое-то время, прежде чем можно будет взяться за нее с беспристрастностью исследователя, оценить по-настоящему ее общественное и художественное значение, определить ее место в разнообразном и сложном потоке нашей литературы. Чтобы первые, непосредственные болезненные впечатления отстоялись в глубокой и прозрачной мысли... Но уже и сейчас ясно (и это признано всеми), что в литературу пришел большой художник.

Конечно, тот большой интерес, который вызвала эта книга, объясняется отчасти и самим материалом: писатель открыл нам жизнь, где гибли люди, ломались судьбы, разрушались человеческие души. Об этой жизни одни в лучшем случае смутно догадывались, другие не думали вовсе. Теперь она предстала с такой пронзительной достоверностью, которая разбивает вдребезги опасные и жалкие попытки успокоить себя невнедением.

Но, разумеется, одного материала было бы далеко не достаточно, чтобы завоевать читателей, если бы он не был освещен глубокой гражданской и художественной мыслью. Повесть А. Солженицына пробуждает печальные и горькие думы о событиях, которые сейчас по справедливости связываются непосредственно с именем Сталина, — о тяжких испытаниях, несчастях, ошибках. Но это — не отчаяние, не холод, не равнодушие. Это — мужественное и суровое познание истины, которое ведет к нравственному очищению, к пониманию ответственности каждого человека за все, что было и будет...

Писатель берет жизнь в самой ее глубинной сущности. Один день жизни Ивана Денисовича — в прошлом русского крестьянина и солдата, а теперь невинно заключенного в каторжный лагерь — во многом объясняет это сложное и трагическое время.

В критике уже говорилось о том, что в повести нет специального нагнетания ужасов. Заключенных не избивают, не подвергают пыткам. Правда, начальник режима лейтенант Волковой прежде

«плетку таскал, как рука до локтя, кожаную, крученную. В БУРе ею сек, говорят». Но это, как видно, не совсем обычная для лагеря вещь.

Дело не столько в непереносимо тяжелых условиях лагерного режима. Главное в том, что здесь делалось все, чтобы унижить, растоптать человеческую душу. То, что людей заставляли носить номера, что они должны были «колючую проволоку от себя самих натягивать — чтоб не убежать. А потом строить», — то есть все то, что являлось издевательством над человеческим достоинством, насилием над его нравственным миром, — потрясает больше, чем описание физических страданий: постоянного голода и изнурительного труда в лютые морозы.

Заключенных старались изолировать от всего мира и разъединить друг от друга внутри лагеря: преступники и невинные жертвы произвола находились вместе. Между ними не могло быть доверия и сплоченности.

«Снаружи бригада вся в одних черных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно — ступеньками идет», — думает Иван Денисович. Есть люди, которые только себя берегут, хотя «береженье их на чужой крови», есть «стукачи» и подхалимы. Но все-таки людей, сохранивших в условиях каторжного режима живую душу и человеческое достоинство, больше. Это и Иван Денисович, герой повести, и энергичный и властный бригадир Тюрин, сосредоточенный и тихий Сенька Клевшин (он «никогда в беде не бросит, отвечать — так вместе»), умный и язвительный латыш Кильгас, стойкий и непокорный морской офицер — кавторанг, как его здесь называют, — и многие другие. Бригада, где работает Иван Денисович, «как семья большая». «Начальник и в рабочий-то час работягу не сдвинет, а бригадир и в перерыв сказал — работать, значит, работать. Потому что он кормит, бригадир. И зря не заставит тож».

Сила человеческой солидарности и единства оказалась сильнее жестокой, искусственной изоляции.

Поэтому писатель особенно внимателен

к тем чертам человеческого характера, где проявляется гордость, человеческое достоинство, внутреннее, иногда глубоко запрятанное, сопротивление насилию.

Жизнь, например, Ивана Денисовича, при всей ее униженности и бесправии, — жизнь по-своему гордая и вечная. Иван Денисович никогда «не брал ни с кого и в лагере не научился» и, «как ни холодно, но не мог он допустить себя есть в шапке». И мысли у него в те короткие мгновения, когда он *может* думать, тоже мудры и человечны: с беспокоеством и тревогой думает он о родном колхозе, — «чтобы мужики в своей же деревне не работали — этого он не может понять. Вроде отхожий промысел, что ли... А с сенокосом же как», — с презрением он думает о появившемся там легком промысле «красилей». Сам же Иван Денисович не стремится к легкой наживе. «Легкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле ни печной работы не найдет, ни столярной, ни жестяной». Таким предстает герой этой необычной повести.

Но собственно «героя» в привычном значении этого слова здесь нет. *Один* день Ивана Денисовича — *один* из аккордов в трагической симфонии лагерной жизни. В эту симфонию органически вливаются подробности быта, судьбы и характеры многих людей, — писатель их дает предельно сжато, скупно, но необычайно выразительно, — картины труда, суровый пейзаж и т. д. И все одинаково важно, ничего нельзя исключить, чтобы не нарушить строгого единства произведения, не убить его живую душу.

По огромной внутренней напряженности, резкой смене интонаций, разнообразию ритмов, по полифоническому богатству (разумеется, с поправками на жанр, тему, материал) повесть напоминает поэму А. Блока «Двенадцать». Здесь мы можем встретить пейзаж, по-блоковски нарисованный резкими красками: «краснеющий восход» и «голый белый снег», который лежал «направо и налево в степи» и где «деревца не было ни одного» и по которой, «руки держа сзади, а головы опустив, шла колонна, как на похороны».

А этот замедленный, несколько даже торжественный ритм может смениться напряженным, быстрым, мгновенным, таким, например, в каком написана сцена труда эзков на постройке ТЭЦ.

«Раствор! Шлакоблок! Раствор! Шлакоблок!»

— Кончили, мать твою за ногу! — Сенька кричит: — Айда!

Носилки схватили и по трапу.

А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами травы, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку слева, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас. Еще рука не старится.

Побежал по трапу.

Сенька — из растворной и по пригорку бегом.

— Ну! Ну! — оборачивается.

— Беги, я сейчас, — Шухов машет».

Повесть А. Солженицына откликается на нынешние литературные споры о традициях и новаторстве. И откликается не в специальных авторских декларациях, а своими художественными особенностями. Невозможно представить себе *иную* форму, *иной* стиль, чем тот, в котором она написана.

Иногда противопоставляют «динамизм» и «лапидарность» современного стиля якобы замедленной описательности «старой прозы». Но известно, что сами по себе «динамизм» и «описательность» не могут быть ни хорошими, ни дурными. Все зависит от того, чему они служат. В повести Солженицына есть характерное для «старой прозы» самое пристальное внимание к подробностям быта, но это не лишает ее огромной внутренней энергии и динамизма. Потому что здесь ни одна подробность не живет сама по себе, «не выпадает» из общего эмоционального, поэтического, художественного плана. Этот органический сплав подробностей быта и стремительной внутренней динамики, быть может, и составляет новизну и оригинальность этой повести. «Один день Ивана Денисовича» — пример того, как лучшие традиционные черты русской прозы XIX века соединяются с поисками новых форм, которые можно определить как полифоничность и синтетичность художественной структуры произведения.

Кроме того, в связи с этой повестью справедливо говорили о традициях Толстого и Достоевского.

Конечно, речь здесь идет не об узком понимании традиций как копирования отдельных художественных приемов или слишком «расширительном» их толковании как следования философии и миропониманию Толстого и Достоевского. Скорее всего речь здесь идет о бесстрашном исследовании человеческой души, о влиянии на нравственную природу человека внешних обстоятельств («Человека можно повернуть так и так», — думает Иван Денисович), речь идет о ценности человеческой жизни. О следовании традициям гуманности «святой русской литературы», как называл ее когда-то Томас Манн, потому что, по его словам, такого глубокого гуманизма, которым была проникнута русская литература, «не было нигде и никогда в мире». Это глубокое внимание к нравственному миру людей в условиях самого невыносимого унижения, бесправия и насилия, умение именно *здесь* увидеть, оценить и полюбить человека и роднит небольшую повесть А. Солженицына с гуманистическими традициями Толстого и Достоевского. Пожалуй, за последнее время у нас не было произведения, где бы с такой силой звучали боль за униженного человека и уважение к его духовной силе.

И еще одна из «вечных» проблем, так много занимавшая этих двух писателей

поднята в повести А. Солженицына. Это — страшная, развращающая сила бесконтрольной власти. Только ли страх ответственности («человек дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову добавишь») заставлял надзирателей и лагерную охрану кощунственно преступать всякие законы человечности? Ведь большинство надзирателей по собственному хотению, например, требовали строгого выполнения издевательского приказа перед надзирателями «за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть». И «сколько за эту шапку в кондей перетаскали!» Не родились же эти люди палачами... Но полная, безграничная власть уродовала, развращала людей.

Лавровый венок и клеймо «врага народа» часто носили одни и те же люди, награда и плаха слишком быстро сменяли друг друга. Непосредственные виновники всего этого и исполнители их воли теряли всякое представление о нравственности и человечности. Природу этого типа патологической психологии гениально исследовал опять-таки Достоевский.

«Кто испытал власть, — писал он, — и полную возможность унижить самым высочайшим унижением другое существо, — тот уже поневоле как-то делается невластен в своих ощущениях. Тиранство есть привычка; оно озарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят... Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится уже почти невозможным».

Теперь, когда сила общественного мнения и общественного контроля стала нормой нашей жизни, самоуправство должно пресекаться всюду, где бы оно ни проявлялось. Повесть А. Солженицына звучит в этом смысле тревожным предостережением. Она не только памятник погибшим без вести, без утешения, но и завет живущим не допустить того, что было.

Писатель, который берется за освещение этой сложной и трагической темы, стоит перед огромными трудностями. Легко выступать сейчас в роли проклинателя или восхвалителя «того времени». Легко потому, что ни то, ни другое ничего не объясняет и ничему не служит. Гораздо труднее выяснить сложную героическую и трагическую правду времени, где часто шли рядом благородство и низость, самоотречение и жестокость. Рассказать об этом времени так, чтобы прошлое осветилось глубоким пониманием истории и человеческого бытия, — долг советских писателей.

У Герцена в «Былом и думах» есть удивительно образное выражение — «седая юность». Его он обращал к людям

своего поколения, болезненно освобождавшимся от самонадеянных романтических иллюзий и вступившим в пору зрелой и мужественной ответственности перед историей. Это было, по словам Герцена, «одной из форм нравственного выздоровления». В этом видел Герцен залог будущего. В пору «седой юности» вступают и наши писатели, пережившие период, который мы теперь называем периодом «культы личности». Прошлое имеет свои права. Кто пережил это время, тот должен помнить. Не все можно забыть и исправить. Люди забывают только то, что не стоит памяти. Да забывать и не нужно. Забвение — хуже, чем слабость. Забвение — это ложь. Только полным, бескомпромиссным пониманием истины по-человечески можно пережить тяжелые утраты. Именно этому служит героическая работа партии после XX съезда. Этому служит все лучшее в нашем искусстве.

Повесть А. Солженицына, как и всякое подлинное художественное произведение, пробуждает мысли, «посторонние» ее теме. И среди них — мысль об ответственности писателя, о его нравственном и гражданском долге.

Есть сорт людей, которые гордятся раз и навсегда установившимся миропониманием, неизменностью своих суждений. Они не лгут, но истина им ничего не стоит. Они принимают ее готовой из вторых рук, ничем ей не жертвуя, не затрудняясь размышлениями. Это не притворство. Это своего рода рабство мысли. Эти люди больше всего боятся того, что может смутить их сытый и праздный ум. Когда такой психологией обладает писатель, тогда это становится опасным. Тогда появляются лживые книги, маскирующиеся внешним правдоподобием.

«Гении не подделывают своего творчества под вкус тиранов», — услышал Иван Денисович случайно кем-то оброненную фразу.

Да, истинный художник не знает робости, не бледнеет ни перед какими последствиями. Он верит в человечность и служит ей. Он не ищет дешевой популярности, не замирает перед рукоплесканиями. Он нетерпим к фразе, ему чуждо упрямое, ледяное красноречие, которое в иных книгах заменяет мысль. И он с величайшим благоговением относится к слову, в основе которого лежит совесть.

Сейчас как нельзя современнее звучат слова Белинского:

«Наше время преклонит колена только перед тем художником, жизнь которого есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни».

Таким художником, судя по его первой повести, вступает А. Солженицын в нашу литературу.

Н. Губко

ВСЕГДА ЛИ НАДО ЖАЛЕТЬ?

А. Яшина. Сирота. «Москва», 1962, № 6

Признаюсь, название новой повести А. Яшина меня несколько смутило сначала. Смутило и озадачило. Как! Неужели еще один вариант горемычной судьбы обездоленного человека? Ведь сколько слез было пролито над сиротой еще в классической литературе! А советские романы и повести из народной жизни? Много ли найдется у нас книг, в которых так или иначе не была бы затронута эта тема? Но вот прочитаны первые страницы, и от первоначальных опасений не осталось и следа.

В повести А. Яшина действительно речь идет о сироте, и даже не об одном, а о двух сиротах — мальчиках, которые сперва лишаются отца, убитого на фронте, а затем лишаются и матери, преждевременно погибшей от недоедания и непосильной работы в колхозе. Но в том-то и особенность А. Яшина-прозаика, что, отталкиваясь от традиционных, примелькавшихся образов и ситуаций, он дает им совершенно новый и неожиданный поворот. Так и в этой повести.

«Как это ни странно, — пишет автор, — а после смерти матери и детям и бабушке стало жить сразу намного легче. Заметно изменил к ним свое отношение председатель колхоза... О сиротах вдруг все начали заботиться.

Райсобес назначил им денежную пенсию. Сельсовет освободил от молока налога». Не оставили своими заботами сирот и соседи: кто даст им кусок пирога, кто горшок каши, кто обноски детской одежды или старые ботинки.

Казалось бы, все естественно: люди помогают сироте. Но тут-то А. Яшин и настораживает читателя, заставляет внимательно взглядеться, какие изменения происходят в психологии сироты. Нет, не благодарностью и добросердечием отвечает на заботы людей старший из братьев — хитрый и цепкий Пашута Мамыкин. Вывод, к которому он приходит, поистине удивителен: быть сиротой не так уж и плохо.

В самом деле, не успевает ленивый Пашута в школе — к нему прикрепляют лучшего ученика (списывай себе, знай, с его тетрадей), попадает Пашута в ремесленное училище — и там та же опека. А когда он получает пустячный ушиб в мастерской, с ним происходят буквально чудеса. Пашуту лечат в больнице — очень понравилось ему быть «здоровым больным», — затем отправляют в дом отдыха, Пашута целое лето, ничего не делая, набирается сил в деревне, затем следуют один за другим курорты... Словом, Пашута Мамыкин, как остроумно замечает автор, становится своего рода «номенклатурным больным», в совершенстве овладевая искусством слезного попрошайничества, лицемерия, угодничества и угрозы.

В адрес начальства от него идут непрерывные просьбы и заявления, неизменно заканчивающиеся жалобными словами: помогите, пожалейте сироту. Наоборот, с людьми рангом пониже у него другой разговор — тон нахальной требовательности: подай, сделай. А если и этого недостаточно, можно нагнуть страху с другого конца: «Это ли не антигосударственная практика?» — кричит он на старую женщину-врача, которая заподозрила его в симуляции.

И вот финал повести, финал логичный и закономерный: Павел Мамыкин заносит руку уже на самое святое — на отцовский дом, на родину — именно так воспринимается дележ родительского дома, который затевает Павел.

Так добрые намерения людей оборачиваются обратной стороной.

Нет, тут не отделаешься привычным штампом — пережиток капитализма. Писатель обращает внимание на иные причины появления в нашем обществе любителей пожить за чужой счет. Неразборчивая жалость и сострадание, не в меру растрачиваемая доброта — и в этом мы уже убедились раньше — вот та почва, на которой произрастают Павлы Мамыкины. И в том, что Павел становится хапугой и иждивенцем, в этом оказываются виноватыми и бородатый мужик, который, не разобравшись, вступает за маленького Пашутку, когда тот затевает драку с ребятами («Не трогайте его, ребята: он сирота»), и учителя школы, прощавшие ему безделье и подхалимство, и директор ремесленного училища, занимающий не свое место, и инструктор областного совета профсоюзом, не в меру сердобольная Людмила Константиновна, которая за свой счет везет его в дом отдыха, и, конечно же, бабка Анисья и брат Шурка, с их слепой, безотчетной любовью к Павлуше.

Да, на многие раздумья наводит новая повесть А. Яшина. Всегда ли надо жалеть? Всегда ли стоит терпеть лишения, приносить себя в жертву ради помощи ближнему? Кого и когда надо поддерживать? Почему тунеядец и тупица получал от людей и от жизни все, а подлинно ценные люди деревни — люди большого трудолюбия, чистой совести и богатой души, такие, как Шурка и Нюрка, были лишены должного внимания и поддержки? А ведь именно их-то и надо было учить, беречь и ценить. Произошло как бы смещение ценностей: растили и вскармливали сорняк, а доброе зерно осталось без хозяйского присмотра.

Нужно, однако, сказать, что в этих сложных вопросах писателю самому не удалось до конца разобраться. И просчет здесь не в том, что образами Шурки и Нюрки не хватает подчас плоти и крови, — вещь в конце концов допустимая для вто-

СОДЕРЖАНИЕ

Лидия ОБУХОВА. История без конца. Из цикла „Маленькие повести“	3
Евг. ВАСЮТИНА. Славкина невеста. Рассказ	13
Новелла МАТВЕЕВА. Сон. Стихи	22
Элида ДУБРОВИНА. Мама. Гроза. Стихи	24
Рина БОРИСОВА. Диалог о любви. Страшная весть. Стихи	25
Людмила ПОПОВА. Робертино Лоретти. Как много надо в краткий срок вместить... Стихи	28
Ирина МАЛЯРОВА. На шоссе. Баллада о вечно живых. Стихи	29
Софья СОЛУНОВА. Письмо матери. Я начинаю снова жить. Я знала: правда есть. Стихи	30
Михаил СЛОНИМСКИЙ. Семь лет спустя. Роман (<i>Окончание</i>)	32
А. СМОЛЯН и Д. ЧЕНЦОВ. Здесь, в самом сердце Африки. Повесть о Патрисе Лумумбе (<i>Продолжение</i>)	89

ПУБЛИЦИСТИКА

М. МИХАЛЕВ. Осенний куст	129
------------------------------------	-----

РЕПОРТАЖ „ЗВЕЗДЫ“

А. ГРИГОРЬЕВА. Удивительные нити'	142
Н. ФЕДОРОВ. Телевизор и... хлеб	143
О. КАРЫШЕВ. Огонь без дыма	144

ИЗ ЛЕТОПИСИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Н. ПОПЕЛЬ, генерал-лейтенант. Впереди — Берлин! <i>Литературная запись М. Хейфеца (Продолжение)</i>	145
---	-----

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Ел. ВЕЧТОМОВА. Тропы и судьбы	169
---	-----

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ

А. АКИМОВ. Две фамилии революционерки	175
---	-----

ВОСПОМИНАНИЯ

Борис ДЬЯКОВ. Пережитое	177
-----------------------------------	-----

ИСКУССТВО

Дм. МОЛДАВСКИЙ. Нефть и радуга	197
--	-----

КРИТИКА

П. ГЛИНКИН. Темы — герои — конфликты	207
--	-----

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ

- Н. ГУБКО. Человек побеждает (А. Солженицын. Один день
Ивана Денисовича. Повесть) 213
Федор АБРАМОВ. Всегда ли надо жалеть? (А. Яшин. Сирота.
Повесть) 216

САТИРА И ЮМОР

- Стефания Гродзенская. О новых источниках энергии.
Перевод с польского Янины Маркулан. Р. Киреев. Детально
о деталях. Любой ценой (Стихи). В. Шустов. Привычный
парадокс. Чай и „чайка“ (Стихи). Зиновий Высоковский.
Хамелеон (Почти по Чехову) (Сценка). Из иностранного
юмора. *Перевод с польского В. Затеplinского, со шведского*
Л. Михайлова 218

Главный редактор Г. К. ХОЛОПОВ

Редакционная коллегия:

Н. Г. ГУБКО, П. В. ЖУР (зам. главного редактора), Г. А. НЕКРАСОВ, Н. Н. НИКИТИН,
А. Ф. ПОПОВ, А. Е. РЕШЕТОВ, В. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, М. Л. СЛОНИМСКИЙ, А. С. СМОЛЯН,
А. А. ХРШАНОВСКИЙ, А. П. ЭЛЬЯШЕВИЧ

Год издания 40-й

Адрес редакции: Ленинград, Д-28, Моховая, 20

Т е л е ф о н ы: главный редактор — Ж 2-71-38, заместитель главного редактора — Ж 3-76-92, ответственный
секретарь — Ж 4-37-24, зав. редакцией — Ж 2-89-48, отдел прозы — Ж 2-18-15, отдел очерков, отдел
поэзии и отдел „Репортаж „Звезды“ — Ж 3-74-91, отдел критики — Ж 3-52-56.

М-20823. Подписано к печати 14/II 1963 г. Тираж 70 000 экз. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 14 печ. л., 19,18
усл.-печ. л., 23,436 уч.-изд. л. Заказ № 107. Типография им. Володарского Лениздата. Ленинград, Фонтанка, 57

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

50 коп.